

**НОВЫЙ  
МИР**

11

---

1934

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ**  
**И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**ОДННАДЦАТАЯ**

**Н О Я Б Р Ь**

---

**М О С К В А**

**1 . 9 . 3 . 4**



# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. БОР. ПИЛЬНЯК. — Большой шлем, <i>рассказ</i> . . . . .	5
2. НИК. АСЕЕВ. — Два стихотворения . . . . .	19
3. АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ. — Магистраль, <i>роман</i> , продолжение . . . . .	21
4. А. ПРОКОФЬЕВ. — Два стихотворения . . . . .	63
5. ЭЛЬ-РЕГИСТАН. — Хайбер, сын пустыни, <i>рассказ</i> . . . . .	64
6. СКИТАЛЕЦ — Дом Черновых, <i>главы из романа</i> , окончание . . . . .	73
7. АЛЕКСАНДР ТАИРОВ. — По обе стороны экватора . . . . .	94
8. С. САРМАТОВ. — Эрнст Тельман . . . . .	112
 <b>ЛЮДИ И ФАКТЫ:</b>	
9. Акад. Н. И. ВАВИЛОВ. — Праздник советского садоводства . . . . .	139
10. О. РОГДАЕВА. — Путь Мичурина . . . . .	143
 <b>ЗА РУБЕЖОМ:</b>	
11. Н. КОРНЕВ. — Внешняя политика Советского Союза . . . . .	154
12. А. ЮРЬЕВ. — В стране Ибн-Сауда . . . . .	165
 <b>ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:</b>	
13. Р. АБИХ. — Фердоуси . . . . .	176
14. БОР. ПИЛЬНЯК. — Рассказ о съезде писателей . . . . .	185
15. М. СЕРЕБРЯНСКИЙ. — Артем Веселый . . . . .	188
16. ПИСЬМА ЖОРЖ-САНД. — Перевод, предисловие и примечания Н. Славятинского . . . . .	209
 <b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:</b>	
ДМ. ГЕЛЬМАН. — Ник. Зарудин «Страна смысла» . . . . .	234
Б. АНИБАЛ. — Л. Никулин «Дело Жуковского» . . . . .	236
К. БОГАЕВСКАЯ. — В. Вересаев «Спутники Пушкина» . . . . .	237
С. ИВАНОВ. — Массимо Д'Адзелио «Этторе Фьерамоска, или Барлетский турнир» . . . . .	238
 КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ . . . . .	 240

Статформат Б/5. 178 × 250.

---

Уп. Главд. Б — 82939.

Зак. 19010. Тир. 48400.

Объём 15 п. л. по 64.000 знак. Техн. ред. В. Белокопъ.

Тип. им. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

# Большой шлем

Рассказ

БОР. ПИЛЬНЯК

Дом и все в доме, в семье, в благополучии, в жизни, было сделано исключительно им, Владимиром Ивановичем Кондаковым. К тринадцатому году — садом антоновских яблонь и пихтовым парком — дом спустился до самой Волги. На Волге, у пристани, стояла яхта «Владимир Кондаков», с кают-компанией и салоном, с кухней, буфетом и погребом, с двумя спальнями, с ванной и душем. На этой яхте Владимир Иванович Кондаков инспектировал Волгу, от Астрахани до Рыбинска, все волжские нефтяные нобелевские торговые конторы и товарные склады. Дом разместился на горе, посреди города и между сосен одновременно. От города дом отгорожен был двориком и решетчатыми каменными воротами в барельефах львиных морд. За прихожей, прохладной летом и теплой зимами, одиночествовала гостиная, в морских пейзажах кошкй с Айвазовского. За гостиной немогствовал кабинет хозяина, отделанный черным дубом, с зеленым сукном громадного письменного стола посреди комнаты, с кожаными черными креслами около камина

К тринадцатому году старший сын учился в Англии, в Кембриджском университете, на родину приезжал к рождению и на лето, курил трубку и с отцом разговаривал по-английски. Старшая дочь училась в Петербурге, на филологическом факультете Петербургского университета, курила русские папиросы «Сильва», говорила на четырех язы-

ках, на немецком, французском, итальянском и английском, любила Францию, Василия Розанова и презирала англичан, их язык и своего английского брата. Младшие — на серых, в яблоко, рысаках, под медвежьими покрывалами — ездили здесь же в городе в гимназию и реальное училище, — на этих же рысаках возвращались домой и дома учились с гувернантками и домашними преподавателями — языкам, музыке, рисованию, почти не выезжая в город, кроме школы, развлекаясь дома же, на своем катке, на своей горе, домашним детским журналом, домашними спектаклями. Гости к детям — по тщательному выбору родителей — допускались раз в неделю, в воскресенье. Субботний вечер был вечером отца, когда к нему приезжали партнеры большого шлема, — родители тогда ужинали отдельно, и повар задерживался на кухне до полночи, бегая на мороз, посмотреть, хорошо ли проморозился мум. Сумерки в пятницу и вечер до семи принадлежал матери, когда к ней приезжали в гости дамы, в гостиные комнаты, которые подтапливались для этого и куда горничные в подкрахмаленных платьях приносили кэки, кофе и чай. Любимым произведением матери считался роман «Война и мир», но в досуги, а досугов у нее было много, она, прилегая на кушетку с коробкой шоколада, в рабочем своем бударе, читала Ложка, писателя, который был моден в России к тринадцатому году. Дом не случайно был поставлен над

Волгой. За Волгой, на луговой стороне, за невероятными и прекрасными просторами Волги и заволжских пойма, стояли богатые леса, окутанные легендами, и такие, по которым на самом деле шла история России, начиная от володимиро-суздальских времен—через русский церковный раскол — до возникновения российского капитализма. Из этих лесов, наряду с разбойниками, на Волгу выходили миллионщики. И из этих лесов тридцать два года тому назад вышел тринадцатилетним мальчиком Владимир Иванович Кондаков, на самом деле создавший все в своей жизни своими собственными руками.

Это был год убийства императора Александра Второго, когда тринадцатилетний Владимир с отцом своим Иваном весенним волжским разливом, пристроившись на беляне, мимо Нижнего, Казани, Саратова и Царицына, плыл с дугами до Астрахани. Сзади, в лесах, осталась канонная, старообрядческая семья дужников, сурового леса, тына во круг усадьбы, иступленной моленой в задней половине дома, глубоких зим и дедовского авторитета. Отец и сын плыли до Астрахани, везя на продажу зимний труд всего своего дугогнувного рода. В Астрахани были к июню. В Астрахани обожгла жара. Дуги продавали полтора месяца и собирались уже во-своися. Но к середине июля в Астрахани поспевали арбузы, отец с сыном поели арбузов, отец умер в холерном бараке, сын выздоровел. Ни дуг, ни денег не оказалось. И только через девятнадцать лет навестил мальчик, уже нобелевским инженером, свою родную деревню. Год проскитавшись на Астраханских и Гурьевских рыбных промыслах, мальчик приехал в страшный город Баку, в город азиатских невероятностей, зноев и нищеты, нефти и огнепоклонников, миллионных человеческих гибелей и одиноких человеческих карьер. Однажды забил — и счастье, и катастрофа — фонтан, — черным дымом нефть рвалась в небо до облаков, сумасшедшими потоками нефть текла по песку в разные стороны, разбрасывая миллионы пудов и рублей богатств. Люди унимали стихии. Люди окапывали потоки. Но-

бель приехал командовать. Паренек лет семнадцати бросился в один из главных потоков, подставил потоку спину, уперся руками и ногами в землю, крикнул:

— Окапывай меня!

Его стали зарывать песком, эту живую, из человеческого мяса, плотину. Инженеры установили, что паренек выбрал удачайшее и правильнейшее место, где надо было перекапывать, под стать инженерам, знатокам математики. Нобель поразился мужеству. Перед Нобелем стал парень отличной мускулатуры, белый негр, с которого текла нефть, который дымился нефтью и у которого были белые белки да зубы.

— Молодец, — сказал Нобель, — ты кто же будешь?

— Работаю на ваших промыслах смазчиком, — ответил парень, — Владимир Кондаков.

Спросил старший инженер:

— А почему ты прыгнул здесь, а не повыше или не пониже?

— По рельефу местности, — весело ответил парень, — по ватерпасу здесь повыше, меньше нефтяной напор.

Парень ответил понятиями инженеров, Нобель распорядился:

— Зайдешь в контору, получишь на память серебряные часы.

Это было началом карьеры Кондакова. Владимир Иванович не стал капиталистом, но он проделал блестящую карьеру капиталистического инженера. Это был всячески талантливый человек. Он был здоров, он был красив. Он был приветлив и дружелюбен. Все в жизни ему давалось легко. Он не был стяжателем. Его страстью, спортом, делом жизни стала — нефть. К концу первого десятилетия своей нефтяной карьеры он был начальником промысла и был женат на дочери директора компании. К концу второго десятилетия он управлял всеми промыслами. К тринадцатому году он был лучшим в России специалистом по нефти, он получал от Нобеля шестьдесят тысяч рублей жалованья, получал проценты с прибылей, имел подарками нобелевские акции, Нобель подарил ему яхту его имени. Он работал в качестве нобелевского советника, экспер-

та и ревизора. Он на память знал все, что относилось к нефти, от закона об учреждении бакинского градоначальства (Свод законов, том XVI, часть I, издания 1892 года), от статьи 788 горного устава («В случае неисполнения в указанный торговыми кондициями срок обязательства поставки нефти...»), от закона 2 июня 1903 г. («О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев...») — до помесячных справок о вывозе какого-нибудь лигроина из Батума или из Новороссийска за границу, до всех курсовых стоимостей нефти и нефтяных продуктов на всех биржах мира, до вопроса об уходе за компрессором, фонтанной арматурой и нефтяными насосами. Жизнь, чувства спорта, чести, тщеславия, — все это чувства были у Владимира Ивановича, — все это было связано с понятием — нефть. Нефть была — карьерой и благополучием. Нефть была — честью и славой. Чтобы знать технологию нефти, Владимир Иванович переизучил, подкрепленный громадной практикой, множество инженерных книг. Чтобы знать экономикой нефти, Владимир Иванович прочитал множество юридических книг. Он изучил английский и немецкий языки. Он несколько раз был в Америке и Англии, изучая их практику нефтяного дела. Он работал — сначала у Нобеля, а затем с Нобелем. К тринадцатому году это был настоящий европеец в костюме английского покроя, в мягкой шляпе, в желтых толстоподшвенных ботинках, в желтых перчатках, пахнувший табаком своей собственной смеси и английскими мужскими духами. Он считал себя истинно-русским человеком. Он не прятал своего прошлого и считал себя демократом. Он не успевал читать книг, не имел отношения к нефти. Он не успевал философствовать. Он не успевал думать о том, что называется душой, никогда не думал о религии, но по инерции от заволжского детства почитал себя старообрядцем, жертвуя на старообрядческую церковь в Нижнем-Новгороде и раз в году под пасху посещая старообрядческую моленную. Жена его и дети ездили в православный архиерейский собор. Домом управляла жена,

прислушиваясь к воле и к традициям мужа. Она окончила некогда министерскую гимназию, полтора года училась на Лесгафтовских курсах. И дом она строила, как ей казалось, не в русско-квасных, но в англо-европейских традициях просвещенности, уважения к труду, демократизма, равенства, справедливости, борьбы с предрассудками. Отец хотел представить жизни своих детей сразу уже воспитанными не в русских, но в европейских масштабах, вооруженными европейским знанием, языками и готовыми своим знанием и своими руками пойти в жизнь. Отец был честен, прям, прямодушен. Он не был стяжателем. Он на самом деле очень много работал, этот человек, превыше всего ставивший дело и почитавший себя истинно русским человеком.

Тринадцатый год был вершиной благополучия Владимира Ивановича Кондакова и всего его дома. Четырнадцатый год не пустил в Англию старшего его сына, и сын — доброволец, артиллерийский вольноопределяющийся — был убит в первые полгода мировой войны. Дочь не поехала тою зимой в Санкт-Петербург, и в день, когда пришло известие о смерти брата, в семейной истерике, дочь, на коленях перед отцом в безмолвном его кабинете, рыдая, рассказала, что она изнасилована раненым поручиком, который перед отъездом на фронт поил ее шампанским, и она больна венерической болезнью. Война закрыла Черное море и черноморские порты, нефть поползла сначала по Волге, а затем захлебнулась в самой себе, стала агонизировать переработкой и нехваткой одновременно, отсутствием транспорта и транспортными пробками, отсутствием рабочих рук и ненужностью рабочих рук. И через Моссул и Персию, через Анатолию к бакинской нефти потянулись пушки англичан и немцев. Громадное нефтяное хозяйство рушилось.

И пришел семнадцатый год, Октябрь. Нефть умерла в Баку, в Грозном и во всей стране. В доме вместо убитого старшего брата двое младших были офицерами, прапорщик и штабс-капитан. По хозяйству в доме матери помогала стар-



шая дочь, за три года возрастом догнавшая мать. И была декабрьская ночь. Электричество не горело в городе. Дров в городе не было. Половина людей выбита была из дома войною, дворник и истопник покинули дом, став большевиками. Дом мерзнул, сдвигая жильё в тесноту. В городе шла новая волна арестов. В ночи слышны были пачки выстрелов. И под полночь, пробравшись в дом не с улицы, но с Волги, переодетые пришли — два товарища сыновей, офицеры, с отцом, лесным инспектором, партнером Владимира Ивановича по большому шлему. Люди со свечками в руках, в шубах шли к кабинету Владимира Ивановича, в мороз и пустоту парадных комнат. На окнах тщательно были сдвинуты шторы. За шторой караульщиком стала младшая дочь. И первым заговорил штатский генерал, лесной инспектор и кирпичнозаводчик.

— Итак, нас никто не слышит, господа?.. — бежать надо, Владимир Иванович, — бежать! На Юг! На Дон!.. В городе аресты!.. Знаете приказ Алексева? . И бежать надо сейчас же, не позже, чем через час. В городе аресты, каждую минуту могут притти. Надо собрать драгоценности, золото, бриллианты, — деньги вы изъяли своевременно из банка?.. Зенетов достал вагон на юг, он предлагает места для вашей семьи, поезд уходит через два часа. Дом и вещи вы не увезете, их все равно разгромят, — надо спасать жизнь и силы, мои сыны и ваши сыновья вступят в добровольческую армию... Надо бежать, Владимир Иванович.

Заговорила старшая дочь:

— Совершенно естественно, папа, — надо бежать, надо спастись. Ты знаешь, сколько людей уже погибло. Кроме насилия, от большевиков мы ничего не увидим. Надо спасать жизнь.

Заговорили офицеры:

— На Дону собирается добровольческая, мы получили приказ. Мы будем драться за родину.

— Бежать, бежать надо, — сказал заводчик и лесной инспектор, — мы переживем эти безобразия где-нибудь на Кавказском побережье. Весною все кончится. Деньги из банка вы взяли? —

Зенетовы нас ждут, вагон готов, медлить нельзя!

Заговорил Кондаков:

— Денег из банка своевременно я не брал. Бежать я никуда не собираюсь. Да и бежать мне не от кого и не к кому. Я сам русский мужик и русского мужика я знаю. Стало быть, знаю русского большевика. А также знаю и русского барина. На Дону иль на Кавказе слаще не будет. Бежать нам от больной страны-матери некуда. А бежать от самого себя я не собираюсь, потому что ничего нечестного я не делал в моей жизни и делать — не буду. Против народа я не пойду. Буду хворать вместе с Россией.

— Вы — что же — с большевиками? — спросил штатский генерал, ставший вдруг генеральски желчным.

— Не шутите, Константин Андреевич, — сказал Кондаков. — Нет, не с большевиками, но — с Россией, а Россия — больна и с большевиками. Я политикой не занимался всю мою жизнь и политикой заниматься — не буду.

— Но вы же — нобелевский инженер, все ваши сыновья — офицеры, один из них уже погиб за родину!..

— Я служил — не Нобелю, но — делу, прошу не забывать! — крикнул, никогда не кричавший Владимир Иванович и сказал тихо, бессильно, ласково, как никогда: — Дети, жена, я никуда не пойду, бежать мне некуда и незачем. Против вестости делать мне нечего. А вы... вы уже взрослые люди. Решайте сами! Берите, что осталось, решайте, езжайте... с Константином Андреевичем...

Крикнула старшая дочь:

— Мама, ты должна уезжать; если ты не хочешь, чтобы твои дочери были изнасилованы большевиками и твои сыновья были бы расстреляны!..

Настала тишина раздумья. Вдалеке в городе рассыпалась пачка выстрелов. Из-за портьеры наблюдала за воротами и парадным младшая дочь. Небесные просторы и снега заваляли город. В ледяном кабинете вздрагивали свечи. И младшая дочь крикнула:

— К воротам подехал грузовик!.. Солдаты с винтовками!..

Все бросились к окну. В лунной морозной ночи за каменными воротами со львиными мордами, за железной решеткой, с грузовика прыгивали люди в шинелях и шли в каютку. И Владимир Иванович не попрощался со своими детьми. Свечи бросились вон из кабинета. Все это измерялось секундами. Дом замер такой тишиной, какой никогда не было в мире. Секунды выросли в вечность. Горохом шагов просыпалась лестница из мезонина, никогда раньше не слышанная. За окнами были невероятные небесные просторы, тишина и лунный свет. На порог из спальни упала свеча и упал человек. Это была жена. Она шептала:

— Ушли, ушли, а я не могу, я всю жизнь прожила с тобой...

И тогда зазвонили в парадном. На пороге стоял бывший истопник.

— Вы, Владимир Иванович? — извините, исполком постановил разместить в вашем доме войсковую часть.

— Ты, Игнат Иваныч, — здравствуй, — размещайся, как удобнее. Дом пустой.

Нефть и жизнь умерли для Кондакова на годы революционных метелей. Вместо нефти страна фонтанировала человеческой кровью, как фонтанируют иной раз нефтяные скважины. Бакинская нефть была отрезана от Волги, ее занимали немцы и докемалистские турки по воле Гинденбурга, ее занимали англичане по воле сэра Генри Деттердинга, который собирал в Англии, в своих сейфах, акции Бакинских промыслов, дабы превратить впоследствии бакинскую нефть в акцию мировой политики. По стране шли войны, рушились железные дороги, фабрики, заводы, города, сельское хозяйство. Владимир Иванович Кондаков пребывал в нетях, вдвоем с женой и в страшном одиночестве, в мезонине своего собственного дома, в замороженной комнате, в шубе и в валенках на ночное белье, за кастрюлей пшенной каши и без света. Время принесло известие с Юга, — оба сына-офицера были убиты, дочери многожды повыходили замуж, одна из них умерла от тифа, две других, старшая и самая младшая, бежавшая подростком, уехали с мужьями во Францию, где

Нобель, Манташев и Лиановов продавали бакинские акции «Стэндерт-Ойл» — Рокфеллеру — Американским штатам, ища у штатов защиты от большевиков. К двадцать первому году стало ясным, что страна, дравшаяся со своими феодалами и капиталистами, и со всем миром, с немцами, с англичанами, с французами, итальянцами, греками, румынами, американцами, японцами, финнами, поляками, эстонцами, — дравшаяся в частности за нефть, — победила волей пролетариата. Пролетарии складывали винтовки в цехгаузы, чтобы на опустошенной земле, по разбитым дорогам, заводам и промыслам строить новую жизнь, новые дела и новые человеческие отношения, восстанавливая то разбитое, которое оказалось нужным, и перестраивая его так, как это казалось нужным. За геологией революции жизнь Кондакова казалась мертвой. В мертвый дом приходили вести о смерти детей. И в дом с мезонином над Волгой пришла телеграмма. Москва предлагала Владимиру Ивановичу Кондакову приехать для переговоров о работе в нефти. Природа дала Владимиру Ивановичу прекрасное здоровье. Ему шел пятьдесят пятый год. Ни морозы в мезонине, ни пшенная каша, ни потерянная семья не подорвали его и не сломали. И в Москве на вокзале автомобиль встретил сорокалетнего барина, едва седеющего, в толстоподшвенных башмаках, оставшихся от доистории, в английском пальто, тщательно бритого и пахнущего остатками английских духов. Автомобиль принял и провез Кондакова в высокопотолокий и широкооконный дом, где навстречу Кондакову вышел человек с громким революционным именем, одетый в военный френч, в пенсне на очень близоруких глазах, с растрепанными рыжими волосами и очень подобранный. Встретивший издали протянул руку, чтобы поздороваться, весело улыбнулся, сказал:

— Идемте, Владимир Иванович, будем говорить по делу!

Они прошли в высокопотолокий кабинет. Стол хозяина был засыпан книгами о нефтяной промышленности. На стене висела нефтяная карта. Годом к пя-

тидесяти, иной раз, у людей возникает некая ригористичность. В ответственные часы их жизни им кажется, что они никогда в жизни не ошибались, всегда были правы и рассудительны.

— Итак, Владимир Иванович, надо делать нефть! — сказал хозяин. — Читайте эти книги, учусь. В книгах очень много написано о вас, да и вы писали немало, — ваши предложения, ваши нововведения, ваша экспертиза... Мы нашли вас, чтобы просить — пожалуйста, работайте, руководите!.. Вы на нас, на большевиков, очень сердиты? — чем вас обидели? — чем недовольны?.. Вы у Нобеля работали, Нобель сейчас в Париже, один из основных антисоветчиков, — вы конечно имели возможность оказывать в эмиграции, — почему не поехали?.. Давайте говорить и дружески, и по-деловому. Вы ведь из заволжских мужиков?

— Работал я действительно у Нобеля, но полагал и полагаю, что работал я не на него, а для дела и на Россию, на родину, — сказал Владимир Иванович. — То ли потому, что я из мужиков и всю Россию видел от мужика до самой верхушки, то ли еще почему, — очень я над этим не раздумывал, — но Россию покидать и с народом драться я не считал нужным, остался в стороне, — и оказался правым. Нобель, как видите, в Париже, а мне там делать нечего. Бегать от моей страны я не хочу... Как вы меня обидели? — был у меня дом, была у меня семья, было у меня общественное положение... Дома у меня нет, семьи у меня нет, общественное положение... Но большевиков во всем этом виноватыми я не считаю. Так же они виноваты, как и тот же Нобель, злат которого впрочем я никогда не видел. Виноватой считаю всю историю России. Тем не менее факт, — все у меня было, было шесть человек детей, были деньги, — и остался я вдвоем со старухой. Дело моей жизни — нефть. Ее я знаю. В поезде сюда, да и тогда, когда собирался к вам, я знал, зачем вы меня зовете. Видите — приехал. И буду с вами честен. Работать — хочу, и силы в себе чувствую. Но, как почитаю я, что работал я не на Нобеля, а для дела, —

так и сейчас скажу, что на вас, на большевиков, работать я не собираюсь и не буду, а буду работать на Россию и для нефтяного дела. Спорить с вами сейчас мне необходимости нету. Политика — не мое дело. Большевики сейчас с Россией, — и я с вами, давайте делать общее дело. Обязуюсь — работать буду честно. Требуя — доверия ко мне, во-первых, а, во-вторых, свободы моих действий. А также прошу помнить, что я не политик и никак не большевик. В бога например я верую и исповедую его по старой вере. Будучи сам мужиком, не согласен с вами, что каждый, если ты пролетарий, — хорош, а каждый, если он буржуй, — плох. Если в чем-либо не буду согласен с вами, — приду и буду спорить. Если не сговоримся принципиально, — разрешите уйти. В чувства друг другу вмешиваться мы не будем.

— По рукам! — сказал хозяин.

— От политики вы меня устранили, — сказал Кондаков.

— По рукам! — повторил хозяин, этот рыжий очень крепкий и очень подобранный человек.

Нефть! — все эти баррели нефти, мазута, керосина, бензина, лигроина, парафина, которые названы «жидким золотом»! Если девятнадцатый век командовался каменным углем, то на самом деле нефть наступила на каменный уголь мировым командиром, тем командиром, который дает движение, двигает подводные лодки, пароходы, паровозы, автомобили, аэропланы, который зажигает свет от электричества до парафиновых свечей, — это жидкое солнце, — и асфальтирует дороги, и строит города, и лечит больных, и подслащивает сахаринном хлеб, и прочая, прочая, прочая, — который недаром, кроме «жидкого золота», называется «хлебом индустрии». На самом деле нефть есть мировой экономический хозяин и мировой хлеб индустрии. На самом деле самые большие запасы нефти мира в Баку, в Грозном, в Майкопе, в Закаспии, на самом деле нефть есть мировая политическая акция. На самом деле в мировую войну докемалистские турки и немцы отдавали аравийские области для того, чтобы взять Баку и тем самым победить мир,

а англичане шли знойными походами от Персидского залива до Каспия, таща за собою флот и человеческую смерть также для того, чтобы взять Баку и победить мир. Владимир Иванович Кондаков вернулся к работе на нефти, когда в старинной итальянской гавани, в Генуе, собиралась первая международная конференция, на которую позваны были большевики. На этой конференции ни словом никто не обмолвился о нефти, но на самом деле это была конференция нефти, где представлены были три мировых нефтяных силы: — формально, юридически не присутствовавшая американско-рокфеллеровская «Стэндерд-Ойл», вежливо скрывшаяся за Ллойд-Джорджа деттердинговская «Рояль-Детч-Шэлл» и — советская. И конференция провалилась потому, что Деттердинг не сговорился с Рокфеллером, этот джентльмэн сэр Генри Деттердинг, который «не покупает краденого», но скупал довоенные нефтяные акции у бежавших от революции русских промышленников, чтобы стать собственником краденого, который «не имеет дела с бандитами», но писал Леониду Борисовичу Красину рукою чиновника английского министерства иностранных дел, а впоследствии посла Эсмонда Овея, за спиною английского премьера Керзона:

«Министерство Иностранных Дел  
19 октября 1921-го года.

Господину Красину.

Сэр!

Маркиз Керзон оф Кедльстон получил сведения от полковника Дж. Бойля, что группа Рояль-Детч-Шэлл желает приобрести концессию от советского правительства... полковник Бойль обратился к вам по этому поводу с полного согласия и одобрения правительства его величества...»

Бойль, к слову сказать, был английским разведчиком, был в Баку и служил у Деттердинга. Американцев не было на Генуэзской конференции. Там были французы и бельгийцы. Во Франции жили Нобель, Лианозов, Манташев, прочие. Эти торговали не с Деттердингом, но со «Стэндерд-Ойль». И Викгем

Стид, редактор лондонского «Таймса», был прав, когда он злобно телеграфировал своей газете из Генуи на третий день заседания конференции о том, что:

«Генуя стала спектаклем для большевиков», —

и когда через три дня он добавлял, что:

«они (большевики) стали арбитрами конференции».

Над конференцией висело понятие — нефть, то понятие, о котором ни слова не сказали дипломаты, но такое, которое разрушило конференцию, — но такое, где нефть и индустрия — братья, равно как братья ж — нефть и война, ибо без нефти не пойдут дредноуты и подводные лодки, не ползут танки, не полетят аэропланы. За нефтью оставалась мировая политика. Рокфеллер и Деттердинг — не сговорились. Нобель ездил и к Деттердингу, и к Бетфорду, председателю совета директоров компании «Стэндерд-Ойл». Нобелевские инженеры и пайщики сидели по парижским кафе, не развязывая своих чемоданов, ожидая дня, когда Нобель вместе с французами, англичанами, бельгийцами и американцами прикажет им ехать в Баку, в Грозный, в Майкоп на крови большевистской смерти.

Владимиру Ивановичу Кондакову не вернули ни дома, ни шестидесяти тысяч золотых рублей, ни яхты, не говоря уже о семье и о годах. В Москве, в государственном доме, он получил трехкомнатную квартиру, по существу говоря, не очень отличную, хоть и такую, в каких жила наркомы. Он получил высокоположий государственный кабинет и штат людей, не меньший, чем до революции, и утром, и вечером государственный автомобиль отвозил его из дома в кабинет и из кабинета в дом. Он получил правительственный паек. Он получал тысячу советских рублей в месяц, — больше, чем наркомы. Когда он уезжал в Баку или на Эмбу, он ехал в отдельном купе международного вагона. Дома, в квартире на шестом этаже, поселилась тишина двух одиноких стареющих людей.

Он работал от восьми утра до семи вечера. Ему предлагали поехать на Ге-

нуэзскую конференцию в качестве эксперта. Он уклонился от этой поездки, засвидетельствовав, что политикой он заниматься не будет. Но он ездил за границу: за закупками оборудования. Он не сразу собрался в эту поездку. Не одну и не две ночи проговорил он с женой о том, как ему быть при встрече с дочерьми. Он поехал вместе с тем бодрым и подобранным, близоруким и рыжим человеком, который впервые позвал его работать в советской нефти. Они были в Париже. Владимир Иванович написал своим дочерям, и в час, когда они должны были притти к нему, он пригласил в свой номер рыжего своего спутника, большевика, который давно уже сталосял приятелем Владимира Ивановича. И разговор между отцом и дочерьми был недолог, безразличен, случаен и конечно очень труден. А через день позвонили в гостиницу, просили Кондакова, и в телефонную трубку заговорили по-русски:

— Владимир Иванович, сколько зим, сколько лет!.. живы!?. Мы узнали от вашей дочери, что вы в Париже. Нас никто не слышит?!. — говорил стариннейший знакомый нобелевский сослуживец, эмигрант.

Кондаков повесил трубку. Через минуту портье его вызвал вторично. Кондаков распорядился сказать, что его нету дома. Кондаков жил неподалеку от рю де-Греннель, и по утрам он ходил пить кофе на бульвар Сен-Жермен, в кафе «Де Мого» — «Двух Монголов», как раз против Сен-Жерменского аббатства, того самого, колоколами которого в ночь сеятого Варфоломея был дан сигнал к избиению гугенотов. Наутро у порога гостиницы, в уличной толпе, Кондаков увидел глаза, устремленные на него, которые показались ему знакомыми. Глаза исчезли. Кондаков знал, что это знакомые глаза, и не мог их вспомнить. Он пошел к «Двум Монголам», сел на улице около жаровни, заказал кофе и бриоши. И, когда кофе было подано, сзади к нему подошел, сел за спиной, за соседний столик, заговорил заговорщиком второй стариннейший знакомый, нобелевский сослуживец, также эмигрант.

— Владимир Иванович, нас никто не слышит. Вы никого не ждете? — кажется, здесь нет никого, кто следил бы за вами...

Владимир Иванович повернулся на стуле, сказал сурово и так, точно он продолжал разговор, прерванный вчера:

— Что вы от меня хотите? — если бы я искал встречи с вами, я нашел бы ее!..

И в тот же тон, точно продолжался вчерашний разговор, и попрежнему заговорщиком сказал старый знакомый:

— Нобель сейчас находится в Париже, и он хотел бы встретиться с вами, не говоря уже о нас, о ваших старых друзьях и сослуживцах. Мы знаем, вы служите у большевиков, вы приехали привинять заказы, но мы же знаем, что бы не большевик. Нобель хотел бы встретиться с вами по делу.

Владимир Иванович ответил своими истинами и рассудительностью своих лет:

— Я служу не у большевиков, а у России, не большевикам, но нефтяному делу. Передайте это Нобелю. Я приехал сюда на прием и на выдачу новых заказов. Большевиком я не считаю себя, но и бесчестным человеком также. Я связан в моей работе с советским нефтяным синдикатом, а поэтому встречу с Нобелем я считаю неудобной. Как бы я выглядел, если бы, служа у Нобеля, я пошел бы по делу к Манташеву? — Передайте это Нобелю!.. Позвольте пожелать всего наилучшего!

Владимир Иванович отвернулся от собеседника, допил кофе, кликнул гарсона. Собеседник исчез. Еще дважды вызывали за этот день Владимира Ивановича по телефону. И вечером Владимир Иванович, злой и обеспокоенный, пришел в номер к рыжему своему спутнику, сказал:

— Со вчерашнего дня меня преследуют нобелевские агенты, звонили сюда, подкараулили в кафе. Нобель ищет встречи со мной. Сначала я просто повесил трубку. Затем я объяснил, что встречу с Нобелем я считаю неудобной. Как вы думаете, что мне делать в дальнейшем?

Рыжий, подобравнейший и сосредоточенный, сидел за столом, в бумагах, в

толстейших стеклах очков, вздохмаченный. Он юношей выскочил из-за стола и весело крикнул:

— Молодец, Владимир Иванович! Что делать!?. — пошлите их в следующий раз в телефонную трубку к чортовой матери, они эту старую русскую систему путешествий поймут лучше логики!..

Поездка за границу была зимой. В Париже лили декабрьские дожди. И настоящая зима великих снежных просторов и великих покоев легла лишь за Варшавой. В зиме лежала Москва. Вечером, дома, на шестом этаже, когда Владимир Иванович остался вдвоем с женою, чтобы рассказать ей о поездке, жена спросила о самом главном, о детях, и о самом главном заговорил Владимир Иванович, — рассудительно, тихо:

— Дочери?.. видел их два раза, они приходили ко мне. Странная и страшная вещь!.. Каждый раз я не спал по две ночи, ночь до встречи и ночь после встречи. Вспоминал всю жизнь, громадное поле пройдено, вспоминал, как они родились, как я их лялькал на руках, вспоминал все горести и радости, радостей больше, чем горестей. А приходили чужие люди, спрашивали о нас, о тебе, и я понимал, что им мы безразличны. Ведь ни та, ни другая ни разу не обмолвились о том, как бы конкретно организовать твою с ними встречу!.. Старшая — помесь русской полковницы с русской кухаркой, и выглядит пожилой, а ей всего двадцать пять лет. Младшая — не то французская кокотка, не то просто француженка из Парижа, к слову, она и не замужем уже и нигде не служит. Старшая все время стремилась заговорить о политике, я запретил. Обе монархистки, а, что такое русская монархия, и не нюхали. Обе недоучки. Уходили они, а я не спал, вспоминал дом на Волге, вертелся с боку на бок, и радости воспоминания не было. И оба раза мысли уходили — смешно сказать — в работу, в заказы, в приемку.. Что делать! Время идет!.. я всегда любил работу, никогда не умел работать без любви к делу, но работал для дома, все тащил в дом и отдыхал только в доме. А там, в Париже, тоже кусочек дома, а

мысли отдыхали на компрессорах и на американской стали. К дочерям я не пошел, потому что их среду мне стыдно было видеть. Они собирались приехать на вокзал, проводить, и не приехали... Новая эпоха, новые понятия семьи!.. чудеса в решете, — работа становится домом, дом становится ..

Из-за фонтанирующих человеческою кровью скважин гражданской войны, из-за морозно-метельных и среднеазиатско-энойных геологий дней возникала новая страна, новые человеческие дела и человеческие отношения. По социальным лестницам и переулкам, по историческим большакам и проселкам пошли новые люди. Падали феодальные российские вертикали. Исчезли галуны, знаки отличия и формы. На тверском бульваре в Москве, где гуливал Онегин, в Сокольниках, где каталась в лакированном ландо Анна Каренина, где дирижировал Скрябин, где только-что гуляли офицеры мировой войны, — красноармейцы, фабричные парни, девушки с заводов и домработницы ходили табунами, пели частушки, заливались гармошкой. Перестроилась человеческая одежда не только тем, что исчезли галуны, золото и знаки отличия, но тем, что незаметно, небогато, бедно одетым быть было приличней, во всесоюзном масштабе потекли красная косынка и бурая толстовка, сапоги, кепка, — картуз исчез вместе со шляпой. Возник новый русский язык, короткий, однофразный, короткосложный, исчезли округлые русские периоды и слова. Возникло новое понятие вежливости, вежливой стала дружеская грубоватость, грубоватая прямота. Исчез прежний домашний быт и быт труда. Исчезла тишина послеобеденного часа, когда встарину рабочий день заканчивался в два или четыре и за этими часами человек принадлежал только себе, своей семье и дому, своим частным делам. Рабочий день упирался в вечер и возобновлялся вечером, обед сдвинулся на час театра. Общественные и частные дела перепутали свои понятия. Телефон, который раньше был точно дифференцирован, — до четырех по делу и деловые знакомства, от четырех до десяти друзья, после десяти никто, разве лишь

катастрофа, — теперь телефон звонил до часу ночи и по делам, и дружбой. В директорские кабинеты пришли новые люди, необыкновенных биографий. Раньше было известно — директор, стало быть, — или коммерсант, или инженер, стало-быть, — хорошая семья, воспитание, умение поцеловать ручку дамам, гимназия или реальное училище, высшее учебное заведение, серый костюм днем, черный костюм вечером, — и дальше лишь индивидуальные особенности, кто любит балет, кто большой шлем, кто ездит к Яру, в Ялту или в Ниццу. Биографии теперешних людей — если и были стандартны, то только своей нестандартностью, — токари по металлу, пастиухи, ломовые извозчики, ткачи, дети токарей по металлу и ткачей, лишь изредка недоучившиеся студенты. Эти никак не учились в реальных училищах. Этим легче было говорить на «ты», чем на «вы». Они учились у жизни, на поллитграмоте. Нефтяное дело они грызли, работая на нем, не как самоцель, но как прикладное дело — к политике в первую очередь. Жены прежних обязательно читали романы, умели приготовить чай и домашний уют, ходили в шляпках и в тонком белье. Жены теперешних говорили, жили и поступали, как мужья, обувались иной раз в сапоги, заявлялись иной раз в учреждение и заявляли, что они сами — инженеры и специализируются на нефти, комсомолки или коммунистки, и сбивались с «вы» на «ты». С этими нельзя было поговорить о балете, о Сен-Жерменском бульваре, они не знали отдыха вечеров, они не имели представления о большом шлеме. В своих домах они жили, как на станциях, не понимая, что такое домашний быт, не научившись еще его понимать и не имея в нем нужды.

Владимир Иванович был облечен громадною нефтяною властью, доверием, режимом. Вокруг него ходили сотни людей. Инерция понятий всегда незаметна человеку и всегда тяготеет над человеком, чем больший возраст человека — тем больше. Владимир Иванович руководил технологией нефти, оборудованием промыслов, поисковыми работами. Около него ходили сотни людей. Боль-

шинство были эти, с расстегнутыми воротами, в смазных сапогах, молодежь, говорившая на «ты». Как щепки от разбитого корабля, уцелели нефтяные интеллигенты. Эти, с расстегнутыми воротами, говорили по делу принципами грубоватой вежливости, соглашались или не соглашались, свидетельствовали — «пока!» — и уходили в непонятную жизнь, в непонятную перегруженность делами, в непонятные жизненные стимулы и интересы. Об этих ничто не зналось: ни как они живут, ни как они отдыхают, ни кто у них жены и дети. Нефтяные интеллигенты начинали речи с вопросов о здоровье, они могли вспомнить старину, пошутить, полиричествовать, посожалеть, посудить, — они соблюдали субординации. Прощаясь, они передавали приветы жене, говорили, что не всю же жизнь работать, надо и отдохнуть от дел, от современности и от политики, — они приглашали к себе в гости, очень просили, их можно было пригласить на винт. Винт у Кондакова возродился, попрежнему, по субботам. На шестой этаж к нему собирались люди прошлого века, нефтяной инженер Ипполит Алексеевич Трэнер, экономист из Госплана Федор Александрович Осадков, другие знакомые, с женами. Мужчины садились за большой шлем, дамы до ужина рассуждали о театре, порицая Мейерхольда. Играли до полночи, ужинали, выпивали водки и абраудюрсо. В свободные вечера и Владимир Иванович ездил в гости — и к Ипполиту Алексеевичу, и к Осадкову, и к другим, его угощали, он целовал ручки дамам, шутили. Владимир Иванович знал и испытывал удовлетворение: советская нефть росла, добычи удваивались, промысла переоборудовались. Если нобелевские промысла до войны выглядели европейскими, по сравнению со всеми остальными, то по сравнению с советским оборудованием нобелевские промысла оказывались древнейшей азиатчиной. Машина сменила человеческие руки. Машина на месте перерабатывала нефть, но не посылала ее на Запад полуфабрикатом, как было раньше, когда высокие нефтяные изделия, сделанные из русской нефти, ввозились в Рос-

сию под германскими марками. Но работать было трудно. То, что было ясным, как день, Владимиру Ивановичу, не всегда было ясно его сороботникам, и он не находил умения доказать свою истинность, ибо нет более трудного, как доказать аксиому. То, что было, повидимому, ясным, как день, его сороботникам, не всегда понимал иль понимал как глупость Владимир Иванович. Владимир Иванович знал — нефть! — организация добычи, оборудование промыслов, — бóльшая добыча нефти — бóльший экспорт — бóльшая прибыль. Иногда возникали споры: правительством отпускалась сумма на промысел такой-то; Владимир Иванович понимал как аксиому, что деньги надо потратить на лучшее оборудование промысла, на бурение новых скважин, быть может, на нефтеперегонный завод, — бóльшее количество нефти — бóльший экспорт — бóльшая прибыль; часть денег конечно надо было тратить на жалованье рабочим и инженерам, до той нормы, когда рабочий сыт, обут и трудоспособен; но сороботники Владимира Ивановича говорили, что без малого добрую половину ассигновки надо потратить — на клуб, на красные уголки, на спортплощадки, на политучебу рабочих, на ликвидацию безграмотности среди рабочих и на политпропаганду, — этого Владимир Иванович чистосердечно не понимал; он чистосердечно считал всякую политучебу и политпропаганду бездельем и моральным размагничиванием рабочих; все эти мероприятия ему казались глупостью, как спортплощадки, ибо — какой еще спорт нужен рабочему после того, как он наломал спину около вышки!?. — В дни таких споров Владимир Иванович приезжал домой злым, обедал, не замечая, что он ест, и сокрушенно гораривал:

— Они, большевики, боже мой, как они путают и осложняют — и жизнь, и работу. Ясно же!..

Но жизнь, вся жизнь Владимира Ивановича, была построена на труде, а труд всегда есть борьба. Владимир Иванович знал, что он всегда был честен. Он знал, что за ним идет репутация человека с негнушейся совестью. И он обере-

гал свое имя. Он работал, и он боролся. Он был приветлив, он был приятен, даже ворчливость его не коробила. О нем знали — человек, отказавшийся уйти к белым, потерявший у белых своих сыновей, один из первых пришедший работать в советскую нефть, никогда не жаловавшийся, неподкупный, прямолинейнейший работник, чуть-чуть от времени ворчун и моралист. Историю его поездки за границу и то, как он посылал к чортовой матери нобелевских сотрудников, знали. Кондаков умел управлять, не приказывая. Умел подчинять людей. Умел проводить свою волю. Не считался по мелочам. Никогда не склочничал. Он был очень скромен, скромно носил английские свои костюмы, и запах его духов не был неуместным, хоть и никто, кроме него, не душился в высокопотолоких нефтяных покаях.

И был новый декабрь. Был вечер. В неурочный час позвонил телефон. Говорил тот рыжий, близорукий и подобранный, который впервые приглашал Кондакова работать в советской нефти, который вместе с Кондаковым ездил за границу. Он просил сейчас же приехать, он посылал машину за Кондаковым. Наступал уже поздний час. Высокопотолокие нефтяные покои безлюдствовали. В высокопотолоком кабинете встретились двое. Дом пребывал в тишине. Рыжий пошел навстречу. Поздоровались, сели.

Заговорил близорукий и рыжий:

— Прежде всего скажу вам, Владимир Иванович, что, когда мы встретились впервые, вы сказали, что в чувства друг друга вмешиваться мы не будем. Я вмешиваюсь. Мы знаем друг друга уже не первый год, и тогда, в Париже, помните, когда вы познакомили меня с вашими дочерьми, когда вы рассказали мне о том, как бежали за вами нобелевские агенты, я полюбил вас, талантливого, доброго и хорошего человека. Вы из Заволжья, из дугогнувов. Вы лучше меня знаете — взять хорошую березу, согнуть ее сразу в дугу, сломается, не согнется — не согдится. Гнут дуги медленно, каждый день понемножку, размачивают, подсушивают, подтягивают. И позвольте еще раз вер-



путься к нашему первому разговору. Я тогда смотрел на вас и думал — дугонув!.. — помните, вы сказали — если не сговоримся принципиально, разрешите уйти. Мы уговорились быть честными друг с другом. И я поступаю по уговору. Все, что я сказал, — это предпосылки. Я думал — наше время перенет ваши дуги. Теперь будем говорить по делу. Вы знаете, у нас есть учреждение, на обязанности которого лежит поддержание революционного порядка и которое от времени до времени арестовывает тех, кого следует арестовать. И сейчас, когда мы с вами разговариваем здесь, арестовывается наш сослуживец, ваш приятель по большому шлему Ипполит Алексеевич Трэннер. Вы уклонялись от вопросов международной нефтяной политики, но нефтяные политики не забыли о вас. Нам сейчас придется вновь говорить о Нобеле. К нам в руки попались два нобелевских документа. Первый — это список людей, инженеров в первую очередь, на которых Нобель рассчитывает опереться, буде он вновь захватит в свои руки прежние свои владения, на нашей крови конечно, сквозь строй виселиц, на которых мы, и я в том числе, будем висеть к удовольствию Нобеля. Второй документ — это график тех мероприятий, которые Нобель стремился руками своих агентов проводить на советской нефти. Ипполит Алексеевич Трэннер арестован потому, что он был штатным нобелевским агентом, на месячном жаловании. О Трэннере нечего говорить, с ним все ясно и все кончено. Но в списке инженеров, на которых Нобель рассчитывает опереться, одним из первых, гораздо раньше Трэннера, стоит ваше имя, Владимир Иванович!.

Кондаков вскочил со стула, ударил кулаком по столу так, что повалилась чернильница, закричал:

— Как!? что?! — ложь! не позволю!..

Близорукий и рыжий схватил руки Кондакова, очень приятельски, сказал спокойно, подобранно и дружески:

— Владимир Иванович, как не стыдно! — не волнуйтесь!.. Владимир Иванович, дугонув!.. не предлагать же мне вам воды! — или предложить!?

Кондаков замолчал, засопел. Кондаков твердо уселся в кресло, опустил голову. Тишина в кабинете удвоилась.

— Вот этот список, просмотрите, — сказал близорукий и рыжий.

Кондаков брезгливо взял, покойно прочитал.

— Владимир Иванович, — заговорил близорукий и рыжий, — это не главное и не важнейшее, что вы оказались в нобелевском списке. Нобель знает, равно как и я знаю, что вас нельзя купить, как куплена всякая мелкая сошка, тот же Трэннер в частности. Но Нобель знал, как и я знаю, вашу позицию, когда вы утверждаете, что вы, служа раньше у Нобеля и теперь у нас, считаете, что вы служили и служите ни Нобелю, ни большевикам, но — делу и России. Если вы честно служили у Нобеля, а потом стали честно служить у большевиков, то Нобель вправе предполагать, что вы опять будете честно служить у него, если он вернется в Россию, в ту Россию, которой служите вы и которой на самом деле нет, как нет и никакого «нефтяного дела», оторванного от нас и от Нобеля, ради которого вы работаете, — как нет и такой чести, которая была бы одинаково приемлема нам и Нобелю, — и Нобель был вправе вписать вас в список людей, на которых он рассчитывал опереться в первую очередь. Вы сами подказали ему эту мысль, передав ее Нобелю через того мелкого мерзавца, который подсаживался к вам в кафе «Двух Монголов». Должен признаться перед вами, Владимир Иванович, в первую нашу встречу, когда вы говорили мне о вашей России и вашем «деле», я промолчал тогда потому, что вы — дугонув. Я надеялся, что наши годы общего труда укажут вам на это. И гораздо более страшное должен я сказать вам, чем то, что вы находитесь в нобелевских списках, — эти списки вещь второстепенная. Вот, просмотрите эти три графика, первый, второй и третий. Первый — это график мероприятий, которые предлагали провести на нефти инженеры-коммунисты. Второй — это график мероприятий, которые через своих агентов стремился провести на советской нефти Нобель и

его присные, вплоть до... А третий график — это то, что вы вашими знаниями, авторитетом и волей провели на советской нефти в жизнь, что сделано и построено вашими приказами и вашими руками.

На целый час в высокопотолоком кабинете замерла тишина. Проходила полночь. За окнами лежали просторы неба и снега, зима, мороз, ночь. Кондаков сверял графики. Близорукий, подобранный и рыжий сидел неподвижно. Кондаков сложил графики. Заговорил рыжий.

— Видите, Владимир Иванович, ваши мероприятия совпадают с графиками, почти совпадают с графиками Нобеля. Вам непонятно, как это получилось. Я тоже не сразу это понял, я ведь около вас учился. Но теперь я объясню вам, в чем дело. Оказывается, принципы капиталистического построения промышленности и социалистического промышленного строительства — не одно и то же. Вы — инженер, сложившийся в капиталистическую эпоху. Вы — капиталистический инженер. Принципы вашего строительства — принципы капиталистического промышленника. Когда вы уклонялись от политики, вы занимались именно политикой, хоть и бессознательно, и политикой капиталистической. — Близорукий развернул графики, положил их перед Кондаковым, стал около него. — Возьмите, ну предположим, этот пункт. Коммунисты-инженеры настаивали на всеобщем охвате фабзавучами всей молодежи. Нобель предлагал — пять лишних скважин. Вы отстаивали позицию Нобеля. Ясно — почему, — лишние скважины — лишняя нефть, — прибыли. Вы не подумали, почему Нобель был категорически против фабзавучей. Вам они казались излишней роскошью в лучшем случае или просто глупостью. Нобель понимал, что если рабочие с детства будут учиться в промысловых фабзавучах, если они с детства будут политически грамотными, т.е. будут не только считать, но и ощущать, но и обосновывать знанием, что промысел — их собственность, их дело, их общественное достояние, их право на жизнь, —

что при таком пролетариате Нобелю не удастся получить обратно свои промысла, ибо такие рабочие будут драться за свой промысел, как за свою собственность, за свое право, за жизнь, до последней капли крови, — не образно, но на самом деле. Нобелю такого рабочего не нужно. Но Нобель ничего не имеет против, чтобы нефтяная промышленность пока-что развивалась, как промышленность наиприбыльнейшая... Хотите еще примеров или достаточно?

— Достаточно, — сказал Кондаков.

— Теперь я объясню вам, как это получилось практически. Вы — нефтяной гигант. Вы — почти легенда. Вы — окружены доверием. Ваше слово — стопудово. К вам приходили коммунисты, они говорили на чужом для вас языке, они оперировали чуждыми для вас понятиями. К вам приходили — Трэннер и Осадков, — Осадков тоже арестован, — они были ясны вам, они мыслили вашими образами, круг их понятий был вашим кругом понятий, они звали вас к себе в гости, вы приглашали их на большой шлем. Вы и они имели одни и те же взгляды на промышленность. Ваши жены связаны были бытом, покупками, воспитанием. Нобель не осмеливался купить вас, он знал, что вы непокупаемы. Но Нобель мог, и он это делал, — он приказывал Трэннеру и Осадкову, и прочим, за винтом, через жен, за рюмкой водки, вообще за дружбой лирически заговорить о промышленности, восхвалить ваши дела, завести разговор о делах на нефти в тон ваших принципов, высказать свои высокие принципы. во имя нефтяного дела. Понятно, можно дальше не разъяснять!..

Подобранный и рыжий замолчал. Молчал и Кондаков. Молчали кабинет, коридоры за кабинетом, ночь, великие декабрьские снега. Опять заговорил близорукий и подобранный.

— Но и это не все, Владимир Иванович. Ночь уже поздняя, да и разговор не частый, ночи этой спать мы с вами, как видно, не будем. Разрешите еще сказать — по тем же принципам, которые были нами условлены, — по принципам прямоты и доброкачественности.

Я не солгал вам, что я вас люблю. Но я не солгу вам, сейчас подсчитано, что вы, ваша работа, ваши распоряжения — повредили советской нефти на несколько миллионов рублей и на год, на полтора работы заново на промыслах, попорченных нобелевским вредительством. На самом деле, — вы оказались растратчиком, — куда там разные бухгалтера и кассиры, которые все вместе наворовали тысячу пятьсот семьдесят пять рублей пятьдесят семь копеек!.. все эти цифры я могу вам показать. Но я хочу сейчас говорить не об этом. Некогда вы сказали мне, что в чувства и в душу другу вмешиваться мы не будем. Я уже вмешался сегодня в чувства. Позвольте вмешаться в душу. Вы сказали мне однажды, что вы веруете в бога по старой вере, что вы не верите в классовую сущность человеческих отношений, — быть-может, слово «класс» и сейчас вас шокирует!?. — А я думаю, что в бога вы не веруете, потому что вы никогда серьезно об этом не задумывались и никогда не изучали вопросов религии; — равно как, говоря о классах, вы судите о вещах, которых вы не знаете. Ведь вы же не прочитали по этим вопросам ни единой тощей книжки, заранее решая, — «а, ерунда, слышали!» — когда на самом деле вы только слышали, но не знаете, о чем идет этот слух. Вы отдали вашу жизнь нефти, и бог остался у вас таким, каким приобрели вы его в детстве у вашей бабушки. Тогда же вы слышали о феодальном понятии «Россия», и оставили его себе за аксиому. Это самое главное, Владимир Иванович. Это именно то, что мы предлагаем знать фабзайцам. Именно это привело нас к сегодняшнему разговору. Вы сказали мне однажды — если не сговоримся принципиально, разрешите уйти. Теперь я должен сказать вам это. Знаете ли вы, почему вы не ушли к белым, потеряв вашу семью, и почему вы сейчас здесь, а не в Париже? — потому что вы из-за Волги, из семьи дугонгувов. Попомните это.

Рыжий и близорукий замолчал. Лохматые его волосы переутомленно упали

на лоб. Подобранный, он сидел, чуть-чуть сгорбившись. В кабинете горел ярчайший свет. И кабинет наполнился такой тишиной, которая была до сих пор только однажды, в доме на Волге, в декабрьскую ночь, когда у парадного зашли красногвардейцы, а из кухни, под откос к Волге убежали дети, — такой тишиной, которой никогда не бывает в мире. Молчали кабинет, коридоры за кабинетом, Москва за коридорами, лунная ночь, снега.

Кондаков оперся руками о ручки кресла, поднялся на руках, и Кондаков спросил:

— Почему меня не арестовали?

— Не надо. Мы уговорились с вами говорить прямо.

— Прикажете мне удалиться? — спросил Кондаков.

— Да, поздно. Поедемте, я подвезу вас, — сказал подобранный и добавил тихо: — Владимир Иванович!.. вы говорили о России, о деле. Нету никакой мистической России! — есть вот те миллионы людей, которые живут на землях прежней России, — подумайте о них!

— Вы меня не поняли, — сказал Кондаков, — я спрашиваю — вы приказываете мне оставить мою работу?

— Мы условились с вами разойтись, если не сговоримся принципиально, — ответил подобранный. — Приходите завтра или послезавтра, или через неделю. Будем говорить снова. Вы ж дугонгув!..

Великие снега лежали на декабрьской земле. Великое небо покрыло Москву в морозе луны. Двое вышли на улицу в зеленую лунную ясность. Заиндевевший автомобиль под'ехал к этим двоим. Автомобиль ушел в пустоту снежных улиц. У громады государственного дома эти двое прощались. И старший вдруг, потцовски и старчески одновременно, обнял молодого, бессильно опустил голову к нему на плечо, на сукно солдатской шинели.

14 окт. 934.

Улица Правды.

# Два стихотворения

НИК. АСЕЕВ

## 1. Летнее письмо

Напиши хоть раз ко мне  
такое же большое  
И такое ж  
жаркое письмо,  
Чтоб оно  
топорщилось листвою  
И несло  
по воздуху само.  
Чтоб шумели  
шелковые ветви,  
Словно губы,  
спутавшись на ты,  
Чтоб  
сияла марка на конверте  
Желтоглазым  
зайцем золотым.  
Чтоб кололись буквы,  
точно иглы,  
Растопившись  
в солнечном огне,  
Чтобы синь,  
которой мы достигли,  
Взоры  
заволакивала мне.  
Чтоб потом,  
в нахмуренные хвои  
Точно —  
ночь вошла, темным-темна...  
Чтобы —  
все нам чувствовалось вдвое,  
Как вдвоем гляделось из окна.

Чтоб до часа утра,  
до шести нам,  
Голову  
откинув на руке,  
Пахло  
земляникой и жасмином  
В каждой  
перечеркнутой строке.  
У жасмина  
запах свежей кожи,  
Земляникой —  
млеет леса страсть,  
Чтоб и позже —  
осенью погожей —  
Нам не разойтись,  
не запропасть.  
Только знаю:  
так ты не напишешь...  
Стоит мне  
на месяц отойти —  
По-другому  
думаешь и дышишь,  
О другом  
ты думаешь пути.  
И другие дни  
тебе по нраву,  
По-другому  
смотришься в зрачки...  
И письмо  
про новую забаву  
Разорву я накрест,  
на клочки.

## 2. По Оке на глиссере

Глиссером,  
по вечерней,  
медной,  
тускло плавающей Оке,  
С дорогою,  
неверной,  
бедной,  
охладевшей рукой в руке.  
Брызгами,  
разлетаясь  
на стены,  
за кормою кипит вода.  
Все безрадостнее,  
все явственней,  
ветер за плечи рвет года.  
Зеркалами огня  
кровавыми,  
на осколки разбивши плес,  
Над беспмятными  
провалами  
он былое,  
свистя, унес.

Что тут памяти  
тускло вспыхивать,  
берега зазя волновать.  
Это выдумка  
вечера тихого,  
неудачна и не нова.  
Этот путь,  
прорезаемый глиссером,  
в предвечерний речной туман,—  
Наш,  
усыпанный водным бисером,  
завершившийся роман.  
Берега отдаются сумерком,  
под жестокою медь зари,  
Ночь летит с парашюта кувырком,  
как ни вспыхивай ни гори.  
За спиною режет пропеллер  
наше прошлое  
без следа...  
Берега навзрыд захрапели,  
и без памяти спит вода.

# Магистраль

Роман

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

(Продолжение <sup>1</sup>)

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

**Ч**тобы перевезти жену и сына из города на прорабский пункт, Дорофеев потерял всего два рабочих дня; но ему казалось, что отсутствовал он бесконечно долго и что упущено так много, как будто и на трассе, и в конторе никто ничего не делал без него.

Он кое-как разместил багаж в двух комнатах, очищенных для него в доме конторы, расставил кровати, бегом перенес рукомыльник со двора в спальню, а седло и уздечки — из спальни в кочетору, наскоро выбил пыль из матрацев и взялся за фуражку:

— Ну, Линок, я поехал.

— Куда?

— На трассу.

— А мы?

— А вы устраивайтесь пока. Я к вечеру обязательно вернусь, часам к девяти, даю слово.

— То-есть... как к девяти? А обед... а чай? Наконец, ты же весь пыльный, хоть почистись сперва...

— Ничего, там все — пыльные. Обед ты возьми в столовой, Линочка. Это рядом, на соседней улице, Лебедев тебе покажет...

— Василий, постой. Ведь сегодня же — выходной день!

Он помахал фуражкой, обнажив улыбкой широкие, крепкие зубы, и загремел сапогами с крыльца, и через минуту промелькнул на трясучей линейке с техником и двумя десятниками, а Магдалина все стояла посреди комнаты, между запертым чемоданом и раскрытой корзиной, и немигающим взглядом смотрела в окно. Горечь и злоба душили ее.

«Опять... Опять то же, что и на Турксибе...»

Неужели она попалась снова! Неужели сидеть тут, в этом степном захолустье, сидеть недели и месяцы, перечитывая по три раза каждую случайную книгу, по утрам таскать через двор в зловонную дыру горшки, по вечерам покорно и безнадежно ждать в полном одиночестве Василия до глубокой ночи, а днем — в виде единственного развлечения — ходить в столовую с судком в левой руке и с хнычущим сыном справа...

Она ударила ногой корзину и села на подоконник.

Белые хаты, скрип колодца, пыльные ноги крикливых баб. Внизу — река, пустынная, как степь, а дальше — бесконечная степная ширь, и на ней дорога, ровная, как река...

На год!

На год или два, а может быть, и больше...

Мальчик застонал во сне. Наверное, холодно ему под одной простыней, но одеяла еще надо трясти. Измучился ре-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 6, 7, 8, 9 и 10 с. г.

бенок совсем. Сколько езды, сколько суетолоки, сон на притычке, среди вони и грязи, кормление на ходу... Походная жизнь, видите ли, закалка с первого дня появления в мир. И Василий убежден, что любит сына! Новый стиль воспитания: произвести ребенка, бросить его на чужие руки — в ясли или там еще кому, а если жена не согласна, тогда тоже просто, — таскать его всюду за собой, как старые барыни таскали собак и кошек, и уже это считается предельной заботливостью о новом поколении. Как же — «очаг», «семья», «социализм не уничтожает семьи»... О, эти «социалисты понаслышке», близорукие практики современности! И Богун, и Василий, и этот Сурков — ведь все они несомненно и твердо убеждены, что строительство новой жизни состоит именно и только в строительстве новых заводов, новых домов и новых железных дорог. То-есть они конечно признают и книгу, и искусство, и теплые ванны, и даже лирику — примерно от ужина до двух часов ночи накануне выходного дня. Но, во-первых, выходные дни у них — ирреальность, философская абстракция, вроде «вещи в себе», которую взять нельзя, но следует всегда представлять себе существующей, хотя бы из уважения к глубине человеческого мышления; во-вторых, книги и уют, искусство и лирика, видимо, должны для них создаваться какими-то другими людьми, более свободными от «строительства»; а если таких не найдется, тогда вероятно культура должна просто возникать на новой почве сама собой, как сталактиты в пещере...

— Ох, тоска какая!

Потягиваясь, она оглядела комнату. Пыльный, большой узел — серое одеяло в ремнях, набитое подушками и мелкими вещами, — лежал перед женщиной на сорном полу. Она смотрела на этот узел застывшими глазами, и ей казалось, что и вся жизнь ее с Дорофеевым — такая же серая, такая же пыльная, набитая такой же случайной мелочью, никчемно и случайно брошенная на этот чужой замусоренный пол.

«Линка, Линка, посмотри на себя...»

Юбка старая, вся в пятнах, кофточка порвалась и выцвела, туфли — страшно

смотреть. Ну и пусть, пусть! От такой жизни и сама выцветешь в тридцать лет. Василий — он ничего не замечает, он не хочет ничего замечать. Господи, как мало надо этому человеку! Хорошо же. Надо назло ему опуститься так, чтобы он заметил наконец...

Из перулка выехала линейка. На ней, кроме кучера, сидел только Богун. Магдалина, как тень, исчезла с подоконника и бесшумно скользнула в угол. Неужели видел? Ни одной занавески на окнах, даже переодеться негде. И зеркало еще не вынута... и ключ от чемодана у Василия в кошельке!

Она огнула от бешенства и, присев на корточки, выгибаясь так, чтобы не видно было из окна, перебралась к постели сына.

— Спи, милый, спи...

Шепча и приговаривая любовные ласковые слова, она осторожно сняла с мальчика простыню, ловко освободила одеяло от ремней и завернутых в него подушек и, укрывши им сына, тихонько поцеловала темные стриженные волосы.

— Спи...

Когда линейка с Богунем под'ехала к дому, открытые окна прорабовского жилища уже были оба завешены простыней, и техник услышал за нею легкий и тихий напев:

О, эти черные глаза  
Меня пленили...

Богун на ходу прыгнул с линейки, пение стихло. Он постучал по ставню:

— Магдалина Ивановна, можно к вам?

— Ой, нельзя, нельзя, у нас хаос! И отойдите от окна, Богун, я одеваюсь.

— Магдалина Ивановна, меня Василь Васильч просил... может быть, вам помочь?..

— Что, одеваться помочь? — Женщина засмеялась тихим, дрожащим смехом, угадывалось, что она стоит за простыней у самого окна.

— Да нет, что вы! — Богун даже покраснел, хотя поблизости никого не было. — С вещами помочь, распаковать там... или перенести...

— Ах, это... хорошо, тогда подождите минут пять.

Богун присел на скамейку, мужественно повернувшись к окну спиной. Он чувствовал, что у него горят уши; мимо шли плотники с барачных работ, он отгетил на их приветствие, деловито нахмутив брови, и в то же время напряженно и воровато слушал каждый шорох позади, в комнате, и сам себе не посмел бы признаться в мыслях, от которых вдруг застучало в висках. Женщина, неодетая красивая женщина неслышно двигалась в двух шагах от него, защищенная от его взглядов только куском полотна, слишком легкого даже для такой безветренной погоды, и добродетелью скромности, слишком тяжелой даже для такого стойкого молодого человека.

О, эти черные глаза...

По голосу, по его быстрым, прерывающимся модуляциям было слышно, как женщина ходит по комнате — нагибается, садится, встает, делает какие-то энергичные, напряженные движения. Изредка Богун ловил ухом скрип корзины, шелест материи, слабый звук засежки, таинственный смысл которого заставлял сердце биться сильнее. Затаив дыхание, он подстерегал эти звуки, боясь выдать себя и в то же время жадно ища их, стремясь всеми помыслами навстречу им... Так браконьеры в старинных романах подстерегали драгоценную дичь в запаovedных королевских лесах.

Закрыв глаза, не шевелясь на своей скамье, техник каменского пункта южного строительного участка углубился в теорию вероятностей. Вот она бросила что-то в угол, прошлепали по полу шаги... неужели босиком? Вот затихла, стоит, словно в нерешительности, кажется, гладит себя по плечам. Вот села на корзину... Как чудесно скрипит корзина под ее тяжестью!.. Ясно, натягивает чулки. Вот вздохнула, встала, наклонилась опять, присела, вероятно на корточки, — перебирает платя.

Вот надела что-то... нет, сняла, — по обнаженной коже явственно скользит прохладным похлопываньем рука, запахло одеколоном. Какой тонкий, необыкновенный запах...

«Завтра с утра куплю одеколон», — решил Богун.

Между прочим, завтра с утра предстояло еще что-то. Да, экскаватор... Опять — в ремонт. Просто каторга с этим делом — три дня работает, четыре стоит. Тысяч пять кубометров — из плана долой... Все равно как если бы все шестьсот землекопов на трассе прогуляли двое суток под ряд.

А убытки! За ремонт — плати, за простой — плагги, да две сменные бригады опять дурака будут валять по целым дням... И откуда только достали этих экскаваторщиков, словно нарочно ломают!...

Техник вздохнул устало. Хмурая тень заботы и горечи легла на его лицо.

— Ну, я готова!

Простыня белым парусом взлетела над Богунном и перекинулась на ставень. Техник вскочил: в окне стояла она — Ленок, Лина, Магдалина Ивановна, чудесная, блистающая, как была однажды в городе, в театре, даже еще лучше, еще красивей. Белое нарядное «платье-рубашка», круглые руки, голые до плеч, какие-то цветистые бусы на шее, чуть загоревшей, все с той же милой родинкой, которую счастливцев Дорощеев может целовать, сколько захочет. Все то же милое и странное, матово-белое лицо, и знакомо и незнакомо блестят темные глаза, и попрежнему смеются смущенно, как будто знают, с какой жадной и трепетной радостью припал бы он сейчас к этим ярким крупным губам.

— Ли... Магдалина Ивановна, как вы прекрас... но поправились, — запинаясь, выговорил Богун, а сам смотрел на нее во все глаза.

— Я? Будет вам, я похудела отчаянно. Ну, входите, теперь можно. Впрочем я выйду сама. Отойдите-ка...

В две секунды она взобралась на подоконник и прыгнула на скамейку, — Богун не успел даже протянуть руку.

— Ну, вот скажите, где же это я поправилась?

— Где? Да там, в городе.

— Фу, глупый. Я спрашиваю — где... ну, в... каких местах это заметно?

— Как где?.. Везде!



Он смотрел такими восхищенными глазами, что она на минуту почувствовала себя вполне удовлетворенной. Странно только, почему же Василий ничего такого не замечает. Этому человеку, кажется, все равно, какая у него жена...

— А вот вы похудели, — сказала она вслух, оглядывая Богуну. — Вы в городе совсем, совсем... другой были.

Она стояла перед техником, высокая, в новых, модных туфлях, стройные ноги ее блистали, облитые тонкими, золотистыми чулками. И Богун вдруг почувствовал, что он небрит и грязен, что волосы из-под фуражки давно уже торчат косицами на затылке и около ушей, а сапоги не только не чищены, но и стоптаны безобразно, так что сзади на верное ноги кажутся кривыми.

— Да... Переменился немножко, — сказал он упавшим голосом. И не решился протянуть ей руку, пахнущую конским потом и землей, и молча пошел за ней в комнаты, даже радуясь тому, что сейчас нужно будет таскать вещи, что-то двигать и носить. и можно будет почти не разговаривать и не смотреть ей в лицо.

Мальчик спал крепко, и они осторожно принялись за уборку. Магдалина повязалась простыней, как фартуком, и ходила среди разбросанных вещей, шопотом указывая, что куда поставить. Всю мебель, оставленную для них в обеих комнатах, она хотела передвинуть по своему. Она содрала со стен засиженные мухами открытки и бумажные веера, послала соседних девочек за полевыми цветами, сказала что-то приятное уборщице конторы, и, пока Богун во второй комнате передвигал по-новому стол, комод и древнее подобие буфета, в первой комнате под командой Магдалины уже кончалось мытье окон, пола и даже дверей.

— Там будет спальня, а здесь столовая, — объявила она, выходя. — Богунчик, вы замечательно все расставили! Только надо комод опять передвинуть к окну, а буфет — в угол. Так будет еще уютнее.

Она выглянула в сад, примыкавший к дому, нашла его тоже замечательным и

вернулась с тремя чудесными левкоями; появилась откуда-то стеклянная банка со свежей водой, и все это в две минуты увенчало комод, уже накрытый белой кружевной дорожкой, и старый потрепавшийся комод сразу помолодел.

... Цветок душистых прерий...

Женщина напевала вполголоса, расставляя вокруг левкоев пудреницу, флаконы, коробочки. Принесли и полевые цветы, — они запестрели на столе, на окнах, голубые, желтые, синие, — комнаты стали светлыми, солнечными, и уборщица оглядывала их с изумлением, словно мыла здесь полы не в сотый, а в первый раз. Магдалина сбросила «фартук»:

— Ну, теперь всё!

Цветок душистых прерий,  
Твой взгляд нежней сирени...

— Вы сами цветок, Лина... — тихо сказал Богун, и сам испугался, увидев, что она расслышала.

— Я? Возможно. Но прерии ваши мне решительно не подходят. — Она закрыла окно. — Пылища какая, ужас! И потом ведь у меня глаза совсем не «как небо голубое»...

«Мне все равно, какие у тебя глаза, но ты красивее всех женщин на свете. И если ты меня не полюбишь, я не могу больше строить никаких магистралей, я уеду с этого участка в Сибирь, в Казакстан, куда глаза глядят...»

Так думал мучительно техник Богун, в последний раз передвигая буфет. Эта женщина действовала на него, как музыка. А Григорий Богун восторженно любил музыку — веселую, искристую, задорную, то сверкающую ослепительным женственным лукавством, то певуче-томную, как гитара в лунную ночь. Григорий Богун любил оперетту; и Ленок, Лина. Магдалина Ивановна Волкова с первой встречи показалась ему сказочной находкой, живым воплощением самых желанных образов из любимых спектаклей. Она была Сильвой и Баядеркой, она напоминала сразу и Гейшу, и Холопку, и Роз-Мари... Он притиснул буфет к выбеленной стене и, сча-

стливый и страдающий, встал среди комнаты, вытирая ладони о галифе и не зная, что бы еще сделать для нее. Он уже забыл про небритые щеки и косицы на затылке и даже не подозревал о том, какая пропасть отделяет его теперь в глазах Лины от щеголеватого Гриши с фарфоровыми усиками, работавшего с нею вместе всего полгода назад.

— Что вы на меня так смотрите? — проговорила женщина. — Мойте руки, сейчас будем пить чай.

За столом они говорили о городе, о гастролях московского мюзик-холла, о том, что управление строительства магистрали скоро переезжает в новое, громадное собственное здание. Время от времени в пустых комнатах конторы звонил телефон, Богун на минутку убежал туда, и тогда Магдалина смотрела в окно. Неужели Василий действительно не придет до вечера! Ей страстно хотелось, чтоб он увидел ее именно сейчас, увидел Богуну, с этими восхищенными глазами, и комнаты, ставшие неузнаваемыми.

Но время шло, по улице проезжали подводы с лесом и камнем, ходили в столовую и обратно плотники, землекопы, босоногие ребятишки гоняли кур. Дорофеева не было.

Вернулся и другой техник, которого Магдалина еще не знала, в белой запляненной толстовке, с нивелиром и группой рабочих. Он прошел под самым окном, и Богун крикнул ему:

— Тукин, тебе три раза из райкома звонили!

— А, хорошо, — устало отозвался Тукин и прошел, не глядя в окно.

Магдалина прищурилась ему вслед.

— Слушайте, Богун, значит, у вас все работают в выходной день?

— Нет, контора закрыта.

— А рабочие?

— Землекопы, они воскресенье празднуют. Ну, и плотники за ними. — Богун усмехнулся снисходительно, как усмехается взрослый, говоря о шалостях детей. — Не признают, черти, советского календаря. А нам уж так приходится: по воскресеньям — нормальный трудовой день в конторе, а по выходным дням... тоже дома сидеть не будешь, раз

на трассе работа идет. Тукин вот сегодня новый вариант промерял, до балки «Три пальца», знаете? А Василь Васильич наверняка на котловане, на берегу.

— А вы? Значит, вы из-за меня время теряете...

— Нет, зачем, — смутился Богун. — Я с утра... с шести часов сегодня, с экватором все маюсь.

Он задумался, ковыряя ногтем белую скатерть. Ногти были большие и грязные, взгляд стал глубже, и лицо техника прорезали две строгие складки — от крыльев носа к углам рта. Магдалина закинула руки за голову, посмотрела насмешливо:

— Вы скучный стали, Богун. А я еще для вас пела, сегодня через простыню.

— Для меня?

— Эх, вы. А помните — город, вечер у нас в общежитии, патефон... У вас тогда настоящие «черные глаза» были.

— Смеетесь вы надо мной. — Богун порозовел, глаза блеснули, он отвернулся в окно.

— Совсем не смеюсь. Я не люблю притворяться. Я именно для того и пела, пока одевалась, чтобы вы вспомнили. Но оказывается, в прериях жизнь другая, Гриша, а? Глаза ваши выцвели, как и моя кофточка, в которой вы мечя увидели в театре, помните? Тоже забыл?

— Нет, помню, помню...

— И наш разговор деловой, и как вы меня за жену главного инженера приняли, и как Максим Робертович Гесс отступил по всему фронту, оставив вас полным победителем...

— Помню, всё помню... — Богун замер на стуле, устремив на Магдалину глаза, словно прислушиваясь к чему-то далекому. Лицо у него опять ожило, он выглядел, как человек, внезапно уловивший неясные, дорогие звуки, которых уже не надеялся услышать.

Откинувшись на стуле, женщина говорила тихим голосом, напоминая одну за другой волнующие милые мелочи. Она смотрела из-под опущенных ресниц, и ей самой начинало казаться, что все это было прекрасно, что, может быть, еще немного, и все тогда кончилось бы иначе, и она полюбила бы этого востор-

женного красивого мальчика, и Василий, потеряв ее, понял бы наконец, что он имел и не умел ценить...

— Да, да... — ронял Богун в ответ на ее слова. — Лина, дорогая, знаете что... Мне кажется... Слышите?

Он поднял ладонь. Далекий, чуть слышный шум донесся в окно.

— Факт!! — закричал техник, вскакивая. — Магдалина Ивановна, факт! Экскаватор пустили, урра!

Он метнулся в дверь, вернулся за фуражкой и кинулся опять, крича на ходу:

— Я сейчас, я на минутку!

Еще раз мелькнуло под окном его радостное лицо, было слышно, как он распоряжался во дворе оседлать лошадь, и скоро мягкий топот копыт понесся по тихой, пыльной улице.

Магдалина сидела неподвижно. Но проснулся сын, разбуженный криком Богун. Она пошла к нему, стала одевать, умывать, накормила, погуляла с ним в саду, потом нашла в корзине его любимые сказки Андерсена и долго читала вслух. Но все это она делала механически, только потому, что это надо было делать, и потому, что, кроме нее, здесь некому было делать всё это. Что-то стыло у нее внутри.

Бездумное, вялое равнодушие овладело ею, не хотелось ни вставать, ни ходить, ни зажигать лампу, да и керосин она забыла спросить у уборщицы. В сумерках мальчик стал хныкать, она вышла с ним на улицу и около часу ходила перед домом. Запоздалое стадо шло с реки, и хлопанье пастушьих бичей, похожее на револьверные выстрелы, заставляло Магдалину вздрагивать, хотя она сама стреляла из дорофеевского нагана еще лучше, чем муж.

Стало совсем темно, когда они вернулись в комнату. В темноте мать и сын поели и прилегли вместе, и Магдалина проснулась только от сильного стука в окно.

Она открыла, не соображая, где она, и почему на улице ночь.

— Линок, это я, — сказал из тьмы тревожный голос Дорофеева. — Я уж думал, случилось что, минут двадцать стучу.

Он вошел, осторожно скрипя тяжелыми сапогами, торопливо расспрашивал, как они провели день, говорил что-то про котлован, разыскивая впотьмах спички, потом принес из конторы керосиновую лампу, зажег — и остановился в изумлении.

— О, вот это да!

Осмотрел обе комнаты, радостный, благодарный, от удовольствия прищелкивая пальцами. Потом обернулся, увидел жену:

— Ого... Ай да Линок! Красота, прямо красота!.. Ну, и нарядная же ты у меня!

Подошел, обнял плотно, ласково, не отпуская и гладил по рукам, по спине, крепко и жадно целуя в шею.

— Ждала? Скучала? Ничего, Линок, все устроится, вот дай отсыпем подходы к мосту...

Она молча прижималась к нему. «Любит, любит... И всегда будет любить. Мой, только мой...» Не хотелось сейчас ни города, ни шума, ни веселья, — хотелось только его, большого, сильного, умного человека, одаренного крупнее всех своих товарищей, человека, перед которым (о, как хорошо она знала это!) с каждым годом всё шире будет дорога в стране...

Тяжело дыша, она прерывисто отвечала на его поцелуи, она отстраняла его руки, а сама все крепче прижималась к нему.

— Вася... постой... платье... — слабо говорила она. — У тебя руки... керосиновые...

.....

Он заснул в четвертом часу утра, положив растрепанную голову на грудь жене. Магдалине спать не хотелось. Она лежала на спине, отдыхая, руки Дорофеева всё еще обнимали ее. Она гладила его волосы, влажные от усталости, чувствуя себя победительницей. Ночь истекла в комнате, за окнами полосой розовела заря. Как сладко похрапывает Василий! Глупый...

И вдруг на комод затрещал звонок. Будильник... Кто завел будильник?

Дорофеев зашевелился, поднял голову:

— Ага, уже пять...

Через четверть часа он был одет и умыт. Магдалина, приподнявшись на локте, смотрела на него с постели немигающими, широко раскрытыми глазами. Дорофеев пил прямо из кринки молоко, кусок хлеба ворочался у него за щекой, лицо было сосредоточенное.

— Линок, — негромко говорил он, оглядываясь на кровать сына. — А что это ты вчера... как напудрилась... — Он ел и, наклоняясь, рассматривал лицо жены ясным, спокойным взглядом. — Уж очень, знаешь, густо... Словно мукой обсыпала. И потом — губы. Ты извини, но даже... неумело покрашено. И ярко чересчур.

— Может быть, — также спокойно сказала Магдалина. — Зеркало в чемодане, а ключ ты забыл оставить.

Она дрожала под одеялом от беспечности и унижения. Он молча подал ключ от чемодана, под окном затарахтела линейка.

— Сейчас! — крикнул в окно прораб и наклонился поцеловать жену. Если днем не выйдет, то к вечеру вернуться обязательно, Линок. Береги Чирика.

— Уйди, — сдавленно сказала женщина, отстраняясь. — Уходи... животное...

И прижалась лицом к подушке, вздрагивая от беззвучных рыданий голым плечом. Прораб поморгал удивленно, осторожно накрыл плечо одеялом и уехал.

Будильник показывал ровно шесть утра.



В год, когда знаменитый уже писатель Гоголь прославил на весь мир «божье чудо» — удалую российскую пугдую-тройку, когда тысячи и тысячи образованных людей восхищались апофеозом ярославского дорожного снаряда, показавшего всему свету невиданное, «наводящее ужас движение», — в этот год впервые попал на английскую железную дорогу никому еще неизвестный молодой человек.

«... Вы, жалующиеся на прозу железных дорог, которых вы никогда не ви-

дели, садитесь на поезд, идущий из Лондона в Ливерпуль! Если есть какая-нибудь страна, которая создана для того, чтобы проноситься через нее по железной дороге, то это Англия. В ней нет ослепительной красоты, нет колоссальных массивных скал, вся она полна мягких, волнистых холмов, которые при английском — всегда несколько бледном — солнечном освещении представляют неотразимое очарование... Особенно прекрасны деревья, покрывающие в одиночку и группами все поля, так что вся местность немного похожа на парк. Затем — туннель, поглощающий на несколько минут своим мраком вагон и кончающийся ложиной, из которой внезапно снова вырывается на смеющиеся солнечные поля. В одном месте дорога идет по виадуку поперек длинной долины; глубоко внизу лежат города и деревни, леса и луга, между которыми извивается речка; направо и налево — горы, расплывающиеся на далеком фоне, а над очаровательной долиной — волшебное освещение, полутуман, полусолнечный свет, но едва только ты успел осмотреть прелестную местность, как ты попадаешь на обнаженную ложину и имеешь время воссоздать фантазией магическую картину. И так оно продолжается, пока не наступит ночь и сон не смежит уставших от созерцания взоров... О, какая дивная поэзия заключена в провинциях Британии!!»

Прораб Дорофеев не знал о восторженных впечатлениях молодого Фридриха Энгельса.

Он объезжал свою трассу каждое утро и не видел на ней ни мрачных туннелей, ни прекрасных деревьев, ни виадуков над солнечными долинами. Только степь да балки, да курганы простирались вдоль его дороги, от самой реки, и не из Лондона в Ливерпуль шла эта дорога, а пока еще только по карте участка да в мечтах прораба Дорофеева. Но он ехал по ней, очарованный той же радостью созерцания, радостью, которую всегда порождает в борце движение. Он ехал на трясуей линейке и думал о том, что и здесь, в степи, скоро зашумят железным ветром поезда, и он тоже всем сердцем презирал людей,

жалующихся на прозу железных дорог, и всем сердцем хотел построить такую дорогу, на которую не пришлось бы жаловаться никому.

На всей трассе его района люди начинали работу вместе с солнцем. Насыпь рябила носилками, тачками, взблесками лопат. Землекопы встречали его приветствиями и попреками, он останавливался, отмечал выработку, записывал претензии на пищу и бараки, шутил и ругался и чувствовал вместе со многими другими людьми, что всё-таки дело не стоит на месте и что оно идет не назад, а вперед.

А дело это, — у Дорофеева, и у многих тысяч других людей во всех концах страны, — дело это было такое, что, если бы мог Фридрих Энгельс увидеть его, он испытал бы чувства, которые, заставили бы его забыть свое юношеское восхищение перед Англией.

Дело это состояло в том, чтобы по стране, родившейся заново и равной пространству ста шестидесяти двух Англий, чтобы по этой стране можно было и людям, и грузам проноситься с хотя бы английской (на первое время) скоростью.

Этого дела нельзя было осуществить с божьим чудом — с птицей-тройкой знаменитого писателя Гоголя.

Это дело предстояло осуществить советским железным дорогам.



Дорофеев вернулся с трассы, когда в конторе прорабского пункта уже начался рабочий день. Из раскрытого окна с голубыми разрисованными ставнями доносилось торопливое шелканье костяшек на счетах, на крыльце сквозь пышную сирень палисадника едва видна была коричневая лысина Кныша, строймастера по котловану.

«Опять за деньгами» — подумал Дорофеев и усмехнулся от удовольствия. Было приятно сознавать, что деньги наконец есть и что Кныш сейчас, пыхтя и торжествуя, побежит под гору, к своим, вместо того, чтобы торчать и ругаться в конторе, и люди будут рьяно и весело докапывать котлован, вместо того, чтобы

сонно тыкать лопаты в сырую глину и с молчаливой злостью поплевывать на дыгarki.

Он приподнялся в седле, об'езжая палисадник, и звонко крикнул в окно:

— Сурков вернулся, ребята?

— Во дворе, сейчас прикатил! — отозвались голоса из конторы, и несколько ухмыляющихся лиц высунулось из окон, встречая прораба. Дорофеев в'ехал во двор, отдал фыркающего мерина конюху и поднялся в сени, обивая веткой с сапог пыль и песок. В сенях у бутылки с квасом сидел на корточках Сурков. Он жадно пил из огромной кружки, свободной рукой выпутывая из мешка кожаную с медными застежками сумку. Светлые волосы на его затылке были темны от пота, рубаха прилипла к плечам.

— Сколько? — спросил Дорофеев с порога, с завистью глядя на квас.

— Тринадцать, — глухо проговорил Сурков в кружку, так что прораб не понял точно — тринадцать или двенадцать. И так, и так было скверно. Дорофеев протяжно свистнул. На одну зарплату сегодня же уйдет девять тысяч, да за фураж — полторы, да кузницу надо пускать, иначе встанет транспорт... На выкуп вагонов с досками опять не оставалось ничего. Что они там в участке, спятили от жары? Ведь твердо же было обещано — двадцать тысяч, при нем сам Рыбаков сказал бухгалтеру, и вот опять...

Дорофеев стоял, облизывая пересохшие губы, и злыми глазами смотрел на сумку Суркова. Если с кузницей подождать еще декаду да из зарплаты придержать тысячи три... Или фуражные? Фураж — нельзя, лошади встанут. Но ведь не выкупишь вагонов, прокурор опять грозил продажей с торгов...

— Иди к Абрам Семенчы, — сказал он Суркову, проходя. — Раскладывайтесь там пока, потом скажете мне.

Из просторных сеней он прошел в дощатый коридорчик и на ощупь толкнул дверь в маленькую светлую комнату с широким окном на реку. У окна стояла походная койка под серым армейским одеялом, по углам — треноги теодолитов, двухствольное ружье, ящики с нивеллирами, посреди комнаты —

письменный стол, совершенно чистый, с аккуратно сложенными по краям папками, кальками и стопкой нарезанной бумаги. Вдоль стен не было ничего — ни мебели, ни вещей, да и не могло быть; в комнате, кроме той двери, в которую Дорофеев прошел из сеней, было еще две двери: одна — фанерная — позади стола, другая — до половины стеклянная — прямо перед ним. Здесь было то, что бухгалтер Абрам Семеныч настойчиво называл кабинетом производителя работ.

Дорофеев бросил картуз на койку и сел в плетеное кресло у стола.

Сидя так, он мог отклониться назад и достать рукой фанерную дверь. Он приоткрыл ее и негромко позвал:

— Чирик, я здесь.

Легкий топот пробежал за дверью, темноголовый мальчуган в клетчатой рубашке заглянул в комнату:

— Здравствуй, папуль, и я здесь. Можно?

— Нет, невозможно. — Пыльной рукой Дорофеев погладил мягкие волосы ребенка. — Мама дома? Завтракали? Ну, скажи — я сейчас приду, пить хочется.

Дверь закрылась. Дорофеев опять осторожно приотворил ее и прислушался. За дверью было тихо, тикал будильник, через стену из третьей комнаты позванивала чайная посуда. Дорофеев послушал еще, потом, не закрывая двери, повернулся к столу и потянул к себе толстую папку.

«Расчетные документы...»

Медленно, как открывают ворота, инженер открыл папку. Гул голосов и стук колес, громоханье разгружаемых досок, скрип тачек, резкие свистки экскаватора с подвездного пути и усталое ржанье некованых лошадей сразу окружили его... Он слышал всё это, хотя в комнате стояла тишина. Он видел перед собой угрюмые лица мастеров и артельщиков, опустевший сеновал над конюшней, рыжие брови веснучатого прокурора, вагоны с досками, загнанные на станции в глухой тупик, и хмурые очки бухгалтера Абрам Семеныча...

— Абрам Семеныч! — зычно крикнул прораб, глядя в стеклянную дверь.

Бухгалтер вошел, но очков на нем не было, и, может быть, от этого было растерянным выражение его стариковских выцветших глаз.

— Это что же такое, Василь Василич, опять сорок процентов срезали! Так работать нельзя!

Бухгалтер согнулся над столом, сухой и щетинистый, показывая на лежавшую перед прорабом папку:

— Ведь одних платежей на семнадцать тысяч, а вы говорили, чтоб завхозу под отчет выдать и потом бригаде экскаваторной, — чтоб им провалиться, лодырям!.. Как хотите, так работать нельзя! Я вам рапорт подам!

— Что ж, дайте, все равно бумаг у меня много,—устало и тихо сказал прораб. — Садитесь-ка, прижмем. За фураж тысячу пятьсот, так?

— Так.

— Хорошо. Завхозу на кузницу дайте сегодня же тысячу.

— Так.

— Хорошо. Теперь Пыряеву, бригадиру экскаватора... Вы его последний отчет проверили? Хорошо, выдайте пятьсот, но с удержанием остатка по тому авансу.

— Так.

Прораб вынул из папки соответствующие бумаги, подписал и отдал.

— Ну, теперь зарплата. По ведомостям сколько всего?

— Девять тысяч триста семьдесят.

— Из них на контору?

— Три тысячи сорок.

— Чорт, раздут у нас аппарат... Так вот: рабочие ведомости оплатите полностью, а в конторе — только тем, кто получает меньше двухсот. Остальные пождут. Это сколько составит?

— Семьсот... Восемьсот двадцать... Девятьсот девяносто.

— Очень хорошо. Значит, остается две тысячи пятьдесят. Великолепно, выкупайте один вагон досок, на остальные все равно нехватит.

— Василь Василич, а зарплату откуда возьмем? Ведь сколько ждаться придется, кто ж это выдержит... У вас семья, у меня семья...

— Деньги через неделю будут. Я ручаюсь, понятно? Распорядитесь за моей

подписью в столовую, чтобы десять дней обеда и все прочее сотрудникам отпустили в кредит.

— Что ж, ваше дело. — Бухгалтер собрал бумаги, собираясь уйти. — Только ведь, Василь Василич, на одной столовой людям не обойтись. Молоко ребята для кооператив, сами знаете...

— Доски, Абрам Семеныч, доски нужны! Бараки строить надо? Земляные работы как ползут? Мы с вами молоко будем покупать, а вы видели, как груженую тачку по песку возят?

Бухгалтер молчал. В стеклянную дверь нетерпеливо заглядывали люди, в контро нарастал шум, пьяный голос громко ругал стройку под самым окном. Прораб захлопнул папку и бросил на край стола.

— Всё, Абрам Семеныч! В четыре зайдите опять, насчет расценок грабарям, — от них бригадиры придут. Кто там ко мне, товарищи?

Бухгалтера сменили кладовщик с завхозом, потом два строймастера с руготней из-за лопат, потом техник с расчетами, потом вся вечерняя смена с экскаватора во главе с красноносым Пыряевым — требовать аванс за предстоящий в виду ремонта простой. День прораба катился по своему извилистому руслу, как дерево по горной реке, вертясь, ударяясь о камни, перескакивая острова, выбрасываясь то на тот, то на другой берег...

В полдень вернулся с котлована Кныш, измученный и довольный. Он принес перемятую ведомость с расцисками всей артели и вызов на социалистическое соревнование, адресованный котлованщиками обоим экскаваторным сменам. Вызов был написан на оборотной стороне ведомости, кривые буквы расплывались по серой испятнанной бумаге, от нее пахло водкой не меньше, чем от самого строймастера. Но Кныш, прижимая ведомость к пропотевшей блузе, яростно клялся:

— Вот те что хошь, товарищ начальник, — сначала вызов писали, а уж потом конешно выпили, вот те истинное слово!

Только выпивши, он называл прораба на ты, несмотря на шестилетнюю

дружбу. Он призывал в свидетели рабочих, пришедших с ним за носилками для котлована, и прораб вышел во двор — поговорить с ними по душам. На обратном пуги, в сених, он увидел недопитую Сурковым бутылку, вытер горлышко рукавом и долго тянул пересмякшими губами холодный, горько-пенистый квас.

Вернувшись к себе, он позвал чертежника, проверил отделку нового варианта трассы до балки, забрал со стола положенную делопроизводителем почту из участка и сел с нею на подоконник.

Река лежала внизу, широкая и тихая, в знойном полуденном мареве. Нагретый воздух зыбко дрожал над водой. На том берегу, низменном и зеленом, недвижно стояли коровы, у мостков застыл одинокий рыболов, сонно торчали в камышах длинные удилища. Полдень — томительный, расслабляющий, жаркий — стоял над рекой. Одна единственная плоскодонная лодка лениво покачивалась на самой середине ее, голый до пояса человек переходил с носа на корму и обратно, погружая в солнечную воду длинный шест. Прораб, просматривая корреспонденцию, рассеянно следил за ним: движется лодка или нет?

— «Разрешается временно увеличить штат на одного конторщика». Писанины прибавится. «Срочно представить заявку на лесоматериалы на третий квартал». А денег на доски не дают все-таки!.. «Список выдвигенцев по прорабству с точным указанием...» Что он там, заснул, что ли с шестом?.. «результатов выдвигения». «Технические условия на земляные работы...» Спыхватились, почти вся выемка выработана! Тоже спят, видно, в своей канцелярии. «Нормы выдачи фуража грабарям»... Нет, лодка стоит! Ищут, что ли чего? «Форма сведений по суточной экскавации». Формы не забыли, а вот запасные части... Дубликат на новые цепи для экскаватора, погруженные на станции отправления. Эх, дела! Не меньше двух недель еще ждать. Ведь вот канцелярщина! Уж на что боевой старик Рыбаков, а и его заедает....

Прораб вздохнул: «А мост? Когда же мост-то можно будет начать?! Отсылаем подходы, вырыли котлованы, а опоры

клясть — до сих пор камня нет! Скорей бы узкоколейку до того карьера, что отыскал парторг...»

Он поднял глаза на реку. Справа — в полукилометре вниз по течению — к водяной глади подступала, как вал, высокая насыпь.

Прораб, щурясь от солнца, смотрел туда, привычно различая очертания работ. Черные фигурки людей двигались там, слабо доносился скрежет лебедек, стуки и голоса. На правом берегу за насыпью шумел экскаватор.

«Ничего, Дорофеев, ничего... Все-таки идет дело...»

Задрезжал телефон на стене. Прораб крутнул в ответ ручку и услышал в трубке приглушенный голос Богуна:

— Василь Василич, у меня экскаваторщики уходят. Сейчас заявила вся первая смена, отказываются работать.

— Что-о-о?.. — Прораб вскочил с подоконника. — Спятели, что ли? В чем дело?

— Да тут бригадир, Пыряев этот, набузил... Опять с расценкой. Завтра, говорят, на работу не встанем. Выпивши все они... опять грозят главному инженеру жаловаться...

— Я им покажу «не встанем»! — заорал прораб в телефон. Высунувшись с трубкой в окно, он грозил на берег кулаком, словно Богун и экскаваторщики могли его видеть оттуда. — В забастовки играть, чортовы дети! Пошли их, Богун, к растаковой матери, что ты в самом деле, хозяин или мокрая тряпка!

Богун задыхался в трубку, слышно было, что он взволнован и старается понизить голос.

— Нельзя, Василь Василич, тут это ни к чему, какая там забастовка. Они ж запяньствуют, если что, а заменить некем, сами знаете. Надо же как-нибудь...

Прораб, слушая, молча смотрел на берег. Он сам понимал, что сейчас экскаваторщики, как ни дрянная их сомнительная квалификация, — хозяева положения. Надо сцепить зубы и уступить хоть на декаду... Но ведь это — опять драка с участком, звонки, разговоры, ядовитые намеки на «равнодушие к сметной дисциплине»... Ну, нет! Какого дьявола лезть каждые сутки на рожон, —

дисциплина, так дисциплина! А если из-за бюрократов трещит дело, пусть сами и отвечают... Нет, чепуха! Тогда проба — что, пешка?

Река внизу золотилась от солнца. Стадо на том берегу мирно позвякивало бубенцами, чистые легкие звуки ясно доносились по тихой воде. Человек в лодке протяжно запел. Благостная тишина принималась к прорабу с поймы, он слушал ее и не слышал, в висках у него стучала кровь. Как прекрасна работа, которая делается с любовью, как омерзительны люди, отравляющие другим эту любовь!

Инженер Дорофеев щурил глаза, словно навстречу ему дул ветер. Лицо его потемнело от гнева, он приставил ладонь к трубке и тихо заговорил:

— Гриша, пусть подождут час. Успокой их там... Скажи, что говорил со мной. Через час я позвоню.

— Понятно! — отозвался обрадованный голос Богуна. — Спасибо, Василь Василич...

Телефон продребезжал отбой. Прораб медленно пошел к столу — три шага, обессиливающие, как тридцать километров.

«Ну погодите, товарищи рвачи... дайте срок, не поможет вам и рекомендация самого Гесса!»

Он грузно опустился в кресло и сидел неподвижно — минуту, две, три...

Легкие пальцы легли на его плечо: — Вася, ты хотел пить? Мальчик все ждет тебя, не хочет вставать из-за стола.

— Да, да, сию минуту. — Дорофеев быстро обернулся. — Ты, Линочка, не сердись. Я совсем позабыл, вот свинья... Он сконфуженно заглянул жене в глаза, торопливо поднялся и приоткрыл стеклянную дверь:

— Лебедев! Через двадцать минут соединить меня с начальником участка

Магдалина смотрела в спину мужа и думала:

«Почему вот он так заметно стареет и совершенно не замечает этого, а она, наоборот, с каждым месяцем этой походной жизни чувствует себя все утомленнее и старее, хотя Василий постоянно уверяет ее в обратном?»



Она повернулась и пошла к себе. Дорощеев шагала сзади, слегка обнимая ее за плечи, задевая голенищами сапог легкое светлое платье. От него пахло землей, кожей и лошадиным потом, на ходу он наклонялся к волосам Магдалины и бормотал виновато о делах, о том, что вот всё неприятности, но, как только уладится, всё опять будет хорошо. Так они прошли полутемную столовую, маленькую выбеленную спальню с таким же широким окном, как в комнате прораба, и вышли на «террасу» — просторное крытое крыльцо, выходившее в смежный с палисадником старый грушевый сад. Здесь был накрытый белой скатертью стол, за столом — обжженный, грустный Чирик, на столе — самовар, яйца, хлеб. Из палисадника лезла под навес сирень, воздух дышал томительно-сладкой прохладой. Дорощеев глубоко вздохнул, расширяя ноздри, и сел с сыном.

— Вот я и пришел, Чирик! Ну, чего ты? Давай чай пить, хорошо?

— Я тебе холодного сделала, два стакана, — говорила Лина, садясь напротив. Она явно старалась казаться довольной и спокойной, только глаза блестя знакомые Дорощееву сухим блеском. — Если хочешь, можно и горячего, самовар еще не остыл. Валя, не мешай папе, ведь ты уже пил.

Дорощеев взял стакан, украдкой оглядывая жену и сына. Смешанное неопределенное чувство жалости и виноватого смущения поднималось в нем. Пить ему совершенно не хотелось, но он сделал вид, что все во рту у него пересохло от жажды, залпом выпил оба стакана и, отдуваясь, расстегнул ворот рубахи.

— Вот, теперь хорошо! Немножко устал я, ребятишки...

— Еще бы, — отозвалась Лина, не глядя на него. — Шести не было, когда ты выехал на трассу.

Оба замолчали. Чирик смиренно сидел на скамье, исподлобья поглядывая на отца.

— Ну, что ты, глупыш? Ну, какой скучный, папа не любит скучных мальчиков... — Дорощеев с нелюбкой улыбкой нагнулся над сыном, посадил его

на руки. — Ты скажи, кто тебя обидел?

— Папа обидел. — Чирик поднял серые глаза, задрожали губы, крупные, как у матери. — Сказал, придешь, а целый день не приходил. Я уж устал, а все сидел и сидел, а ты про меня забыл. — Он сползал с колен Дорощеева, глаза его наполнились слезами. — Мы с мамой... мы тебе мешаем, ну и пусть... Зачем ты нас сюда привез?

Дорощеев перестал улыбаться и взглянул на жену.

— Это что, мама тебе сказала?

— Я ему ничего не говорила, Василий, как тебе не стыдно. — Лина наклонилась, поднимая полотенце, и Дорощеев с досадливой жалостью увидел, что губы ее дрожат, как у Чирика. В тягостном раздумьи оглянулся он в сад. Узорчатые солнечные дорожки ложились сквозь листья на траву, зеленая грушевая завязь пряталась под листьями, звонко стрекотали кузнечики. От запаха сирени Дорощееву казалось, что жизнь только еще начинается и что ему с Линой совсем не из-за чего ссориться, потому что они все равно любят друг друга и любят этого темноголового малыша...

— Чирик, поиграем, что ли?

— Пожалуйста, не зови его этой дурацкой кличкой. У него есть имя, Еще чиреем бы назвал...

Прораб вздохнул. На скамейке перед ним лежала раскрытая книга, заложенная зеленым магдалининым гребешком. Дорощеев рассеянно посмотрел на нее, соображая, сколько месяцев прошло с тех пор, когда сам он в последний раз читал книгу. Тихие всхлипы Чирика заставили его очнуться. Он встрепенулся, вскочил, схватил сына за руки, сбегал с ним, вырывающимся и плачущим, в сад, принялся бегать под деревьями с палкой наперевес, изображая индейца с копьем, воткнул себе и Чирику в волосы по ветке, потом спрятался от него за дерево и пополз по траве, выгибая голову, как разведчик, делая страшные и хитрые глаза. Чирик, мгновенно вытерев щеки, вошел в роль. Блестя глазами, он восхищенно следил за отцом, подражая ему в индейских ухватках, добросовест-

но полз, вскакивал и прятался. Военные крики огласили сад. Летали дробтики, копья торчали из кустов, на террасу мимо сдержанно улыбающейся Магдалины просвистел бумеранг.

Присев за кустом, Дорофеев взглянул на часы: оставалось шесть минут. Он вскочил, в два прыжка поймал сына и потащил его к дому, потрясая копьем. Чирик визжал от восторга, мать смотрела на них счастливым взглядом. Дорофеев поймал этот взгляд и, опуская ребенка на скамью, сказал озабоченно:

— Кстати, Лина. Когда мне взять отпуск — в сентябре или попозже, как потеему?

Магдалина изумленно подняла ресницы. Она ответила не сразу, как бы обдумывая все возможные варианты ответа и выбирая из них один, окончательный и лучший. Однако смысл и последовательность ее ответа были таковы, что, во-первых, ей все равно, и что вообще, зачем он спрашивает, раз отпуска бывают только осенью или зимой, и что, во-вторых, какая разница, — месяцем раньше или позже, — хотя все-таки уж лучше сентябрь, по крайней мере. Если будет тепло, то можно будет гулять, но что, в-третьих, конечно, как он хочет сам, пусть уж будет так, как лучше для работы.

Дорофеев внимательно выслушал ее. Это был тот самый смысл и та самая последовательность ответа, к которым он привык и которых ожидал. Но он делал вид, что слышит совершенно новую для него мысль, озабоченно кивал головой и, выслушав, тем же деловым тоном сказал:

— Видишь ли, если в сентябре, то прыдется или здесь, или поехать в Москву, к твоим старикам, только и всего.

— Ну, а если позже — не то же?

Дорофеев улыбнулся многозначительно. — А после можно бы поехать на юг, например в Сочи или еще куда.

— Ты получишь путевку? — Лина широко открыла глаза, чайная ложка звякнула в стакане. — Вася, получишь, да?

— Если в третий квартал выработаем весь план, Рыбаков сам обещал.

... Жилище прораба Дорофеева стало веселым и уютным. Чирик радостно прыгал на скамье, Лина с оживленным лицом раздевала его на «мертвый час» и слушала, что муж говорит про Сочи. Когда Дорофеев повернулся к двери, жена и сын ласково помахали ему:

— Уходи, уходи, папуль, Чирик хочет спать, мама хочет читать, иди скорей!

Быстро проходя комнаты, прораб взглянул на часы — оставалось полминуты. Он вошел к себе и громко позвал:

— Лебедев! Есть участок?

— Сейчас будет, Василь Василич! — отозвались за стеклянной дверью.

В конторе было тихо. Рабочие, табельщики, строймастера разошлись по работам, только Кныш еще гудел у стола молодого техника Тукина — секретаря партийной ячейки прорабского пункта. Работали на счетах конторщики Абрама Семеныча, насвистывал чертежник, свесив над восковой лохматые волосы. Тихое пенье едва слышно доносилось из сада:

Не искушай меня без нужды

Солнце, медленно опускаясь над мостом, било теперь во все шесть лицевых окон конторы.

Фиолетовым пламенем пылали чернильницы, жарко горели затворы на окнах и медные скобы на счетах конторщиков, зеркальными лучами сверкали у чертежника рейсфедеры и циркуль, золотая пыль лежала на некрашенных фанерных шкафах.

Прораб ждал, закусив губы. В чулане, приспособленном под телефонную будку, телефонист бешено крутил ручку, опасно покачиваясь в оконце. Из конторы выглядывал к нему Лебедев, громко шептал:

— Лютует... Давай скорей...

Прошла минута. Прораб взглянул на часы:

— Лебедев! Время истекло!!

Зычный голос пронесся по всему дому. В конторе чертежник перестал свистеть. На террасе в саду смокла мечтательная мелодия Глинки. Только телефонная ручка яростно скрежетала в чу-

лане. Прораб с силой захлопнул стеклянную дверь и шагнул к своему окну. Небо отражалось в распахнутом настежь стекле — голубое, далекое и чистое. Стрижи носились от обрыва к реке, над водой летала чайка, сверкая снежно-белыми крыльями. Прораб потянул носом воздух, — душистой свежестью повеяло с поймы; он расширил ноздри и вздохнул глубоко и облегченно, словно освобождаясь от тяжести. Блистающий день тек перед ним, маня к жизнерадостной лени простора. Прораб вытянул руки, упираясь в высокую белую раму. Солнечный воздух наполнил его широкую грудь, мускулы напряглись хмельно и упрямо. Зажмурил глаза, всем телом сладостно потянулся он, и тогда телефон опять задребезжал на стене.

— Есть участок!

Прораб снял трубку, и люди в конторе с изумлением слышали через стеклянную дверь его тихий, приглушенный голос. Прораб говорил долго, и долго слушал, и опять говорил тем же ровным, глухим голосом, — и никто в конторе не слышал этого необычайного разговора. Потом протрещал отбой, и сейчас же телефонист получил новое задание — соединить прорабство с берегом. И голос прораба, опять зычный и отчетливый, как всегда, проговорил в трубку:

— Бугон? Это я. Передать приказ на экскаватор: насчет расценок пусть придут завтра, после работы, лично ко мне. Что? Да когда хотят, только после пяти. Да-да, я буду дома. Привет.

Он сел за работу, просветленный и ясный, разметил почту, просмотрел пометки в записной книжке, сделанные утром на трассе. В половине четвертого подошли четыре бригадира грабарей, Абрам Семеныч вошел с ними к прорабу, начался долгий спор о нормах и авансах. Дорофеев убеждал и сердился, возмущался и просил, настаивал и снова ругался, хлопая ладонями по столу, но внутренне был радостен, тих и сосредоточен. Слушая нудные жалобы грабарей, он приглядывался к их лицам — обветренным, напряженно-равнодушным, смотрел в их глаза, непроницаемо-ясные

и обиженные у всех, и незаметно, одной репликой или усмешкой, ловил в этих глазах быстрые, лукавые искры, мгновенные переглядывания, и по этим хитрым огонькам незаметно, спокойно и уверенно вел старый, знакомый по всем прежним постройкам, извечный спор.

Грабари и бухгалтер ушли в пять, когда в конторе уже кончался рабочий день. Все сотрудники ушли в столовую, только Тукин сидел над калькой, сосредоточенный и хмурый, с циркулем и карандашом. Он провел все утро в райкоме, но вариант продольного профиля надо было завтра везти в контору участка, и выверить его вместо Тукина было некому, — всех остальных техников Дорофеев разослал по трассе. Это был тот самый злополучный вариант обхода трех балок, из-за которого прорабство впало в немилость участка. Заменяя три виадука одним большим, вариант сэкономил строительству полмиллиона рублей. Он был гордостью Тукина и прораба. Дважды представляли они свои расчеты участку, не уступая перед поправками и придирками, уточняя и дорабатывая сомнительные места. Теперь вариант исправлялся в третий раз, — предстояла победа или провал. И Туркин, согнувшись в тишине над калькой, упрямо шарил по чертежу покрасневшими от напряжения глазами. Он заново выверял каждую цифру: еще с утра, уходя в райком, он изорвал старые подсчеты, чтобы отрезать себе отступление.

Пообедав, прораб вышел к нему, молча сел рядом, и они сидели с карандашами и циркулем, пока неоспоримость варианта не заблестела у обоих в зрачках глубоким творческим огнем.

— Если Рыбаков забракует и теперь, — с ударением сказал Тукин, вставая, — тогда, я считаю, мы должны довести это до начальника строительства.

— Не придется, — уверенно сказал Дорофеев. Откинувшись на стуле, он потер ладонью лоб и усмехнулся:

— Он же понимает, что и так, и так дело дойдет до управления. Так уж выгоднее послать от себя, чем всякая там прорабская мелочь будет лезть в обход прямого начальства.

— Эх, сволота!.. — вздохнул Тукин. — Выходит, обойти три этаких балки легче, чем одного бюрократа...

— ... если он опытный, старый инженер, — угрюмо пошутил прораб. — Нет, брат, Рыбаков — не бюрократ. Старик дело знает, что и говорить... Ты вот что, поезжай-ка, брат, завтра к Рыбакову сам! Вернее будет. В случае чего — мне позвонишь. Кстати, ты сегодня в райкоме об этом не заговаривал?

— Как же, сказал. Орвис — в отпуску, бюро без него собрали.

— Ну?

— Говорят, поддержим полностью, кройте до точки.

— Это хорошо. Тогда вот еще что: если будет в участке буза, вызовешь меня, и поставим вопрос перед парторганизацией участка, верно?

Тукин смотрел, откинувшись. Потом стиснул прорабу локоть:

— Я просто дурак. Василий... Ну, ясное дело! И чего мы раньше думали? Если бы с самого начала так сделать...

— Провалились бы сразу и окончательно. Подъем ведь к виадуку как был рассчитан? Рыбаков тут бы и угробил. Ты думаешь, Гветадзе — да и другие все — с ним не считаются? Бюрократ — бюрократом, а ведь почти тридцать лет построечного стажа. Нет, вот теперь уж дело верное... Так, значит, завтра езжай!

— Есть. Теперь только вот тут перечертиг надо, а то грязно выглядит, вида нет... — Тукин смотрел на кальку углубленным, критическим взглядом, как художник на законченную картину. Он стоял, повернув голову от окна, почесывая ногтем щеку, вьющийся мягкий пушок золотился на впалой щеке. В неожиданном порыве Дорофеев обнял его плечи, угловатые под белой полотняной толстовкой, потянул к себе и, словно смутившись, легонько толкнул обратно:

— Ну-ну, валяй!

И ушел за стеклянную дверь. На столе дожидался толстый баланс за прошлый квартал, оставленный бухгалтером для просмотра и подписи. «Эх, запаздываем-то как...» Морщась, прораб придвинул счета.

Прошел, может быть, час.

В конторе послышались шаги и голоса, — Абрам Семеныч и Лебедев возвращались с обеда на вечернюю работу. Со стуком закрылась одна из створок окна, ветер зашелестел бумагами на столе Дорофеева. Он взглянул на реку. Оранжево-красный шар тонул в воде за мостом, багряно золотя вечернюю гладь. Насыпь, еще неровная, бугристая, чернела на этом пылающем фоне, словно вал фантастического древнего укрепления, охваченный внезапным пожаром. Торжественная, как гимн, панорама угасала за окном и не могла угаснуть, грозная красота ее захватывала Дорофеева. С котлована едва слышно доносились стук, слабо долетала недружная песня. Прораб посмотрел время — до конца вечерней смены оставлось три часа.

— Лебедев! Пускай мне через час подседлают Серого, я поеду на работы!

Он оторвался от баланса, прислушиваясь. Потом тихо встал, тихо открыл настежь обе двери — в контору и в квартиру — и тихо вернулся за стол. Стало слышно сердитое шипенье примуса, чудесный запах поджариваемой на сковородке картошки. Чирик в спальне играл на своей шарманке, подпевая невпопад наивно-задорному мотиву старой немецкой песенки. В конторе усердно скрипел рейсфедер Тукина, потом, заглушая его, бодро зашелкали костяшки Абрама Семеныча.

Прораб, тихонько посвистывая, работал и отдыхал.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Кустарник, шурша и потрескивая, цепляясь за юбку, больно дергал волосы. Толстые, сухие колючки царапали по голым икрам, как гвозди.

«Только бы не вскрикнуть...»

Анка закусил губу, она дышала прерывисто, пальцы шарили по земле, по камням, хватались слепо и срывались опять, ослабев от борьбы. Она закинула голову, беспощадное солнце ударило ей в глаза, зеленые круги поплыли в небе над скалами...

— Товарищ Платон... постойте...

Парторг не слышал. Он был уже далеко, он прыгал вверх по камням, с утеса на утес, как резиновый, и даже не оглядывался. Анка лезла за ним, из последних сил, стараясь не отставать. Сердце колотилось, колени дрожали, словно у какой-нибудь комнатной фокстротной барышни, — это у нее-то, у претренированной физкультурницы! Было страшно обидно, от стыда совсем падали силы, и всё больше хотелось пить.

— Товарищ Платон... Пла-то-он!

Парторг остановился наконец. Он поднялся на вершину большого утеса и стоял там, оглядываясь во все стороны, защищаясь ладью от солнца. Вот он посмотрел вниз, помахал Анке шапкой:

— Э... о-о... эй... — донеслось до нее. Она всё лезла вверх. Кусты расступались, теперь уже близко было до утеса, скалистого, лысого, только кое-где поросшего мхом. Как пусто, как дико здесь! Ни цветов, ни травы. Даже птиц не было...

Перескакивая через огромные камни, Анка бодро выбежала к пригорку под самой вершиной и повалилась на мох:

— Ой, больше не могу!

Парторг усмехнулся. Он стоял над ней на утесе, словно на верхней площадке гигантской лестницы, поднятой прямо в небо с этих безлюдных степей. Он смотрел на север, потом повернулся к югу, и опять всматривался — напряженно и зорко, ища чего-то вдаль, близко.

— Ну что, товарищ Платон?

Приподнявшись на локтях, девушка спрашивала негромко, почти робко. Сейчас Гветадзе казался ей опять строгим, малознакомым человеком, совсем не тем веселым Платоном, с которым они шагали сюда по шоссе целых пять километров, всю дорогу — от самой конторы прораба — смеясь и болтая о всякой чепухе.

За целый месяц работы Анка не могла отвыкнуть от этого странного чувства. Каждый раз, когда парторг приезжал из участка на трассу прораба Дорофеева (а приезжал он всё чаще и чаще), всегда выходило как-то так, что час-другой они проходили вместе, или отдыхая после работы в саду за конто-

рой, или катаясь вечером по реке. Анка охотно говорила с ним о будущей своей учебе, о прочитанных стихах, о своем отце, которым гордилась, как взрослые люди гордятся орденом Красного знамени, о Москве, в которой ни она, ни Гветадзе не бывали никогда. И во всех этих разговорах Анка чувствовала себя так удобно, легко и приятно, как будто знала этого смуглого человека очень давно. «Как с товарищем» — говорила она отцу. «Нет... интересней, чем с товарищем...» — говорила она себе. Во всяком случае было весело, и Платон Гветадзе представлялся ей в те часы таким же «своим парнем», как комсомолец Володя Сурков или техник Богун. Но стоило Анке встретить Гветадзе за работой — и она сразу чувствовала совсем иное: перед ней был сдержанный, вежливый, молчаливый парторг участка, человек, знающий явно и бесконечно больше, чем она сама; это видно было из всех разговоров, которые вели с парторгом коммунисты и беспартийные специалисты на трассе, и даже самая вежливость и сдержанность Платона Гветадзе происходила — казалось Анке — от того, что он знал по многим вопросам больше многих окружавших его людей. И Анка смущалась, сама не зная, чего. Она не знала за что не смогла бы засмеяться в такой момент так же громко и весело, как на лодке или в саду; не было и в помине чувства приятной легкости, а было такое чувство, что тогда он, вот этот человек, просто баловался между прочим, а на самом деле он может и умеет и то, и это, и третье, и четвертое, тогда как она, Анка, ничего этого не умеет и, может быть, никогда не будет уметь...

И сейчас, лежа на животе под утесом, она с этим же чувством смотрела на Платона снизу вверх. Ветер надувал его черную рубашку, шевелил жесткие курчавые волосы, трепетали, как крылья, широкие рукава парторга, и весь он, с характерным своим тонким носом и зорко-спокойными глазами, казался Анке человеком-птицей, готовым сорваться и полететь над бездной степи — к чему-то далекому, что видит лишь он один...

— Что, есть дорога, товарищ Платон?

Парторг вздохнул, Анка услышала неизменное прицокивание языком.

— Канэчньо нет, — сказал он сверху и вдруг, в самом деле взмахнув рукавами, как крыльями, легко и бесшумно спрыгнул вниз, к Анке:

— Хоп! Ну, пойдем назад.

Вставая, Анка выдернула юбку, Гветадзе быстро нагнулся к ее колену:

— Это чтó?

От колена вниз, вдоль голой загорелой икры, до самого носка, краснела среди многих мелких царапин глубокая кровяная садина.

— Это — в кустах, — покраснев, сказала девушка. — Внизу... Там такая чащоба, не продерешься ни в какую.

Гветадзе внимательно оглядел себя. Потом улыбающиеся глаза его поднялись на Анку.

— Канэчньо продереться нельзя, — вежливо сказал он, — пройти — можно.

— Да-а, можно! — Анка сердито дернула плечом. Она хотела было сказать, что она — не «кавказский человек», а здесь по горам только козы хорошо прыгают. Но, вспомнив, как отец недавно срамил за нечто подобное Савелия Кныша, она покраснела еще больше. — За вами ни один чорт не угодится.

— А пускай бы чорт внизу подождал... — тихо сказал парторг. — Я бы один слазил, а чорт — внизу...

Он усмехался смущенно, глядя на девушку исподлобья, в глазах мерцал какой-то новый, влажный блеск. Анка увидела, что руками он быстро шарит по карманам, — вдруг мелькнуло перед ней что-то белое, и парторг присел на корточки, к анкиным ногам.

— Ой, да бросьте... — растерянно выгорела она. Но Гветадзе уже обертывал ей ногу платком, быстро и неумело, концы никак не завязывались, и Анка, внезапно осмелев и ощущая какую-то странную непонятную злость, грубо выдернула ногу из шершавых мужских рук.

— Бросьте, товарищ Платон, что это вы!

Со смехом бросилась вниз, парторг побежал за ней:

— Анка, перевязать надо... Анка!

Вихрем неслись под гору, куда-то мимо колючих кустов, совсем другой дорогой. Открылась утоптанная тропинка, спуск стал положе, потом внезапно уперся в грудь скал, и парторг, обонув их вслед за Анкой, с разбегу выскочил на чистенький каменный дворик. Широкие, гладкие плиты его вели к террасе, ступенчатой, из таких же плит, и дом, к которому поднимались эти ступени, был тоже каменный, приятно бледно-песочного цвета. Тишина, солнце и чистота — настоящая комнатная чистота — властвовали здесь. Даже фонтанчик в маленьком бассейне среди дворика изображал не обычную фигуру какого-нибудь крылатого мальчика, а графин, — большой графин из самого настоящего стекла, — и струя, вылетая, казалась от этого еще чище, еще прозрачнее, и солнце ослепительно играло в стекле, в струе, в брызгах, наполняя радостной жизнью безмолвие этого странного места.

— Чорт... — тихо вырвалось у Анки.

— Красога, — также тихо сказал Платон.

— Ага.

Двор был пуст. Никто не выходил навстречу.

— Эй, кто тут есть? — звонко крикнула девушка. Эхо в скалах голосисто ответило ей.

— Ну и дела, — изумилась Анка, — как в сказке... Что ж будем делать, товарищ Платон?

— Перевязать.

Парторг показывал на ее ногу: кровь каплями стекала из ранки, пачкая носок и туфлю.

— Эх! — обеспокоилась Анка. Она села на край бассейна, зачерпнула горстью воды, смыла с ноги кровь и, подняв голову, усмехнулась:

— Ладно уж, давайге платок.

Но платка опять нехватало.

— А ваш? — сказал Гветадзе.

— Мой? — замялась Анка. — Я.. я потеряла.

Платок однако торчал у нее из выреза майки, и парторг услужливо вытянул его оттуда за кончик.

— Ох, вот он где!

Но удивляться было уже поздно. Гветадзе, опять перехватив инициативу,

связывал платки вместе: и рядом с его собственным, чистым, как снег, платок Анки был опозорен навеки, вместе с его хозяйкой. Вся красная, она безмолвно отдала ногу, проклиная полное отсутствие у себя дипломатических способностей, и парторг, смущенный не меньше ее самой, кое-как перевязал рану. Ладони у него вспотели, он даже закрыл глаза, чтобы не видеть в своих руках этого злосчастного платка, но теперь ничего не могло помочь ему: он уже видел.

Влюбленные! Кто из вас не поймет Платона Гветадзе, двадцатисемилетнего партийного организатора на путевойком строительном участке! Разве не каждый из вас, равнодушно прощая всем женщинам мира их органические общечеловеческие потребности, упрямо и слепо отказывается даже помыслить, что и его возлюбленная не обходится без них ни одного дня? И если был Гветадзе, допустим, далек от крайних, беспощадных истин, высказанных на сей счет поэтом Ильей Львовичем Сельвинским, — то разве от этого легче было ему, Платону Гветадзе, перенести даже такой «пробный» удар, как ее грязный носовой платок!

В драматическом мертвом безмолвии кончалась перевязка у фонтана, когда глухой кашель с терассы заставил обоих ескочить. К ним спускался высокий старик, весь в белом, худой, с пергаментно-желтым лицом. Он двигался осторожно, но держался прямо и стройно, и только по тому, как он потирал ладонью лицо, видно было, что старик только-что спал. Гветадзе, сразу узнав его, изумленно открыл рот.

— Здравствуйте, — быстро сказал он, подходя. — Так это ваш дом?

— Очевидно, — проговорил старик медленно, с легкой улыбкой. Он разглядывал парторга, видимо, тоже узнавая его.

— Тот самый дом?

— Тот самый, других не имею. Ну, здравствуйте, молодой человек. Ждал вас с самой весны. Уж думал, еще куда-нибудь «перебросили», как у вас говорится. Но я вижу—вы, к сожалению, попали ко мне не намеренно, а случайно?

— Канэчно... То-есть зачем случай-но? — поправился парторг. — Мы к вам и шли, товарищ Гесс. Вот товарищ Дорофеева узнала, что вы уже поправились, я и решил, что теперь можно...

— Мы давно собирались, — сказала девушка, — но отец не велел, пока не поправитесь. А я.. а меня вы не помните?

Роберт Гесс внимательно оглядел Анку. Живые, быстрые глаза его блеснули добродушной иронией.

— Мы знакомы, — серьезно сказал он, протягивая Анке руку. — Насколько помню, в управлении строительства вы с успехом заменяли для многих посетителей моего сына.

Отвечая на слабое пожатие старика, Анка свободной рукой изо всей силы ущипнула себя сзади: она знала, что только так удастся не покраснеть.

— Вы шутите, товарищ Гесс, — так же серьезно и спокойно, как старик, проговорила она. — Вашего сына я смогу заменить не раньше, чем лет через десять.

— Ах, вот как?

Старик с явным одобрением глядел на рослое круглолицое существо в кудрявой шапке золотых волос, со вздернутым носом и загорелыми, исцарапанными руками. — Сколько же вам лет?

— Я родилась в революцию, — гордо сказала Анка, привычным тоном ветерана.

«Шестнадцать»? — изумился про себя старик. Он еще раз оглядел фигуру Анки, бегло, незаметно и недоверчиво, но вслух своей мысли не сказал. Он сказал только, что товарищ Дорофеева очень выросла за эти месяцы, поэтому он и не узнал ее сразу. Кроме того, она ведь тогда была веснушчатая, и вообще...

— Она? Никогда, — вдруг сказал Гветадзе молчащий все это время.

— Что — никогда? — обернулся к нему старик. — Вы хотите сказать, что товарищ Дорофеева никогда не была веснушчатой?

— Канэчно нет, — строго повторил парторг.

Старый инженер молча улыбнулся.

Старость, старость, как много отнимаешь ты у людей за легкое удоволь-

стве угадывать чужие чувства! Ты — как бесстрашный московский милиционер, молчаливо уводящий в лабиринты улиц человека, легкомысленно прыгнувшего на ходу в долгожданный трамвай без спасительной трехрублевки в кармане. Ты — как бинокль, услужливо предложенный Наполеону на корабле, навсегда уносившем его от берегов Франции...

Через такой бинокль восьмидесятилетний инженер Гесс видел сейчас свою путейскую молодость, свою Натю, свои гордые мечты, столько лет упрямо и самоуверенно отрицавшие действительность...

Он вздохнул глубоко, закашлялся и стал расспрашивать, почему гости явились к нему не по шоссе.

— Оно ведь — прямо до вас, до трассы. Все шесть километров — берегом реки, до вашего будущего моста. Впрочем вы оба — нездешние...

— Нет, эту дорогу нам показали, — сказала Анка. — Мы... другую дорогу искали.

— Куда дорогу? К камню? — быстро переспросил старик. Неподвижное, темное лицо его оживилось, он беспокойно смотрел то на парторга, то на Анку. — Значит, участок всё-таки решил открыть тут карьер?

— Да.

Платон Гветадзе смотрел на него внимательным, открытым взглядом. В этом взгляде было и сочувствие, и утвердительный ответ, — спокойный, как справедливый приговор, — и безмолвная, откровенная юношеская смущенность. И старый инженер Гесс понял всё.

— Ну, что ж. Прошу в комнаты...

Он с достоинством посторонился, указывая костлявой рукой на трассу.

— Нет, спасибо, что вы!..

— Мы ведь так просто... Сегодня выходной день, мы и пошли — погулять, да кстати, канэчно, насчет дороги посмотреть...

— Зачем же вас беспокоить!

Парторг и Анка, всё больше смущаясь, заговорили наперебой. Теперь они ясно видели, что старик до сих пор, до их сообщения, еще ничего не знал о своей судьбе. И оттого, что он стоял пе-

ред ними. такой непроницаемо-спокойный и радушный, и оттого, что попрежнему тихо и солнечно было на этом чистеньком дворике, и фонтанчик в игрушечном бассейне все так же безмятежно поплескивал прозрачной струйкой, — от всего этого покоя, тепла и света им стало невыразимо совестно чего-то перед стариком. Короткое слово, сказанное в ответ Платоном, казалось сейчас — и ему самому, и Анке — почти преступлением.

Они все-таки вошли в дом, старик охотно и гостеприимно показывал им комнаты, — три белых келейки с низкими потолками и широкими окнами, обставленные лишь легкой плетеной мебелью. Только в спальне, над деревянной складной койкой, висел во всю стену огромный ковер — единственное, кажется, украшение во всем доме. Анка оглядывалась изумленно: ни картин, ни статуй, ни старинных вещей с разными там золочеными штучками — ничего того, что хотелось её комсомольскому любопытству увидеть в жилище бывшего кандидата в министры.

— Я думала, у вас — как в музее, — откровенно-разочарованно сказала она. — А тут... будто дом отдыха, только радио нет.

— Вы не ошиблись, — тихо сказал старик, улыбаясь. — Я отдыхаю здесь. И так как я отдыхаю от жизни, милая барышня, то радио мне не требуется.

— Ну и что же, что отдыхаете, — упрямо сказала Анка. — Вы конечно имеете право отдыхать, но у вас должны же быть культурные запросы...

Она не видела, что парторг испуганно смотрит на нее, и вероятно сказала бы ещё что-нибудь такое, но в этот момент взгляд её устал в широкое окно, обращенное на юг.

— Что это, сад? Ваш сад, ага? Вот прелесть!

Ничего больше не спрашивая, Анка бросилась обратно, на террасу. Потом солнечная шапка волос метнулась в стеклянной двери, и под окнами понеслось:

— Эх, ты... Ой, жуть какая, цветов-то, цветов! Товарищ Платон, давайте сюда, вот красота!



Старый инженер задумчиво и серьезно прислушивался к этим крикам.

— Да-а... — сказал он, словно очнувшись. — Ну, не будем мешать ей. Мы пока поговорим вот здесь...

Он приподнял угол ковра, закрывавшего стену, толкнул незаметную маленькую дверь:

— Прошу.

Платон Гветадзе увидел еще комнату, такую глубокую и просторную, что даже не верилось, что она помещается в этом же домике. Собственно, он увидел только потолок, пол и единственное широкое окно. Стен не было: кругом были книжные полки — книги, книги, бесчисленные корешки книг со всех сторон до самого потолка. Они стояли рядами, простоя разноязыкими буквами заглавий, блестя позолотой тиснения или темнея кожаными переплетами, они теснились за стеклами, словно полки солдат, выстроенные за окнами многоэтажных казарм, — каждый полк в своей форме, с буквами своих наций, — и стекла, отражаясь одно в другом, как зеркала, делали неясчислимой эту армию книг.

— Ц-ц...

Это было всё, что смог произнести язык парторга. Роберт Гесс удовлетворенно следил за его лицом, кусты старческих бровей шевелились, как живые.

— Вот мои «культурные запросы», товарищ Гветадзе. А музея, извините, нет.

Платон покраснел:

— Вы не обижайтесь, пожалуйста, товарищ Гесс. Она, канэчно, немножко чепуху говорила, но вы не обижайтесь, она же — подросток, ещё ребенок совсем...

— Вы думаете? — фыркнул старик. — Да она сама может ребенка кормить, ваш подросток!

— Что? Как кормить? — растерялся Платон.

— Грудью, — жестко сказал старик, садясь. — Ну-с, поговорим лучше обо мне. Итак, вы принесли мне шелковый шнурок, как делалось в древности?

— Строительству очень нужен камень, — осторожно сказал Платон, не понимая. — И вот мы.. И товарищ Рыбаков, и товарищ Дорофеев очень стара-

лись найти другую дорогу к тем скалам, которые за вашим домом.

— Другой дороги нет. Если бы ваши строители обратились прямо ко мне, вместо того, чтобы бродить кругом, словно волки, так я бы сразу им это сказал.

— Они не хотели вас беспокоить во время болезни.

— Что? Вы смеетесь, молодой человек! Меня не осмеливаются беспокоить визитами, но спокойно разломают мой дом, мой сад, может быть, меня самого, да?

— Канэчно... — пробормотал Платон, окончательно смущенный. — Только они, правда, не хотели... Инженер Дорофеев запретил вас трогать, пока... пока узкоколейка не подойдет сюда.

— Как! Она уже строится?

Старик выпрямился в кресле. Морщинистые, бритые щеки его задвигались, губы зажевали быстро, в глазах засветились колючие огоньки.

— Од-на-ко... — протяжно выговорил он скрипучим, тонким голосом. Темный рот его искривился неприятно, показывая за отвисшей губой остатки зубов, и только сейчас Платон увидел ясно, до чего стар этот человек. — А ведь я просил вас... И вы обещали, помните?

— Я ничего не смог. Для моста нужен камень, — твердо сказал парторг, стараясь смотреть старику прямо в глаза. — Нужно много камня, товарищ Гесс. И нужно скоро его достать. Как опытный инженер, вы сами понимаете это.

— Я не хочу ничего понимать! — визгливо закричал старик. — Слышите, не хочу! «Опытный инженер», ха! Как опытный инженер, я отдал этому делу сорок лет жизни, молодой человек, но я ничего не обязан понимать, когда оно переедет меня пополам!

Он весь трясся, поднимаясь с кресла, оттолкнул руку Платона, толчками дошел до окна и, раскрыв его настежь, стал дышать глубоко и редко, как больной.

— Зачем вас переезжать, — тихо сказал сзади голдс парторга. — Лучше вы сами переедете...

Старый инженер качнулся, как от удара. Он повернул к Платону голову и сказал почти шопотом.

— И вы.. вы мне это говорите?

Колочие глаза словно потухли под кустистыми его бровями. Тусклый, немигающий взгляд застыл на парторге, и немой, скорбный упрек этого взгляда дошел Платону Гветадзе до самого сердца: такая тоска стояла в старческих запавших глазах.

— Ох, извиняюсь... — пробормотал парторг. — Совсем забыл, пожалуйста, извините...

Он только сейчас вспомнил про меридиан.

\*\*\*

За стеной брэнчало пианино. Осторожно выйдя из библиотеки, Платон увидел: играла Анка. Он замер. Не шевелясь, он смотрел и слушал, а в углу, сидя на стуле против Анки, тоже молча слушала бледная женщина с большим букетом на коленях, в пестром платке на плечах. Она смотрела на Платона как-то настороженно, словно испуганно, но взгляд этот в то же время звал, влёл, как будто обещал что-то...

«На кого, на кого она похожа глазами? — думал Платон, глядя на нее. — Неужели... Да, да, канэчно на нее... на Магдалину Ивановну!»

В это время Анка кончила играть:

— Ну как, пошли? Товарищ Татьяна, а где мой букет?..

Она встала, женщина тоже поднялась, торопливо протягивая букет, и Платон увидел, что она беременна.

— Спасибо, товарищ Татьяна, ай, спасибо! — говорила Анка, утыкаясь носом в цветы. — Вы добрая... Товарищ Платон, познакомьтесь! Товарищ Татьяна Пыряева, домработница исторической династии Гессов, приехала сюда ухаживать за больным...

— Пыряева? — переспросил парторг. — Тут на прорабстве два экскаваторщика, оба Пыряева, не знаете их?

— Это братья.. братья мои... — торопливо ответила женщина.

— Вот как? Ну, плохие у вас братья. Из-за них у нас тут целая беда, — неодобрительно сказал Платон. — Вы бы

их усовестили, товарищ... уж очень монету любяг выжимать. У нас таких, знаете, как называют?

— Не знаю, не знаю, гражданин, и знать не хочу... — Женщина неприятно поджала губы, теперь глаза ее уже не были похожи на глаза Магдалины; настороженно-волнующее, зовущее выражение их сменилось выражением безразличия. — Заработать всякому надо, гражданин... а братья у меня — люди тихие. Тихого человека всякий обидеть может! Их вот сами Максим Робертович сюда командировали, — заговорила она, обращаясь к Анке, — на машине этой работать, говорили — заработок будет хороший, да уж больно папаша-то ваш строг, у него не заработаешь! Раньше-то они паровозными машинистами оба были, так тогда разве так...

— А почему они ушли из машинистов? — спросил Платон.

Женщина испуганно посмотрела на него, словно спохватившись.

— А не знаю, не знаю, гражданин...

\*\*\*

Прошел день, прошел еще день после визита гостей. Почти не выходя из дома, старый инженер всё сидел в своей библиотеке. Он смотрел в распахнутое окно, в садик, мертвыми глазами отчаяния. Он страдал, но — не заметно — тише и мягче становилась боль, словно горечь тосливых его дум растворялась в сладкой горечи запахов. Нарядные, как невесты, цветочные клумбы сладостно млели под солнцем, хорошо видные Гессу из окна. Они кивали старику женственными головками ирисов, смотрели на него ясными анютиными глазками, они протягивали ему благовонные чаши роз, дышали в окно томительным ароматом резеды и неслышно звенели колокольчиками настурций.

«Праздник... праздник жизни, на которую надвигается смерть...»

Лиловые, белые, пестрые, яркочерные лепестки дрожали на клумбах под легким ветерком. Садик цвел безмятежно, и так прозрачна, так легка была в нем тишина, привыкшая только к шесту и запахам, что дико было даже

подумать о том, что должно было произойти здесь.

... И если б цветы догадались,  
Что в сердце я раны таю,  
Со мной бы они разрыдались  
И боль исцелили мою...—

Беззвучно шевелились темные, старческие губы. Глаза привычно нашли на полке тисненый бледноголубой переплет. Как давно, как давно это было... Не сам ли он купил её, волшебную «Книгу песен», в этом целомудренно-пышном переплете, похожем и на евангелие, и на узор женского платья? Да, да... Книгоиздательство Герман Гоппе, 1897 год... Тогда он искал изящный подарок для Наты, но ей опять захотелось серьги или кольцо, и он оставил Генриха Гейне себе, в награду за двадцатилетнюю беспорочную службу российским железным дорогам. Да, то был незабываемый год! Умер параличный отец, потрясенный падением «железнодорожных королей», но зато родилась в стране идея государственности транспорта. Хворал сын, Максим, но зато на сорок тысяч километров растянулась уже рельсовая сеть, и впервые двинулся по ней мощным потоком новый, драгоценный груз.

Уголь, каменный уголь донецких бескрайних степей! Не тебе ли, не твоим ли путям-выходам, отданы лучшие годы Роберта фон-Гесса, инженера и организатора! В детстве, впервые в жизни трога блестящие рельсы, видел он, как строилась для тебя первая крохотная линия от Грушевских антрацитных рудников к устью Дона, — первый выход русского угля к морю, Шахтная — Аксай. Подростком, провожая отца в бесконечных разъездах по стройкам, «обновил» он в пробном поезде новую дорогу Азов — Курск, впервые открывшую тебе, донецкому бесценному углю, выход на север, к сердцу страны. А через десять лет, только-что выпущенным молодым инженером путей сообщения, кто, как не Роберт фон-Гесс, проходил первую свою практику на новой Донецкой дороге, которую построила российская лапотная империя уже специально для каменного угля, — через весь будущий Донбасс, с востока на запад?

С тех пор, с каждым годом внедряясь в закоснелое народное хозяйство, всё гуще тек ты, уголь, с донецких степей, и опять, и опять инженер Роберт фон-Гесс, уже крупный транспортный деятель страны, строил и проектировал для тебя новые пути: Екатерининскую промышленно-грузовую линию, чтобы связать тебя, уголь, с криворожской рудой; ветки через песчаную Луганщину, через казачьи станицы, чтобы открыть тебе выход на Поволжье; вторую Екатерининскую дорогу, в помощь первой, уже загруженной углем доотказа; и наконец Северо-Донецкую, на Харьков и Львов, потому что опять нехватало тебе, уголь, путей на север, нехватало и тридцать лет тому назад...

Старик кашлянул, глухо, надтреснуто, взволнованный воспоминаниями.

«Сколько сил, сколько лучших сил отдано всему этому... А многое ли удалось сделать так, как хотелось, как нужно было не для акционерных компаний, а для страны?»

Две войны — восточная и западная — развалили, разрушили всё в первые же два десятилетия нового века. Они уничтожили Россию — державное и нищее государство, ставшее отечеством обрусевшего поколения Гессов, и опять не оказалось родины у потомственных инженеров путей сообщения. Большевикам Гесс служил недолго. Стать вредителем мешала ему честность, советским спецом — гордое кастовое упрямство. Да большевики, видимо, и не нуждались в нем: Роберт фон-Гесс умел только строить, а они всеми силами старались разрушать. По крайней мере так казалось старому инженеру из его служебного кабинета, и каждый развороченный мост, каждый замерзший паровоз укрепляли его в тех же мыслях, что и развороченная мостовая столичных улиц или замерзшее паровое отопление в его «казенной» квартире.

Уйти «на пенсию» в шестьдесят пять лет было делом естественным и по советским законам. Он сделал это, мужественно обрекая себя на полуголодное старческое прозябание до самой смерти, и был беспредельно удивлен, получив известие о персональной пенсии, назна-

ченной ему за высокие заслуги советским правительством.

«У меня нет заслуг перед вами!» — как требовала ответить честность, но угостили сослуживцы, убедил сын, Максим, только-что вернувшийся из-за границы, и старик решил смириться: — Ты отслужишь им за меня, Максим, — сказал он с жесткой усмешкой, уезжая «на покой», к скалам среди степей, понравившихся его чудачеству. Здесь, в глуши, годы текли спокойно. Садик, цветы — летом, кресло и книги — зимой...

«Как трудно перешагнуть с достоинством и красиво черту, отделяющую молодость от старости»... — так говорил задумчивый Гамсун, распахивая старый, выцветший темнозеленый свой переплет. Старый инженер, покачивая головой, соглашался с Гамсуном: он знал, что это написано не про него.

«Видит бог, от стужи смерти, старец, нет тебе защиты!» — так изрекал величавый Гёте, шелестя пожелтевшими страницами. Старик спокойно соглашался и с ним: он знал, что это написано шестидесятипятым старцем, пылко влюбленным в миловидную Марианну фон-Виллемер, подарившим свою «Дорогую» молодой дьяконице Егоровой.

И он с достоинством отошел от жизни, которой отдал и молодость, и энергию, и знания, отошел без сожалений, потому что больше, кажется, нечего было отдавать. Молодость была давно прожита. Энергия потухала. Знания? Старый инженер, когда-то гордо знавший себе цену, горько усмехался теперь, думая о своем техническом вооружении. Почти не читая газет, он был всё же осведомлен о том, что творилось сейчас в стране. Большевицкие чудеса на Днепре и в Туркестане, во льдах Арктики и у Магнитной горы, — всё доходило до него, оттесняя во мглу прошлого годы разрухи. Он знал «по-наслышке» и о блюмингах, и о быстроходных танках, и о самолетах, радио управляемых с земли. А когда, изредка выдвываясь с Максимом, он спрашивал сына о своем, о родном деле, профессор рассказывал ему о скреперах и экскаваторах, о чудесах механической сборки мостов и

электросварке, об электровозах, которые уже водят составы на Сураме, и о модели аэропоезда, сконструированной научными сотрудниками НКПС. Даже к изысканиям, оказывалось, привлечена была высшая техника: назначенный главным инженером строительства новой магистрали, Максим в первом же письме сообщил отцу, что у них применяется для трассирования даже аэро-съемка.

— Да... Дух времени, — говорил себе старик, грустно улыбаясь. — Мы, инженеры прошлого века, теперь годимся разве только в музей.

И эти мысли окончательно примирили его с жизнью инвалида труда. Забываясь со своими книгами, отдыхая в своем садике среди цветов, он чувствовал себя Диоклетианом, отрекшимся от римского престола ради огородных грядок.

Дело жизни, — полвека творческой работы, — всё шумное прошлое отошло куда-то в небытие, в сладкий туман воспоминаний. И вот теперь это прошлое возвращалось. Оно само наступало теперь на Роберта фон-Гесса, оно грозило гибелью его последнему прибежищу.

... Очнувшись от мыслей, старик слабо потер глаза. Нет, он не спал. По-прежнему тихо и солнечно было кругом. Садик, сияя, смотрел на него в окно, садик звал его. Осторожно поднявшись, старик медленно вышел из дома. Он постоял на дорожке, обошел все клумбы, присел на скамеечку перед ирисами.

«Ну, что ж... скоро конец».

Долгим, долгим взглядом посмотрел на дом, на раскрытое окно библиотеки, на клумбы, на молодые деревья садика. Солнце пламенело в стеклах, играло на листьях, золотило лепестки цветов, теплым отсветом ложилось на книжные корешки.

«Всему, всему конец»...

Упадут под топором эти тонкие деревца, рухнет крыша, обваливая низенькие стены, коверкая пышные клумбы. Железнодорожная насыпь похоронит всё это, шпалы с рельсами тяжко придавят могилу, и только он, мечтавший умереть здесь, останется еще живым.

«К чему?»

Точным, спокойным жестом Роберт фон-Гесс отер скупую слезу. И вдруг отдаленный, слабый звук достиг его слуха. Легкий скрип, визжащий скрип колеса по доске... Старик поднялся, гибко и быстро, как молодой. В три шага он был у ограды садика, он смотрел, словно впервые в жизни, на старое шоссе, которое видел столько раз.

Шоссе исчезло. Насколько хватал взгляд, тянулась свежая земляная насыпь, кишевшая работающими людьми. Люди работали молчаливо, даже движений их почти не было слышно, хотя до ограды садика насыпь не доходила всего метров на пятьдесят.

— Во-от как? — протяжно выговорил старик. Сзади прошелестела трава. Татьяна стояла на дорожке, тревожно следя за стариком.

— Уж месяц работают... — испуганным голосом сказала она. — Все вас тревожить не велели, а то бы я давно сказала...

Старик молча, зорко всматривался в работы. Он даже не оглянулся.

— Уж вы не беспокойте себя... — еще тревожней заговорила женщина, придвигаясь. — Теперь уж чего же... И Максим Робертыч вам не велели беспокоиться. Они нынче сами придут...

Не слушая, старик двинулся вдоль ограды. Опираясь на палку, он обошел женщину, словно дерево, и вышел через калитку, направляясь к насыпи. Шаг его был тверд и нетороплив. Навстречу ему пошел человек в военной форме. Это был, судя по внешности, командир, и старик только теперь разглядел, что на насыпи работали военные. Он даже не удивился этому: другое изумляло его, владея сейчас всеми его чувствами. Командир взвода Вахтуллин Кадыр, приблизившись, вежливо взял под козырек, но не успел ничего сказать.

— Извините, — быстро и строго сказал старик. — Извините, что мешаю работать... Но я хотел бы знать, у вас... теперь... везде так работают?

Комвзвод развернул плечи. На скуластом мальчишеском лице его изобразилось спокойное довольство:

— Это — мой взвод. Ударный взвод. У нас — все бойцы уда...

— Виноват, вы не поняли, — резко оборвал старик. — Я говорю о технике работ. Вы делаете узкоколейку... Ну, а на самой магистрали?

Он пытливо, жадно смотрел в лицо Кадыру Вахтуллину, и узкие умные глазки комвзвода вдруг прищурились под этим взглядом, словно старик оскорбил его грубым словом, неслыханным в Красной армии. Татьяна, подходившая сзади к старику, не расслышала ответа командира. Она увидела только его приглашающий жест в сторону двуконной красноармейской повозки, стоявшей поодаль на траве. С повозки трое красноармейцев стаскивали какие-то мешки, котелки, большие караваи хлеба, — очевидно, повозка только-что приехала сюда с главной трассы.

— Сено повезут, мягко будет, — услышала Татьяна. — Да тут близко, в сорок минут доедете...

В испуге она метнулась вперед:

— Куда ж это... да нешто можно ему? Ай не видите, годы-то какие...

Старый инженер спокойно оглянулся на нее:

— Прошу вас, принесите мне шляпу и пальто.

\*\*\*

На южном участке с рассвета шла курьерьма.

Все прорабские пункты были подняты на ноги; конюхи торопливо чистили лучших «выездных» лошадей, неожиданно обнаруживая у них коросту, нечесанные хвосты и гривы; уборщицы мыли в котлах пыльные окна, чертыхаясь, скоблили заросшие грязью полы; завхозы растерянно металась по складам, телефонистки надрывались до хрипоты, крутя яростно скрежещущие ручки аппаратов. Не все еще знали, кто именно приехал на трассу участка, но старые, опытные десятники, строймастера уже по размаху и быстроте приготовлений безошибочно заключали, что начальство приехало высокое.

— Не иначе, как главный инженер прикатил, — многозначительно говорил рабочим усатый Савелий Кныш. — А то, может, еще и сам начальник работ с ним!

Был Савелий Кныш мужчина бызальный и опытный и порядки знал. На российских железнодорожных постройках работал он без малого тридцать лет: смолоду землекопом, потом каменщиком, потом старшим рабочим, бывал и артельным старостой, и уж перед самой революцией выбрался в десятники, об'ехав к тому времени с десяток губерний, побегершись и приглядевшись к путейскому инженерству, и на малых, и на больших делах. Революцию принял он с удовольствием — из младших десятников перевели в старшие, выдали кожаную куртку, блестящую, как у самого комиссара постройки, выбирали не раз в рабочком, посылали на разные с'езды и профсоюзные собрания, и был Кнышу везде почет, как кондовому пролетарскому строителю; а от самой стройки был вроде отпуск, потому что линии и ветки начинали тогда одну за другой и бросали вскорости, не успев закопать насыпью даже и пикетажных колышков. Потом начались опять постройки всерьез: и Савелий Кныш, дело свое крепко любивший, вернулся к нему опять-таки с удовольствием. Инженеры на всех постройках встречались знакомые, встретился и Фаддей Демьяныч Рыбаков, а с этим люди толковые работать любили, так что, куда ни позовет, поедешь с радостью, хоть на край света! Рыбаков потянул с собой на Турксиб, а там, в сыпучих песках, в жаркой и тяжелой работе под ветром и зноем пустыни, сжился Савелий Кныш и с молодыми советскими спецами — с прорабом Дорофеевым, с техником Богуном. С ними же — целым отрядом турксибовцев — перекочевал и сюда, на новую невиданную магистраль. Везде, всюду работал Кныш крепко, с дугой. Был он хмур с лица, скуповат на слово, но любил выпить, а, выпивши, становился откровенен: и тут всегда случались у него неприятные разговоры, особенно с людьми партийными, вроде инженера Дорофеева, и разговоры эти сводились постоянно на советскую власть.

— А я кто? — вопрошал Савелий рыно, топоруца мокрые свои усы. — Я, товарищ начальник, самый и есть советский человек! Только ты вот мне ее по-

кажи, власть-то, я с ней и поговорю... Забыла она нас всех, забыла, — и меня, и тебя, Василь Василич, забыла, и Богуна, и Фаддей Демьяныча самого... Всех! Я вот в газете каждый день обращаю внимание — строи-им!.. строительство... социализма. А мы-то кто, — не строители? А как живем?... Как живем, ты мне скажи... Сын у меня, Митрий, в Воронеже на заводе... во, брат, это живут! И клуб, и магазин, и столовая, и билет тебе в театр суют, и книгу какую прямо в цех принесут, только читай... В ванной моется, суккин сын. А ведь он — сморкач против меня, Митрий-то! Третий год всего и работает, а я сколько? Он — три, а я — тридцать, понял? То-то и есть. Теперь, скажем, дочь...

И он начинал так же длинно и обидчиво рассказывать про дочь, как она живет у себя в колхозе и как по сравнению с этой жизнью плоха его собственная, савельева, жизнь. И выходило, что обо всех помнит советская власть, только забыла про него, Савелия, и про всех, таких же, как он, строителей железных дорог. Протрезвившись, он обычно не помнил ни своих разговоров, ни тех, кто его урезонивал. Но когда кто-нибудь корил его, напоминая о вчерашнем, и пытался намекнуть, что разговоры товарища Кныша хоть и пьяные, а все-таки старорежимные, тогда Савелий круто и злобно обрывал:

— А ты скажи — много у нас на транспорте нового-то режиму?

Примерно это же самое думал при виде всеобщей суматохи и еще один человек: парторг Гветадзе. Хотя и был он — в противоположность Савелию — человек на транспорте совсем новый и со старыми порядками на постройках сравнить ничего не мог, но именно оттого, пожалуй, и было ему еще тошней, чем Кнышу. Еще ночью, оповещенный Фаддеем Дамиановичем о приезде начальства, собрал он быстро все свои записки нужд, прорех, болячек строительства, приготовил честно короткий откровенный доклад, не щадя ни себя, ни инженеров, ни райкома, да не щадя и самого приехавшего начальства.

Но утром, едва началось совещание, все ночные мысли полетели прахом:

парторга не стали даже и слушать. Хмуро глядел он на холодное лицо главного инженера, недоуменно вслушиваясь в раздраженные выкрики начальника строительства. Товарищ Гедвилло, осунувшийся, желтый, как лимон (говорили, что он уже вторую неделю мотается по всем участкам), с первого слова начал «крыть» начальника участка, не слушая никого и ничего.

— Почему план срываете, где у вас люди на трассе? Почему бараки недостроены? — кричал он сиплым тонким голосом. — Почему экскаватор стоит, а жалуется, что не даю вам механизации? Почему, товарищ Рыбаков, чорт меня подери вместе с вами!!

Фаддей Дамианович, сбывчившись, оторопело шевеля усами, грузно сидел на табуретке перед начальником строительства. Несколько раз открывал он рот, пытаясь что-то сказать, но товарищ Гедвилло опять принимался кричать, и, сопя, краснея шеей и лысиной, беспомощно оглядывался инженер Рыбаков на главного инженера.

Максим Робертович Гесс с каменным спокойствием сидел за рыбаковским столом, перебирая пальцами американскую свою бороду.

«А здорово он постарел»... — думал Платон, искоса оглядывая его: знаменитая на всю магистраль светлорыжая гессовская борода густо блестела белыми нитями, под глазами обвисли набрякшие мешки, взгляд был тяжелый, неподвижный, — только губы, мясистые, не по годам свежие, да гладко бритые щеки еще молодили несколько это угрюмое лицо.

Главный инженер молча постукивал карандашом, изредка делая в блокноте короткие отметки; только морщинка, дрожавшая у левого глаза, мешала ему казаться совершенно спокойным. Но вот Гедвилло, закашлявшись, оглянулся на него, и Гесс резко, быстро заговорил. С первых же его слов Гветадзе, Рыбаков, инженеры, профработники, снабженцы участка поняли всё.

К вечеру ожидалось на участок еще более высокое начальство: из Москвы мчался в своем вагоне «летучий голландец». Он был уже близко, он летел по

соседней старой дороге, хотя вчера еще было известно из газет, что он вместе с наркомом только-что вернулся в Москву с Урала. Он явно спешил на строительство сверхмагистрали. Зачем?

Люди слушали отрывистые, холодные слова главного инженера, смотрели на тревожное, злое лицо начальника строительства — и холод тревоги, беспокойного недоумения возникал в комнате, непонятный, непобедимый, как скверный сон.

Зачем?

Ведь совсем на-днях руководство строительства отвезло в наркомат новый рапорт о ходе работ. Был этот рапорт широко опубликован в печати, там были многочисленные цифры выполнения плана и имена лучших ударников, там были веские жалобы на недостаток механизмов, материалов, людей, там была наконец самокритика — подробное тщательное перечисление несделанного, с обязательством, что упорной борьбой, с помощью партии и правительства, магистраль будет построена даже раньше обещанного срока. Что же случилось вдруг?

«Что ж... пускай посмотрит... — мрачно думал инженер Рыбаков.— Увидит— поймет, каковó нам тут»...

Он знал «летучего голландца» еще по первым месяцам стройки Турксиба скромным рядовым инженером на своем участке, безропотно выносившим на молодых своих плечах самые тяжкие работы.

«Нехай едет! — сердито решал про себя Ефрем Дьяков, председатель рабочего, прямо от ругани с грабарями вытащенный сюда на совещание. — Авось, хоть палаток добьемся, да насчет харчей... Прямо при Гедвилле так и скажу ему: «Не вникает, мол, наше руководство до грабаря, товарищ начальник. Только и знают, что выработку спрашивать, а заботы нет...»

Видел Ефрем «летучего голландца» только раз в жизни — на первом слете ударников строительства. Но думалось ему, старому шахтеру, что, чем выше начальство, тем легче с ним толковать; больше силы у человека — больше сможет помочь.

«Это хорошо, — быстро соображал Платон Гветадзе, — канэчно хорошо».

Он никогда не видел «летучего голландца», но он уже видел в мыслях, как соберет он к нему всех коммунистов, всех комсомольцев, какие только есть на трассе, и выложит по-партийному всё, как есть, и вызовут Орвиса, чтобы взять наконец в работу весь райком...

Так думали, каждый по-своему, строители, слушая сообщение главного инженера. Но Максим Робертович уже перешел к распоряжениям. Он заговорил теперь о том, что приедет, возможно, целая комиссия, и о том, что нужно приготовить для встречи; и тут опять стал перебивать его начальник строительства. Оба они, торопясь и, видимо, раздражаясь, строго и требовательно оглядывали собравшихся строителей, и теперь уже строители окончательно не понимали ничего.

— Так... Осмотр трассы! — резко, быстро говорил товарищ Гедвилло. — Мы должны показать комиссии образцы ударной работы. Кто у вас лучший прораб? Дорофеев? Поедем на трассу к Дорофееву. Так. Бытовые условия! Где у вас показательные бараки? Нет? Что? Только строятся? Хорошо, покажите эти, долбжите, что будут готовы через декаду... Что? Нет материалов? Будут материалы, если я говорю!

Глядя на Рыбакова, он сердито отсутствовал свои слова по столу костяшками тонких желтых пальцев. Фаддей Дамианович молча дергал усы.

— Механизация... — подсказал главный инженер.

— Что? — обернулся Гедвилло. — Да, да, механизация работ... Эскаваторы — далеко? Можно не показывать. Но приготовьте все акты, акты есть? Простыи, поломки, недостаток частей...

Ему принесли целую пачку, он перелистал их и кинул на стол:

— Чепуха, шляпство! Где ж тут видно, что виноваты не мы? Тут же должно быть ясно, что механизмы пришли к нам уже негодными, понятно?

Он требовал акты, протоколы и по снабжению, и по санитарии, и по вербовке рабочей силы, и во всех актах искал того же самого, и главный инженер, по-

глядывая на часы, озабоченно помогал ему, а строители, совсем сбитые с толку, только успевали выслушивать и исполнять все новые и новые распоряжения.

«Что такое? Зачем?» — думал, сидя тут же в углу, Платон Гветадзе. О нем, очевидно, совсем забыли: ни Гедвилло, ни Гесс вовсе не обращались к нему, словно парторг участка не имел ко всему этому никакого отношения, и он только смотрел и слушал, моргая глазами, усиливаясь понять смысл происходящего.

Выходило, что основную работу начальник строительства и главный инженер видели сейчас не в том, чтобы как можно нагляднее и убедительнее раскрыть перед комиссией, почему так медленно и плохо идет стройка, а, наоборот, в том, чтобы как можно нагляднее и убедительнее доказать, что стройка идет вовсе не плохо и вовсе не медленно; выходило, что усилия всех людей на участке должны быть сейчас направлены не к тому, чтобы вызвать у комиссии такую же тревогу и озабоченность, какая внезапно обнаружилась сейчас у начальника строительства и его главного инженера, а, наоборот, к тому, чтобы создать у комиссии настроение бодрости и деловитой уверенности в конечном успехе, то самое настроение, которое было в последнем рапорте Гедвилло и Гесса правительству, и которого, как оказывалось теперь, вовсе не было ни у товарища Гедвилло, ни у профессора Гесса; выходило наконец, что от самих строителей на участке не требовалось вовсе ни мнений, ни помощи во всем этом деле, ни вообще какой бы то ни было оценки действительного положения на трассе, которое только они и могли бы перед комиссией осветить; от них требовалось, наоборот, чтобы они как можно меньше соприкасались с комиссией, предоставив это начальнику строительства с главным инженером, и для этого снабдили бы их сейчас всеми необходимыми сведениями.

«Испугались... самокритики боятся, канэчно!» — решил Платон.

Но нет, и это было, видимо, не так. Оказывалось, что перед комиссией будут выложены все беды, все болячки строи-



тельства; но главными из них, труднейшими и наиболее опасными будут представлены именно те беды и болячки, которые так или иначе уже устранены на трассе, и чем очевиднее и надежнее они устранены, тем больше и пространнее будут они обсуждаться в присутствии комиссии. Те же беды и болячки, которые еще не устранены или которые даже увеличиваются на строительстве, эти, хотя и будут выставлены, но как наименее трудные, не опасные для общего хода работ; и чем сомнительнее и ненадежнее будет выглядеть эта их нетрудность и неопасность, тем короче и небрежнее следует о них с комиссией говорить.

Все это сообразил и понял Платон Гветадзе только тогда, когда совещание было кончено. Только теперь ему стало ясно, для чего приехали сейчас Гедвилло и Гесс, для чего спешили они вместо того, чтобы приехать сюда вместе с человеком, которого они собирались обмануть. Он встал вместе с другими, проводжая начальство к выходу, к отъезду на далекую железнодорожную станцию — для встречи московских гостей. В дверях, в комнатах суетились сотрудники конторы — техники, конторщики, инженеры. Лица у одних были растерянные, у других — хмурые, третьи неловко, бледно улыбались, словно подбадряя не то себя, не то товарищей. Люди избегали смотреть друг другу в глаза. Парторг видел всё, и ему казалось, что все эти люди ждут от него чего-то; и вдруг он почувствовал в смнении, что и сам он чего-то ждет от себя. Это было дикое, нелепое ощущение, настолько чужое, что Платон Гветадзе на минуту подумал, что он болен и бредит. Словно весь он раздвоился внутренно, и один Платон Гветадзе — прежний, всегдашний — с гневом и стыдом требовал от другого теперешнего Платона Гветадзе: «Не молчи, не смей молчать, действуй!» Этот, теперешний, парторг строительного участка, решительно не знал, как надо действовать: он был тут самым неопытным, он был новичком на транспорте. Тот, прежний, был опытен, тверд и уверен в себе: но он был политруком рабоче-крестьянской Красной армии, а там

ничего подобного он не видел никогда.

Начальство умчалось, пыля по дороге. Платон стоял на крыльце, бессмысленно глядя вслед. Желтое облако крутилось над дорогой, медленно оседая на людей, на деревья, на низкие крыши станицы дымно-песчаной пеленой. Неясно, словно в тяжелом тумане, проступали знакомые очертания предметов: долго не развеивалась вековая песчаная станичная пыль. Платон стоял, жмурясь от пыли, не замечая, что давно уже можно уйти, и в душе у него тоже крутилось и клубилось что-то, и тяжелые, горькие чувства нависали дымным и смутным облаком, заслоняя привычную ясность мыслей...

— Пойдем работать, браток, — густо сказали над ухом.

Парторг оглянулся. Начальник участка стоял на крыльце рядом с ним, больше не было никого. Инженер Рыбаков тяжело положил руку на сухощавое плечо парторга. Толстое усатое лицо его было совсем серым от усталости, от пыли и от тоски.

— И вот этак-то... двадцать пять лет, браток! — глухо сказал он.

Платон не узнал его взгляда: Фаддей Дамьянович смотрел тускло, безжизненно, словно прося у парторга помощи и не надеясь на нее. Вздохнув, он почти коснулся вислым своим усом щеки Платона и тяжело пошел в контору.

«Про что он говорит?» — подумал Платон. И, сам не зная, почему, он вспомнил чудака Бермана из обкома с его унылым клювом-носом и смешливыми, умными глазами, вспомнил его последнее письмо и непонятное молчание с тех пор.

«Про эту... полосу он говорит, Рыбаков... про полосу отчуждения, канэчьно!»

Облако над дорогой рассеялось, даль опять стала ясна. Но она обманывала, эта даль, она только казалась ясной! Ведь там, в этой дали, лежала трасса магистрали, огромная полоса земли, неосяземо и нелепо отчужденная от страны, как и многие такие полосы, вековой завесой — исторической пылью традиций, тяжелым и гнилостным туманом

прошлого... И за то, что еще до сих пор существуют в стране эти отчужденные полосы, в которых четверть века бьются хорошие люди, парторгу Гветадзе стало нестерпимо обидно.

«Сотрем... или нет? Канэчно, сотрем» — сказал он себе. И усмехнулся чему-то, блеснув белыми своими зубами, и быстро спустился с крыльца конторы.

Уборщицы кончали мыть окна. Конюхи отчищали последних лошадей. Только телефонистки перезванивались бесконечно — с участка на прорабские пункты, с пунктов на участок — равнодушными звонкими голосами, заботясь о том, чтобы мыли и чистили везде. И на дальнем Каменском пункте, в конторе прораба Дорофеева, строймастер Савелий Кныш, глядя на все это, многозначительно повторял:

— Не иначе, братцы, сам товарищ Гедвилло прикатит...

И добавлял таинственно:

— А может, и еще повыше кто... из Москвы...

Строймастер Савелий Кныш пребывал в полосу отчуждения еще дольше, чем инженер Фаддей Дамианович Рыбаков.



— Грабарей мало? Ничего, всё же мы их посмотрим.

— Это — дальше в песках, но тут не проехать...

— Ничего, товарищ Гедвилло. Я очень люблю прогулки на свежем воздухе.

«Летучий голландец» шел впереди. Гедвилло, стараясь не отставать, торопливо шагал за ним, он решительно размахивал портфелем, очки его поблескивали холодно и уверенно на желтом худом лице. Остальные двигались сзади — на расстоянии, словно свита: начальник строительства всем своим видом показывал, что ни в чьей помощи при объяснениях не нуждается.

Платон Гветадзе, шагая в кучке инженеров, не без любопытства наблюдал за ним. Он знал, что начальник строительства в действительности никак не может сейчас чувствовать ни решимости, ни уверенности, с самого начала все шло

вовсе не так, как он хотел и собирался провести.

— Куда же это? — тихо переговаривались инженеры, двигаясь позади. — Ведь говорили — прямо к Дорофееву...

Но шли целиной по трассе, прямо с того пикета, на который попали совершенно случайно, по пути к Каменке: с большака, уже километрах в семи за станцией, московский гость увидел вдалеке насыпь, остановил линейку и пошел через поле, никому ничего не говоря. Начальник работ, ехавший с ним, тоже соскочил и побежал следом, и тогда все стали слезать с линеек и, потоптавшись, двинулись к трассе, не зная, оставить ли лошадей дожидаться здесь или послать налегке вперед. Только Рыбаков, опытным глазом окинув картину, вернулся хозяйственно назад:

— Кучера, трогай... До курганов ежайте, там обождать.

Инженер Рыбаков помнил характер гостя по Турксибу. Отдуваясь, он грузным шагом догнал остальных. Главный инженер, оглянувшись, взял его под руку:

— Слушай, а далеко они тут, грабари?

— А вон, Максим, за теми барханами. Что, товарищ профессор, отвык, видно?

— Нет... Но жарковато, кажется.

Пески уже начинались. Кучка людей шагала под палящим солнцем вдоль низкой неровной насыпи. Травы кругом редели, обнажая в степи тут и там сыпучий песчаный налет. Итти становилось трудней; подошвы уходили в песок, пот проступал на лицах, все расстегивали воротники рубашек, даже профессор снял галстук и сунул в карман.

«Летучий голландец» попрежнему шел впереди по краю резерва, бегло осматривая работы. У отметок он задерживался, нагибаясь к цифрам, и тогда инженеры позади молча переглядывались: насыпанное земляное полотно нигде не достигало и половины задания, работы явно были брошены здесь, прерванные, видимо, уже давно. Мрачней, люди настороженно и незаметно следили за молодым человеком, который вел их за собой. Они ловили каждую перемену вы-

ражения на бледном нерусском его лице, но он выпрямлялся и шел дальше, по-прежнему не говоря ничего. Казалось, что он легко, без труда обгонял всех: он шел без фуражки, неся ее в руке, светловолосый и худощавый, похожий на юношу в своей парусиновой широкой рубашке, он явно торопился к барханам, и, глядя на него, Платон Гветадзе вдруг почувствовал острый стыд за общее малодушное молчание.

Разве не знали заранее все эти инженеры, что увидит московский гость за барханами в этой глухой степи? Разве не понимали они, почему начальник работ так старался сначала объехать стороной эти безлюдные, как пустыня, места?

«А я... что же я молчу? — Платон стиснул зубы. — Ведь это наш участок... Это — мой участок! Неужели и мне прятаться? Канэчно нет!» — с силой, убежденно сказал он себе, и от этой мысли ему сразу стало вольно и радостно, и, ускорив шаги, он догнал идущих впереди.

— Вам — что? — оглянулся начальник строительства. Он тотчас приотстал, чтобы подождать парторга, и опять по этому видно было, что он все время следит за тем, чтобы никто, кроме него, не мог обращаться с чем-нибудь деловым к московскому гостю.

«Что мне? От тебя — ничего» — страстно хотелось сказать Платону. Но он сказал тихо:

— Товарищ Гедвилло... Нехорошо мы делаем.

Глаза начальника в упор уставились на него; из-за очков они казались круглыми и злыми, как у птицы.

— Не по-партийному делаем, — так же тихо сказал Платон. — Молчим, как будто все у нас хорошо... Не дело молчать.

— Что? — сморщился Гедвилло: — Что такое?

Желтый лоб его, собираясь в складки, силился изобразить досадливое недоумение человека, которому надоедают чепухой, но Платон видел, что начальник взбешен и едва сдерживается.

— Не дело? — тихо повторил Гедвилло. — Нет, это именно ваше дело...

молчать, пока вас не спрашивают! Дисциплина где? — Он заметил, что его ждут впереди, и опять устремился туда, бодро размахивая портфелем, оставив парторга шагать одного в полном оцепенении.

Уже подошли к барханам. Игти стало совсем тяжело. С каждым шагом ноги все глубже зарывались в песок, он был здесь горяч до того, что жгло через обувь. Вытирая рукавом пот, Платон вместе с другими полез по сыпучему склону, огибая справа первый бархан. Поднялся ветер; и сразу полетели в глаза целые песчаные тучи. Люди жмурились, отворачивая лица, кашляли, отплевывались, спотыкались, наталкивались друг на друга, кто-то, тяжело дыша, ухватился за плечо Платона. Это был главный инженер, с платком у лица.

— Фаддей... ох, виноват... Фаддей, где ты? Далеко еще?

— Пришли, — отозвался откуда-то сверху голос Рыбакова. — Давай руку, профессор!

Максим Робертович открыл глаза. За барханом открывалась сразу вся трасса грабарей.

Насыпь, как прямая, бесконечная дюна, росла в песках. Неподвижной сыпучей зыбью простирались вокруг песчаные наносы, покрытые редким, сухим кустарником, по откосам насыпи работали люди и лошади. Людей было больше. Тут были и женщины, и мужчины, и подростки, и старики: одни, согнувшись, лопатами ровняли наверху насыпь, другие быстро и молча рыли грунт внизу, в резервах; лохматые лошаденки, похожие издали на больших собак, бойко тащили по песку напряженные этим грунтом повозки, и только ребята, правившие лошадьми, переключались резкими, звонкими голосами. Собственно, народу было немного; но от молчаливой быстроты работы, от бойкости лохматых, фыркающих лошадемок и, может быть, еще больше от контраста с пустынным безлюдьем песков — от всего этого незаметно было с первого взгляда, как мало людей работает здесь. Песок облаками носился в воздухе, повозки, скрипя, карабкались в насыпь, потом, разгрузившись, тарахтели обратно, под кручу,

и опять вереницей трусили за грунтом, и над всем этим в расплавленном небе стояло солнце, беспощадное летнее солнце степей.

— Сколько здесь грабарей? — ясно, с нерусским акцентом донеслось до Платона.

«Летучий голландец» стоял на склоне бархана, обводя взглядом насыпь. Он выслушал ответ Гедвилло, оглянулся:

— А где они живут?

И вдруг, не дожидаясь ответа, стал быстро спускаться вниз.

Поодаль от насыпи виднелась редкая ивовая заросль, он шел прямо туда, и все остальные двинулись за ним. Приближаясь, они увидели кособокие шалаши, сколоченные из обломков досок, из кусков фанеры, прикрытые обрезками ржавого железа; занавешенные кое-где тряпьем, рваным брезентом, сооружения эти были всё равно насквозь видны в щели. Перед шалашами, на кучках такого же тряпья или прямо на песке, ползали малолетние и грудные ребята, у некоторых жилищ покачивались рядом люльки, подвешенные на веревках к кольям, вбитым в песок. Шалашей было много: странным казалось, зачем они нужны такому небольшому количеству людей. Внутри ближних шалашей виден был всякий скарб, — там возились женщины, босоногие, черные от солнца. Тут же, за кустами, змеились бледные при солнце огни костров: в чугунах, в закоптелых чайниках, в черных от сажи котлах варился обед прабарям.

Никто не выходил навстречу пришедшим. Они встали посреди становища, оглядываясь по сторонам, и всем было видно, как беспокойно следит начальник строительства за выражением лица московского гостя. Тот стоял, обмахивая лицо фуражкой, и молча смотрел. Только сейчас Платон, оказавшись сзади него, заметил, что светлые волосы его потемнели над шеей и что белая рубаша на спине тоже вся влажна от пота. Наконец гость повернулся. Глаза его, как всегда, серьезные, чуть выпуклые, остановились на очках начальника строительства.

— Цыганский табор, — негромко, ровным голосом проговорил он.

Гедвилло дернул плечом, портфель зачался в его руке:

— Разрешите доложить... Палатки уже затребовали, но Москва обещает, что не раньше...

— Сколько недель назад затребованы палатки?

Товарищ Гедвилло прищурился деловито. Он имел вид человека, готовящего абсолютно точный ответ, хотя знал отлично, что палатки затребовали только на-днях, и то после бесконечных просьб и жалоб участка.

— Разрешите проверить и доложить, — сказал он. — Я выясню точную дату.

«Летучий голландец» внимательно смотрел на него. Он смотрел каким-то особенным взглядом, и Платону Гветадзе показалось, что взгляд этот устремлен не на губы и не на глаза говорящего, а выше, на лоб. Но сейчас же Платон решил, что ошибся: недалеке, по направлению этого взгляда, он увидел приближающихся людей. С трассы шли на обед грабари. Подходя, они замедлялись почему-то, и вперед зашагал высоченный костистый бородач, в котором Платон сразу узнал Кочубея. Ни на кого не обращая внимания, бородач шел прямо к Рыбакову:

— Фаддей Демьянычу почтенье... Проведать приехали? — Он протягивал инженеру темную ладонь, в другой руке была лопата. — Ну, как — скоро начесть нас решенье-то будет?

Грабари вслед за ним кучей обступили приехавших.

— Терпенья больше нет, Фаддей Демьяныч.

— Работу требуют, а живи, как хошь...

— Ай все молчит начальство-то? — задорно выкрикнул коротковатый, плечистый парень, протискиваясь вперед.

— Начальство — вот, само приехало, — сдержанно сказал Рыбаков, показывая в сторону Гедвилло. Парень юркнул назад, Кочубей выпрямился, глянул зорко:

— Значит, товарищ Гедвилло будете? — солидно, медлительно выговорил он, приподымая шапку. — Пропадаем, товарищ начальник. Ни жилья, ничего,

сами смотрите. Харчи тоже... Соль мокрая, рыбу вот который раз тухлую выдают... Хлеб, и то черствый получаем, не размочишь — не упрызешь! Одно спасенье — доедешь вот к товарищу Рыбакову за десять верст, ну, нажмет.. Кабы не Фаддей Демьяныч, так и работать бы некогда, только и знай, что с кооперацией с этой воевать....

— У вас есть прораб, — строго сказал Гедвилло, не глядя на бородача. — Обращайтесь к прорабу, незачем мотаться к начальнику участка.

— К прорабу? — повторил Кочубей. Он почесал в затылке, другие грабари переглядывались. — Прораб-то... вон он сам стоит, пушай скажет...

Гедвилло обернулся, но не успел ничего произнести. «Летучий голландец», шагнув вперед, быстро спросил:

— Кто здесь прораб?

— Я...

Инженер Кульшин выдвинулся из-за широкой спины Рыбакова. Только теперь все заметили, что и он — здесь, хотя прораб всю дорогу был с ними. Кашлянув, инженер Кульшин ждал вопросов. Грустные глаза его неподвижно смотрели на высокое начальство через холодные стеклышки пенсне.

— Почему недоброкачественные продукты?

— Жара... Негде хранить.

— Почему не развозят сразу?

— Нехватает транспорта.

— Какие меры вы принимаете?

— Я требую... Мы составляем акты, посылаем в контору участка.

Все было верно в грустных словах прораба. Начальник участка хмуро молчал; грабари тоже слушали с серьезными лицами, некоторые сочувственно покачивали головами, — можно было подумать, что они сочувствуют тяжелому положению инженера Кульшина; и сам он, тихий и грустный, смотрел открытым, безнадежным взглядом, словно хотел сказать: видите, делается все возможное.

— Это как есть, — вздохнув, проговорил Кочубей. — Прораб, известно... чего он может? Вон Фаддей Демьяныч — и то иной раз... От вас, чай, все зависимо, товарищ начальник?

Почесывая бороду, он зорко и ясно смотрел в очки Гедвилло и только покашивался на светловолосого молодого человека, видимо, принимая его за лицо второстепенное, вроде какого-нибудь ревизора из местных.

— Хорошо, хорошо, — торопливо проговорил Гедвилло. — Я разберусь, товарищи... — Видя, что все сейчас смотрят только на него, он кинул на Кульшина бешеный взгляд, нагнулся и стал копаться в портфеле, словно собираясь что-то записать.

Грабари стали расходиться на обед. Только Кочубей да еще двое-трое пошли проводить начальство по становищу. И тут обнаружилось, почему так много в становище шалашей: почти половина их была пуста.

— Это что такое? — опять воззрился Гедвилло на прораба. — Это что... уходят?

— Уходят... — тихо подтвердил инженер Кульшин.

— А чего ж будешь делать... — в общем молчании заговорил Кочубей. — Известно, уходит народ... Три артели тут стояли, одна наша осталась. Коли правду сказать, товарищ начальник, так и мы бы ушли, кабы вот не Фаддей Демьяныч! Сколько лет с им работаем, а то бы разве...

Только через час, пройдя вдоль всю трассу грабарей, вышли опять на дорогу. Тут пески прерывались, снова началась степь, показались курганы. У первого кургана ждали на дороге линейки. Уже садясь на свое место, на переднюю линейку, начальник строительства увидел: московский гость садится не к нему, а в следующую линейку, к Рыбакову. Главный инженер шел оттуда, весь красный, осоловелый от жары:

— Я — к тебе, Ян. В самом деле, нам с Рыбаковым тесно. Давай уж так: к толстому — тонкий...

— Садись, садись... — пробормотал Гедвилло, серый от злости, от пыли, от усталости. В первый раз в жизни он подумал, что профессор Максим Робертович Гесс умён меньше, чем это кажется окружающим.

Одна за другой линейки покатили в пыли от кургана к кургану. Солнце па-

лило нещадно, духота стояла в степи, даже ветер стал сухим, горячим. На второй линейке, жмуясь от пыли, которая тучей неслась спереди, подскакивая на кочках, трясся человек, руководивший всем железнодорожным строительством в стране. Он сидел боком на кожаной подушке, согнувшись от усталости, которой не замечал никто. Он упирался пыльными ладонями в худые свои колени и смотрел на убегающую трассу магистрали, на неровную насыпь, уже еле видную справа от большака. О чем думал он, видевший всю Европу, изъездивший теперь и всю новую свою родину из края в край? Об Урале, с которого только-что вернулся, о седом Урале, обогащенном теперь новой горной дорогой, готовящемся пустить по ней первые электропоезда? О вершинах кавказского Сурама, сквозь которые проехал он недавно длиннейшим советским туннелем на первом, своем, советском электровозе? О густой, всё растущей сети стальных путей, заново проведенных на западных границах? Или о Дальнем Востоке, о гигантских новых дорогах, продолжающих Великий сибирский путь, за мощь которого он, «летучий голландец», вместе с другими отвечает перед партией?

Он чихнул от пыли, звонко, по-мальчишески, и начальник участка, грузно сидевший рядом, решил нарушить почтительное молчание. Он заговорил осторожно, что вот трудноато придется, что конечно видал он, Рыбаков, всякие виды, ничего, наладится и здесь... но что, может быть, лучше было бы, если бы перевели его куда-нибудь, ну хоть прорабом даже...

— Хорошо, хорошо, Фаддей Дамианович, — подтрясываясь на линейке, отвечал гость. — На Турксибе, когда я обратал у вас прорабом, помните, мне тоже однажды захотелось оказаться просто десятником, а то и землекопом? Кажется, именно после этого вы меня выдвинули себе в заместители?

На последней линейке, спиной к парт-оргу, сидел убитый отчаянием инженер Кульшин.

— Плохо... конечно плохо... — бормotal он. — Разве я не понимаю? Но

ведь так же у всех... на всех пунктах!! Ведь верно, товарищ Гветадзе?

— У Дорофеева не так, — жестко, не оборачиваясь, ответил парторг.

Линейки, пыля, скрипя и подскакивая, катили по большаку. Курганы, проплывая мимо, указывали им дорогу на Каменку, к трассе лучшего из прорабов участка.

Если бы знал парторг, что происходит в это время на пункте инженера Дорофеева!

\*\*\*

За селом, за церковью, на том самом месте, где митинговали в первомайский праздник строители, шумела целая толпа.

Каменцы, — взрослые и подростки, бабы и старики, — теснясь, окружали взмыленную верховую лошадь. На лошади сидел Дорофеев, без шапки, с растрепанными ветром волосами. Он громко говорил что-то, стараясь перекрыть разноголосый шум толпы, — передние, помогая ему, шикали и кричали на задних, и от этого становилось еще шумнее, и Анка, только-что прибывшая сюда из конторы, ничего не могла сзади расслышать и понять.

— Товарищи, спокойно!.. Граждане! — громко говорил Дорофеев, махая рукой. — Я же вам объясняю... раз это необходимо... для магистрали... да тихо же, граждане!

В этот момент Анка увидела в стороне, на бревнах, Магдалину с Чириком на руках.

— Лина, это что за буза?

Магдалина холодными, злыми глазами смотрела через толпу на мужа. Губы ее, ярко намазанные, кривились презрительно, руки были крепко сжаты.

— Вот... любуйся на папашу. Дождался!

— Да в чем дело? Я опять у этого была, у старика Гесса, вернулась, и вижу из конторы, что тут делается... Неужто опять насчет церкви?

— Конечно! — зло сказала Магдалина, не отрываясь от мужа ненавидящим взглядом. — Вот, с котлована прискакал — уговаривать... Тут Богун новый вариант от балки провешивает...

— Ну?

— Ну, и не дают ему...

Глаза у Магдалины сухо блестели, как блестят глаза от сдерживаемых слез.

Толпа между тем стала стихать.

— ... Граждане! — слышнее стал голос прораба. — Вы должны понять... вы же народ сознательный! Церковь мы, действительно, сначала не думали трогать... это не брехня, это факт, граждане! Мне известно даже, что тут кое-кто пустил слухи, будто мне за это ваши церковники взятку дали... будто даже в управлении нашего строительства нашлись какие-то защитники вашей церкви... Ну это вот как-раз чистая брехня! Церковь мы не трогали потому, что трасса шла мимо, понятно? Мы ведь строим дорогу не так, как мне или кому другому хочется, а так, как лучше, как выгоднее технически... понятно? Ну, а теперь вот выяснилась ошибка...

— Слыхали!

— Не крути вола, инженер!

— Тихо, бабы! Дайте сказать человеку!

— Знаем мы их!

Инженер, привставая на стременах, силился перекричать разрастающийся снова шум. Он пытался объяснить, что ошибка произошла еще зимой что трудно было наметить тогда лучший вариант трассы, барахтаясь по колено в снегу, в мороз и метель; что только летом, уже на ходу постройки, удалось ему вместе с Тукиным найти новый удобный переход через балку «Три пальца», в степи за Каменкой, — что именно из-за этого меняется теперь здесь все направление трассы и что только поэтому насыпь заденет церковь...

Едва дело доходило до церкви, шум и крик поднимался сильней. Напрасно председатель сельсовета, протискавшись к прорабу, пытался подержать его; напрасно каменские комсомольцы — десяток взволнованных парней и девушек тешили в толпе, убеждая, усовещая самых крикливых; старики, старухи, молодые бабы, не унимаясь, лезли к прорабу, хныкали и грозили, причитали и ругались на все голоса. Казалось, половина Каменки сбежалась сюда. Анка, не выдержав, оставив Магдалину с

Чириком, ввязалась в спор с тремя бабами, самыми зевластыми из всех:

— Ну не стыдно вам, ну чего орете? Что вам Дорофеев — враг, что ли? Ведь его советская власть прислала! Для вас же человек старается, и все мы тут ведь вам же на пользу работаем...

— Катись ты, девка! — отмахивались бабы. — Вас советская власть-то дорогу прислала строить, а не церкви ломать... Чай, и мы ныне грамотны, нечего нам заливать...

— Отец Павел-то по весне еще дьякона в город посылал, до самого вашего начальства, всё вызнали!

Анка вспыхивала, краснела, злилась. Она не знала, что еще говорить. Она видела: каменцы твердо убеждены кем-то, что направление трассы меняет не советская власть, а только инженер Дорофеев, что все это — не по закону, а просто своеволие...

«Дуры, дуры... — ругалась про себя Анка, чувствуя, как закипает в горле. — Ну, как им объяснишь, бузотеркам?»

Она видела, что и отец раздражен до крайности и вот-вот начнет ругаться, и, чувствуя, что выйдет совсем ерунда, думала с отчаянием:

«Если бы Платон... Платона бы сюда!»

Тут она вспомнила, что Платон сегодня приедет с московской комиссией. «Что ж это будет... скандал...»

В этот момент мимо нее, запыхавшись, пробежал Сурков. Он добрался до прораба, что-то быстро сказал ему и вскинул руку к толпе.

— Товарищи! — крикнул с седла Дорофеев. — Граждане! Слово имеет секретарь нашего построечного комсомола, товарищ Сурков!

Стало хоть чуть потише.

— Вот что, граждане, — зычным, уверенным голосом заговорил Володя Сурков, — вот, кричите целый час, инженеру нашему толком объяснить не даете. А дело-то, знаете, в чем?

Он стер со лба потные волосы, жесткий взгляд его заблестел насмешливо. Вокруг перестали шуметь.

— Дело в том, — твердо сказал Сурков. — Инженеры-то об вас подумали,

а сами вы об себе — нет. Трасса-то куда теперь подается? Влево. Спрямяется магистраль, понятно? Так ежели теперь церковь нам обойти, где насыпь пойдет? По селу пойдет... По хатам вашим пойдет!

Стало совершенно тихо на лугу. Стало слышно, как за церковной оградой каркают на деревьях вороны.

— Так вот, — заговорил опять Сурков, небрежно сплюнув себе под ноги, — конечно партийно-комсомольская наша организация вам помочь не откажет. Мы хотя в церкви не нуждаемся, ну, а если общество желает, препятствовать не будем. Вы, чай, сами сознательные... значит, сами и решайте. Кто за то, чтобы, значит, церкву не трогать, а насыпь пустить напрямки, по селу, — тот подними руку!

В молчании поднялось пять-шесть ладоней, сморщенных, старчески-сохлых.

— Ну? А еще?

Две руки опустились.

— Маловато, граждане!

Толпа быстро редела. Бабы, вспомнив о делах, кучками поворачивали к селу. Кто-то из молодежи насмешливо засвистел им вслед, но Сурков глянул строго, и опять наступила тишина. Прораб тяжело слез с седла, он был красен лицом, как из бани, но усмехался. Председатель сельсовета, тихо поговорив с ним, объявил звонким тенорком:

— Граждане, ввиду ясности можете расходиться. А вопрос обсудим в сельсовете, организованным порядком, потом в колхозе, потом единоличников соберем на собрание, так и далее...

Расходясь, каменцы молча, торопливо огибали церковную ограду. Церковь была почему-то открыта, несмотря на неурочное время; но только несколько стариков и старух поднялось на паперть. Вышел мохнатый дьякон, крикнул что-то, зазывающе махая широкими руками. Народ тёк мимо, в улицу села, и многие, откликаясь дьякону, оглядывались назад, на луг. А на лугу, словно камни на берегу морском после отлива, оставалась опять только небольшая кучка строителей. Утирая пот, посматривая с усмешкой вслед уходившим, Володя Сурков повторял возбужденно:

— Теперь — крышка, ребята... Отхлынут они от попа. Теперь пускай шуршит, — крышка ему!

— Правильно, — поддерживал Богун, хлопая его по плечу. — Молодец, Сурков, верно, Василь Василич? Ведь как ловко у него вышло, а?

— Поглядим, ребята, — коротко сказал, влезая опять в седло, прораб. — Ну, Богун, давай, продолжай...

Он поскакал обратно на котлован. Техник огляделся:

— Где ж наши-то?

— А вон они, — сказала Анка. — Вон, с васёнкиной тёткой. Я ее знаю, она — церковная староста.

Все увидели у ограды высокую старуху в черном, около нее стояла Васёнка и Дымко: старуха что-то говорила им, показывая на церковь.

— Ре-бя-та-а! — крикнул Богун, сложив ладони рупором. — Скорей там, некогда!

Оглянувшись на окрик, старуха сейчас же ушла за ограду. Дымко и Васёнка медленно пошли к своим.

— Скорей, скорей! — кричали им.

Позади, в степи, торчали вежи нового варианта, надо было кончать прерванную работу.

— А где же пикетажист? — спохватился Богун. — Ребята, Петруша-то куда девался?

— Живот у него, — сказала Васёнка, подходя. — Схватило дюже, домой побежал...

Она смотрела смущенно, в темных глазах ее дрожали неверные огоньки.

— И мы домой тоже пойдем, — угрюмо проговорил Дымко. Только сейчас все увидели, что он держит Васёнку за руку, как маленькую.

— Домой? Это как? — изумился Богун.

— А так. — Парень с ненавистью глянул технику в лицо, он не выпускал большую тонкую руку Васёнки. — Не будем вешить, и всё тут. Расчет давайте, понятно?

— Васёнка... и ты? — тихо сказали сразу и Богун, и Володя Сурков.

Девушка опустила глаза.

— Вы церкву ломать будете...

— Ага, так!..



Богун оглянулся растерянно. Теперь он понял и причину внезапной болезни Петруши Уткина. Он потерял сразу и пикетажиста, и обоих вешильщиков. Дымко уже уходил, ведя девушку за руку.

— Васёнка, как же стыдно! — крикнула Анка вслед. — Это — тётка тебя, да?

— Брось, — строго сказал Сурков. — Обойдемся. Мы сейчас комсомольскую мобилизацию сделаем. Ну, Григорий Савельич, видно, довольно мне колья такать? Я — за него, а ты, Анка, — за Васёнку. Есть?

— Есть, товарищ секретарь!

Через полчаса вешеные опять шло полным ходом. Отсекр построеного комсомола ловко и быстро нацеливал вешки «в створ», словно делал это всю жизнь, Анка бегом подтаскивала вешки, спотыкаясь от усердия. Богун вел новую трассу к церковной ограде, работая сам и с инструментом, и с пикетажной книжкой. Он уже не думал о Васёнке. Глядя на Суркова, на Анку, он думал, тайно вздыхая, как прекрасно бы вышло, если бы Магдалина Ивановна согласилась «попробовать за пикетажиста». Изредка он робко поглядывал в сторону: там, за кучей бревен, гуляла на лугу с Чириком новая мечта его сердца, в летнем нарядном платье последнего московского фасона, с ярко подмазанными губами. Рассеянно следя за сыном, она смотрела вдаль, она напевала чуть слышно:

... Цветок душистых прерий... —

и голос ее дрожал. Она была душой далеко-далеко отсюда, не в этих душистых прериях, а в городе, не в Москве, о нет, и даже не в областном городе — центре управления строительством, — а в любом, хоть в каком-нибудь городе с театром, с тротуарами, с кино, с магазинами, с хорошей библиотекой... Туфли её, модные «бежевые», длинноносые туфли на венском каблучке, беспощадно давили веселую степную ромашку, мысли уносились то в прошлое, то в будущее, — в настоящем не было ничего, кроме этой глуши, кроме трассы, кроме небритого, усталого мужа и других, та-

ких же небритых, усталых инженеров и техников, кроме пыли на улице по утрам и визгливой гармошки по вечерам...

— Чирик, где ты? — в испуге оглядывалась она. — Не вайся ты по траве, опять весь грязный... Ох, тоска какая... какая тоска!

— Мама, — говорил Чирик, об'едая ромашку, — мама, а скоро папа придет с нами гулять? Когда же он будет выходной? Он же обещал...

— Он много чего обещал, твой папа, — дрожащим голосом отвечала мать. И ей казалось, что уже ничего, кроме ненависти, не оставалось в ее душе к человеку, о котором спрашивал сын...

В это время инженер Дорофеев соскакивал с лошади у котлована, видя, что опоздал: под'ехавшее на линейках начальство уже встречали Тукин и Кныш.

\*\*\*

Савелий Кныш имел такой вид, словно его только-что наградили орденом. Он водил начальство по котловану, показывал, об'яснял, собственно, он водил только «летучего голландца», сразу забыв обо всех остальных: оба они сразу узнали друг друга, оба вспомнили, словно вчерашнее, далекие уже турксибовские времена.

— Вы извините меня, — с любезной улыбкой сказал «летучий голландец» Дорофееву, как только их познакомили. — Я знаю, что здесь хозяин — вы... Я много слышал о вас. Но товарищ Кныш... Видите ли, он помнит меня таким же прорабом, каким знает теперь вас.

Это слышали все, и лысина Кныша покраснела от удовольствия, несмотря на коричневый степной загар.

После котлована осмотрели насыпь, огромную, подползавшую к реке целой горой, потом спустились на берег, к баракам — неказистым, темноватым, но уже утепленным, хотя до холодов было далеко. Начальник строительства, главный инженер, начальник участка — все благодарно, с гордостью поглядывали на Дорофеева. Только у последнего, еще

не достроенного барака вышла заминка. Плотники, пьяные вдрызг, увидев прораба, окружили его. Они не работали сегодня: один из них, беловолосый, вихрастый парень, объяснил, что больше они отдыхать в воскресенье не будут, а желают иметь общий со всеми советский выходной день; но до выходного ждать долго, а ежели они и выпили, так не с радости, а с горя, потому что в конторе у прораба с них опять удержали за прогул.

— А с чего гуляем? С чего мы гуляем, ты спроси?! — вихляясь, приставал парень к Дорофееву. — С последнего гуляем! Вот она, получка-то вся!.. — Он свистнул, вывернул карман: — Ну, какой ты нам разряд положил, эх... Не уважаешь ты работника, товарищ прораб!.. А ты знаешь, кто нас до тебя послал? Сам начальник послал, а ты... Да другой бы за этаких людей во как держался!

Он размахнул руками, показывая, как надо держаться за таких работников, как он пошатнулся и едва устоял на ногах.

— Вот пропьем все, и уйдем, право слово, уйдем. Верно, ребята?

— Не прибавишь — уйдем, прораб!

— Не прибавлю, — коротко сказал прораб, отходя.

«Летучий голландец» тронул его за рукав.

— Хорошие плотники? — тихо спросил он.

— Дрянь, — так же тихо ответил Дорофеев.

В это время парень, мутным взглядом провожая уходивших, закричал пьяно и радостно:

— Братцы, да вот он! Начальник, мил-лай!

Все обернулись. Парень шатнулся к Гессу, хватая его за рукав:

— Ннна-чаль-ник, гляди! Нне уважают нас, а ты послал... сулил, зарабатываем, а?

Максим Робертович отстранялся, борючая что-то. «Летучий голландец», глядя ему на лоб, так же, как раньше, смотрел на Гедвилло, спросил отрывисто:

— Вы знаете... этих... людей?

— Не помню... Кажется, нет...

Профессор Гесс лгал, лгал мальчишески, непонятно, зачем. Он прекрасно помнил эту плотницкую артель.

Кроме этой детали, всё на дорофеевском пункте сошло хорошо. Поднявшись с берега в контору, начальники вчетвером выслушали доклад прораба. Конечно и у него было плохо с материалами, со снабжением. Но разве не продолжал он работу? Разве не лучшие показатели на всем участке были у него?

Ничего этого инженер Дорофеев конечно не говорил о себе. Он называл только цифры, только факты, оглядывая всех холодными, серыми глазами, и широкое, красноватое лицо его выражало только одно: «Ничего, товарищи. Крутимся, как можем. Духом не падаем».

И на лицах у трех слушавших его людей — и у Гедвилло, и у Гесса, и у Рыбакова — по-разному отражалось то же самое выражение, и даже что-то вроде горделивого удовлетворения поблескивало в очках Яна Михайловича Гедвилло, словно дело заключалось именно в том, что прорабы должны были выкручиваться, как могут, и не падать духом, несмотря ни на что.

Но вот Дорофеев кончил. «Летучий голландец» первым встал с табуретки.

— Благодарю вас, — серьезно сказал он, надевая фуражку. — Вы — хороший инженер. Но положение у вас катастрофическое. Вы отсыпали насыпь, она уже почти готова. Но вы не можете даже приступить к постройке самого моста. У вас нет камня, вам только теперь товарищ Гедвилло дает денег на постройку узкоколейки в каменный карьер. У вас нехватает людей, а строителей Кныш у вас стоит на земляных работах, тогда как он — прекрасный мостовик...

— Я знаю, — угрюмо сказал Дорофеев. — Тукин — тоже мостовик, но мне пришлось поставить его на изыскания, потому что...

— Всё понятно, — спокойно остановил его московский гость. — Я вижу, товарищ Дорофеев, что вы хороший инженер и хороший большевик. Теперь я хотел бы посмотреть экскаватор.

— Эскаватор опять в ремонте, — тихо сказал прораб. — Вам придется проехать за реку, к красноармейцам... У них, кажется, работает.

\*\*\*

С'ехав с парома, линейки едва успели от'ехать от берега, как послышалось: — Стой!

Красноармеец в выцветшей, но чистой гимнастерке, с винтовкой у ноги, подтянутый и строгий, стоял на посту, в зарослях ивняка. За ними виднелись белые палатки, высокие колеса повозок. Узнав Рыбакова, красноармеец пропустил, но навстречу уже шел высоченный, широкоплечий командир.

— А, хозяин! — улыбаясь, заговорил Рыбаков. — Вот, знакомьтесь: это товарищ Гедвилло, а это...

Договорить он не успел. Широко и четко шагая, командир подошел, вытянулся перед Гедвилло, строго вскинул ладонь к козырьку:

— Товарищ начальник строительных работ! Командир эскаваторной роты отдельного железнодорожного батальона Раздай-Вода! Рота выделена командиром батальона для учебной практики на сооружение подходов к мосту! Работы идут десятый день, выполнено земляных работ семь тысяч триста сорок кубометров, по плану задано шесть тысяч пятьсот! Рота находится на трассе, в наряде по лагерю — первый взвод, больных нет, опускных нет!

Оторвав руку от козырька, он вытянулся, отступил в сторону. Гулкий бас его еще гудел в ушах ошеломленных гостей, но командир уже улыбался конфузливой, юношеской улыбкой, почтительно и непереносимо стискивал всем руки своей огромной ладонью и совсем другим, сдержанным баском говорил Рыбакову:

— А вы бы предупредили, Фаддей Дамианович... Как жалко... Я прикажу приготовить — наверно покушать хотите с дороги... Лошадей можно распречь, верно?

Отдавая на ходу приказания, он вёл гостей по лагерю, по дорожкам, похожим на садовые аллеи, показывал акку-

ратно прибранные внутри палатки, завел в читальню, мимоходом включил радио на площадке. Гости озирались и шли, едва успевая за огромными шагами командира. Они трогали пальцами чистую клеенку на длинных обеденных столах, заглядывали в блистающие кухонные котлы, читали нарядную стенную газету, выставленную под стеклом на особом щитке, — и молча переглядывались. Они привыкли видеть всё это всегда, когда попадали в город, по торжественным дням в гости к Красной армии; но здесь, в этой степной глуши, всё это казалось невероятным. Так, надо полагать, путешественники, встречая оазис в пустыне, восторгаются свежей зеленой листвы, которой даже не заметили бы у себя на родине, и благоговейно перед родничком чистой воды, которую в иных местах равнодушно льют на тротуары.

Лагерь был пуст. Комрот тем же шагом повел гостей на трассу, на линейке лагеря, обсаженной газонами и цветами. стояли часовые, они охраняли территорию, занятую и возделанную ротой рабоче-крестьянской Красной армии. Дальше опять была степь, песчаные наносы да ивовые заросли до самой насыпи. Эскаватор работал близко, грохот его стал слышен сразу, как только свернули против ветра. Дойдя до траншеи, вырытой себе эскаватором, комрот остановился:

— Старшего-ко мне! Товарищ Щербина, где вы?

К нему уже подходил, с рукой у козырька, коренастый красноармеец. Раздай-Вода молча выслушал рапорт, оба отрывисто бросили руки вниз и уже обычными, негромкими голосами заговорили о работе. Эскаватор шипел и скрежетал, заглушая их слова; гости отошли — осмотреть механизм. Вокруг него и на нем работали только красноармейцы; в грязных, засаленных гимнастерках, с потными, маляными лицами, они так непохожи были на аккуратных часовых и дежурных в лагере, что Максим Робертович Гесс спросил:

— А это.. тоже военные?

За шумом его никто не услышал, и он громко повторил свой вопрос.

— О, ja, das ist die Rote Armeel! — раздалось рядом. Около главного инженера, приятно улыбаясь, стоял Иоганн Лемке, экскаваторный специалист строительства. — Добри день, господин Гесс.

— Вы? Откуда вы здесь? — изумился главный инженер.

Немец учтиво, с достоинством поздоровался с каждым в отдельности, почтительно отрекомендовался «летучему голландцу», сказал ему сладкий комплимент по-немецки и только после этого ответил на вопрос.

— Я приезжал след за вами, — старательно выговорил он по-русски. — Я должен смотреть это... этот за-ме-ча-тельный эксперимент...

Слушая его, инженеры поняли: экскаватор работал у красноармейцев потому, что они приспособили ему топку для угля. Остальные экскаваторы этой старой чехо-словацкой системы везде стояли без дела на новостройке магистрали: они могли работать только на дровах, а дров в этих краях не было никогда.

— Итак, вы приехали сюда учиться? — серьезно и вежливо спросил «летучий голландец».

Иоганн Лемке выпрямился с достоинством:

— Специалист всегда должен пользоваться... заимствоваться у специалиста...

Гедвилло самодовольно блеснул очками. Он огляделся на Раздай-Воду, испешно подходившего к ним:

— Товарищ командир... вы где-нибудь обучались до армии? То-есть... вы не имеете технического образования?

— Я — инженер, — гулко сказал Раздай-Вода. — Я в этом году окончил МИИТ. Так что же, может быть, желаете пройти дальше?

\*\*\*

Главный инженер задержался с Иоганном Лемке у экскаватора. Новый машинист, красноармеец Юстап Щербина, подробно объяснял, чем плох иностранный механизм для советских степей, как именно приспособлена под уголь

топка экскаватора и как повлияло это на его производительность. Глядя на степенные жесты красноармейца, на серьезное лицо Лемке, профессор Гесс сначала едва удерживался от улыбки, потом молча слушал, потом стал, перебивая, задавать вопросы, потом, вынув блокнот, начал записывать — и только минут через десять заметил, что все остальные уже ушли. Он двинулся догонять, вдоль трассы, прошел пикета четыре, поднялся в насыпь. И то, что он увидел за насыпью, заставило его застыть на месте. Рядом с «летучим голландцем», окруженный командирами, парторгом, Гедвилло, Рыбаковым, стоял высокий старик в шляпе, в старомодном длинном пальто.

— Отец! — изумленно позвал главный инженер.

Он спустился в резерв, подошел, словно всё еще не веря глазам. Старик повернулся к нему, и профессор Гесс увидел у отца такое лицо, какого не видел никогда. Волнение, напряженный, почти тревожный взгляд и вместе с тем какая-то растерянная радость оживляли это высохшее, неподвижное лицо восьмидесятилетнего человека.

Он смотрел на насыпь, не отрываясь, он кивнул сыну, механическим движением протянув ему морщинистую желтую руку, а сам все глядел на красноармейцев, на кипевшие по всей трассе земляные работы.

— Отец, в чем дело? — тихо спросил главный инженер.

Озираясь во все стороны, он не видел нигде ничего особенного, и молчание всех, окружавших старика, раздражало непонятностью.

— Посмотри... — сказал Роберт Гесс глуховатым, словно разбитым голосом, — посмотри, что они делают...

Красноармейцы работали бригадами по-трое, в пяти-шести метрах одна от другой. Двое копали землю широкими штыковыми лопатами, один отвозил грунт в тачке на насыпь. Узкие деревянные дорожки из досок спускались с насыпи к каждой бригаде, тачки медленно ползли по этому зыбкому насти-

лу вверх и потом со скрипом катились обратно, постукивая на стыках досок, как тележные колеса по кочковатой дороге — праматери всех дорог земных, от проселка до рельсов...

Рельсы, рельсы, победители странств, всесветный стальной путь цивилизации и порабощения! Двойными блистающими вашими обручами опоясан, изрезан за сто лет весь земной шар. С побережья Испании в советский Владивосток переносится человек по сплошной рельсовой колее, — от океана до океана, — через скалистые Пиренеи и вечно снежные громады Альп, через всю Европу и лесистый Урал, по дремучей сибирской тайге к монгольским песчаным пустыням. Под солнцем и в морозную ночь, мимо пашен, садов и пылающих домен, в бурю и дождь, среди снежных обвалов и зыбучих мертвых песков — всюду струится рельсовый путь, и уже не осталось ему никаких преград на земле. Высокими виадуками, — через ложины и ущелья, по железобетонным и каменным мостам, — через многоводные равнинные реки, в могильном мраке туннелей, ползущих на многие километры сквозь непроходимые горные хребты, — всюду проносятся поезда, утверждая на земле власть человека. Она жизнетворна и гибельна, эта власть. Она рождает процветание и несет смерть. Небоскребы и парки, театры и публичные дома, церкви и заводы возникают вдоль рельсов — и вымирают племена. Ящики пулеметов и ящики термометров одинаково быстро везут паровозы, водка и радио проникают и в Индокитай, и в долину негритянского Сенегала. Еще только истек первый век железных дорог, но человечество уже видело, как за один год вырастают на голом месте южноамериканские города, и за один месяц превращаются в кладбище каучуковые джунгли на берегах Конго. Англия и континент, Япония и Соединенные штаты — пять шестых земного шара начали новый, второй железнодорожный век, натгетая в стальные свои артерии новые сотни тысяч вагонов с драгоценными грузами из колоний; обратно катились эти вагоны, набитые хиной и патефонами для коло-

низаторов, патронами и женщинами для колониальных войск, ползли и катились повсюду, обходя только одну страну во всем мире, на чьей развороченной земле стоял сейчас старый Роберт Гесс под летним степным небом...

... В этой стране люди строили другие дороги. По рельсам — как электрический ток по проводам — на тысячи километров передавалась культура, в кишлаках, аулах и хатах загоралось электричество, в колхозах появлялись типографии, в степях сигнальными башнями социализма вставляли гигантские элеваторы. В этой стране привезли в пустыню по рельсам целый город — Сталинабад. В этой стране, изумив строителей всего мира, люди построили легендарный Турксиб. Эти люди, покрытые всесветной славой, рассыпались теперь по всем союзным республикам — строить новые дороги, прокладывать повсюду стальные пути...

Строить... но — как?

Человек рыл землю лопатой, как рыли за сотни лет до него. Накопив, он опирался на лопату — в вековой позе отдыхающего землекопа — и ждал, пока подвезут к нему орудие для перевозки накопанной земли. Орудие приближалось — дощатый, грубо отесанный и плохо сколоченный ящик, открытый сверху и с одной из сторон, с колесом внизу и с широкими щелями в днище и боках. Другой человек толкал перед собой этот ящик, держа его за короткие деревянные оглобли, также неровно и шершаво обтесанные топором. Опустив ящик на деревянные подпорки, люди доверху засыпали его накопанной землей. Потом человек опять брался за оглобли, поворачивал ящик на скрипящем колесе и толкал его в том направлении, куда нужно было сваливать выкопанную землю. Тяжелый ящик давил на колесо, оно вдавливалось в землю так глубоко, что нельзя было даже столкнуть ящик с места, но тут помогало приспособление, придуманное человеком в таких же обстоятельствах два-три столетия тому назад. На пути ящика была брошена на землю доска, обструганная грубо, как и ящик и его оглоб-

ли. Колесо вкатывалось на доску и двигалось по ней, направляемое человеком в оглоблях, а впереди лежала еще такая же доска, и еще, и еще — длинный путь, неровно поднимающийся вверх по насыпи. Земля сыпалась из ящика в щелки и через края, а человек все толкал ящик перед собой, не видя колеса, чутьем и напряжением мускулов стараясь ровно и прямо держать оглобли по направлению доски. Если это удавалось ему, он с усилием вкатывал ящик с доски на доску, поднимаясь к вершине насыпи, и там сильным толчком опрокидывал ящик. Работа была сделана, надо было только повторить ее двести двадцать миллионов раз, чтобы получилась насыпь, достаточная для той дороги, которую строили люди на глазах старого Гесса. Но доски лежали неровно и горбато, от ударов колес они постепенно расплзались друг от друга, и колесо часто соскальзывало с доски. Тогда ящик упирался в землю, и человек с усилиями втаскивал его обратно, и земля от этих усилий всё сыпалась из ящика и справа, и слева, и снизу, и пока ящик доползал наконец до вершины насыпи и опрокидывался над нею, человек с ожесточением убеждался, что работу надо повторить не двести двадцать, а четыреста сорок миллионов раз...

Медленно-медленно Роберт Гесс повернулся к «летучему голландцу»:

— Мы с вами только-что познакомились... — с расстановкой, слезно с усилием, заговорил он. — Но я позволю себе без лишних формальностей сказать вам — именно вам — то, что сейчас у меня на душе. Почти полвека я строил для России железные дороги. Пятнадцать лет я не делаю ничего. Я залез в свою нору от шума жизни, — поступок, может быть, звериный, но простительный для человека восьмидесяти лет... Один из ваших молодых людей, правда, уговаривает меня, что для моей же пользы меня следует вытряхнуть и из этого логова...

Он повел запавшими глазами на Платона, стоявшего позади всех.

«За меридиан обижаются...» — смущенно подумал Платон. Все мол-

чали. Профессор Гесс, подняв бровь, поглаживая бороду, смотрел мимо отца. Вздохнув, старик заговорил опять.

— В последнее время я стал, правда, скучать... по работе... особенно с тех пор, как совсем вблизи от моего логова началась ваша постройка. Но... что я мог? Я сказал себе: «Молчи, развалина. На что ты годишься, со своим допотопным опытом, в век радио и полярной авиации, в век телевидения, стратостатов и бесчисленных, умных, как люди, машин?» А тут еще сын мой, в письмах и беседах, рассказывал мне о новых, в а ш и х железнодорожных стройках — об экскаваторах, скреперах, путеукладчиках, о механизации всюду и везде... И я, не говоря ему ничего, спокойно называл себя мертвым среди живых.

«А меридиан?» — чуть не сказал вслух Платон.

— Сегодня я вижу, — громче, тверже сказал старик, — я вижу, что ошибался... к несчастью. Да, к несчастью! Мне радостно за себя, но горько за вас, за ваше дело. Я вижу: вы строите так, как строили мы... Как строились первые на земле железные дороги. И я... я предлагаю вам себя, как инженер. Это всё, что я могу...

«Ц-ц... Слезает, слезает старик с меридиана!...» — восхищенно подумал Платон. Ему захотелось кинуться вперед, обеими руками потрясти сухую, морщинистую руку. Но он увидел, что никто не восхищается, кроме него.

Безмолвно, неподвижно стояли все кругом. «Летучий голландец» поднял голову. Он, этот молодой, светловолосый человек, непроницаемо-спокойный перед всеми, он явно волновался сейчас: как-никак, он стоял перед человеком, который столетия командовал с той самой вышки с которой командовал теперь он сам.

— Благодарю вас, — ответил он, весь бледный, улыбаясь чересчур спокойно и ровно. — Мы заслужили такой удар... И мы принимаем его. Я буду очень рад использовать ваш огромный опыт. но не здесь... Здесь, на всех участках ностройки, мы прекращаем все работы —

в результате моего осмотра. Мы консервируем здесь строительство. Так строить больше нельзя. Партия, решив создать политотделы и на транспорте, требует теперь и от нас...

— Что? Политотделы? — подвинулся к нему парторг. Рыбаков, командиры — все тоже смотрели изумленно.

— Как, — тихо сказал «летучий голландец», оглядываясь, — как, вам неизвестно решение ЦК?

Он повернул голову к Гедвилло, тот растерянно шарил в портфеле:

— Ох, ты... совсем забыл... Мы же и циркуляр уже заготовили... Но, товарищи, вы и в «Правде» должны были прочитать...

— К нам «Правда» на шестой день доходит, — проговорил парторг. Он чувствовал, что весь вспотел от стыда под изумленным, спокойным взглядом светловолосого молодого человека.

*(Окончание следует)*

## Два стихотворения

А. ПРОКОФЬЕВ

1

Горькую траву — зеленый донник —  
Укачало ветром дорогим.  
Город мой открыт ветрам продольным,  
Встречным, поперечным и другим.  
Где еще найдем в моей России  
И по всем заморским сторонам  
Площади, какие без усилий  
Не пройти отменным бегунам?

Мне бы все, похожее на правду,  
Видеть так, как вижу голубой  
Улиц молодых и своеобразных  
Никогда не меркнувший прибой.  
Вот они рядами протянулись  
От вокзала длинного Московского...  
Я хочу, чтобы одна из улиц  
Назвалась проспектом Маяковского.

2

Каждым днем пространной и ретивой  
Вижу то, что надо, — синеву.  
(Окна солнечной моей квартиры,  
Как друзьям известно, — на Неву.)  
Что мне говорить о ней?

Дородней

Нет ее, куда ни погляжу.  
Только, может, для иногородних  
Главные приметы расскажу:  
Крепкотела, небольшого роста

И, судя по ярости, — вдова.  
— Добрый день, — я говорю ей про-  
сто, —

Добрый день, широкая Нева!  
Как живешь?

Не беднишься, не плачешь?  
Как в ладах с веселым бытием?  
Где проводишь время?  
Как рыбачишь?

Много ль славы в голосе твоём?





# Хайбер, сын пустыни

Рассказ

## ЭЛЬ-РЕГИСТАН

Ночь бесшумно, верфлюжьей поступью, спустилась с вершин Каратага. Ущелье Бурихан, что в переводе означает Волчий лог, окутала чернильная тьма.

В логу взвыл Хайбер. Призывные звуки его воя протяжным и тоскливым зовом неслись к горлу ущелья, обгоняя шелест ветра, тянувшегося с гор. Хайбер выл, запрокинув крупную голову с большими карими глазами, в которых светились отвага и ум. Взвыв, Хайбер умолкал и, стискивая могучие челюсти, вслушивался в ночь. Ничего, кроме шороха ветра и писка полевых мышей!

Хайбер озадаченно опускал крупную голову, осторожно прикасаясь холодным, влажным носом к чему-то свернушемуся зябким комочком у его ног и, нервно шевеля обрубок хвоста, опять пронизывал умными карими глазами чернильную тьму.

«Как поступить?» — думал Хайбер, тревожно внюхиваясь в запахи весенней азиатской ночи, спустившейся с гор в безбрежные просторы Кенимехской пустыни.

Хайбер лишь недавно оберегал колхозные стада, — полтора года тому назад он служил единоличникам. Слава о его мужестве и силе, уме и находчивости, слава о его хозяйственных способностях разнеслась далеко по Кенимехской и Каршинской степи и по бесчисленным кишлакам Бухарского оаза. Он родился здесь, в этих местах, у колод-

ца Узун-Кудук, — одного из тех колодцев, что пробуравили люди в безрадостной и безводной равнине Кенимеха. Он был потомком знаменитого Курбаша, огромного угрюмого пса-вожака, прозванного так за свой нелюдямый и жестокий характер и деспотическое обращение с подчиненными ему по стаду собаками. Его бабушка, сука Джаным, в расцвете сил погибла в этих местах: она была в клочья изорвана шалой волчьей стаей, подкравшейся к стадам Перимкул Кундиева, первого бая-чарвадара Кенимехской пустыни, владельца десятилетнего каракулевого стада. Его мать Балянд, оценившись в один из весенних дней на пастбищах у колодца Узун-Кудук, вскоре после родов также пала жертвой нападения седых хищников — кровных врагов собачьего племени. Хайбер остался сиротой, имея неделю от роду, и вырос, воспитанный стариком-чабаном Саиб-Назаром, который давал сосать свой палец глупому, круглоголовому щеночку, в безутешном горе скулившему по матери, у которой были такие теплые и мягкие, такие приятные соски и такой ласковый, нежно-шершавый язык.

От своего деда, нелюдямого Курбаша, унаследовал Хайбер отвагу и ум; от бабушки, суки Джаным, — тонкий нюх и упругость форм. Рослый и мускулистый, с могучей грудью, он шагал удивительно легко и изящно, гордо неся на плечах крутую голову с коротко остриженными черными и жесткими волосами. Он был горд и суров, он таил в

своим сердце неугасающую ненависть к волкам, лишившим его материнской ласки с первых дней появления на свет. Он недолюбливал и людей, и редко кому-либо, кроме его хозяина, единоличника-чарвадара Саиб-Назара, удавалось видеть приветливое подрагивание его обрубленного хвоста.

Многие колхозы мечтали заполучить к себе Хайбера.

Хайбер достался Юсуповскому колхозу. Произошло это так: к единоличнику-чарвадару Саиб-Назару приехала однажды на конях делегация от колхоза Юсупова; кони были сытые и гладкие, под цветными их седлами с затейливо изогнутой деревянной лукой, покоились узорчатые коврики, крепко стянутые новыми сыромятными ремнями. Делегацию возглавлял Ширин-бобо, великан с седой патриаршей бородой. Он был старым другом и товарищем Саиб-Назара, и в далекие те времена, когда еще не разошлись их жизненные пути, батрачил вместе с ним в стадах скупого и жадного Перимкул Кундиева, первого скотовода Кенимехской пустыни, первого бая на колодцах Узун-Кудук, Таш-Кудук и Сасыкуль.

Помнится, в те времена, в молодости, был у них у обоих один домотканый чапан, и в холодные осенние ночи укрывали они оба этим единственным порванным, неизмеримо затасканным халатом свое горе и несчастье, свою безрадостную и голодную жизнь. Много крови у них вытекло из носу, пока выжились они в люди и, нажив по десятку овец, слепили себе из комьев глины жилища, окружив их миниатюрными урюковыми и персиковыми садиками на клочках бросовой солончаковой земельки.

Саиб-Назар так и остался в единоличниках, — не могло его сердце принять колхоз, в который надо было вести и двух быков, лошаденку и плуг и где на его достояние — десятка полтора каракулевых овец — будут вероятно зариться чужие и незнакомые люди! А Ширин-бобо, постигший мудрость жизни, принял колхоз безоговорочно: он привел туда вороного жеребенка-двухлетку и целиком сдал свое каракулево-

поголовье в девять отменных маток. Его назначили старшим пастухом-чабаном.

Ширин-бобо, глава колхозной делегации, знал этикет: отпивая маленькими глотками терпкий чай, вел он посторонние беседы на разные жизненные темы и осыпал хозяина комплиментами. Он поделился с Саиб-Назаром своими соображениями относительно погоды на лето и осень, сообщил об уровне воды в колодцах пустыни, информировал о состоянии трав на весенних пастбищах, в частности о том, что, по его мнению, ялыр-бош продержится до конца мая, затем сгорит от солнца, почему и мочу, арпахон и яушан надо ждать не позже первых чисел июня. Он рассказал старому другу, с которым не виделся почти два года, как прошла последняя зима, которую он провел, вместе со стадом Юсуповского колхоза, у колодца Сасыкуль в пустыне. Снегу было много, трава была жидкая, — пришлось совершить ряд сложных маневров, чтобы не принести урона стаду, с которым он совершил за зиму пять откочевок. Но аллах велик, — старик втайне не особенно доверял богу, но считал неприличным не упомянуть иногда на людях его имени, — стадо с его помощью перенесло зиму отлично, и весна началась при весьма благоприятных признаках, обещающих благоденствие и удачу семействам, объединившимся в колхозах.

Ширин-бобо сидел уже часа два-три на кошке во дворе, рядом с хозяином, ни словом не обмолвившись об интересующем его деле, и Саиб-Назар, звавший характер своего друга, любившего подходить к вопросам издали, терялся в догадках о причинах этого визита. Остальные трое из состава колхозной делегации, среди которых был между прочим Сабирджан-комсомол, известный своей разговорчивостью, хранили упорное молчание, бесконечно пили чай.

Ширин-бобо, увидев наконец, что хозяин уже в достаточной степени заморен жарой, чаем и разговором, неожиданно взял его на abordаж, предложив отдать в колхоз Хайбера. Саиб-Назар отшатнулся было от ужаса, но вкрадчивые речи старого друга, льстивые компли-

менты и обещания усыпили его бдительность, разбудив в нем мужицкую жадность. Была его очередь говорить, и он произнес часовую, медленную и ленивую речь, делая солидные паузы для того, чтобы покупатели не подумали, что продавец особенно заинтересован в сделке.

Саиб-Назар напомнил родословную Хайбера, особо остановившись на его деде Курбаше. Он утверждал, что отец Курбаша был вожаком эмирских каракулевых стад, и рассказал несколько эпизодов из жизни этого угрюмого пса-вожака, свидетельствующих о его удивительной силе, редком уме и поразительной находчивости. Он заявил, что Хайбер весь пошел в дедушку, унаследовав однако от бабушки и от матери целую кучу замечательных качеств, как например поразительный нюх и сообразительность. Он уверял, что Хайбер целиком понимает человеческую речь и разговаривает с собаками и овцами отдельно — на собачьем и на овечьем языках.

Пес, лежавший поблизости, в тени навеса, под которым жевали свою жвачку овцы, поднимал голову и, шевеля ушами, прислушивался к тому, что говорят сидящие на кошме люди, как бы подтверждая слова хозяина. В его глазах изредка вспыхивала тревога, его инстинкт сейчас же после того, как въехали во двор эти люди, подсказал ему, что их визит таит в себе какую-то неожиданность, а может быть, даже опасность для него, и сердце сжималось от какого-то предчувствия.

Закончив длиннейший обзор жизненной деятельности дедушки и бабушки, отца и матери Хайбера, Саиб-Назар кратко и просто сказал, что имя Хайбера достаточно известно в кишлаках оазиса и у колодцев пустыни, чтобы нуждаться в рекламе. Не собака, а ковровый «хурджин», наполненный изумрудами, не пес, а бадахшанский рубин, отделанный ювелиром. Скромно потупив глаза, он назвал цену.

Пришел черед отшатнуться Ширин-бобо. Он сделал вид, что потрясен, поражен, что он не ожидал ничего подобного. Всплескивая руками, он гладил свою библейскую бороду, шепча во всеуслышанье:

— Превеликий аллах и пророк его Мухаммад, я, кажется, ослышался... Двенадцать маток? Тоуба! Тоуба! Прости, превеликий, мои прегрешения, но клянусь бородою пророка, я ослышался...

Саиб-Назар, соглашаясь отдать Хайбера в колхоз, выставил неслыханные требования — компенсировать его двенадцать каракулевыми матками, каждая из которых ценится, как известно, в 500—600 рублей, добавив, что он идет на это только из уважения к другу своей юности, о котором он, коротающий свой век в одиночестве, скучает всегда.

Ширин-бобо сделал жалкую попытку отвести разговор о цене с овец на деньги, но Саиб-Назар сказал, укоризненно подняв мохнатую правую бровь:

— Моему другу, старому чабану-чарвадару, уважаемому Ширин-бобо, старшему моему брату, надлежало бы знать, что такие собаки не меняются.

Три раза колхозная делегация, по незаметному сигналу хитрого старика Ширин-бобо, вставала на ноги, якобы для прощания, три раза садились опять на кошму. Осушив еще 30 чайников зеленого терпкого чая, ударили наконец по рукам. Было решено, что Юсуповский колхоз получает Хайбера, лучшего пса-овчарку Бухарского оазиса, а единоличник Саиб-Назар, сын Абду-Джабара, берет из юсуповского стада две черных овцы арабы, одну серую ширази, одну желто-бурую и одну кара-кулак. Ни одной матки сур Ширин-бобо не соглашался отдать, так как в колхозе их всего 32 штуки, и все они, — говорил он, — взяты у него ЦИК'ом на учет, как племенные. ЦИК Ширин-бобо припел для придания солидности доводам своего категорического отказа.

И Заранг — Мужественный, и белопрудый красавец Гезал, и сухопарый рыжий кобель Чонтай, и носитель драгоценного имени, Алмаз, и Бесхвостый, жизнерадостный псина, ростом в доброго тельенка, и редко лающий Истребитель волков — Гурзан, и обладатель страшной челюсти — бурый Ашдар, что в переводе означает «удава», — все они сра-

зу признали над собой власть Хайбера. Суки Хайдар, Тосак и Кизляр заискивающе завляли хвостом перед Хайбером с первой минуты его появления в стаде.

Впрочем власть Хайбера попробовал оспаривать Ашдар, бывший до Хайбера вожаком юсуповского каракулевого стада. Он, при встрече с Хайбером, угрожающе оскалился, обнажив громадные белые клыки, о которых было известно, что разжать их может только смерть, но Хайбер, гордо встретив нападение, могуче отшвырнул противника в сторону. К месту спора быстро подоспел Ширин-бобо, вооруженный тяжелой суковатой палкой. Противники с нарочитой медлительностью разошлись в стороны и больше уже не сталкивались, так как Удав понял, что сила на стороне этого крутоголового пса с карими глазами, в которых горят целые языки пламени. Старик Ширин-бобо, старший чабан МТФ Юсуповского колхоза, поставил Хайбера вожаком, — он знал, что ни одна овчарка в Бухарском оазисе не сможет конкурировать с потомком Курбаша в искусстве вождения каракулевого стада по пастбищам Кенимехской пустыни.

Это великое искусство — водить весной и осенью, летом и зимой каракулевого колхозное стадо по пастбищам, что расположены вокруг горько-соленых и пресных колодез Кенимехского Чуля. Ведь только в пустынях и оазах далекой Средней Азии водится каракулевая овца, шкурка которой пользуется неизменным спросом и в Нью-Йорке, и в Иркутске, и в Буэнос-Айресе, и в Москве, и в Лондоне, и в Александрии Херсонской.

Шкурка эта ценится на вес золота, а нередко и значительно дороже. В прошлом году например на выставку Узбекпушнина в Ташкент один из колхозов Бухарского оазиса представил шкуру так называемого цвета «сур», оцененную в 5.000 рублей золотом. Она была непередаваемо золотистого цвета и в то же время искрилась, восхищая взор изумительными оттенками солнечного спектра. Только специфические соленые воды пустынь Бухары и Кашка-Дарьи, Хо-

реза и Кара-Калпакии, только особые травы, секрет местопроизрастания которых передают из поколения в поколение искусные чарвадары, только особый режим и уход за матками могут создать достойное каракулево потомство. И трудно сказать, от кого зависело больше благосостояние каракулевого поголовья колхозной Юсуповской МТФ, — от знатока пастбищ и стад, старшего чабана Ширин-бобо или вожака собак Хайбера, родного внука знаменитого Курбаша.

На каждые 500 овец в стаде был один чабан, и семью чабанами управлял старик-великан Ширин-бобо. При каждом пастухе-чабане были две собаки, и четырнадцать собак были подчинены Хайберу, который в свою очередь не признавал себя подчиненным никому, кроме внимательного и опытного своего нового хозяина Ширин-бобо.

Каждая собака получала ежемесячно из имущества Юсуповского колхоза 24 килограмма муки, не считая молока и мяса, выдаваемого непосредственно в стаде. На заре и при заходе солнца варили чабаны для своих псов болтушку из муки. На заседании правления, по представлению Ширин-бобо, Хайберу назначили в месяц 32 килограмма муки, причем особым пунктом было записано, что персонально старшему чабану поручается следить за тем, чтобы его болтушка как следует заправлялась молоком и янтарным хлопковым маслом.

Эта систематически выдаваемая в один и тот же час вкусная и сытная пища, эта забота и внимание со стороны чабанов, этот почет и уважение со стороны дисциплинированных младших псов вначале удивляли Хайбера, который за несколько лет своей одиночной жизни не знал ничего подобного. Он привык довольствоваться куском лепешки или костью, небрежно брошенной со стола, знал вкус болтушки на воде, а не на масле, полагаясь всегда в вопросах питания на собственное уменье и силы. Но теперь, проникнувшись сознанием той ответственности, которую возлагает на него самый факт подчинения ему огромного колхозного стада, он, наполненный гордостью, шагал вперед

тысячной массы овец, высоко подняв голову.

Он ввел железную дисциплину в работе и сам расставлял собак. Пять псов шли постоянно с правого фланга, следя, чтобы ни одна овца не откалывалась от общей массы, пять—шесть вали справа. В тыл Хайбер ставил Истребителя волков, Чонтая и суку Кизляр, обладавшую нюхом на три километра. В голове шел он сам, вызывая коротким лаем Бесхвостого и Мужественного, когда того требовали обстоятельства. Удаву Хайбер разрешал шагать непосредственно вслед за собой, на второй линии. Волки обычно нападали с фронта или с тыла, поэтому Хайбер обеспечил отборными силами именно эти участки.

Он знал все повадки своих кровных врагов, он разгадывал все их хитрости, с тех пор, как поставили Хайбера вожак-ком собак, не было случая, чтобы юсуповская колхозная отара понесла урон от нападения хищников пустыни. В длинные зимние ночи, когда с унылым свистом кружились по безбрежной Кенимехской равнине седые бураны, Хайбер, деловитой рысцой обегая отару в сопровождении Удава, Бесхвостого и Мужественного, сбивал овец в тесную и плотную массу. По ночам он не смыкал глаз, по несколько раз проверяя, как выполняют свои сторожевые обязанности дозорные посты собачьей охраны. За час до рассвета, когда начинало бледнеть созвездие Скорпиона и Малой Медведицы, Хайбер, сильный, черно-пушистый, с белой звездой на груди, лаем подавал сигнал. Собаки, услышав условную команду, будили своих пастухов, дремлющих вокруг угасающих костров в огромных бараньих тулупах. Отдав сигнал побудки, вожак вновь обегал стадо, проверяя пробуждение людей. Он стаскивал с заславшихся пастухов теплые тулупы и, укоризненно поблескивая умными карими глазами, не уходил до тех пор, пока последний пастух не сбросит с себя окончательно сладкую дрему. Закончив последний ночной обход, Хайбер направлялся к юрте Ширин-бобо. Он знал, что старик уже давно встал и что его ждет у порога юрты ароматно дымящаяся болтушка, щедро запра-

вленная молоком и маслом. Плотнo повев, Хайбер ложился спать. Он спал всего какой-нибудь час-полтора, ухитряясь даже во сне слышать и видеть все происходящее вокруг. Иногда днем, улучив спокойное мгновение, он лишь коротко и попрежнему чутко дремал.

Когда стадо медленно передвигалось по равнине, пастухи обнаруживали на снегу следы голодных волчьих стай, которые кружились ночью вблизи стада в тщетной попытке выискать удобный момент для нападения на овец, оставленных без охраны.

О, это была суровая и тяжелая жизнь, полная невзгод и лишений! Это было совсем не похоже на ту жизнь, которую вел Хайбер у старого своего хозяина, Саиб-Назара. Единоличник Саиб-Назар, подобно другим, с наступлением первых холодов перегонял свои два десятка овец из пустыни в культурную полосу, перебиваясь кое-как на выгонах вблизи селений. Бывало, целыми месяцами зимой Саиб-Назар держал овец во дворе своего жилища, на скудных запасах сена. Овцы хирели от такой жизни. Лучшим чарвадарам пустынь и оазов Бухары и Кашка-Дарьи известно, что только та овца дает хорошее каракулевое потомство, которая прогуляла зиму на пастбищах в пустыне, дыша морозным воздухом, напиваясь горько-соленой колодезной водой и выкапывая корм из-под снежного покрова.

Хайбер похудел, подтянулся, но движения его стали легче и свободнее, грудь раздалась еще шире, а мышцы и мускулы стали упругими, как резина. Всего только полтора года был Хайбер в колхозе им. Юсупова, а уже по всей степи, по всем колхозным МТФ Кенимехской пустыни рассказывали о редких его хозяйственных способностях, о его поразительном уме и удивительной силе. Рассказывали, что при встрече с волком он никогда не пускает в ход зубов, и эта его черта особенно нравилась старшему чабану Ширин-бобо, ибо известно всем старейшим и опытейшим чарвадарам оазов и пустынь, что собаку, вцепившуюся в волка зубами, ждет незавидная участь. Через некоторое время зубы такой собаки, расшатавшись, не-

минуемо рассыплются, и есть только один способ избавиться от такого несчастья, — сейчас же после схватки с волком бросить собаке курдюк, отрезанный от живой овцы: этот курдюк обладает целебным свойством, — собака сохранит свои зубы. Но это не такое уж дешевое удовольствие — резать каждый раз драгоценных каракулевых овец: ведь так много волчьих логов в Кенимехской пустыне!

Хайбер никогда не пускал в ход зубов при встрече с волком. Бесстрашный, уверенный в своей силе, он летел на проклятого врага, как стрела, спущенная с тугой тетивы, ударом груди сбивая его с ног.

И что это был за удар!

---

Весенний окот был в полном разгаре. Год выдался удачный, и каракулевое стадо Юсуповского колхоза, насчитывавшее 2.500 голов, вышло к теплым весенним дням со здоровым и окрепшим поголовьем в 3.650 овец. Овцы были в хорошем теле, овцы не были жирны, — этого не мог ни в каком случае допустить старший колхозный чабан Ширинбобо, который три десятка лет прочабанил в байском многотысячном стаде Перимкул Кундиева. Ширинбобо, заметив в декабре, что овцы пожирнели, перегнал их в январе на более слабые пастбища, зная, что ни жирная, ни худая овца не дадут к весне здорового и сильного потомства. Лучшие каракулевые шкурки могут быть только у ягнят, родившихся от матерей со средней упитанностью.

В день, о котором идет наше повествование, стада Юсуповского колхоза паслись в Волчьем логу Кенимехской пустыни. Весна была ранней, цвели алые тюльпаны, мучительно клохтали куропатки, и питательная трава ялыыр-бош, усыпанная алмазными брызгами росы, дружно пробивалась вверх, к яркому азиатскому солнцу. Эта трава в Волчьем логу обладала еще свойством наполнять овечье вымя особенно густым и сладковатым молоком, от которого крепнут хрупкие кости ягнят и крепко нали-

вается тело, покрываясь шелковистой, вьющейся шкуркой.

Здесь, в трех-четыре километрах от пастбищ, разбил палатку приемщик заготпункта акционерного о-ва «Каракул», Иргаш Муратов. Он был, в прошлом, в течение 20 лет рабочим кишечного короля Дюршмидта, державшего монополию на кишки и мехсырье в Средней Азии и зарубежных странах, и мог распознавать сорта каракуля на ощупь, с закрытыми глазами. Его юрта была завалена доверху мешками с рисом и мукой, бидонами с керосином, ящиками с мылом и зеленым чаем, сахаром, маслом, мануфактурой. Этими товарами Муратов снабжал колхозных пастухов-чарвадаров, сдающих ему каракулевые шкурки. Мокрые, кисло-пахучие, они лежали кучей в углу юрты, — их, связав и густо пересыпав солью, ежедневно отправляли на верблюде в Гиждуван, в районное отделение треста. Муратова знали в радиусе 250 километров, к нему приезжали посидеть, поговорить о своих нуждах, узнать — какие есть новости в большом свете, лежащем за пределами горько-соленых колодцев. И приемщик каракуля Иргаш Муратов, состоящий в рядах коммунистической партии Узбекистана, читал вслух на родном языке газету, делая ударения на международных событиях. Он питал особое пристрастие именно к этому виду информации, внимательнейшим образом следя за поведением японцев на Дальнем Востоке. Он удивлялся, как это китайцы посадили себе на шею японских генералов, когда уже известно, что надо делать угнетенным народам Востока, чтобы сбросить с себя ярмо колониального гнета. Он вырезал речь Блюхера на XVII партийном съезде и, по нескольку раз оглашая ее вслух, уверял колхозных пастухов-чарвадаров, что видел этого командарма собственными глазами лет 15 тому назад, во время взятия ст. Бухары. Он был тогда, как уверял Иргаш, вместе с легендарным красным военачальником Прондзэ (Фрунзе) и сам наводил пушки на Арк, цитадель бесславного эмира Мир-Сайд-Алим-Богдарухана, последнего из эмиров Бухары. «Он так нацелился с первого раза, —

сообщал Иргаш, — что снаряд, ростом с доброго верблюда, вылетев со ст. Каган и пройдя 12 верст 85 сажен и 10 аршин по воздуху, упал ровно в середине дворца эмира, взорвав и разрушив стены крепости. И чабаны, слушая Иргаш-Аку Муратова, пили зеленый чай и цокали в восхищении языками:

— Тц!.. Тц!.. Тц!..

В юрте напротив жила Нюра Горностаева. Она, единственная русская девушка в Кенимехской пустыне, заведывала сыроваренным пунктом Брынзотреста. Ей было 19 лет, она зачесывала каштановые волосы в две косы, связывая их кончики лямочками из мадеполама. У нее были совершенно голубые глаза, точь в точь такие же, как апрельское небо над Кенимехской пустыней, и они-то поразили с первого взгляда молодого бонитировщика Юлдаш Шакирова.

Бонитировщик Юлдаш Шакиров, обслуживая колхозные каракулевые стада в пустыне, выделяя ягнят на племя, следил за правильностью забоя, проводя все свои свободные часы на сыроваренном филиале Брынзотреста. Надев на ноги коня железные путы, он пускал его пастись, а сам, зайдя в юрту, приветствовал девушку-сыровара неизменным приветствием:

— Здравсти, Нура!

Затем он вытягивал на кошме ноющие ноги, снимал сапоги и, поставив их у дверцы, сидел целыми часами молча, наблюдая, как работает девушка. Нюра, перемерив привезенное овечье молоко, сливала его в большой бак, засыпая туда две ложечки сычужного порошка. Минут через пятнадцать молоко садилось на дно бака, и Нюра выкладывала его на доску, прикрытую чистой марлей. Поверх массы она накладывала вторую доску, прессуя ее несколькими камнями. Камни выбирались умеренные, по весу, чтобы будущая брынза не потеряла пористости.

Через четверть часа, отнимая доску, Нюра нарезала массу на квадраты, закладывая их под более тяжелый пресс. Эта операция повторялась еще раз, после чего края квадратов выравнивались ножом. Наконец масса закладывалась

на 2—2½ часа под последний пресс, и под его нажимом в ведра и корыто стекала бледно-голубая сыворотка. Оставалось вынуть квадраты, разрезать их на мелкие куски и сложить в бочки с расолом.

Юлдаш Шакиров сидел, не произнося ни одного слова, целыми часами набулая за этой до тошноты знакомой ему операцией. Он был безнадежно влюблен в Нюру Горностаеву, но никак не мог признаться ей в этом, хотя о нежных его чувствах знала вся Кенимехская пустыня, все чабаны и все собаки на пастбищах.

Знал конечно об этом и Хайбер, который сопровождал Ширин-бобо, бредущего на кочевку к юртам, разбитым на пригорке Волчьего лога, чтобы получить здесь свою порцию болтушки, а заодно посмотреть — все ли в порядке на этом стану, к которому тяготеет его стадо.

Каракулевые овцы с ягнятами пастись в этот день на нежной зеленой глади весенних пастбищ, километрах в пяти-двенадцати от юрт. Здесь были ягнята арабы, с волосом черным, как самая темная и беззвездная азиатская ночь; здесь были серые матки ширази, воспетые в песнях бродячих песчаных певцов, и желто-бурые овцы камар; здесь были и белые овцы кара-кулак с черными ушами и наконец матки сур с волосом, свитым в драгоценные завитки. Шелковистая коричневая шубка ягнят отливала или золотыми искрами, или ослепительным серебром, неожиданно поражающим взор.

Было самое лучшее время для окота, окот шел блестяще: много рождалось двойняшек в эту зажиточно-колхозную весну. Каждый час на свет появлялось новое существо на длинных, хрупких ножках, одетых в шелковые чулочки.

Хайбер сидел на камне, зорко поглядывая по сторонам прищуренными карими глазами. Опытные матки, почувствовав приближение родов, суетливо отделялись от стада, ища укромного местечка, и сейчас же над прилегшей на землю овцой вырастала фигура собаки. Собака стояла, как часовой, и, терпеливо выжидая конца родовых схваток, ла-

ем извещала пастухов о прибавлении в колхозном семействе. Тогда от группы чабанов отделялся Карим-Ака, малоразговорчивый рябой парень, и, погоняя впереди себя ишака, приближался к месту происшествия. Несколько шерстяных переметных сум болталось по бокам ишака, из сум торчали симпатичнейшие черные, серые и золотистые головки ягнят, с глазами, устремленными на раскрывшийся перед ними необъятный и удивительный мир. За флегматичным ишаком, беспокойно семеня ногами, с бляением следовали матери ягнят, родившихся каких-нибудь час-полтора тому назад. Такого порядка строго придерживался Ширин-бобо, по опыту своему зная, что через два часа после катанья на ишаке ягненок, будучи спущен на землю, запрыгает по траве на окрепших своих ножонках.

Хайбер, пригретый солнцем, собирался уже вздремнуть, но заметил, как одна из маток, пасшаяся обычно в голове стада, вдруг заметалась в сильном беспокойстве. Это была прекрасная овца сур, выращенная из прошлогоднего приплода, дорогая матка и молодая мать изумительного, лучшего в стаде ягненка, которого сразу же оставил на племя Ширин-бобо. Скосив глаза, Хайбер следил за ее поведением, и по тому, как она бляела, по тому, как она тыкалась из угла в угол, понял, что она потеряла своего ягненка. Он был уверен, что ягненок, как обычно, сейчас же найдется где-нибудь в стаде, но беспокойство и тревога матери передались Хайберу, и он неторопливой хозяйской рысцой затрусил по стаду, отыскивая знакомого золотистого ягненка.

Ягненок куда-то исчез, — в этом не было больше никаких сомнений. Хайбер его видел часа три тому назад, а теперь он провалился, как сквозь землю.

Солнце клонилось к закату, когда Хайбер, отделившись от стада, деловито обежал лошину, с которой недавно спустились овцы. В ложине ягненка не оказалось, и Хайбер, пересекший напрямик широкую холмистую грядку, за которой овцы паслись до полудня, шаг за шагом стал упорно обыскивать усеянные кам-

нями подошвы холмов. Хайбер шел неторопливо, обнюхивая землю, стараясь выискать в следах, оставленных тысячным стадом овец, следы маленьких копытцев знакомого ягненка сур.

Помог ветер, донесший до ноздрей знакомый запах. По запаху Хайбер нашел наконец золотистого потомка юсуповских кровей. Глупый, неопытный ягненок, вероятно расшалившись, попал ногой в суслицью ямку, вывихнул ее и дрожал теперь всем худеньким и хрупким своим тельцем от боли и от страха. Хайбер, укоризненно обнюхав ягненка, мягко ткнул его носом в бок. Ягненок, запрыгав на трех ножках, остановился. Хайбер, осматрив ягненка со всех сторон, выругал его коротким лаем. Осторожно подталкивая его носом, Хайбер медленно повел впереди себя прыгающего на трех ножках глупыша, давая ему передышки через каждые 10—12 шагов.

Солнце уже давно село, когда Хайбер вывел ягненка на ту сторону гряды, совершив глубокий обход по подошве, чтобы не заморить его подъемом через камни. Стада не было видно, — стадо вероятно было на отдыхе в Волчьем логу, где в чугунном котле чабаны уже отварили ароматную пшеничную болтушку. Ягненок, улегшись, беспечно жевал нежными, как замша, губами. Хайбер толкнул его мордой. Он нехотя встал, поджимая ноющую ножку.

Так, двигаясь медленнее черепахи и останавливаясь через каждые 10—15 собачьих шагов, привел Хайбер золотистого ягненка сур в полночь в Волчий лог к чабаньему стану и, не найдя здесь ни стада, ни людей, ни юрт, ни костров, взвыл. Протяжные звуки его воя призывным зовом неслись к горлу ущелья, обгоняя шелест ветра, тянувшегося с гор.

Хайбер ни на одно мгновение не сомкнул глаз за всю ночь, осторожно вслушиваясь и вглядываясь в чернильную тьму. Назойливо пищали мыши где-то неподалеку, за камнями, зловеще кричала сова, заблудившаяся в безбрежной пустыни. Хайбер лежал, — мордой против ветра, — вытянув вперед могучие лапы с твердыми, как черепаховая



кость, когтями. Между его лап спал безмятежным сном, разметавшись, как в люльке, золотистый ягненок сур, пригревшийся у мохнатой собачьей груди. Скосив один глаз, Хайбер наблюдал за движением сероватых, замшевых губ ягненка. Он жевал губами с торопливым причмокиванием,—видно, снилось ему материнское вымя с мягкими, податливыми сосками.

Когда созвездие Скорпиона, побледнев, стало растворяться в небе, Хайбер встал, потянувшись всем своим мускулистым телом, и разбудил ягненка. Ягненок тоненько заблеял, ступив на большую ножку. Хайбер тихонько толкнул его носом в маленький и смешной хвостик.

Хайбер упорно вел ягненка по следу, по которому откочевали чабаны со стадом и с юртами, делая, как и вчера, передышки на отдых. Судя по запахам, которые носились в воздухе, стадо должно было быть где-то неподалеку.

Край огненного диска выглянул из-за горизонта, весеннее безбрежье Кенимехской пустыни заалело тюльпанами и дикими маками, стайки пестрых туртушек потянулись к востоку.

Хайбер выбрался с ягненком на тот берег высохшего сая, как вдруг из-за крутого яра выскочил двухгодовалый волк и, по-кошачьи потянувшись, прилег в каких-нибудь пятидесяти шагах, нагло перерезав дорогу.

Волк зевнул, аппетитно обнажая розовые десны. На первый взгляд он был очень добродушен, даже приветлив по отношению к собаке и ягненку. Зевнув, волк перевернулся на спину и мирно забарахтался в траве.

Хайбер сразу сообразил, что это — только хитрый маневр. И действительно, через каких-нибудь 30—40 секунд с противоположной стороны выскочило еще пять матерых, отощавших за зиму, волков и старая, с изорванным ухом, волчица. Они остановились, ощерившись, предвкушая легкую добычу. Ягненок улегся у ног собаки и, почесывая

плечо здоровой ножкой, приятно жмурился под солнечными лучами. В горле Хайбера глухо заклокотало. Он оглядел местность карими глазами, в которых загорелись желтые огни.

Глубокая и обрывистая трещина отделяла его от первого волка и старой волчицы, хищно вдыхавшей ноздрями запах, исходящий от ягненка. Хайбер понял, что именно они сделают первое нападение, пока пять остальных волков обегут овраг, чтобы ударить с тыла. Сомкнув челюсти, Хайбер огромным прыжком молниеносно перемахнул через трехметровую трещину, промытую дождями, и, не дожидаясь нападения, сам нанес первый страшный удар грудью двухгодовалому волчку. Волчица с коротким и хриплым лаем, бросилась на собаку сбоку. Волк с разбитой грудной клеткой летел с кручи яра, туда же, осыпая щебень и захлебываясь собственной кровью, упала и старая, коварная волчица.

Хайбер молнией перемахнул обратно. Он встал несокрушимой стеной перед ягненком, готовый к встрече с оставшимися пятерыми хищниками, и торжественно взвыл, гордо запрокинув громадную голову с черными жесткими волосами.

На зов Хайбера вымахнули из-за пологих скатов страшный Удав и угрюмый Гурзан, сухопарый красавец Гезал и мужественный Заранг, бесхвостый Чонтай и бурый Алмаз. С ними не было только суки Кизляр, обладающей редким умом и тонким нюхом: она, за час до рассвета, ошенилась на новом чабаньем стану, и бывалый старик Ширин-бобо считал это за доброе предзнаменование, сулящее удачу и счастье новой откочевке Юсуповской колхозной МТФ.

Старик Ширин-бобо варил для суки ароматную болтушку, но жалея молока и янтарного масла, а она лежала со счастливыми, уставшими глазами, и четыре кареглазых щеночка, как две капли воды похожих на Хайбера, прильнув к соскам ее груди, наливались силой, отвагой и мужеством.

# Дом Черновых

Главы из романа

## СКИТАЛЕЦ

(Окончание <sup>1</sup>)

### IV

Валерьян, спросив вина, налил полный стакан и, не притрагиваясь к нему, задумался. На пловучей веранде ресторана не осталось никого. Синяя продолговатая бухта походила на озеро, соединяясь с морем узеньким «горлом», проходившим между двумя отвесными, скалистыми горами. На вершине одной торчали знаменитые генуэзские развалины, на другой виднелся беленький домик в лесу: около домика копошились саперы, лопатами выравнивая верхушку горы — для будущего укрепления.

На левом берегу бухты, у подошвы горы, вдоль узенькой, словно театральной, набережной лепились жалкие рыбацкие домишки Балаклавы.

У берега стояли на привязи десятки рыбацких лодок, а на другой стороне, отражаясь в неподвижной синей воде, красовались роскошные особняки, напоминавшие ему дворцы Венеции. Это были как бы два мира, враждебно смотревшие один на другой с противоположных берегов. Дворцы художественно дополняли красоту вычурных скал и зеленых гор, полукольцом охвативших зеркальную бухту, но казались необитаемо-безжизненными. Зато рыбацкий берег жил своеобразной жизнью. На набережной сушились сети, чинились

вытащенные на песок лодки. Проходили рыбаки — греки в вязаных фуфайках, в высоких, выше колен, тяжелых сапогах, с запущенной щетиной черных бород, в выцветших, старых шляпах с отвисшими полями. По узеньким, неправильным переулкам, террасами поднимавшимся в гору, сновали красивые, смуглые гречанки, бегали полуголые дети. Приезжие, большею частью девушки, в широких и легких домашних костюмах, с открытыми головами под палящим солнцем, прогуливались взад и вперед по берегу бухты. Из небольшой двухэтажной гостиницы «Гранд-Отель», против пловучей веранды, выносили узлы и чемоданы, громоздя их на телегу ломового извозчика: по случаю об'явления войны дачники преждевременно покидали этот демократический, «ситцевый курорт».

Случилось неожиданное и странное: жена разлюбила его, а может быть, и прежде никогда «по-настоящему» не любила... Он вспомнил свои колебания и недоумения перед свадьбой, когда ему казалось, что Наташа выходила замуж, не любя его, хотя и по собственной воле: ей хотелось тогда вырваться из мрачного дома Черновых, освободиться от родительского гнета, и известный художник казался ей подходящей партией. На самом же деле ее и в те времена тянуло к светскому красавцу — доктору Зорину, но по молодости и неопытности своей Наташа не смогла ра-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир». кн. 10 с. г.

зобратъся в собственных чувствах. Теперь она встретила своего героя в иной обстановке, и давнишнее влечение вспыхнуло с новой силой.

Жизнь сложилась несчастно для Валерьяна и Наташи. Ради ее счастья он готов уступить без борьбы свое место подле нее тому, кого она полюбила, а потом — умереть: на войне, быть может, явится удобный случай...

Валерьян залпом выпил вино, наполнил стакан и снова осушил его. По жилам разлилась жгучая теплота, голова слегка затуманилась, охватило грустно-приятное, мечтательное настроение.

Солнце спускалось к закату, освещая нежную зелень виноградников на склонах гор, играя фантастическим пламенем на венецианских окнах балаклавских дворцов. Жара спадала, от бухты пахло нежно-свежим, терпким запахом моря.

Ну что ж, пусть Наташа будет счастлива, а он — уйдет: море жизни огромно, — оно незаметно поглотит его.

Пурпурный закат пылал призрачным, холодным пожаром на спустившихся, тихо плывших облаках. Валерьян грустно следил затуманенным взором за их незаметным, волшебным изменением: ему казалось, что все написанные им картины, одна за другой, в преувеличенном виде, отражаются в облаках, расплываются там, распадаются на части.

Не написать ему их больше... В душе нет прежней цельности и ясности. Он еще молод, полон сил, многое мог бы создать, но в душе, в самом темном ее уголке, прячется притаившийся страх, что задолго до заката его дней происходит закат таланта... Не тянет больше к холсту и палитре, охладела душа, погасла, а то, что писал он за последнее время, не захватывало его, оставалось в эскизах, в набросках и, едва намечаясь, расплывалось, как эти облака... Единственное, что ему удалось хорошо написать года три назад, — это фантастическая головка женщины с лицом и большими глазами Наташи, но эта картина осталась неоконченной, не хватало сил... слишком мучительно было писать такие глаза.

Есть люди, которые все еще ждут его новых произведений, подобных прежним, но сам он с ужасом чувствует свое угасание... Он не может больше творить: его душа срослась с больной душой Наташи, разделяет ее печальную судьбу, мертвый дух дома Черновых отравил их обоих. Если бы Наташа поинимала, до чего он довел себя, до какого отчаяния, ободрила бы, вдохновила, протянула руку!.. Но она оставила его, разлюбила...

Валерьян рассмеялся: неожиданно вспомнился мотив грустно-комической песенки:

Он был титулярный советник,  
Она — генеральская дочь.  
Он в пылкой любви объяснился,  
Она — прогнала его прочь!

Закат разгорался все пышнее и ярче: почти половина неба над горами покрылась жаром, золотом, кровью.

На веранде послышались шаги. Валерьян вздрогнул и оглянулся: по лесенке поднимались двое — Василий Иваныч и с ним маленькая, смуглая брюнетка.

Певец представил ее Валерьяну, назвав нерусскую фамилию. Оба они сели за его столик. Художник с удивлением посмотрел на новую знакомую — ей казалось не более 24 лет. Одета по-домашнему, как все в Балаклаве, с открытой головой, с большой вязаной шалью на плечах, юная артистка была стройна и красива, с высокой, крепкой, девической грудью. В черных, блестящих волосах ее дрожала свежая темно-красная роза. Лицо неправильное, смугло-оливковое, цыганского типа, с сочными, алыми губами и золотистыми, карими глазами.

Василий Иваныч заговорил о предстоящем концерте, о том, что будут выступать известные писатели, проживающие недалеко от Балаклавы, что придется съездить к ним.

Молодая женщина слушала рассеянно, иногда напевая что-то вполголоса на низких нотах и не сводя с Валерьяна робкого, но любопытного взгляда немигающих, лучистых глаз.

Валерьян улыбнулся ей.

— Меня зовут Виола! — альтом засмеялась певица.

— Разве есть такое имя?

— Есть. Еврейское, на молдаванский лад. Я родилась в Кишиневе...

Виола нетерпеливо повела плечами.

— Вы — мой любимый художник, перед вашими картинами я плакала, мечтала когда-нибудь хоть издали увидеть вас... Ну вот, увидела, и нет у меня никаких слов! Ах, эта ваша картина еврейского погрома, этот старый еврей, читающий на развалинах древнюю книгу, — должно быть, о страданиях еврейского народа! ведь это всю душу переворачивает! когда мне сказали, что «мой-то» обожаемый художник сидит здесь и неумеренно пьет вино, у меня сердце кровью облилось... Я побежала... отвлечь вас...

Валерьян засмеялся. Улыбнулся и Василий Иванович, но Виола смотрела в глаза художника с наивным сочувствием.

— Вы несчастны в личной жизни, я знаю, слыхала... Но... довольно же вам пить, поедте с нами!

— Куда?

— На лодке, — вмешался Василий Иванович, — в колонию писателей, приглашать их на вечер! я уже заказал лучшую лодку с парусом, с отборными гребцами! э, да вот и они! Заночуем там, а утром обратно!

— Что ж! — равнодушно согласился Валерьян. — Мне все равно! Знаю я эту колонию!

К «поплавку» под'ехала большая четырехвесельная белая лодка с мачтой и свернутым парусом. В лодке сидело пятеро молодых парней в шерстяных вязаных фуфайках, с голыми, мускулистыми руками.

Василий Иванович подошел к ступенькам веранды, спускавшимся прямо в воду в сторону бухты.

— Готово, ребята?

— Есть! — браво ответил рулевой, блондин с серебряной серьгой в ухе. — Будьте покойны, Василий Иванович, наша «Слава» на гонках первый приз взяла! Вот только жалко — штиль! на веслах придется идти!

Валерьян первым спустился в лодку, подал руку Виоле.

— Ну, теперь берегитесь все! — торжественно заявил величавый бас: — Я иду!

Лодка, при общем смехе, закачалась от его тяжелых шагов.

Василий Иванович сел рядом с Виолой, Валерьян — напротив. Гребцы подняли весла, разом погрузили их в густую синьку бухты.

Быстро вышли через «горло» и заскользили по зыби открытого моря, держась вдоль скалистого берега, вверху покрытого виноградными садами.

— Вот с этой скалы, — показал рулевой, — в старые годы девица одна бросилась в море через любовь, через разбитое сердце...

Рыбаки засмеялись.

— Ну! — шутливо возразил Василий Иванович. — Встарину сердца прочнее нынешних были, разбивались только в самых серьезных случаях! Оттого о таких разбитиях и помнят до наших дней, а нынешние сердца разбиваются от каждого пустяка, но в море из-за этого ни одна девица не бросается, потому что все равно никто не обратит внимания! Как вы думаете об этом, Виола?

— Думаю, что из-за нынешних мужчин не стоит убиваться!

— А из-за женщин? — спросил Валерьян.

Вместо ответа певица с грациозной гримаской показала мужчинам кончик языка, пошевелив им, как жалом.

— Где тут, Сережа, пароход итальянский затонул? — обратился Василий Иванович к рулевому.

— А вон, в аккурат насупротив бухты считается... Сорок сажен глубины... Лазили водолазы сколько разов, но — ничего поделывать не могли, песком засосало. Говорят, один человек так и остался там, затонувши...

— Труженики моря! — вздохнул Валерьян.

— Денег там — сорок миллионов!

— Около какого капитала живете, а достигнуть не можете! — дразнил Сережа Василий Иванович.

— Наш капитал — море! Зимой на белугу ходим — в самый шторм! Случается, половина лодок ко дну идет, зато уж, как попадетя белуга с икрой, — тогда сразу у всех деньги, гуляем с неделю, покудова все, как есть, не слу- стим!

Рыбаки молча ухмылялись, дружно работая веслами.

— Потомки генуэзцев! — заметил художник. — Я представляю себе Балаклаву, какой она была в пятнадцатом веке: крепость на горе, а по набережной ходят люди в широкополых шляпах, в коротких плащах, с длинными шпагами, с длинными лицами...

— Романтик вы! — покачала головкой Виола. — Видите то, чего никто не видит! Времена плащей, шпаг, дуэлей, серенад... все это теперь только в пьесах да операх осталось!..

— Издали-то все красиво! — заметил Василий Иванович. — Через полтысячи лет и наши времена покажутся интересными! Вот война начинается, опять, значит, будет героизм, битвы... подвиги...

— Ненавижу войну! — страстно прервала его Виола. — Поведут на убой наших братьев, мужей, женихов... из-за чего? для кого? кто устраивает этакий ужас?

— Ага! вы начали из другой оперы, Виола! В этом — трагедия войны!.. Она — ужас и мерзость, но описывать ее будут красиво! Вот как-раз сегодня в газетах есть описание первой битвы русских с германцами: поднялись в облака два самолета, — наш и немецкий, — сцепились, как две хищных птицы, и упали с облаков вместе! А внизу две армии одна против другой, как муравьи, зарылись в землю!

— Крымский эскадрон уже отправили, — сказал Сергей, внимательно слушавший, — коней забирают самых лучших!..

— Немцы конечно мерзавцы, то-есть, собственно, Вильгельм и вся верхушка, но плохо, что в нашей народной толще нет подема, никто не сочувствует этой войне... никому не понятны причины...

— Не хочу ни говорить, ни думать о причинах! — закричала Виола. —

Жизнь прекрасна, коротка, дается человеку один только раз! Бросьте про войну! Посмотрите, какая красота!

Лодка быстро мчалась по едва дышавшему морю. В туманной дали на горизонте шел в Ялту черный грузовой пароход. От зеленых гор в море падали длинные тени. Солнце пышно угасало, озаряя нежную зелень виноградников.

— Какой закат! — восхищалась певица. — Художник, что же вы молчите?

— Художники красками говорят, не словами, — возразил Василий Иванович, — певцы — звуками! Ну-ка, можете вы сейчас спеть что-нибудь о закате?

Как ярко солнце в тихий час заката... —

вполголоса запела Виола.

Не докончив куплета, она опять показала басу язык.

— Что, взяли?

Валерьян молчал. Смотря на закат, он думал о том, что, возможно, и в жизни человечества происходит закат эпохи: не подходит ли конец таким художникам, как он, да и всему его поколению, несмотря на то, что оно еще не успело изжить себя? Как грозовая туча, надвигается огромная, страшная, непонятная война: не нужны будут теперь художники, певцы, певицы и эти мирные, наивные песенки любви...

— У вас большое лицо! — участливо сказала ему певица. — Что с вами?

Валерьян принужденно улыбнулся.

— Просто голова болит! Вино и море плохо действуют на меня.

— Так вы прилягте, голубчик! Ничего, не стесняйтесь, вас укачало! Вот, возьмите мою шаль!

Лодка слегка покачивалась, быстро скользая по тяжелой зыби. В волнах кувыркались дельфины.

— Приналяжь, ребята! — озабоченно смотря на горизонт, сказал рулевой. — К ночи свежий ветер будет!

Угасающий закат отливал потоками расплавленной меди.

Нелюдимо наше море,  
День и ночь шумит оно!.. —

вполголоса напевала Виола.

К ее красивому голосу внезапно прильнул баритональный, светлый бас:

Смело, братья! Ветром полный,  
Парус мой направил я...

Голоса, мужской и женский, как бы боролись между собой.

Виола на момент умолкла. Тогда высоко, полно и легко взлетела и понеслась ввысь хрустально-прозрачная, широкая, предостерегающая волна сдержанно-могучего голоса:

О-бла-ка... бегут над морем,  
Крепнет ветер, зыбь черней...  
Будет б-бур-ря!..

... Когда Валерьян проснулся, была уже ночь. Его разбудили ощущение холода и громкие крики лодочников. Они суетились, спорили, ругались и гребли стоя, лицом вперед, изо всех сил налегая каждый на свое весло. Лодка качалась всего саженьях в двух от крутого берега, но гребцы никак не могли пристать к нему, хотя весла гнулись под их сильными руками: с берега дул ураганный ветер, пригибавший почти к земле прибрежные кусты, но море казалось спокойным, волны бежали от берега вдаль. Мачта была снята. Работа гребцов могла держать лодку только в состоянии неподвижности. Ветер ревел, выл. Рулевой стоял на носу лодки с багром в руке. Все кричали. Василий Иваныч сидел у руля. Виола оказалась на дне лодки, подле Валерьяна. Ее черные волосы развевались по ветру.

— Что такое? — недоуменно спросил художник.

— Береговой ветер! — сквозь завывание бури и крики лодочников сказала она, но только по движению губ он понял ее.

По небу из-за гор ползла черная туча. Накрапывал дождь. Доносилось отдаленное рычание грома.

Гребцы отвоевывали у ветра каждый вершок движения лодки. Расстояние медленно сокращалось. Весь вопрос был в том, хватит ли у них последних сил: гребцы задыхались от усталости, по лицам их струился пот, руки и ноги дрожали. Наконец лодка приблизилась

настолько, что рулевой раскачал и бросил вперед маленький якорь с привязанной к нему веревкой. Якорь зацепился за камень, веревка натянулась. Это вызвало радостный крик всех, находившихся в лодке. Ее подвели к берегу, гребцы один за другим выпрыгнули на сушу, уцепились за веревку, закрепили якорь. Валерьян и певец тоже спрыгнули на берег, подхватили под руки Виолу. Туча покрыла все небо.

— Ну, спасибо Миколу! — слышались голоса в темноте.

— Кабы не прибились, унесло бы верст за двести!

— А что ж! поплавали бы, да и вернулись!

— Вернулись!.. могли в Турцию попасть, а то и к рыбам!

Сверкнула молния, и почти одновременно с ней, над берегом и морем с треском раскатился продолжительный громовой удар. Виола вскрикнула, зажимая уши. Рыбаки сняли картузы, перекрестились. Дождь зашумел крупными, редкими каплями.

— Куда же мы спрячемся от дождя? — спросил Валерьян, оглядывая берег. В темноте едва можно было различить кусты, огромные камни и отвесную, гладкую стену высокой горы.

— Лодку сейчас вытащим, под лодку залезем! — отвечали рыбаки. — А то под камнями!

— Под камнями пещеры есть!

— Протекает под ними!

Гребцы принялись вытаскивать лодку.

— Пойдемте искать убежище! — предложил Василий Иваныч.

У подошвы горы громоздились обломки скал. Три больших пирамидальных камня, склонясь верхушками, образовали как бы шалаш или пещеру. Втроем залезли туда. Хлынул ливень. Тьму ежеминутно разрывала яркая, трепещущая молния: почерневшее, ревущее, взбаламученное море на момент освещалось до горизонта. Потом все опять погружалось в непроглядную тьму.

— Словно черти в кегельбан играют! — рычал согнувшийся в три погибели Василий Иваныч. — Что-то будет с нашими голосами, Виола? Сядем-

те плотнее, так теплее будет! — Он закурил папиросу, выпуская дым в расщелину скалы.

Виола, кутаясь в шаль, сидела между спутниками. При вспышках молнии выступало ее побледневшее лицо с большими глазами, на выбившейся пряди черных волос дрожали дождевые капли.

Через несколько минут в щели сверху несколькими струями побежала дождевая вода.

— Здесь еще хуже, чем под дождем! — насмешливо сказала Виола.

Валерьян молчал, кряхтя и кутаясь в плащ.

В один из перерывов дождя он взглянул в отверстие между камней. Молния озарила весь берег.

— Там виднеется пещера под скалой! — сказал он, вылезая.

— Не ходите, промокнете! — протестовала Виола.

— Но ведь и здесь не сухо!

— А по-моему, лучше под лодку! — возразил певец.

Валерьян подбежал к щели в отвесной скале, пролез и оказался в просторной и совершенно сухой пещере с остатками пепла от недавнего костра. Он сгреб ногой в сторону пепел: каменный пол был горяч, как русская печка в избе.

— Сюда! — закричал он в отверстие, но удар грома заглушил его голос. Снова хлынул дождь. Вспыхнула молния и осветила певцов, бежавших к опрокинутой лодке, подпертой веслами и накрытой парусом. «Пожалуй, что и под лодкой неплохо!» — подумал он и успокоился за своих спутников, располагаясь на теплых, гладких камнях.

Когда дождь утих, он услышал мелкие шаги и голос Виолы:

— Вы здесь?

— Здесь! — глухо ответил Валерьян. — Залезайте, тут хорошо!

В темноте он не видел, как она оказалась рядом. Маленькая рука женщины встретила с его рукой.

— Старый бродяга! — с тихим смехом прозвучал мелодичный голос. — Отлично устроился и молчит!

— Я звал вас. А Василий Иваныч?

— Он под лодкой, там сухо, но холодно, и рыбаки махорку курят, я и пошла вас искать! Согреейте меня, боюсь без голоса остаться. Отчего камни теплые?

— Тут был костер.

— Накройте мне ноги.

Художник укутал певицу. Она доверчиво и просто прижалась к его плечу, и Валерьян почувствовал теплоту ее молодого, крепкого тела.

— Мне вас жаль! — низким альтом шептала Виола. — Говорили, что у вас большая жена. Вы любите ее?

— Да, — сухо ответил Валерьян.

— Сочувствую вам. А у меня муж большой: заболел психическим расстройством вскоре после свадьбы... Сидит теперь в сумасшедшем доме... Ужасно.

— Никак не ожидал, что у вас есть или, скорее, был муж!

— Замужем я была всего три недели, — усмехнувшись, продолжала певица, — и... осталась девушкой. Мучаюсь теперь с безнадежно большим человеком, навещаю его. Да что? Разве это человек? Животное! Он не узнает меня, да я и не любила его никогда, так, из жалости какой-то вышла, очень уж он любил меня, а потом вдруг заболел. Поступила в театр — на вторые роли. Не везет мне: кончила консерваторию, могу петь Аиду, а мне дают роли горничных, вроде «не простудилась бы барышня» в «Онегине», только и показываю голос, когда в концертах выступаю.

Знаете, в какой роли я хотела бы когда-нибудь выступить? В «Мадам Бутерфлей» — из японской жизни! Слышали эту оперу? Ее почему-то редко ставят, но какой там трогательный образ японочки, которая считает себя «мадам Бутерфлей» — женой английского лейтенанта: он конечно пожил с нею да и уехал навсегда, а она-то его ждет! Ах, как бы я спела ее! Всю бы душу вложила, — так мне почему-то близка эта роль! Предчувствую, что я и сама в жизни — «мадам Бутерфлей», мечтаю встретить этакое необыкновенного человека, сильного, который выдавался бы чем-нибудь, чтобы мог поднять женщину вот так, выше себя, над головами

толпы! Как я любила бы его!.. Потом он конечно бросил бы меня, но я все бы ждала! Я и теперь жду, что явится он на моем пути, этакий цыганский барон, который «ходил три раза кругом света и научился храбрым быть»! Но нет его! Все еще нет! Никому не нужны ни моя молодость, ни красота, ни голос! Отвести душу хочется, но уж не с милейшим Василием Ивановичем! Слишком прост, хотя и талантлив! Он ведь тоже, как и я, начинающий!

— А я думал, что вы близки с ним? Виола рассмеялась.

— Я тоже думала, что вы так думаете! Нет, он только сослуживец мой, хороший товарищ, и больше ничего! Не моего романа!

Гроза утихала. Изредка погромыхи-вал удалявшийся в море гром. Дождь шел тихо, шелестя по песку. Виола замолчала, глубоко и печально вздыхая.

«Странная и, должно быть, несчастная неудачница в жизни и на сцене, — подумал Валерьян, — и зачем она все это рассказывает мне?»

— Вот, встретились вы! — вздохнув, продолжала певица. — Вы меня извините, что я вам при первой встрече открываю душу; это потому, что я вас давно знаю по вашим картинам: вы, помимо вашей воли, близки мне, как и многим, кто любит вас как художника. Я поклоняюсь вам за то, что вы написали «Погром», что вы любите мой народ! Вот я встретила вас — и потеряю наверно! Начинается война... Сколько погибнет сильных, храбрых, молодых... может быть, все погибнем, может быть, не встретимся больше...

— Я уезжаю на фронт! — внезапно и неожиданно для себя сказал Валерьян.

— На фронт? — страстно вскричала Виола, цепко схватив обеими руками его большую руку. — Зачем, что вас заставляет? Ведь вы не офицер? Вас не призывают?

— Меня не призывают, я сам хочу ехать... в качестве самого себя... меня интересует война...

— Милый, не ездите... ведь это же ужас... это... это... мало ли от какой слу-

чайности можно погибнуть, от какой-нибудь шальной пули, от... мало ли от чего?.. Вспомните, как погиб Верещагин...

— А жена? — вдруг вскричала она, всплеснув руками. — Неужели она согласна вас отпустить? Ведь она больная и уж конечно любит вас?

Валерьян вздохнул.

— Разлюбила! — с грустной усмешкой сказал художник. — Отпустила на все четыре стороны!..

— Это больная-то? Что-то не так!

— Именно так... Впрочем оставим это! Мне тяжело. Поговорим лучше о гас! С кем же вы думаете отвести вашу душу?

— Ах, ни с кем! Вот — с вами бы, но вы — недосыгаемый для меня... вы — особенный, в вашем сердце не найдется для меня даже маленького местечка, я это чувствую! И, пожалуйста, не думайте, что я с места в карьер липну к вам! Я не из тех, которые легко увлекаются! Я — злая, гордая, самолюбивая на сцене изранена. Многие у нас в труппе, привыкшие легко смотреть на молодых актрис, вылетали от меня бомбой! Оттого и не пускают на первые роли! Одинока, горда, несчастна!.. Но я была бы счастлива от самой маленькой дружбы с вами! Ведь вам тоже надо отвести душу! Отдайте мне эти вот несколько дней, чтобы я могла помнить о них всю мою остальную жизнь!

Виола, все крепче прижимаясь к нему, запрокинула голову, приблизив свое лицо к его лицу и, улыбаясь, закрыла глаза. Теплота ее тела волновала его, упругая девическая грудь прижималась к его руке. Кровь закипала от ее низко вибрирующего голоса, дрожавшего страстью. Валерьян крепко обнял ее, мягкие женские руки обвили его шею. Вдруг сверкнула зарница, осветила бледное лицо Виолы с закрытыми глазами и мгновенно погасла. Валерьян вздрогнул: в моментальной вспышке голубой молнии, казалось, промелькнула тень, и перед его взором встала во тьме Наташа.

Виола, вздрагивая всем телом, беззвучно плакала на его плече. Чуть слышно плескалось море о прибрежные



камни. Сквозь расщелину скалы пробивался голубой рассвет.

## V

— Хо-хо-хо! Елки зеленые! Да! Ведь мы не туда попали, Валерьян Иванович! Стой! Заворачивай! Ну, и погодка!

Бывший цирковой «великан» Святогор остановил своего огромного коня и, сдвинув покрытую снегом папаху, посмотрел кругом из-под ладони.

Шел крупный, густой снег. Дикое, мертвое поле было покрыто серебряной пеленой свежавывающего снега.

— Ни зги не видно! — сказал Валерьян, кутаясь в бурку и поднимаясь на стременах. — По плану тут скоро должен быть железнодорожный путь.

— Вот те и по плану! С дороги сблизись, елки зеленые!

Три подводы, нагруженные теплыми солдатскими вещами, следовавшие за ними, остановились. Четверо всадников в башлыках, с винтовками за спиной, неясно маячили позади. Снег валил крупными, пушистыми звездами.

— Слезай, Валерьян Иванович, пойдем пешком, дорогу поищем, а они постоят покуда!.. Ехать опасно, пес ее знает, где мы. Еще в плен попадешь. Кажись, подьем виднеется? Не насыпь ли?

Слезли с коней, привязали к передней телеге. Валерьян сбросил бурку.

— Стой, товарищи! Остановка! На разведку пойдем!

— Заплутаетесь! Винтовку возьмите! Что же, стоять, что ли?

— Полчасика подождите! Поглядим вон за тем бугром!

Голоса отвечали недовольно. Кто-то крепко выругался. Фигуры Святогора и Валерьяна, казавшегося ребенком рядом с великаном, скоро исчезли за снежной пеленой. Пройдя несколько минут, Валерьян оглянулся: подводы и всадники словно растворились в снежной мгле.

— Ах! Елки зеленые! Да ведь это насыпь и есть! Она! Вот и рельсы! Остановились.

— Ну, как же теперь выходит по плану? Где мы?

— Лишнего дали! Назад надо, вдоль пути, искать ферму брошенную. Это и будет пункт.

Вдали что-то бухнуло и тотчас же завывало в воздухе.

Рядом с насыпью с визгом разорвалось что-то железное: целый столб земли взлетел кверху. Святогор присел на карачки и, разинув рот, растянулся, кувыркнувшись, в снег. Вслед за ним прыгнул с насыпи Валерьян. Во рту у него сразу пересохло, в груди похолодело, дыхание остановилось. Глотая воздух, он уткнулся в снег.

— Лежи, лежи! — шептал Святогор, поднимая голову из снега. Лицо его побледнело, глаза выступили из орбит.

— Сейчас вторая будет!

Опять бабахнул отдаленный гром, и через несколько мгновений над их головами с противным и злобным визгом разорвалась вторая шрапнель.

— Ну, теперь в середку возьмет! бежим!

Разом вскочили и побежали. Святогор махал саженными прыжками, взрывая снег сапожищами.

Валерьян старался догнать его и вдруг упал. Взвизгнул воздух, во рту опять пересохло сразу. Ткнулся лицом в снег и стал глотать его.

— Ползи, ползи! — шипел Святогор. — На брюхе ползи! Ах, елки!

Валерьян чувствовал слабость во всем теле. На момент закружилась голова, он почти потерял сознание, но усилием воли очнулся, пополз, взрывая снег обмерзлыми руками и коленями.

Снова громыхнул далекий, сухой и твердый звук. Новая шрапнель взвизгнула по другую сторону насыпи.

— Айда! А-а! — глухо заорал Святогор, вскакивая.

Сколько времени они бежали по неглубокому, рыхлому снегу, Валерьян не помнил. Выстрелы продолжались.

Обоза на прежнем месте не оказалось, но их встретил солдат, побежавший навстречу, как только завидел их. Он кричал, показывая рукой в лошину: сквозь завесу падавшего снега чернели возы и люди.

— Отошли под прикрытие! — сказал солдат. — Ну, как? Никто не ранен?

Разведчики не отвечали, тяжело дыша.

— Стой, елки зеленые, дай дух пере-вести! Чуть живы остались!

Святогор снял папаху, вытер пот рукавом, вздохнул во всю глубину своей необъятной груди.

Побледневший Валерьян молчал, сплевывая тяжелую слюну. Ему было стыдно сознавать только-что пережитый припадок животного страха под выстрелами невидимого врага. Вспомнил, что, отправляясь на войну, желал смерти, но, едва встретившись с ней, убедился, что совсем не хочет умирать: падал, ползал, бежал, лишь бы только спасти жизнь.

— Глупо! — хмуро и недовольно бормотал он, шагая рядом с солдатом и Святогором.

— Арясина! — спокойно сказал солдат великану. — Залез на бугор, каланча этакая! тебя, небось, за десять верст видно?

— А ты бы сам понюхал шрапнели! Смерть неча! Смерть видали! Как начали палить, — елки зеленые! Свету не взвидели! Страшно ведь, Валерьян Иванович, а? Ну, да ничего, дорогу отыскали!

— Устал я! — спотыкаясь, бормотал Валерьян.

— Едем до пункта! Недалече будто.

Догнав обоз, Святогор взобрался на своего высокого коня, напоминая Дон-Кихота на Россинанте. Лошадь шла тяжело, как с возом, опуская голову.

Валерьян неумело ступил ногой в стремя, конь попятился, и всадник упал. Осердясь, напруг последние силы, вскочил в седло и ударил коня плетью.

Через час езды на пригорке завиднелся хутор: глинобитная халупа с высокой соломенной кровлей, густо занесенной снегом, и какие-то приземистые постройки рядом.

Вечерело. Вьюга затихала. Валерьян ехал впереди в сопровождении громадного всадника на тяжелом коне.

Солдаты растворили полусгнившие ворота, ввели экипажи и лошадей во двор. Слышались их грубые голоса, ругань.

В холодной, нетопленной хате стоял покрытый пылью некрашенный стол, не-

сколько табуреток, скамья и деревянная кровать с охапкой соломы на ней. На запыленном полу остались грязные, засохшие следы солдатских сапог.

— Этакий свинарник! — сказал Святогор, пролезая в низенькую дверь, для чего ему пришлось вдвое согнуться. Выпрямившись, почти коснулся шапкой потолка. Заметив в углу польское распытье, снял шапку и грузно опустился на скамью.

Валерьян лег на кровать и закрыл глаза, бормоча:

— Спать!.. Спать!..

Приятное изнеможение разлилось по всему телу. Перед закрытыми глазами понеслись бескрайные снежные поля, улицы разрушенных городов, вагоны, полные окровавленных тел. Валерьян заснул.

... Проснулся он от ощущения острого холода, открыл глаза и долго не мог вспомнить, где он, кто он, не мог понять, что с ним происходит. Над головой в черной тьме горели яркие звезды. Различил маленькие квадраты разбитых окон, полуразрушенные стены, груды земли, соломы и обломков на полу. Остаток развороченного кем-то потолка висел над ним. Пахло пылью, гнилью и землей. Валерьян приподнялся, сел и чихнул. Тотчас же за стеной различил глухие, грубые голоса. Вдруг вспомнил, что лег спать в халупе с соломенной кровлей. Где же кровля? В голове стояла тупая, тяжелая боль. Голоса звучали яснее, слышалась возня и топот солдатских сапог.

— Валерьян Иванович! — различил он глухой голос Святогора. Валерьян откликнулся, но вместо крика вышел слабый, болезненный стон.

Дверь затряслась и упала от чьих-то сильных ударов. С фонарем в руке появился Святогор.

— Жив ли?

Валерьян задыхался от слабости во всем теле и невыносимой боли в голове. Блуждающий луч фонаря упал на его лицо.

— Слава те... жив, кажись?

Валерьяну казалось, что он долго и мучительно что-то вспоминает, и наконец прошептал с усилием:

— Где ж... крыша?

— Крыша? Хо-хо? Да елки ж зеленые! Неужто не слышал? «Чемодан» тут пролетел четырнадцатидюймовый! Ну, и задел маленько за крышу, ну, и разорвался за двором! Вылезай, брат! Чего тут? Война ведь, а не что-нибудь!

Валерьян встал с постели, но вдруг закачался и снова упал на солому. Не было сил, ноги дрожали, в глазах потемнело, колючий озноб пробежал по спинному хребту.

— Спать хочу... спать... холодно!.. — Валерьян несвязно бормотал заплетаясь, коснеющим языком, как сквозь сон.

— Э, елки зеленые! — тихо и печально сказал Святогор; поставил фонарь, молча взял бесчувственное тело в охапку и понес из халупы, согнувшись под косяком низенькой двери, тяжело и осторожно ступая через обломки и мусор. Голова Валерьяна моталась безжизненно.

Очнулся Валерьян от страшной жажды: смертельно хотелось пить. С трудом открыв глаза, увидел себя лежащим на нарах теплушечного вагона. Кругом рядами в два яруса лежали раненые, прикрытые казенными серыми одеялами. Пахло иодоформом, гноем и тем тяжелым запахом, к которому Валерьян привык, сопровождая до этих пор эшелоны раненых.

— Пить! — чуть слышно сказал Валерьян.

И вслед за ним, словно подражая ему, послышались слабые, страдальческие голоса:

— Санитар! пить! пить!

— Сейчас, елки зеленые! — благодушно ответил знакомый голос. От двери поднялась темная фигура Святогора.

— Всем по порядку, ребята! Я на хлеб не таков, а на воду разориться готов!

Он нагнулся над ведром, зачерпнул кружку и протянул Валерьяну. Больной с жадностью пил воду большими глотками.

— Полегчало? Всю ночь бредил!

— Жар у меня... голова болит!

— Контузило маленько либо просто застудился... Может, и тиф... Вот доедем до Львова, положим тебя в лазарет, там доктора разберут! Человек ты еще молодой — поправишься! Тут вот и почижельше тебя есть раненые!

— Санитар! пить! — слышались со всех сторон жалобные, хворые голоса.

— Сейчас, сейчас! Всем хватит! — Святогор принял опорожненную кружку и стал пить остальных.

Кругом лежали люди с забинтованными головами, руками, ногами, некоторые были без одной руки или ноги. Тяжело дышалось от противного, гнилостного запаха.

Валерьян, напившись, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Голову ломило, сердце стучало тяжело. По жилам струился жар, во рту пересохло, он сам чувствовал свое горячее дыхание, в ушах стоял непрерывный тонкий звон, тянуло ко сну.

Поезд остановился у большой, оживленной станции. Слышались беготня, голоса людей, свистки и ляг паровозов.

Дверь в вагон широко раздвинулась: в квадрате ее виднелись снежное поле и свинцовые облака. Кто-то в кожаной куртке, заглянув, спросил:

— Свободные койки есть? Раненых принимайте! Кто дежурный?

— Я дежурный! — ответил Святогор. — Одна койка!

— Принимайте!

К теплушечному вагону приставили лестницу. Два санитара втащили на носилках раненого. Это был молодой, красивый человек с черной подстриженной бородкой, с забинтованной головой и шеей. Глаза его были закрыты. Грудь глубоко и тяжело дышала.

Свободное место оказалось рядом с Валерьяном. Санитары, насколько могли осторожно, переложили новичка с носилок на койку. Спящий не проснулся, не открыл глаз, но высвободил из-под одеяла руку в белой рубашке, пытаясь сорвать с головы повязку.

В вагон поднялись офицер в папаче и сестра милосердия в черном костюме, в черной наколке, с красным крестом на груди. Она встала на колени и, нахло-

нясь к раненому, взяла его за руку, щупая пульс.

— Без сознания! — сказал офицер. — Ранен пулей навывлет в горло! Этой же пулей убит его денщик! Ехали на конях рядом и разом срезало с седел обоих! Он — кавказец, кавалерист, близкий мой друг, удивительной храбрости человек!

— Пульс слабый! — сказала сестра, подняв на офицера черные большие глаза; смуглое лицо ее было тоже кавказского типа.

— Примите особые меры, сестра, это — ваш соотечественник и храбрый солдат!

— Можно впрыснуть морфий: больше ничего у нас нет! Очень слаб!

Она вынула шприц, обнажила смуглую руку раненого и сделала укол.

Кавказец так и не открыл глаз, не пришел в сознание и все пытался в тяжелом сне, глубоко и прерывисто дыша, сорвать повязку с головы. Через минуту морфий подействовал: больной лежал спокойнее, дыхание стало медленней, рука не поднималась к повязке. Офицер и сестра вышли из вагона. Мимо несли на носилках раненых в другие вагоны.

— И зачем она ему морфий впрыснула? — спросил кто-то из раненых, лежавший в верхнем ярусе. — Надо бы камфары, а она — морфий! Морфий дают для того, чтобы умер скорее!

— Некогда им с нами возиться! — отозвался другой. — У меня вот руку в полевом госпитале отрезали: раз — и готово!

— А у меня ноги нет!

— Нет хуже, братцы, ежели кому челюсти оторвет: ни пить, ни есть не может.

— В нашем поезде есть такой!

— Куды все годимся? Лучше смерть!

— Сколько народу каждый день убивают, а для чего, — неизвестно!

— За Россию!

— А когда снарядов нет — это как? А кормят чем? А генерал Рененкам — немец и супротив немцев же ему русскую армию доверили!

— Он и поклял ее к чорту в болото, ратью гати замостил!

— Был слух: какого-то генерала за измену казнили!

— Всех бы их к матери... а войну прекратить!

— Да как не быть измене, когда царица — немка! Наши немцев поколотят — она плачет, наших побьют — царь плачет!

— Распутин, слышь, с царицей-то живет! Тьфу! А тут умирай за них!

В вагоне стоял гвалт от нескольких голосов, говорящих разом,

— На што нам эта война? Мало, что ли, у царя русской земли?

— У него-то много: удельная — вся ево, а вот у мужиков нету!

— Воткнути бы в землю штыки и — забастовать!

— Уж и так «самострелов» гонят видимо-невидимо: отстрелит сам себе ладонь и ползет в лазарет!

— Товарищи! — возвысил голос Святогор. — Прошу прекратить такие разговоры!

— А тебе что? Доносить будешь? Что с нас взять? Нам и так смерть приходит, видали мы ее, нас смертью не застрашаешь!

— Доносить мне чего же? Я и сам мужик, но только лучше прекратить, зря болтать нечего! Вы на войне дрались, а я ведь только затем и пошел на фронт, чтобы воинам облегчение сделать! Я, братцы, мужик безземельный, в цирке служил борцом, в городах по всей Расее жывал, умных людей видал, тоже по монастырям допрежь того путешествовал, вы меня послушайте, не шумите и ждите: доподлинно знаю, скоро будет конец войне, ей-бо не вру, писатель один знакомый говорил!

— А ты нешто и писателей видал?

— Я-то? Да я у самого Льва Толстого в Ясной Поляне был, а после с отцом Кронштадтским беседу имел! У проповедника Иллиодора в Царицыне жил — правды искал! Теперь вот на войне с народушком вместе! Я, братцы, тертый калач, много чего видал! Умоется Россия кровью и — чистая выйдет!

— Видать, что тертый калач! Откуда что берется!

Святогор задвинул дверь.

— Поглядеть, жив ли новый-то? Что-то больно тихо лежит?

Новый пассажир лежал неподвижно, с заострившимся восковым лицом. Святогор подошел, приложил ухо к груди и вдруг медленно снял папаху, сложил крестом руки кавказца и, перекрестившись, сказал:

— Прими, боже, душу убиенного во брани, имя же его ты, господи, знаешь! Кончился!

— Мертвого к нам подложили? — разом загалдел вагон. — Не хотим мертвого! Уберите!

— Не хотим с мертвецом!.. Бунтовать начнем!

— Товарищи! — старался перекричать всех Святогор: — куды я его дену? Потерпите! На первой же станции заявку сделаю! Тогда и снимут! А сейчас што я поделаю? Елки зеленые!

— Не хотим! Не желаем!.. — галдели раненые.

Святогор долго еще препирался с ними.

Валерьян дотронулся до скрещенных на груди рук мертвеца: они были холодны, как лед. Чернобровое, бледное лицо, обрамленное молодой бородкой, казалось еще полным жизни. Красавец-юноша! Храбрец, герой! Вероятно, есть невеста, жива мать. Ждут его возвращения. А вот он лежит здесь бездыханный, безмолвный, словно задумался о чем-то. На глухой степной станции зарюют подле железнодорожной насыпи — и навсегда исчезнет славный храбрец.

Но стоит ли эта бессмысленная, грязная война всех бесчисленных молодых жизней, которые она ежедневно пожирает десятками, сотнями тысяч? Валерьян не находил в ней ничего героического, красивого. Тупое, дьявольское истребление людей чудовищными машинами, посылающими невидимую смерть из-за десятков верст. И вот грязные вагоны, в которых в мирное время возят скот, набитые обломками изувеченных человеческих тел, еще живых, страшно озлобленных... Потом — лазареты, братские могилы. Война безобразна, ужасна, преступна и бессмысленна. Может быть, и он, Валерьян, художник, любящий людей и жизнь, так остро чувствовал

радостные краски мира, погибнет, как червь, сдохнув в каком-нибудь лазарете. Ведь он здесь — только раненый санитар, прислуга войны. Прежде Валерьян книжно отрицал войну, теперь она вызывает в нем ужас, омерзение, ненависть.

## VI

Первое, что увидел Валерьян на Невском, это — толпу зевак, стоявшую на мостовой и задрвшую головы кверху. На крыше шестиэтажного дома стоял, как монумент, рослый рабочий с молотом в руке и бил им прикрепленного над фронтоном двуглавого орла с распростертыми черными крыльями, с золочеными головами и лапами.

Оторвав гигантскую птицу от кровли, рабочий поднял ее обеими руками над головой и швырнул с высоты на мостовую. Перекувыгнувшись несколько раз в воздухе, орел тяжело грохнулся о каменные плиты и при восторженном реве толпы разбился на несколько частей: одно крыло переломилось, другое все еще торчало кверху, золоченые деревянные головы лежали в грязи.

— Ур-ра-а! — кричала толпа, махая руками и шапками.

Валерьян шел посмотреть, что делается около государственной думы, хотел взять извозчика, но извозчика не было, трамваи не ходили, и от этого над прежним лихорадочно-шумным, сумасшедшим «Петроградом» повисла необычайная, несвойственная ему, почти торжественная тишина.

Улицы кишели народом, но без экипажного и трамвайного движения. Люди шли больше по мостовой, чем по тротуарам: это были не прежние деловые, по горло занятые, хмурые и нервно-напряженные петроградцы, всегда бежавшие или скакавшие куда-то, как на пожар: по всем улицам столицы в странной тишине медленно, врассыпную, маленькими кучками, как муравьи, молча двигались люди в глубокой задумчивости, с опущенными головами, словно не знали, что им теперь делать, когда привычная для них жизнь опрокинулась и остановилась.

Иногда из-за угла вылетал грузовой автомобиль, изукрашенный красными флагами, наполненный солдатами или рабочими и уличными мальчишками: у них было воинственное веселье — потрясали оружием, иногда стреляли в воздух, как бы угрожая кому-то, но хмурая, задумчивая толпа, повидимому, еще не заражалась их радостью.

Валерьян пешком вместе с толпой дошел до Таврического дворца.

Здесь творилось что-то невообразимое: все подходившие ко дворцу улицы и переулки были запружены такими густыми толпами людей, стремившихся попасть во дворец, что происходила настоящая давка; кого только не было в этой пестрой, неисчислимой толпе: солдаты, матросы, рабочие, интеллигенты, барыни, купцы, мужики, автомобили, военные, всадники верхом на лошадях — и все это в каком-то обалдении теснилось, толкалось, орало, трубило, ругалось, вскрикивало, давило друг друга.

Молодой офицерик крутился верхом на кавалерийской лошади в самой гуще толпы, поставленный, повидимому, «наводить порядок», кричал давно уже охрипшим голосом, уговаривал, умолял, просил и наконец ругался по-солдатски.

Но толпа как будто не слышала этих беспомощных криков: густой лавиной, с выпученными глазами и покрасневшими от натуги лицами, с глухим, невнятным гулом, медленно и как бы помимо своей воли, движимая задними, все прибывавшими волнами, двигалась она к Таврическому дворцу.

Но там шпалерами стояли солдаты, никого не пропуская в образовавшийся между ними коридор.

Волна катившейся сплошной массой толпы принесла Валерьяна как-раз к этому коридору. Он не мог никуда вырваться из толпы, даже если бы захотел уйти обратно.

В это время в проход к под'езду государственной думы в'ехал красивый автомобиль. Дверцы его раскрылись, вышли четыре человека: один из них был заметной, выдающейся наружности — высокий, худой, белокурый усач в черном пальто и круглой шляпе. Он стоял

прямо против Валерьяна, и, когда повернулся к нему лицом, художник невольно вскрикнул:

— Евсей!

Зоолог, увидав старого друга, почти задавленного в толпе, махнул солдатам рукой, на рукаве которой была красная повязка, и сказал им что-то; они расступились, вытащили Валерьяна из толпы и пропустили к автомобилю.

— Какими судьбами? — спросил Евсей, расцеловавшись с Валерьяном.

— Случайно попал в водоворот!

— Пойдем, я тебя проведу!

— А ты что за власть?

— Разве не видишь? — указал он на повязку и автомобиль одновременно: — Комиссар Николаевской железной дороги! Знай наших! Хорошо, что ты мне попался!

Они свободно прошли между шпалерами охраны к главному под'езду дворца. «Кулуары» государственной думы напоминали теперь одно большое всероссийское волостное правление: толпились рабочие, были мужики в дубленных полушубках, валенках и лаптях, слышались толки о разных «местных нуждах».

Деловито пробежали люди партийного вида с портфелями и папками бумаг: за дверями, охраняемыми часовыми с винтовками в руках, происходило заседание думы.

В коридорах — толкотня, шум, говор, табачный дым, следы грязных сапог и лаптей. В государственную думу самочинно пришел «народ» — собственной персоной.

— Ну, — сказал Евсей, — вот мы и встретились!

— Давно ли ты из-за границы?

— Совсем недавно! После расскажу! Сейчас мне надо на заседание, ты подожди меня, я скоро! Потом вместе поедем обедать!

Через полчаса он отыскал Валерьяна в коридоре сидевшим на подоконнике и в качестве лишнего человека наблюдавшим общую суету.

— Едем! Ты, небось, в ресторане думал обедать? Шалишь, брат, все рестораны закрыты, — будешь обедать у меня, да, кстати, потолкуем!.. Жизнь, брат, началась треугольная!

Они пробрались к автомобилю и поехали.

— Ты один или семью завел? — спросил Валерьян.

— Мать и сестра со мной! Да еще двух приезжих друзей приютил! Коли хочешь, и тебе место найдется! Ты здесь как?

— Тоже недавно приехал из провинции по своим делам, в номерах живу!

— Перебирайся ко мне, квартира казенная, большая!

— Спасибо, но я ведь скоро назад поеду!

— Что так? Теперь здесь надо быть!..

— А ты помнишь мои-то семейные дела, больную жену?

— Помню... все еще больна?

— Разбита параличом... а отец помер недавно...

Евсей вздохнул.

— Все-таки... выбирайся оттуда! Тут, брат, будут дела!

Квартира комиссара Николаевской дороги на Лиговке состояла из нескольких больших комнат, хорошо обставленных. В столовой был накрыт стол на несколько персон. В ожидании хозяина на диване сидели два просто одетых человека и о чем-то спорили, оба революционного типа; в одном из них Валерьян узнал давосского редактора Абрамова, другой походил на рабочего: пожилой человек в синей блузе, в дымчатых очках и, повидавшему, слепой, — он ощупывал кругом себя бегающими пальцами и говорил как бы мимо собеседника.

— Опять дискуссия! — засмеялся Евсей. — А вот я еще третьего привел!

— Ба! — вскричал Абрамов. — Вот это называется — гора с горой!

— А это старый каторжник — дядя Ваня! — представил Евсей слепого. — Художник Семов! Не слышал про такого?

Слепой протянул худую руку мимо руки Валерьяна. Рукопожатие вышло неловким.

— Слыхать-то слышал, — с бесстрастным, неподвижным лицом ответил дядя Ваня, — да для меня это звук пустой, зрения лишен!.. Но думаю, что художникам временно придется отложить кисть

в сторону... надо контрреволюции ждать!

Евсей улыбнулся и с портфелем подмышкой ушел в кабинет.

— Какая теперь контрреволюция? — вскинулся Абрамов, качая золотой своей бородой. — Ты — пессимист, дядя Ваня! Конечно! Все идет великолепно! Россия удивит мир своей благородной, бескровной революцией! Теперь только одно и можно сказать: «ныне отпускаеши!»

— Постой, оптимист! — ровным голосом невозмутимо остановил Абрамова дядя Ваня. Его невидящие глаза были скрыты за большими темными очками и, разговаривая, он не поворачивал лица к собеседнику, как это делают зрячие, а только привычно нащупывал быстрыми пальцами ближайшие к нему предметы. — Постой! Неужели ты не сознаешь, что ты пьян? Пьян от революции, которая только еще вчера началась? Ты пьян от нее и поэтому так говоришь, ничего не видишь перед собой, а я вижу!

Слепой, ощупывая перед собой воздух быстрыми, чуткими пальцами, как бы касаясь невидимых струн, сидел с поднятой головой и, казалось, смотрел куда-то вдаль незрячими глазами...

— Будет контрреволюция, — спокойно продолжал он, медленно отчеканивая каждое слово, — в какую форму она выльется, не знаю, но что она будет, в этом нет сомнения! Черед теперь за ней, и видится она мне очень страшной и — кровавой! Нельзя ей не быть, и поэтому она будет!

Опять коснулся пальцами невидимых струн и, не поворачивая головы, закончил с оттенком шутки в ровном голосе:

— А ты пьян! Да! пьян от преждевременной радости и потому так говоришь!

— Дядя Ваня, ты упрям, как не знаю кто! Откуда будет контрреволюция, когда армия перешла на сторону народа? Пикнуть не дадут! Да ты знаешь ли, почему без крови весь переворот произошел? Ведь рабочие всею массой вышли на Невский, а против них был выслан последний, самый надежный полк, — остальные все присоединились к восставшему народу, — предводитель этого пол-

ка, молодой офицер, должен был скомандовать солдатам «пли», но не сделал этого и присяге не изменил, а вышел вперед и застрелился из револьвера! Это была единственная пролившаяся, жертвенная кровь! Полк перешел через его труп к революции! Кто же теперь не сочувствует ей? Ведь самодержавие ненавистно всем классам: все хотят республики! За революцию стоят даже ее классовые враги, даже те, кому она невыгодна и, кроме гибели, ничего не принесет!

— Так, значит, и офицеры сочувствуют революции? — спросил Валерьян.

Слепой улыбнулся.

— Сочувствие их временное и пролетариату не внушает доверия! Совершенно справедливо опасаемся мы их! Офицеры теперь прячутся по чердакам, переодеваются в штатское платье, их разыскивают, арестовывают и оружие отбирают! Ты еще скажи, что и бывшие министры тоже стоят за революцию!.. Нет, товарищ Абрамов, все это — еще только цветики, а ягоды будут впереди!.. Что же это была бы за революция, если после свержения самодержавия оставить попрежнему старый строй?.. Нет, революция только еще начинается, а ты думаешь, что она кончилась!.. Она еще не раскачалась! А все эти дворянчики, буржуйчики, помещики, жандармы, полицейские — куда денутся?

Слепой поиграл пальцами и, помолчав, повторил:

— Будет контрреволюция!..

— Все еще спорите! — улыбаясь, сказал вернувшийся Евсей. — А чего бы спорить? Конечно будет!..

— Не верю! — сказал Абрамов, хватаясь за голову. — Не понимаю!

— Пьян ты, пьян! — усмехнулся слепой. — Протрезвись, ведь революция не столицами ограничится, она и в деревне, по степям, по лесам и горам запылает!.. А ежели имущий класс по карману ударить, как не быть встречной волне? Без сопротивления старый строй не уступит!

— Да, к этому идет! — сказал Евсей, придвигая стулья к столу. — Вот вам первый и очень важный признак: государственная дума и совет солдатских депутатов! Вы думаете, они поладят? Ни-

чего подобного, уже начинается! Дума наша — барская, черносотенная, буржуйская, чего тут ждать? А уж этот Керенский! Положение его весьма треугольное!.. Был я сейчас в думе, — кавардак! Кто в лес, кто по дрова!

В комнату быстрыми шагами вошла седая старуха: Валерьян поднялся ей навстречу. Она взволнованно всплеснула руками.

— Валерьян Иванович, голубчик, вот уж не ждала с вами встретиться!

— В жизни много значит случай, Сузанна Семеновна!

— Ну, здравствуйте! Как времена-то меняются! Опять революцию переживать будем! Где вы живете теперь? Наташенька жива ли?

— Жива.

— А здоровье как?

Валерьян рассказал о здоровье Наташи, о параличе, о смерти отца.

Старуха охала и вздыхала

— Ну, теперь по крайней мере наследство получит? Состоятельный ведь был отец-то?

— И на этот счет, кажется, дела ее неважны: завещание старик оставил оригинальнейшее. — почти весь капитал завещал в пользу государства!

Все подняли головы.

— Ай, батюшки, обезумел он, что ли, перед смертью?

— Я так и ждал, что отмочит ваш старик какую-нибудь оригинальную штуку! — со смехом сказал Евсей.

— С общественной точки зрения, поступок похвальный! — развел руками Абрамов. — Ну, а детям оставил что-нибудь?

— Хитро поступил добрый старичок, — грустно улыбаясь, продолжал Валерьян, — детям завещал по сто тысяч каждому...

— Ого!

— Но с тем, чтобы деньги были положены в банк на четверть столетия!

Все засмеялись.

— И лишь на воспитание детей завещал выдать по двадцать тысяч, но дело в том, что наличных денег почти не оказалось: их еще надо взыскивать по складным с дворян, заложивших ему свои имена!



— Пропащее дело! — махнул рукой Евсей. — До суда ли теперь! Так ничего и не получили?

— Нет, двенадцать тысяч пока выдали, мы и купили домишко деревянный, а денег нет никаких, кроме процентов!.. Вот и поехал я продать некоторые картины мои, а тут, куда ехал, революция началась, — кто купит?

— М-да! — промычал Евсей. — Куда ни кинь — все клин! Буржуйам теперь не до картин, правительство временное.

— Значит, фактически весь капитал у должников, у дворян остался! Обгорели покойника: деньги получили, а земля — при них!

— Ну, с землей-то, еще не известно, что произойдет! Революция ведь! У помещиков отберут — мужикам разделят!.. Земельный вопрос затяжной будет, на десятки лет! Можно сказать, пропали тятенькины капиталы, да он как будто и предвидел — государству завещал: прозорливый был.

Евсей покрутил ус и вдруг сказал:

— А ведь я, пожалуй, просватаю твои картины, если хочешь, англичанину одному, только надо списаться... Где они у тебя?

— Часть здесь, часть в Москве, остальные в Крыму...

— Ты бы собрал их в одно место, а потом я тебе напишу!..

Вошла высокая, красивая девушка с дымящейся миской в руках.

— А вот и Маша, моя сестра!

— Уж извините, прислуга по случаю революции рассчиталась, сами готовим! — заметила Сусанна.

— Мы знакомы! — возразила Маша, поставив миску на стол и радостно смотря на Валерьяна.

Валерьян пожал руку девушки.

— Как же, помню... Вашу услугу я не забуду никогда!

— Что вы, полноте, мы с Машей так рады были тогда познакомиться с вами! Товарищи, прошу кушать и не бранить хозяек!

— Ба! — вскричал Евсей, обращаясь к Валерьяну. — Чуть не позабыл: письмо тебе есть, почему-то на государственную думу послано, я и захватил!

Он полез в боковой карман и передал измятое письмо.

— Не надо бы за обедом передавать!.. — упрекнула его Сусанна. — Может, неприятное что в письме!.. Сколько раз я тебе говорила, Евсеша! Лучше бы после...

Валерьян разорвал письмо, пробежал глазами и нахмурился.

— Действительно, неприятность! — пробормотал Валерьян. — В Киеве арестован брат моей жены!

— Это заяка-то? — спросил Евсей.

— Нет, младший, Константин!

— Да там еще старая власть в силе, значит, жандармы?

— Повидимому! Придется экстренно ехать, вырывать!

— Да кто пишет-то? Верный ли человек?

— Человек известный, друг его, оперный артист!

Евсей задумался.

— Трудно теперь ездить! Поезда идут битком! Заедешь на юг, назад не скоро вырвешься! Ну, я-то достану тебе билет и даже мандат состряпаю с командировкой. Когда думаешь поехать?

— Завтра! Сегодня картины запакую и в Москву пошлю!

— Ладно! Приходи завтра к вечернему поезду: я буду на вокзале и все устрою! Мой совет — оборачивайся скорее и выбирайся из провинции... Дело с продажей постараюсь наладить... Запиши мой адрес!

После обеда Абрамов и дядя Ваня снова заспорили о революции. Валерьян попрощался и вышел. На Лиговке горел большой многоэтажный дом, работала пожарная команда. Слышались выстрелы. На крышу дома лезли солдаты и пожарные: выкуривали с чердака офицеров и полицейских.

## VII

Осень стояла солнечная, сухая, теплая. Уличная жизнь Москвы мало отличалась от прежней: на углах стояли извозчики, толпа почти так же оживленно сновала по тротуарам. Но большие гостиницы были обращены под новые учреждения, магазины закрыты. Торговали только

чайные и столовые, молочные и табачные лавочки; много было уличных торговцев с лотками яблок и картофельных котлет.

На Советской площади, на месте уничтоженного памятника Скобелеву, строился серый обелиск, а на фронте бывшего дома генерал-губернатора выделялись на полотняной вывеске красные буквы РСФСР. Перед домом стояла большая толпа: человек в тужурке и кепке, стоя на балконе, громким голосом, разносившимся по всей площади, говорил речь отрывистыми фразами. Этот звучный, разряжающийся голос показался Валерьяну странно знакомым: где-то, когда-то он слышал его. Оратор говорил о борьбе революции с ее врагами, о победах, завоеваниях и предстоящих трудностях. Москва готовилась отпраздновать годовщину революции.

Валерьян тщетно пытался вспомнить, где он слышал этот взрывчатый голос; так и не вспомнил. Мысли были заняты собственными делами. Он шел к скульптору Птице, торопился застать его дома и, не дослушав речи, пошел по Тверской.

Чтобы попасть в студию скульптора, нужно было пройти под полукруглые каменные ворота и в глубине двора семиэтажного дома отыскать одну из многих парадных дверей. Найдя дверь, лифтом поднялся на шестой этаж: выше лифт не ходил, на седьмой, чердачный, пришлось подняться по лестнице. На низенькой двери была приклеена бумажка с надписью: «Прошу даже близких друзей не приходите ко мне ранее 9 часов вечера».

Валерьян улыбнулся: надпись висела еще с дореволюционных лет, но на нее никто из близких друзей никогда не обращал внимания.

Валерьян без колебания надавил пуговку электрического звонка, и дверь тотчас же отворил сам хозяин, хромой, постукивающий железным каблуком, с коротко остриженной головой, в длинном коленкоровом халате — в своем рабочем костюме.

Расцеловавшись с другом, скульптор сказал, вводя его в мастерскую:

— Сэр, ты хорошо сделал, что не опоздал: жду комиссию и, значит, в два

счета устрою тебе свидание! Работаем! Занят... по колена! Видишь?

Художник осмотрелся.

Мастерская скульптора была заставлена гипсовыми и мраморными фигурами, бюстами: с длинных полок смотрели мужские и женские лица, смеющиеся, плачущие, думающие, мечтающие...

Возвышаясь головой почти до стеклянного потолка мастерской, третью часть комнаты занимала фигура, вылепленная из не остывшей еще темной глины. Она как бы появилась из бесформенной массы, голая до пояса, с могучей грудью, мощными руками, с головой великана, с вьющейся круглой бородой. Фигура эта, видимо, была далеко не окончена, но голова и лицо жили глубокой жизнью, полной напряженной экспрессии.

— Кто это? — спросил Валерьян.

— Модель памятника Виктору Гюго! — любовно проведя рукой по волнам глины, ответил скульптор. — Заказ советской власти! В октябре годовщина революции — так надо к сроку, но вряд ли успею! Ну, да это — а ля фуршет! Главное, захватило меня, как давно не захватывало: перечитал все его книги, бредить даже начал, во сне его вижу, и вот — спял!

Скульптор с нежной осторожностью провел по глине привычной, ловкой рукой, засученной по локоть и мускулистой от постоянной работы:

— Хорош?

Художник не ответил. С невольной завистью смотрел на новое создание скульптора.

Могучее лицо дышало жизнью, мыслью, чувством: в сложном и глубоком его выражении ощущалась мощь Жана Вальжана, дикая любовь Квазимодо и образы «Тружеников моря».

— Да, хорошо! — сказал он со вздохом. — Это лучшее из всего, что ты сделал до сих пор!

Птица поморгал глазами.

— Я ночи не спал, когда думал о нем! Вложил в него все, что у меня накопилось здесь! — Скульптор постучал себя по крепкой и круглой груди.

— Сэр, — продолжал он, — ты с начала революции сидел там, на своей Волге, и конечно понятия не имеешь о

гом, что здесь затевается! Ко дню годовщины в Москве будет воздвигнуто триста памятников писателям, поэтам и героям революционного движения во всем мире! Триста! Это, брат, крыть нечем! Жаль только, что большинство заказов получили футуристы — народ все таковой, понимаешь ли, а-про-по, шан-тро-па, а ля фуршет, ам-поше, и поминай, как звали! Но все-таки будут работы и настоящих мастеров! Большевики на это денег не жалеют! Триста тысяч чистыми за Гюго получу, если только к сроку успею отлить! А на-днях ведро спирту на обмывку глины пришлют, чтобы не трескалась!

Птица посмотрел на друга искося, с лукавством.

— Разве непременно спиртом надо обмыывать?

Скульптор посмотрел еще лукавее.

— Не дурак же я! Спирт разведем, и выпьем! Небось, все друзья мои сбегутся! Когда у меня обмывка, так они по запаху, с улицы, чутьем чувят!.. Бежит мимо, понюхает воздух и — ко мне! А сейчас давай кофе пить.

— Вот как? — удивился Валерьян: — кофе пьешь?

— Не настоящий, конечно, не мокро, а так — а ля фуршет! Но зато с сахаром!

Рядом с мастерской, за малиновой шерстяной занавеской, заменявшей двери, была крохотная, гробобразная комнатка с чрезвычайно низким потолком, с единственным окном, из которого был вид на бесконечные крыши Москвы.

Там стояла низенькая, измятая софа, круглый стол в углу, два стула и керосиновая кухня на маленьком столике с большим чайником из красной меди. Птица зарабатывал хорошо, мог бы жить богаче, но он сам себе готовил обед и кипятил кофе: остались привычки богемы, с которыми он не хотел расставаться после десятилетней жизни в Париже.

С привычной ловкостью развел огонь и заварил кофе. Валерьян остановился перед мраморной фигурой женщины, стоявшей в ряду богинь и фантазий скульптора.

— А это что? — спросил он подошедшего хозяина.

— Жена позировала, — равнодушно ответил скульптор.

— Разве у тебя есть жена?

— Была, сэр!

— Где же она теперь?

Птица пожал плечами.

— Разлюбила тебя?

— Нет, любила, и я ее любил, но уж лет десять, как разошлись: надоела ей толпа моих друзей, она и предложила мне ультиматум: или друзья, или она! Я долго смеялся, а потом предпочел друзей, она и ушла!.. Терзалась очень, но не мог я покориться ей, тогда бы все творчество мое пошло к черту...

— А вот, — прервал молчание Птица, снимая мокрые тряпки с фигуры, которой до этого не заметил Валерьян, — ежели не успеют отлить Гюго, я им дружку вещицу дам!

Это был бюст человека с гордо и вызывающе поднятой головой, с высоким, благородным лбом, с лицом агитатора, дышавшим волей и энергией.

— Узнаешь?

— Лицо знакомое, но трудно вспомнить...

— Это — Лассаль. Тоже мучился я с ним: перечитал все его речи, «Один в поле не воин» Шпильгагена, и все не мог натуры найти. Помогла мне старая статуэтка моей же работы с одного эмигранта. Жил с ним в Париже. Совсем я тогда слабеньким, желторотым учеником был, голодал, лепил миниатюры на продажу, а он ходил продавать на тротуаре. И представь, сэр, что из него потом вышло: депутат первой государственной думы!..

— Пирогов?

— Да!.. Я лепил с него тогда в шутку, а теперь вижу, что по типу-то он больно подходит... Да и судьба его вроде того... Жаль, плохо кончил...

— Да, с белыми теперь...

— Нет, помер недавно, в газетах промелькнуло, так, вскользь, под сурдинку, а премел когда-то!

— Вот о смерти его не знал я!

— Разочаровался в белых... — продолжал скульптор, смотря на бюст Лассалья. — У него ведь своя теория была:

Европой ушиблен! Он-то за парламент, а они — шантропа, и вообще дело кончилось а ля фуршет! Воротился в Лондон, умер в военном госпитале!.. Вот с него и взял я материал... кроме конечно портретов Лассалья!..

Птица налил два стакана горячего кофе и поманил приятеля в маленькую комнату.

— Пей, насчет закуски слабовато нынче: черный хлеб только... голоднозато в Москве!.. Это обойдется!.. Не хлебом одним жив человек! Зато сколько денег идет на театры, художество, литературу! Книжки, брат, теперь издаются в сотни тысяч! Наша братия — художники — прежде зависела всецело от буржуазии... Все, что искусство создало до революции, будет теперь принадлежать народу. Нам с тобой нужно начинать сначала! Так начнем же, чорт побери, из тяньтери в яньтери наше прошлое! Мы теперь зависим от его величества народа... Прежний властвовавший класс умер, — туда ему и дорога! В мир грядет коммунизм! — вскричал Птица с пафосом. — И что бы ни случилось с ним, несомненно одно — совершается колоссальный сдвиг во всем мире.

Он крепко поставил стакан, вз'ерошил вихры, взял с полки маленькую переплетенную книжку, раскрыл ее и сказал, понизив голос:

— Вот что писал когда-то Генрих Гейне о коммунистах... Послушай!

Птица порылся в книге, нашел нужную страницу и прочел с увлечением:

— «С ужасом и трепетом думаю я о времени, когда коммунисты, эти мрачные иконоборцы, достигнут господства: своими грубыми руками они беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу: они разрушат все те фантастические игрушки искусства, которые так любит поэт! Лили, которые не занимались никакой пряжей и никакой работой и однако же были одеты так великолепно, как царь Соломон во всем своем блеске, будут вырваны из почвы общества, разве только захотят взять в руки веретено; роз, этих праздных невест соловья, постигнет

такая же участь, соловьи, эти бесполезные певцы, будут прогнаны, и — увы! — из моей «Книжки песен» бакалейный торговец будет делать пакеты и всыпать в них кофе или нюхательный табак для старых баб будущего. Увы! я предвижу все это, и несказанная скорбь охватывает меня, когда я думаю о гибели, которую победоносный пролетариат угрожает моим стихам: они сойдут в могилу вместе со всем старым романтическим миром!»

Птица захлопнул книгу, сунул ее на полочку и, повернувшись к Валерьяну, сказал:

— Лет сто назад писано! Коммунизм приходил в мир вместе с каждой революцией, но — не достигал господства. Теперь опять пришел! Бедный Гейне! Он думал, что коммунисты разобьют статуи красоты, но они их воздвигают! Думал, что его стихи сойдут в могилу, но коммунисты воскресили их! Он скорбел половиной своего расколотого сердца, а другой половиной смеялся над этой романтической скорбью и — приветствовал революцию! Он без колебаний прижмнул к ней, ибо чувствовал, что романтика, которую он так любил, — отжившая гниль, музейная бутафория и что будущее человечества непременно рано или поздно пройдет через эпоху коммунизма! Он не любил «этих мрачных иконоборцев», и все-таки шел с ними, потому что любил жизнь, а она требовала гибели отжившего и была на стороне его разрушителей, потому что, милый мой сэр, жизнь стремится вечно обновлять мир!

— Все это правда, но ведь мы, художники, никак не можем обойтись без фантазии, без поэзии и — как тот же Гейне — без романтизма!

Скульптор весело улыбнулся.

— Они — материалисты... но это люди, одержимые пафосом великой фантазии! Они враги устаревшей, выдохшейся веры, действительно иконоборцы, разрушающие статуи умерших богов прошлого, но они сильны тем, что несут новую веру! Да! Они верят фанатично, страстно, нетерпимо, свирепо, и в этом их сила! Аристократы духа, вечные патриции искусства, — мы идем вместе

с ними, сами того не замечая. В старых богов и мы давно не верим.

Я приветствую коммунизм потому, что сама жизнь вызвала его на арену мира, потому, что он столкнул в тартарары старую рухлядь и, правда, поднял такую пыль, что весь мир чихает! Сэр! — меня пафос на иронию, продолжал Птица, становясь в позу со склоненной головой: — Ты видишь перед собой ни больше, ни меньше, как бодрого, веселого, жизнерадостного большевика, в порядке партдисциплины работающего на мельнице коммунизма! Из «тяньтери в январь» — старую жизнь! В два счета, а ля фуршет! По-солдатски равняйся на пупки, и да здравствует революция!

В это время затрещал звонок. Скульптор, стуча каблуком и хромая, быстро заковылял к двери.

Вошел Ленька, длинный, тоненький, вытянувшийся в юношу.

— Отец, поздравь: сдал и принят в интернат! — заговорил он ломающимся голосом.

Валерьян обнял сына.

— Ну, вот и прекрасно! Не надивлюсь на тебя! Ведь каким ты был лентяем...

— А знаешь почему, отец? — возразил Ленька, следуя за ним в маленькую комнату и садясь рядом с ним на софу. — Учителя мешали учиться: ведь я был внук буржуа, ну, и переводили из класса в класс, хотя я ровно ничего не знал, а шалолайничал.

— Это правда, Леня! — отозвался скульптор, зажигая опять керосинку. — Кофе выпьешь? Дети богатых на девяносто процентов вырастают безвольными оболтусами! Нужда, брат, развивает волю, энергию, обогащает душу переживаниями и в особенности полезна в молодости!

Ленька не отвечал, с аппетитом поглощая кофе с хлебом.

— Теперь очень интересно учиться! — пробормотал он с набитым ртом. — Интересная жизнь!.. лекции, собрания...

Раздался новый звонок. Скульптор опять заковылял к порогу, скрывшись за занавеской. В мастерской послышались два мужских голоса.

— Так это и есть Гюго?

— Да, сэр!

— Здорово! Конечно будет принято!..

— Еще не готово!

— Вот это жаль! Эх, жизнь треугольная!

— Но вы обещали нам известного художника, — добавил другой голос, — а фамилии не сказали! Где он? Давайте нам его!

— Есть! — по-матросски ответил скульптор и, откинув занавеску, сказал:

— Сэр, пожалуйста!

Валерьян вышел в мастерскую.

— Евсей! — радостно вскричал он, засмеявшись. — Абрамов!

— Опять встреча! — улыбаясь, сказал бывший давосский редактор, в то время как зоолог растроганно обнимал Валерьяна.

— Вот так сюрприз! Ах, жизнь треугольная! Ведь про тебя ни слуху, ни духу! Сказали, на Волге застрял! А как нужно-то тебя!

Птица улыбался самодовольно.

— Сэры! — с театральным поклоном сказал он. — Я все это устроил нарочно! Чтобы все было — а ля фуршет!

Все засмеялись.

— А это кто? Неужели Ленька? — удивился Евсей. — Студент?

— Уже! — сказал Ленька.

— Куда ни кинь! О, жизнь треугольная! Наконец-таки ты сошлась удобным клином для нас! Ленька, помнишь Виллафранку?

— Еще бы! И ваши рассказы про океан!

— Ну, а где твоя семья, Валерьян? Жена? Последняя из тургеневских женщин? Где Митя, любитель бургундского, и вообще, что случилось с домом Черновых?

— Он погиб! — тихо сказал Валерьян...

Евсей вздохнул.

— Мне жаль из них только твою жену, Валерьян, этот нежный цветок прошлого. Но и то сказать: не жилища она была по нынешним временам!

Он потрянул головой, выпрямился.

— Итак, ты один, свободен, еще не старик и уж теперь-то не эскизы будешь писать! Много сил своих погубил ты, но вижу по глазам и седишкам на

висках: все, что ты выстрадал, выльется!

— Начнем сначала! — спокойно улыбаясь, иронически ответил Валерьян.

— Мы тебе дадим хороший заказ! Фигуру рабочего в восемь саженей вышины и декорации в Большом театре! Сегодня, в семь часов, являйся на заседание комиссии, там все и обсудим!

Он взглянул на часы.

— Ну, а теперь пора! Товарищ Абрамов, едем! Скульптора с собой захватим: надо съездить на литейный завод!

— Я готов! — заявил Птица, сбрасывая рабочий костюм.

Все поднялись с мест к выходу.

— А я здесь поработаю до твоего возвращения! — сказал Валерьян скульптору. — Дай бумагу и карандаш!

— Валяй! Я — скоро! А ля фушет! Ты куда, Ленка?

— В интернат! У нас тоже собрание!

— Люблю жизнь! — весело воскликнул скульптор и неожиданно сделал балетное па, повернувшись на своей хромотой ноге.

Когда мастерская опустела, Валерьян подошел к окну, растворил его и остановился, пораженный величественной панорамой.

Вся Москва была, как на ладони. Сиял ясный, тихий, солнечный день. Солнце играло на бесконечных кровлях, уходивших за горизонт зеленью, эмалью, синью и золотом бесчисленных куполов церквей, колоколен и башен. С громадной высоты казалось, что Кремль со своими соборами и Иваном Великим стоит где-то внизу, как сказочное видение! Игрушками казались разноцветный храм Василия Блаженного, Красная площадь с «Лобным местом», оттуда куда-то сам Грозный кланялся народу.

Трехсотлетние, уходившие в землю златоглавые церкви, возвышавшиеся над бревенчатыми теремами древней Мо-

сквы, теперь казались задавленными многоэтажными громадами. Московская старина доживала свой век, теснимая быстро катившейся новизной. Еще недавно блистала здесь родовая и денежная аристократия, кипела жизнь верхов, интеллигенции, литературы, искусств и научного мира, копошились низы — Хитровка, московские трущобы, жулье, проституция, — все это жило самостоятельной жизнью в соответственных этажах ее, переливаясь в нескончаемом движении сверху вниз и обратно. Теперь пришел рабочий, незаметный и безмолвный прежде, и сразу занял верховное место. Что-то произошло небывалое, серьезное, это видно по обгорелым многоэтажным домам, ищарапаным снарядами, по рабочей толпе, хлынувшей в дворцы и палаты, по деловым учреждениям вместо прежних увеселительных мест, по плакатам, где преобладает и подавляет всех и вся новый властитель жизни — рабочий. Он кажется всемогущим, он — мировая сила. Богачи, цари и вельможи, еще недавно властные, посторонились и уступили ему дорогу.

Валерьян долго смотрел на этот ни с чем не сравнимый, полуазиатский, красочный, нелепо разнообразный, неправильно раскинувшийся, древний город, и в его воображении вставала тысячелетняя история России. Многие прошло здесь через душу русского человека, одаряло, обогащало или терзало ее.

Теперь пришла революция. Жизнь бьется лихорадочно, конвульсивно.

Москва, как магнит, могучим своим притяжением втягивает в себя наиболее живые силы, все лучшие материалы страны, выковывает, переплавляет их. Скопляется небывалая энергия, растекается и вновь приливает.

Мощный гул великого города напоминал тяжело бьющееся гигантское сердце.

# По обе стороны экватора

(1923, 1925, 1930.)

АЛЕКСАНДР ТАИРОВ

Это было в одно прекрасное утро 1922 года.

Придя в театр, я застал письмо из Парижа со штампом: «Théâtre des Champs Ellysées». В этом письме тогдашний директор театра Жак Эберто предлагал Камерному театру принять участие в интернациональном сезоне, устраиваемом в Париже его театром в мае 1922 года.

Совершенно естественно, меня это предложение крайне заинтересовало — и с точки зрения художественной, и с точки зрения политической.

Я снесся с А. В. Луначарским. Было решено, что такого случая упускать нельзя, и в ноябре 1922 г. в Париже, после ряда личных бесед с Эберто, я подписал договор.

У нас не было еще официальных сношений с Францией, и на месте, в Париже, после ряда встреч с художественными и радикальными общественными кругами, я ясно почувствовал, что приезд советского театра в Париж, полный нелепых, но весьма устойчивых слухов о «советских ужасах», тем более желателен и своевременен.

Это мое настроение, очевидно, передалось Жаку Эберту, человеку широкого размаха, с хорошим и острым чутьем. Когда мы подписали договор, он вдруг спросил меня:

— А что я за это получу?

— То-есть как? — сказал я недоуменно.

— Я полагаю, — ответил Эберто, — что эти гастроли — чрезвычайно важный момент для ваших Советов, и потому я рассчитываю на орден.

Я, смеясь, объяснил ему, что соответствующих орденов у нас не имеется и что, на мой взгляд, в результате наших гастролей он будет иметь все права претендовать на Légion d'Honneur.

Я привожу этот диалог, так как он весьма характерен для всех бесед, какие мне приходилось иметь в дальнейшем в Париже, Берлине и вообще во всей Европе, даже в специально театральных кругах, — все отлично понимали, что приезд советского театра — явление не только художественное, но и политическое, и это красной нитью проходило через все наши гастрольные турне.

26 декабря 1922 года я вернулся в Москву с двумя договорами — на Париж и на Берлин (рейнгадтовский Deutsches Theater).

Интерес в Берлине к нашим гастролям был настолько велик, что я должен был сделать по настоянию Deutsches Theater специальный прием прессы. На следующий день, так же, как и в Париже, во всех без исключения газетах появились сенсационные заметки о предстоящих гастролях большевистского театра.

20 февраля 1923 г. шестьдесят человек «камерников» двинулись из Москвы в таинственный путь.

Наша компания, еще до приезда в Париж, возбуждала всюду чрезвычайно повышенный интерес.

На одной из первых чужеземных границ одного из вновь образовавшихся государств, как только поезд подошел к перрону, наш вагон окружила целая масса всяких людей. Среди них лихо выделялись brave господа в опереточно-

военной форме, явная «иноземность» которой никак не гармонировала с великолепным русским выговором, на котором мы слышали впервые один из тех вопросов, которые впоследствии нам задавались довольно часто: «Бежали из советского рая?»

Мы протягивали наши советские паспорта, оформленные по всем правилам, накладные на вагоны — и без дальних слов становилось ясно, что шестидесяти человекам с пятью вагонами декораций «бежать» было никак невозможно.

Завязывались оживленные политические беседы — и на пограничных пунктах, и в вагонах, и на промежуточных станциях. И с каждым разом наши реплики становились все насмешливей и злее, а лица наших собеседников выгибались все больше и больше.

Немецкая граница. Усиленный таможенный досмотр. Перелистывается каждая книга, перетряхиваются тощие чемоданы, тщательный личный осмотр (историческая справедливость требует упоминания, что личный осмотр был тогда общим правилом на немецкой границе), и рядом с опаской по отношению к «большевистской компании» все же какие-то благожелательные глаза. У одной нашей артистки открыли громадную многофунтовую коробку шоколада. Кто-то из таможенников требует пошлины и грозит конфискацией. Зря денег тратить мы не хотели, я уже почти произношу: «забирайте», но другой таможенник лукаво шепчет: «Вы можете шоколад съесть здесь». Мгновенно протягивается 60 рук — и коробка пуста.

И мы двинулись дальше.

Берлин — остановка на день. Универмаг. «Человек меняет кожу». Все примеряют пиджаки, пальто, блузки, перчатки. И, к досаде фотографов, в Париже на Gare du Nord высаживается вполне уважаемая компания «европейских денди и лэди».

И к тому же очень веселых.

— У вас очень жизнерадостный народ, — говорит мне один из репортеров.

— Как видите.

— А у нас все время пишут, что улыбка исчезла в Советской России.

— Очевидно ошибаются.

— Мы думали, что все приедут изможденными, изголодавшимися, — говорит другой.

— У всех вес нормальный, хотите, дайте весы.

— И без весов видно.

— Тем лучше.

Начались бесконечные интервью. Со мной работали три секретаря, и мы еле справлялись.

Вот один из характерных диалогов:

«— Вы приехали из Москвы?»

— Этим утром.

— С такой внешностью?»

«Должен ли я сознаться, — пишет дальше интервьюер, — что предполагал увидеть жалких индивидуумов, одетых в лохмотья и наделенных всеми признаками самой ужасной нищеты. Я вижу два существа, которые, повидимому, прекрасно себя чувствуют и улыбки которых не омрачены никакой горечью».

«— Советское правительство не заметило вашего бегства?»

— Мы не бежали. Мы приехали на гастроли.

— Но нога ваша не ступит больше на московскую землю?»

— Мы возвращаемся туда через десять месяцев.

— Но разве вас не истязают?»

— Мы свободны и счастливы.

— Но Луначарский?»

— Он — народный комиссар просвещения и изящных искусств. И я, директор Камерного театра, констатирую, что не встречал с его стороны ничего, кроме живейшего содействия.

— Но он заставляет вас играть даром?»

— Ничего подобного. Хорошие места стоят у нас два доллара, и все места платные.

— И у вас есть зрители?»

— У нас полные сборы.

— Ваше снабжение материалами, аксессуарами, предметами питания обеспечивается коммунистическим правительством?»

— Основные потребности — да, а кроме того, оно обеспечивается нашими покупками в магазинах, как везде и повсюду. У нас имеются магазины и рестораны, открытые в течение всей ночи.



— Там можно пить шампанское?

— Конечно.

— Значит положение основательно улучшилось?

— Совершенно верно. Были времена трудные, теперь мы познакомились с лучшими» («Эр Нувель», Париж, 3 мая 1923 г., статья Бонарди).

Théâtre des Champs Elysées был тогда еще недавно открыт и сиял своим фешенебельным великолепием.

И вот однажды, ранним утром, к его зеркальным подъездам подошли грузовики с нашими декорациями. Когда раскрылись фургоны, бригада сценических рабочих с занятым недоумением стала оглядывать огромное количество сложных штабелями деревянных частей наших разобранных конструкций.

— А где же декорации? — задорно спросил один из них.

— Вот, перед вами, — ответил наш зав. монтажной частью.

— Но ведь это дрова, — не удержался от остроты машинист-француз.

— Посмотрите на сцене.

Со всевозможными прибаутками французы стали втаскивать наши «дрова» на сцену. В одиннадцать часов была назначена репетиция «Жирофле-Жирофля», которой мы начинали спектакли.

Под руководством тов. Лукьянова и нашего машиниста начали устанавливать конструкцию. По мере продвижения работы иронические и недоверчивые взгляды французских товарищей постепенно исчезли, и, когда сцена была готова, один из них воскликнул: «Вот тебе и дрова!»

И так на каждом шагу нашего пребывания в Париже самыми неожиданными путями и ассоциациями неизменно переплетались художественные и политические моменты.

Чрезвычайно любопытный разговор произошел у меня до начала спектаклей во французском министерстве иностранных дел, куда я был приглашен в отдел виз для беседы.

Вначале мне был задан целый ряд вопросов формального и нормального порядка о количестве приехавших, сроках нашего пребывания, времени отъезда и т. п.

Но чувствовалось, что дело не в этом. Наконец, после некоторой паузы, мой собеседник спрашивает меня.

— Скажите, из пяти пьес вашего парижского репертуара три принадлежат французским авторам, не так ли?

— Совершенно верно — «Федра», «Адриенна Лекуверр» и «Жирофле-Жирофля».

— Вы директор театра?

— Вы уже спрашивали меня об этом.

— И вы составляли репертуар самостоятельно?

— Конечно. А что?

— Нет, ничего. Я этим заинтересовался потому, что у нас ходят слухи, будто вы получили задание составить ваш репертуар таким образом, чтобы особой его интерпретацией внести разложение и раскол во французский театр.

Очевидно на моем лице выразилось самое искреннее недоумение, потому что мой собеседник поспешил добавить:

— Это конечно только слухи.

— А не проще ли увидеть в том, что мы привезли французский репертуар, проявление определенного политического и художественного такта с нашей стороны? — ответил я.

— О, тогда это очень любезно.

— Мне кажется тоже.

Мы попрощались. Убедил ли я своего собеседника, я не знаю, но через некоторое время я снова вспомнил об этом разговоре, когда появилась впоследствии статья Антуана.

Спектакль «Жирофле-Жирофля», которым мы начали свои гастроли, имел большой и шумный успех и сразу расколол театрально-художественные круги и прессу на два лагеря: горячих сторонников и не менее страстных противников.

О характере появившихся статей дает некоторое представление заголовок статьи известного парижского театрального критика Габриэля Баусси «Les Acrobates du Théâtre Kamerny à propos de «Jiroflè-Jirofla»<sup>1)</sup>.

В этой статье Баусси пишет:

«Вы разбили ваше общество на кусочки далеко не привлекательные, не пытай-

<sup>1)</sup> «Акробатика Камерного театра по поводу «Жирофле-Жирофля».

тес с помощью предательских путей поколебать наш разум, расчленив наши произведения искусства или, короче, просто наши произведения. В этих изображениях наших мыслей и чувств воплощается французский дух. Ради бога, оставьте наши шедевры в покое. Или подходите к ним как ученики и не делайте их рабами вашей необузданной фантазии. Каковы бы ни были результаты, они губельны, они обманчивы, так как они денационализируют наш театр, и это значит сказать глупость, если говорить, что «искусство не имеет родины». Искусство как раз является изображением мысли и чувств отдельного индивидуума или народа. Virtuозность актеров неоспорима. Трудно было определить, где мы находимся,—в цирке, в мюзик-холле или в театре. Таков, по правде говоря, был этот спектакль, на котором нельзя было скучать ни одной минуты».

По тону всех статей чувствовалось, что в них лишь идет предварительная рекогносцировка и подготовка. Бой предстоял впереди.

Уже тот же Буасси кончает свою статью следующим образом:

«Сколько проявлено таланта, чтобы оживить давно забытую покойницу «Жирофле-Жирофля»! Но под каким соусом они хотят поднести нам гармоническую «Федру»?

Этот припев на разные лады варьируется почти во всех статьях о «Жирофле-Жирофля». Даже критик «Юманите», начинающий свою статью весьма лестным абзацем:

«Большой успех, которым пользуются наши московские товарищи, никак нельзя отнести за счет пьесы, которая сама по себе ничего не стоит. Этим успехом они обязаны только самим себе, только своеобразному таланту Таирова»<sup>1)</sup>,

заканчивает ее следующим образом:

«Что касается «Федры», то я не беру на себя никакой ответственности. Я

<sup>1)</sup> Мне приходится приводить в отзывах некоторые строки, касающиеся лично меня. Я буду это делать только в случаях необходимости, максимально сокращая количество эпитетов.

жду, я надеюсь. И я скажу о своих впечатлениях, только хорошенько подумав, — через восемь дней».

Что же касается Антуана, то он пишет прямо:

«Вот опасность самая серьезная для наших традиций и нашей культуры».

Наконец наступил день спектакля «Федры». Не скрою — мы все, и я в том числе, встретили этот вечер с большим волнением.

К этому времени вокруг нас уже образовалась группа верных друзей, в которой были покойный Фирмен Жемье, Копо, художники Пикассо, Леже, Озанфан, принимавший сейчас участие в знаменитой парижской демонстрации 12 февраля, поэт Кокто и др.

Перед началом спектакля они пришли ко мне и, пожелав нам удачи и победы, сочли нужным меня предупредить, что в театре имеется группа «Camelots du Roi» которые собираются сорвать спектакль.

Но «королевским молодчикам» так и не удалось на этот раз себя проявить. Их робкие свистки совершенно тонули в бурных овациях явно бывшей на нашей стороне аудитории. Этот момент был решающим.

Страсти в театрально-художественных кругах и в прессе разгорелись во-всю.

И если почтенный Нозьер в «L'Avenir» разразился энтузиастической статьей, озаглавленной «Против старого театра»;

если Эмиль Бланш в «Revue Critique» пишет:

«После гастролей Камерного театра невозможно больше смотреть на мизансцены «Федры» в Comedie Française Эта старая концепция больше немислима. Должен быть создан новый подход. Даже идиотской оперетке с музыкой Лекока,, «Жирофле-Жирофля», эти большевики возвращают настоящую свежесть»;

если Кокто пишет:

«Федра» Таирова — это шедевр. Сегодня я тороплюсь выразить энтузиазм, которому, быть может, придаст некоторую ценность моя долгая сдержанность»;

если тот же Буасси пишет:

«Минуя Расина, минуя все Сорбонны и все могилы, внезапно становишься лицом к лицу перед мифом»; —

то Жан де-Мерри в «Eclair» пишет:

«Было бы удивительным, если бы представления московского Камерного театра на Елисейских полях прошли без шума. Публика была поражена, слегка ошеломлена оригинальными концепциями этой группы, явившейся к нам непосредственно из страны, от которой можно ожидать вместе с большевизмом всяких экстравагантностей. В конце концов что же необычайного, что большевизм атакует Расина!»;

то Поль Шамбрей в «Mode Nationale» пишет:

«Мы аплодируем Камерному театру, ломающему на свой лад классическую французскую трагедию и французскую оперетту. Не слишком ли далеко зашли мы в своем прекраснодушии. Мы не будем распространяться об эксцентризме Камерного театра, — некоторые из наших критиков уже впадали в экстаз по поводу достоинств этой труппы, совершившей революцию в искусстве. Но, может быть, наступило время поразмыслить, что они наши конкуренты, и вспомнить, что и у нас есть артисты не менее интересные».

Антуан в «L'Information» суммирует высказывания этого лагеря следующим образом:

«Я не знаю, что такое большевизм; мне кажется, что это совокупность теорий, стремящихся к абсолютному обновлению методов старого мира, и что мы присутствовали при полном приложении большевизма к искусству. Необходимо противодействовать. Теперь, когда труппа Камерного театра показала нам всю серию своих спектаклей, является возможным извлечь из них полезные поучения. Так вот перед вами, как я полагаю, самый опасный натиск, который когда-либо пришлось перенести театру. Все в этих спектаклях: декорации, костюмы, режиссерская работа, интерпретация — посягает на уничтожение нашего драматического искусства, созданного медленной эволюцией нескольких столетий. Если мы не окажем энер-

гичного противодействия, скоро не будет французского театра и наши спектакли будут немецкими, русскими, азиатскими или негритянскими. К счастью, у нас есть еще время разобраться и отразить нашествие».

Антуану отвечает известный французский актер и драматург Марсель Ашар в газете «Bonsai»: —

«Труппа московского Камерного театра дает сегодня последний спектакль. Андрэ Антуан, со страстным вниманием следивший за игрой ее актеров, сегодня в «L'Information» подводит итог их работ и достигнутых результатов. И великий Андрэ Антуан, неожиданно охваченный национальной тревогой, восклицает, что это наиболее сильный натиск, которому когда-либо приходилось подвергаться французскому театру. Он отрицает его обаяние, он указывает его опасность. И он ведет контратаку, основанную на усовершенствованиях, внесенных Станиславским в натуралистический театр. Он говорит: Станиславский не разрушает, он совершенствует. На что очень легко можно было бы ответить, что Таиров не разрушает, но создает. Станиславский достиг совершенства в одном направлении. Эти же новые искания самобытны. Но ведь более ценны те, которые идут к новому по непроторенным путям».

А в письме, присланном на прощальный банкет, данный Камерному театру передовыми художественными кругами Парижа, Фирмен Жемье пишет:

«Вы нашли формулу, которая освобождает вас от декораций. Вы сумели вернуть нам полноценного актера, актера комедии дель арте. Какое искусство, какая мера во всем и в то же время какая богатая фантазия и какая свобода в ваших мизансценах! Какая гибкость и какой ритм у ваших актеров! В лице благородного и великого Станиславского мы приветствовали вчерашний день России, в лице Камерного театра мы приветствуем новую Россию. Да здравствует русское искусство, да здравствуют истоки его, всегда новые благодаря молодости вашего народа! Я еще раз хочу вспомнить о «Федре». Вы напомнили нам этим спектаклем об античном

театре Греции и, без подражания ему, вы сумели дать нам почувствовать все его величие».

Споры со страниц французской печати перенеслись во всю европейскую печать, в литературные и художественные кружки, на сцены театров Парижа. Нам рассказывали, что в знаменитом фойе Comedie Française во время репетиций происходили страстные дебаты, баланс которых сводился к отрицанию и порицанию, в то время как артисты театра «Одеон», инспирируемые Жемье, все свободные вечера ходили к нам в театр, проникая в артистические уборные, следя за гримом наших актеров и за всем производственным процессом спектакля.

Мне думается, что приведенный материал с достаточной ясностью говорит как о воздействии Камерного театра, так и о том, что в этом воздействии неразрывно сплетались художественные и политические моменты и что оно оценивалось в конечном итоге — как сторонниками, так и противниками — как воздействие новой большевистской культуры.

«Мы часто будем мысленно обращаться к России, ибо отныне мы знаем, что свет на европейскую сцену идет с Востока», — пишет Симон Холлер в «Чикаго Трибюн».

Отклики наших парижских гастролей конечно дошли до Берлина, и когда мы приехали в Берлин, мы не были уже для него столь же «неизвестными большевиками», какими появились в Париже, и это имело свои плюсы, и свои минусы.

Плюс заключался в том, что нашему приезду предшествовала довольно большая подготовка в прессе, что там вышла уже к нашему приезду на немецком языке моя книга «Das entfesselte Theater» и в связи с этим до начала гастролей мы имели вполне благоприятный для нас художественный кредит.

Минус заключался в том, что если для реакционных кругов Парижа мы были большевистскими скифами, уничтожавшими вековую французскую культуру, то для Берлина мы, кроме того, были еще «франкофилами», выступающими (в 1923 году) с преимущественно фран-

цузским репертуаром. Это для некоторых кругов Берлина оказалось абсолютно непереносимым.

Выйдя по приезде на берлинскую улицу, я в недоумении остановился перед афишей.

Я не узнал нашего репертуара, — на афише значилось, что мы играем:

«Принцессу Брамбиллу» Гофмана (верно).

«Саломею» Оскара Уайльда (верно).

«Zwillingschwester» Арго и Адуева (?)

«Moris von Sachsen» (?!)

«Федру» Брюсова (?!)

Оказалось, что синдикат берлинских театральных директоров, в который входила и дирекция Deutsches Theater (Макс Рейнгардт и др.), воспротивился выпуску нашей афиши, если французские пьесы не будут заменены немецкими титулами.

И вот «Жирофле-Жирофля» превратилась в «Zwillingschwester», «Адриенна Лекуврер» в «Moris von Sachsen», а «Федра» легко и беззаботно была аннексирована в пользу Валерия Брюсова.

Не дремали и белоэмигрантские «патриоты».

Группа членов Русского национально-студенческого союза в Германии обратилась в редакцию «Руля» с протестом против кощунственного поведения прибывшего в Берлин московского Камерного театра, выразившегося в постановке в великую страстную субботу пьесы «Саломея».

«Если в Советской России, — пишут авторы письма, — артисты под угрозой тяжелых репрессий вынуждаются советским правительством к игре в великие дни страстной недели, то здесь, на свободе, подобного рода факты являются совершенно недопустимыми, особенно в настоящий момент неслыханных гонений на русскую православную церковь» («Руль», 12 апреля 1923 г., Берлин).

Но немецко-французская борьба давала нам себя чувствовать не только с афишных столбов.

Пять вагонов наших декораций застряли где-то на спорных таможенных перепутьях Рура, и создалась угроза срыва гастролей. За сутки до начала

спектаклей поздно ночью наш администратор сообщил мне, что все его усилия разыскать наши вагоны оказались тщетными из-за явного саботажа не то немецких, не то французских железнодорожников, а может быть, тех и других вместе. «Опытные люди» говорили, что есть только один способ попробовать разыскать вагоны — через начальника главного телеграфа. И вот ночью мы пришли на телеграф и всеми правдами и неправдами вытащили с постели не то начальника, не то одного из его помощников, который, на наше счастье, оказался человеком «высокой политики».

Когда мы объяснили, в чем дело, произошёл следующий диалог:

— Но чего вы хотите от меня, это дело железнодорожного телеграфа.

— Они ничего не могут сделать, вся надежда на вас.

— И я ничего не могу сделать!

— Ну что ж, — ответил я, — придется обратиться в полпредство, может быть, тогда вы будете более внимательны.

— Это советский театр?

— Ну да, я вам уже говорил.

— Но почему же вы из Парижа?

— Мы играли в Париже, но театр — советский, из Москвы.

— Ах, из Москвы! Это другое дело. Мы еще вместе с вами покажем французам. Идем искать ваши вагоны.

Через полчаса вагоны были обнаружены, мы распрощались с нашим неожиданным «союзником», и наш администратор выехал их вывучать.

И все же на этом наши злоключения не кончились. Белогвардейский «пост», к несчастью, совпал с кануном немецкой пасхи, и когда ночью прибыли декорации, рабочие реформистского союза наотрез отказались их разгружать.

К их удивлению, все наше мужское население принялось за разгрузку декораций, и таким образом начало спектаклей все же не было сорвано.

И в Берлине, как в Париже, наши спектакли раскололи прессу и художественные круги. Но театральная критика, надо отдать ей справедливость, проявила максимально возможную объек-

тивность, и все наиболее авторитетные и популярные ее представители не скупчились в выражениях своего признания.

В этом отношении одной из наиболее характерных статей можно считать статью известного радикального журналиста и критика, Зигфрида Якобсона: «Я проклинаю свою мигрень, которая мешала мне надлежащим образом описать, в какой вихрь восторга увлек меня русский театр будущего после всего этого немецкого театра прошлого. В Париже когда-то все было построено на мелодии. Здесь — на ритме. Это полнейшее, совершенное превращение партитуры в сценическое движение. Здесь важна не музыка, а музыкальность. В этом отличие этого московского Камерного театра от Рейнгардта в его постановке «Прекрасной Елены» и «Орфея в аду». В противовес напыщенному чванству — здесь простота прирожденного богатства, угловатости — эластичность, напряженности — полет легкости. А как выглядят представители этого народа, возрожденного революцией!» («Die Weltbühne», № 16, Берлин, 19 апреля 1923 г.).

Что же касается по-настоящему передовых художественных деятелей, то они прямо подняли нас на щит. Вот в каких тонах начинает свою статью в «Der Sturm» (Берлин, май 1923 г.) Херварт Вальден: «Надо трубить в трубы. Московский Камерный театр — единственный театр Европы».

И в Берлине наряду с художественным признанием почти единодушно находит место признание мощи новой Советской России и ее культуры.

Приведу несколько выдержек:

«Небывалое достижение — Камерный театр. При царском режиме это было бы невозможно: тогда мешанская традиция была свята. Но Советская Россия широко открыла двери молодому искусству» (Макс Осбарн, «Berliner Morgenpost», 11 апреля 1923 г.).

«Русские всегда впереди во всех проявлениях революционности. В мирной области искусства это также неоспоримо. Доказательство — гастролы Камерного театра». (К. Элерт, «Der Tag», Берлин, 20 апреля 1923 г.).

«Если московский Камерный театр — дитя большевизма, то большевизм не только уничтожает, но, наоборот, освобождает творческие силы». («Die Zeit», Берлин, 17 апреля 1923 г., Курт Арам).

В целом берлинская критика, как в дальнейшем и критика других немецких городов, где мы играли, проявила большую серьезность, большую театральную эрудицию и дала целый ряд интересных методологических разборов наших работ.

Корреспонденции о наших берлинских гастрольях печатались во всей германской и австрийской прессе, возбуждая всюду чрезвычайно большой интерес к гастролирующему советскому театру.

В силу интереса, вызванного нашими берлинскими гастрольями, они не закончились на Берлине, как это предполагалось вначале. Мы приняли ряд дальнейших приглашений в целый ряд немецких городов: Лейпциг, Мюнхен, Галле, Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Баден-Баден, Бреслау, Цопот, Кенигсберг, Мемель и другие.

Гастроли проходили всюду с настоящим большим успехом при огромном интересе всех людей театра. Немецкие актеры пользовались каждым свободным часом, чтобы бывать на наших спектаклях, а занятые вечером просили разрешения бывать на репетициях.

Режиссеры тщательно изучали наш театр, всегда подчеркивая, что это им необходимо для их дальнейшей работы в немецком театре. Уже тогда чувствовалось то (в чем нам удалось убедиться в наших последующих гастрольях по Германии в 1925 и 1930 гг.), что наши спектакли не пройдут безрезультатно для дальнейшего развития немецкого театра.

Это в дальнейшем получило длинный ряд подтверждений как в практике немецкого театра и отзывов прессы, так и в ряде личных высказываний немецких режиссеров, в частности в письме известного немецкого мастера Леопольда Иеснера: «Вы должны знать, — пишет он 8 декабря 1924 г., — что десять лет работы Камерного театра являются достоянием не только русского, но и интернационального театра».

Но нет розы «без шипов», как поется в старинных романах. И в Мюнхене нам пришлось испытать на себе всю силу этой сентиментальной истины. В качестве иллюстрации предоставляю слово газетам.

«Между полицией и фашистами». («Издевательство над московским Камерным театром»).

Последний культурный поступок мюнхенской полиции выразился в приказе о высылке исключительно принятых, даже буржуазной прессой, артистов московского Камерного театра. Но неблагоприятность и ненависть эмигрантов и реакционеров может послужить им, стоящим у колыбели расцветающей культуры Советской России, только к чести» («Rote Bayern Fahne», Мюнхен, 23 мая 1923 г.).

#### «Т е а т р в М ю н х е н е»

Наш мюнхенский корреспондент сообщает: большой успех гастролей театра доказал, что невозможно устоять против обаяния этого действительно нового театра, несмотря на то, что Мюнхен по своей старой привычке склонен вообразить, что все давно им превзойдено в области искусства и что в Мюнхене давно уже делают то же самое так же хорошо, если не лучше, чем где бы то ни было. «Мы-де, слава богу, все же старый Мюнхен, город искусства, культуры и пр. И так как мы считаем себя призванными политически «обновить» из нашего «национального центра» гнилую послевоенную Германию, то и расцвет истинного искусства, стоящего на твердой почве, возможен лишь только в Мюнхене, если бы только...» Да, если бы! Все же труппа Таирова принуждена была непосредственно по окончании последнего спектакля спешно покинуть священную территорию, несмотря на то, что успех этого театра требовал, как казалось, пролонгации гастролей, которая для многих была крайне желательна. Но в «сферах влиятельных» этот большевистский театр был не очень-то желателен, ибо грозила опасность, что многие благонадежные граждане заразятся еретическими идеями, которые к «чистому ис-

куству» отношения не имеют» («Berliner Börsenkurier», Берлин, 14 июня 1923 г.).

Вот когда еще нам на практике пришлось познакомиться с «культуртрегерством» немецких фашистов.

Любопытная и трогательная деталь. Когда под почетным эскортом полиции мы приехали на вокзал, то наш администратор стал разыскивать на перроне заказанный нами вагон третьего класса. Вagonа не оказалось. Взволнованный, он обратился к начальнику станции.

— Ваш вагон приготовлен и стоит на месте, — ответил начальник с улыбкой.

— Но мы его не нашли.

— Пожалуйста, я провожу вас.

И он привел нас к вагону-микст первого и второго класса с аншлагами на окнах: «Reserviert».

— Да, но мы заказывали вагон третьего класса, — с недоумением говорит наш администратор.

— Нам это известно, — отвечает начальник станции, — но мы просим вас принять этот вагон как знак единственно возможного для нас выражения протеста против вашей высылки.

Мы были искренно тронуты и, поблагодарив, не без удовольствия уселись на мягкие кресла. Справедливость требует отметить, что не только железнодорожная администрация, но и Мюнхенский университет протестовал против нашей высылки.

Девять месяцев, проведенных нами в заграничном турне, в очень значительной степени содействовали пропаганде нашей советской культуры и искусства и установили прочные взаимоотношения нашего театра с западноевропейским.

Показателем возбужденного нашими гастролями интереса является хотя бы то обстоятельство, что уже с 1924 года мы стали получать в Москве ряд запросов относительно возможности второго нашего посещения Европы, в результате чего в 1925 году нами были предпринята вторая гастрольная поездка.

На этот раз базой наших гастролей была Германия. Мы исколесили ее вдоль и поперек. В ряде городов, где мы играли уже в 1923 году, нас принимали как старых знакомых.

Интерес к нашим гастролям обострился еще тем, что на этот раз в нашем репертуаре была «Гроза», пьеса Бернарда Шоу «Святая Иоанна», которая шла в то же время с большим успехом в Германии, и урбанистический спектакль «Человек, который был четвергом» Честертон.

Если до нашего вторичного приезда в Германию мы только из присылаемых нам «вырезок» имели сведения, что ряд молодых театров Германии стал применять в своих постановках технологические принципы нашего театра, то во время гастролей мы могли в этом убедиться уже по личным наблюдениям. Ряд немецких актеров и режиссеров, изучая наш театр, переезжал вместе с нами из города в город, чтобы видеть спектакли по несколько раз.

Нами заинтересовались в эту поездку не только обычная театральная публика, но и более широкие круги зрителей, вплоть до рабочих. В этом отношении чрезвычайно показательны анонсы, появившиеся в коммунистической и рабочей прессе Маннгейма о том, что каждый рабочий должен так или иначе сэкономить некоторую сумму денег и во что бы то ни стало посетить спектакли советского Камерного театра, несущего в своем искусстве новую культуру.

Столь же усиленный интерес был проявлен к нашим гастролям и со стороны рабочего зрителя в Гамбурге, в котором мы дважды пролонгировали наши спектакли, дав в общем восемнадцать представлений — огромное количество для иностранных гастролей в таком городе, как Гамбург.

Особая острота восприятия была проявлена по отношению к нашему театру в Вене, куда мы попали впервые. Здесь мы сыграли двадцать один спектакль, причем последние гастролей мы переехали из весьма комфортабельного, но сравнительно небольшого Raimund Theater в огромный Volkstheater. Здесь с особенным интересом ждали наших музыкальных спектаклей. И неудивительно! Вена — колыбель новой оперетты, и для нее наши опереточные спектакли были примерно тем же, чем для Парижа наши представления «Федры». Приведу

короткую выдержку, характеризующую общее настроение в этом отношении венской прессы и театральных кругов:

«Современные опереточные композиторы должны писать для этих русских гротески. Русские нашли выход из тупика современной оперетты. Русские разбили рамки устаревших форм. Русские освободили комический театр от вечного повторения старого, которое делало его таким скучным. Таиров — отец этого течения: все, что было возможно, и то, что казалось даже невозможным, сделано им. Работайте по его примеру («Wochen Ausgabe», NWT. Вена, 20 июня 1925 г.).

Спор о наших спектаклях, по обычаю Вены, перенесся в многочисленные кафе и на улицу.

Была весна. И когда после спектакля мы выходили из Volkstheater, нас на площади ждала обычно большая толпа горячей венской молодежи, и нам с трудом удавалось пробираться через нее из-за массы приветствий, расспросов и протянутых для автографов (обычай Вены) тетрадок, альбомов и книжек.

Во время второй поездки мы дали сто двадцать три спектакля, которые несомненно оставили после себя весьма значительный след. Так, например, в Кельне живейший интерес к нашему театру был проявлен со стороны Института театроведения при Кельнском университете, который с нашего разрешения скопировал для своего музея все макеты наших постановок и ряд эскизов.

Первое издание моей книги «Das entfesselte Theater» разошлось целиком, было выпущено второе издание. Таким образом, наш театр, его принципы, теория и практика все больше и больше проникали в практику театра в Западной Европе.

Конечно и на этот раз не обошлось дело без некоторых казусов.

Так, в Кельне спектакль «Святой Иоанны» вызвал острые и, несомненно, ответственным образом инспирированные протесты «оскорбленных в своем религиозном чувстве» католиков, а в Ковно, где мы сыграли несколько спектаклей,

возвращаясь в Москву, «Святую Иоанну» в результате пришлось по тем же причинам снять.

Отклики на нашу вторую гастрольную поездку не прекратились и по его окончании. Мы получали обильное количество газетного материала, свидетельствующего о том, что нами был оставлен, особенно в Германии, глубокий и значительный след, который нашел свое выражение в 1927 году, когда была организована грандиозная театральная выставка в Магдебурге. Эта выставка была не международной, а исключительно немецкой. Целью ее было дать исторический путь развития немецкого театра. Единственным чужеземным театром на выставке был Камерный театр. Во вступительной статье к каталогу этой выставки говорится о том, что, несмотря на то, что Магдебургская театральная выставка носит исключительно национальный характер, на ней все же представлены макеты Камерного театра, как театра, оказавшего большое влияние на развитие нового немецкого театра.

Показателем неостывающего интереса к работе нашего театра было также и то, что после второй поездки мы из года в год получали целый ряд предложений на заграничные гастроли. Но я их неизменно отклонял, так как наш театр производил в это время большую и весьма существенную для нас работу по реконструкции нашего творческого метода, по максимальному внедрению театра в нашу социалистическую культуру.

Но вот в 1930 году мы встали перед необходимостью временного прекращения нашей органической работы ввиду необходимости перестроить и расширить здание театра.

Тогда было решено использовать это время для третьей гастрольной поездки.

Составить маршрут на этот раз было довольно трудно, так как предложений у нас было больше, чем возможностей их осуществить. Так пришлось, к сожалению, отказаться от гастролей в Испании, потому что иначе не было возможности во время поехать к установленной дате в Южную Америку. От Берлина пришлось отказаться потому,



что даты берлинского предложения совпали с датами гастролей в Будапеште, а от Будапешта пришлось отказаться впоследствии, когда окончательно выяснилось, что, несмотря на подписанный договор, венгерское правительство отказалось впустить в свою столицу советский театр. Освободившееся время было заполнено не входившими первоначально в план гастролями в Бельгии.

Третья поездка представляла для нас огромный и особый интерес, не говоря уже о том, что нам предстояло играть в странах, в которых до нас не появлялся ни один советский театр.

Италия, Швейцария, Чехословакия, Уругвай, Аргентина, Бразилия — вот новые плацдармы, на которых нам надлежало впервые демонстрировать силу и значение советского искусства.

Уже спектакли в Лейпциге, где мы начали третье заграничное турне, были чрезвычайно любопытны.

Так как было известно, что на этот раз мы не будем играть в Берлине, то на наши лейпцигские спектакли приезжало большое количество берлинских зрителей, театральных критиков и актеров. Таким образом наши лейпцигские спектакли превратились в своеобразные германские *Festspiele*, о которых писала не только лейпцигская, но и вся немецкая и в частности берлинская пресса. Надо отдать справедливость немецкой критике, она очень чутко восприняла творческую эволюцию нашего театра за последние пять лет и на примере наших спектаклей много писала об углублении и росте нашего советского искусства.

В Лейпциге мы получили тревожные сведения из Праги. Дело в том, что мы в Праге играли в немецком, а не в чешском театре, и нам отсюда писали, что это может вызвать бойкот наших спектаклей со стороны чешского населения.

По приезде в Прагу мы получили возможность наглядным образом сразу увидеть, в каких своеобразных формах проявлялась там национальная борьба.

На афишных столбах была наклеена огромная афиша со следующим текстом:

«NEUES DEUTSCHES THEATER»

4. 5. 6

IV

ALEXANDER TAIROFF

И все... Меня заинтересовала столь необычно лаконичная афиша. Оказалось, что на немецком языке разрешается выпускать афиши не свыше определенного небольшого размера, на чешском же языке выпускать афиши немецкий театр не желал, и вот директор театра словчился: он выпустил огромную афишу и поместил на ней только те слова, которые одинаково пишутся на обоих языках. В силу этого он не напечатал даже название нашего театра, а название месяца заменил римской цифрой «IV».

Такое положение вещей вначале нас обеспокоило, но уже первый спектакль рассеял все опасения. Гастроли прошли с огромным успехом при переполненном зрительном зале. А на последнем спектакле театр не мог вместить огромного наплыва зрителей, заполнивших почти всю площадь перед зданием театра.

И немецкий театр и чешский национальный театр предлагали нам пролонгировать спектакли, но, связанные договором с Италией, мы двинулись дальше.

В Италии мы играли в четырех городах — Турине, Флоренции, Риме, Милане. И во всех этих городах вокруг нашего театра объединялись все передовые круги интеллигенции и деятели искусств. Мы всюду встречали огромный интерес и самый горячий прием у итальянской публики.

Итальянская печать посвящала нашим гастролям очень большое место, и отзывы о наших спектаклях появлялись не только в тех местах, где мы играли, но и во всей итальянской прессе.

В Италии, которая, пожалуй, впервые столкнулась во время наших гастролей не только с советским театром, но и вообще с театром нового искусства, наши спектакли в прессе принимались, как и во время первой поездки в Париже, далеко не одинаково. Безусловно и полностью воспринялась вся внутренняя

сторона постановок и актерское исполнение. Что же касается внешней формы, в частности декораций, то здесь можно отметить большую разноречивость отзывов. Если «La Stampa» пишет:

«Декорация нас не вполне убедила. Мы готовы согласиться, что конструкция Таирова вполне целесообразно стремится покончить со смешными до-нельзя живописными «ландшафтами» — наиболее бесполезной и откровенной театральной условностью. Но тогда надо избрать некую середину, некую разновидность декораций, которая была бы для нас удовлетворительной и убедительной. Но эта машина, которую Таиров поставил на сцене, нас не убеждает, не удовлетворяет»,

то «Gazzeta dell'Popollo», наоборот, отмечает:

«Таиров смело отказался от раскрашенных декораций и прекрасно сделал, так как они большей частью, с их фальшивым натурализмом, представляют собой бесполезную смешную условность, не способную удовлетворить наши современные вкусы».

Итальянская пресса часто отмечает, что спектакли Камерного театра доходят и увлекают зрителей, несмотря на чуждость и непонятность языка. Так, в «Il Nuovo Giornale» о спектакле «Гроза» критик пишет:

«То, чего Таиров достиг в этом спектакле, — это поистине чудесно. Ритм тревожного ожидания, симфония голосов и жестов, музыка, вспыхивающая в поэзии слов, — музыка, понятная даже без слов, даже когда нам незнаком язык».

Успех в Италии был для нас сугубо ценен, так как там несомненно существовало по отношению к нашему театру, как советскому, большое предубеждение. Римская «La Tribuna» прямо с этого и начинается свою статью о «Грозе»:

«Вчерашняя первая художественная постановка Таирова в театре «Ла Валле» увенчалась большим успехом, несмотря на предубеждение многих».

Тем существеннее признание миланской газеты «L'Ambrosiano», которая пишет:

«Величайшая заслуга дирекции нашего театра — приглашение Александра

Таирова показать и раскрыть перед нами некоторые из своих удивительных театральных тайн. Теми лаврами, которые он собрал на своем пути, сможет гордиться Советская республика».

Без ложной гордыни можно сказать, что нам с честью удалось пронести через Италию знамя советской культуры и советского искусства.

В мае 1930 г. мы снова играли в Париже (Théâtre Pigalle). На этот раз мы уже не были для Парижа незнакомцами. Интерес предварительной прессы сосредоточивался главным образом на тех новых работах, которые мы привезли.

На этот раз в Париже наибольший успех и признание получили наши о'нейлевские спектакли «Негр» и «Любовь под вязами». В отличие от первой поездки на этот раз мы не ощущали раскола в прессе. Наоборот, огромное большинство критиков были совершенно единодушны в весьма положительной оценке нашей работы.

В этом отношении чрезвычайно показательной является статья Антуана, в которой он, отбросив свои прежние позиции, пишет:

«Спектакль Камерного театра представлял исключительный интерес, во-первых, потому, что шла современная трагедия «Негр» известного американского драматурга О'Нейля, и, во-вторых, из-за изумительного сочетания замечательной темы с великолепной игрой актеров. Как всегда у Таирова, установка показалась нам несколько схематичной, хотя, несмотря на свое неправдоподобие, она создавала иллюзию города и дала возможность понять талантливую изобретательность Таирова. Прекрасный сюжет дает возможность актерам показать всю гибкость их дарования. Победа Таирова была полной, и мы уходим из театра в сознании, что мы увидели нечто новое и истинно талантливое и что труппа Таирова заслужила ту блестящую интернациональную славу, которой она пользуется».

Весьма своеобразно прошли наши гастроли в Бельгии. Еще за два-три дня до гастролей мне телеграфировали из Брюсселя в Париж, что, несмотря на

договоры и уже расклеенные афиши, нам отказывают в визах. В результате после ряда переговоров нас все же туда пустили.

Пожалуй, ни в одной стране за последнюю поездку мы не встречали такого «подозрительного» отношения, как в Бельгии. Театр, в котором мы играли, был переполнен полицией не только во время спектаклей, но даже во время репетиций. Мы неизменно чувствовали чрезмерно повышенный «интерес» к нашему пребыванию и к нашей жизни.

Но на самых спектаклях это тем не менее почти не отражалось. Наоборот, может быть, в силу этого в молодых художественных и театральных кругах мы встречали подчеркнутое внимание. Оно сказало и в специальном приеме, устроенном нам передовыми художественными кругами Брюсселя, и в поднесении нам фламандскими актерами своего знамени. Я упоминаю об этом, так как несомненно в этом жесте был и политический момент — фламандский театр до сих пор никак не может добиться в Бельгии полноправного положения.

После трех спектаклей в Гамбурге, которые мы играли там во время театрального фестиваля, по специальному приглашению международного театрального конгресса, что несомненно было показателем огромного интереса международной театральной среды к советскому театру, мы поехали в Антверпен для посадки на пароход, шедший в Южную Америку.

Аргентина, Бразилия, Уругвай, Буэнос-Айрос, Монтевидео, Рио-де-Жанейро, Сантес, Байя, разящее солнце, заставляющее вооружаться специальными шлемами и дымчатыми очками, луна, непривычно опрокинутая на бок, новое созвездие Южный Крест, пальмы, растущие запросто на площадях, улицах и бульварах, тропические леса, обезьяны на ветках, диковинные цветы, люди всех мастей и окрасок, слепящее море, в котором, вскидываясь в воздух, как дельфины, копошатся возле парохода черные и мокрые, блестящие на солнце, негритянские ребятишки, жадно

ловя голодными ртами мелкие монеты, кидаемые пассажирами с бортов пароходов, огромные гроздья бананов, за бесценок вылавливаемые на бечевках на палубу из окруживших паропловучих лавчонок с бронзовыми продавцами, — откуда все это? Из экзотического романа, из причудливой фильма, из обольстительного сна?

Нет, это из жизни, из настоящей, доподлинной жизни, в которой есть свои сказки и свое волшебство.

Когда мы на борту пакетбота «Груа» ночью подплыли к Рио-де-Жанейро и бросили якорь у входа в залив, началась неповторимая ночь, с которой не сравнится ни одна из ночей Шехерезады.

Миллионы красочных миров неутомимо сменяли друг друга, ночью и на рассвете, пока мы снова двинулись вперед и под водительством специального лоцмана пристали в одной из набережных огромного порта.

Увы, сказка кончилась. Началась действительность.

«Жемчужина морей», — так называют моряки Рио-де-Жанейро. Старожилы уверяют, что ни один из многочисленных художников, пытавшихся бросить на полотно контуры, краски и свет залива, не сумел передать его неповторимой красоты.

Казалось, в этом необычайном крае необычайно все. Но вот спустился трап, и с завидной ловкостью снизу, с моря, со служебных катеров стали вскарабкиваться наверх чиновники, чиновники и чиновники — портовая полиция, санитарная полиция, таможенная полиция. Суэта. Шум.

Отвратительный, прямо лошадиный, санитарный осмотр эмигрантов — испанцев, португальцев, итальянцев, поляков и т. д., безработных, либо уже законтрактованных на сезонную работу на кофейных плантациях, либо приехавших на-авось искать заработка и счастья.

Вы думаете, счастье, — это мираж?

Нет, это самая настоящая, доподлинная «реальность», к тому же так дешево стоящая. Купите только, ступив на берег, лотерейный билет или, что еще

дешевле, один из его купонов, и, кто знает, через 5—6 дней (розыгрыши тех или иных лотерей бывают почти ежедневно) вы почти миллионер.

И покупают. Платят последние привезенные с собой гроши и — «счастье в руках». Несколько дней надежды, ажитированного ожидания, — и новая группа людей, без гроша за душой, готова принять любую работу на любых условиях.

А счастье? Счастье — «хороший товар».

Продавцы «счастья» торгуют круглые сутки, день и ночь, благо пароходы изо дня в день выбрасывают на берег все новых и новых людей, да и из среды постоянно живущих на берегу либо ажиотаж, либо отчаяние постоянно толкают к дверям их лавок все новых и новых ловцов.

Формальности закончены, мы на берегу, на улице.

Автомобили, рестораны, кафе, воспаленные от солнца и товаров витрины, люди — черные, бронзовые, желтые, серые, белые; трамваи, автобусы, пальмы — и вдруг:

трам-та-тара-рам-там-там!

Барабаны, флейты, трубы — отряд английских ослепительно белых матросов с тамбур-мажором во главе, жонглирующим впереди оркестра овоим искрящимся в лучах солнца жезлом, что твой Раstellи, — ну, чем не сказка?

Вы поворачиваетесь им вслед, невольно идете за ними — набережная, море, английский броненосец, пришедший «с визитом» в Бразилию. Он весь закован в непроницаемую броню, такую безразличную и холодную, что, кажется, лучи тропического солнца, с'ежившись, откакивают от его смертоносной простоты.

Нет, это не сказка, это жизнь, жизнь, как она есть, со всей своей обнаженной на солнце реальностью.

Вы идете по улицам, и, чем дальше вы отходите от моря, тем беспокойнее становится ваш взгляд.

Как могли, как сумели, как посмели люди в этой безудержно щедрой и

беспредельно изобретательной природе построить все эти псевдо-мавританские, псевдо-испанские и откровенно бездарно «американские» дома и улицы!

Театр, витрина, афиши.

Вы хотите иметь представление о вкусах продавцов искусств и, вероятно, о вкусах его потребителей, посмотрите на плакат к гастролям Камерного театра.

Но в Бразилии нам играть так и не пришлось. Несмотря на расклеенные афиши и проданные билеты, наш парход не впустили в гавань из-за очередной «революции».

Пароход отходит, мы отплываем в Аргентину.

Буэнос-Айрес, снова таможенный надзор и бесконечная полиция. Бесконечные формальности вплоть до отпечатков на основных картограммах всех десяти пальцев каждого пассажира.

Наконец мы в городе. Станный город. Бесконечное количество домов, разделенных правильными параллелями и перпендикулярами прямых бесконечных улиц, заполненных автобусами, трамваями, автомобилями, людьми всех народов и языков.

Здесь большие колонии испанцев, итальянцев, французов, немцев, англичан, русских, — в большинстве евреев-эмигрантов со времен царских погромов. Газеты на всех языках, бесконечные ряды магазинов, заваленных товарами, привозимыми со всех концов мира.

В стране нет почти никакой своей индустрии. Все товары импортные, и это накладывает на город какой-то особый отпечаток.

Порой кажется, что находишься на грандиозной международной выставке. Это чувство особенно сильно после пяти часов дня на главной фешенебельной улице города — Флориде, когда на три часа на ней прекращается всякое автомобильное движение и тротуары вместе с мостовой заполняются фланирующей нарядной толпой, шумливой и жестикулирующей, а из граммофонных, настезь раскрытых, магазинов вразброд,

сталкивающимися волнами несутся мотивы танго и фокстротов.

И громкоговорители. Это то, чего не практикует Европа. Их много на всех улицах. Они, рыча, выкрикивают все биржевые и прочие новости, собирая вокруг себя толпы людей. В дни нашего приезда и отъезда они работали с особым рвением: в дни приезда происходил в Монтевидео (Уругвай) всемирный футбольный матч, и аргентинцы целыми днями простаивали у громкоговорителей, возбужденно и жадно следя за решительной схваткой; а в дни отъезда — во время последней аргентинской «революции».

Остряки говорили, что революция, футбол и лотерея — это единственная своя индустрия Аргентины.

Подобно тому, как Аргентина, да и вся Южная Америка, не имеет своей индустрии, точно так же не имеет она и своего театра. Вернее, ростки аргентинского искусства и театра еще настолько примитивны и робки, что их трудно разглядеть и отыскать в бесконечном потоке импортного искусства.

Во время наших гастролей в Буэнос-Айресе параллельно гастролировали три или четыре испанских труппы, две французских, итальянская, немецкая, еврейская и т. д.; в оперетте процветал парижский ансамбль «Роз-Мари», а в Национальном оперном театре «Колонна» происходили гастролы Шаляпина и ряда итальянских певцов, шли балеты постановки балетмейстера Бориса Романова и пр.

Аргентинские театры не вышли из стадии либо так называемых народных театров, где играют примитивные национальные мелодрамы, либо из стадии подражательных дешевых ревю, кустарно копирующих на свой лад парижские обозрения.

Это мое впечатление подтвердила и аргентинская пресса в первых же откликах на наши спектакли.

«Немногие считанные разы, — пишет «La Erosa», — удается аргентинской публике, стекающейся в театры столицы, видеть подлинное проявление искусства, несмотря на состязание ино-

странных трупп и бесконечные переводы всевозможных пьес на всевозможных наречиях. Южная Америка вообще считается попросту рынком, куда можно на выгодных коммерческих условиях поместить любой товар, и все неудачники пробуют свои силы у нас. Поэтому нет ничего удивительного, что нас взволновало известие о прибытии Камерного театра Таирова, мировая слава которого не могла быть не известной нашим театрам. В итоге — праздник искусства, который был отпразднован и отмечен бурными овациями».

В смысле музыки и танца Аргентина выявила себя знаменитым танго «В далекой знойной Аргентине». Танго действительно является национальным танцем. Его танцуют все: и в фешенебельных дансингах, и в народных танцульках, и за городом, в парках и садах, и в домах, и в театрах. Его играют постоянно, вне зависимости от условий, времени и места. Я вспоминаю, как я смотрел в одном из кинематографов весьма страшный фильм с морскими пиратами, крушениями и всеми прочими аксессуарами подобного типа; а в оркестре беззаботно одно другим сменялось танго, и зритель восторженно аплодировал любимым мелодиям, хотя на экране пират выбрасывал за борт капитана и осыпал сопротивляющуюся героиню.

Нужно сказать, что подлинное народное танго, не помнящее своих композиторов, действительно чрезвычайно интересно, особенно в соответственном исполнении. Когда аргентинский артистический клуб «Да Пенья» устроил прием Камерному театру, выступал настоящий танговоцкий музыкальный квартет, и тогда можно было почувствовать и понять, какая глубокая бездна лежит между настоящим народным танго и теми европейскими его имитациями, какие мы обычно знаем.

Наши гастролы были первыми гастрольями советского театра в Южной Америке и вызвали всюду совершенно исключительный интерес.

Нам пришлось, как я уже упоминал, конкурировать с массой европейских те-

атров, и мы можем констатировать без всякой патриотической гордыни, что наши гастролы стояли в центре внимания всей художественно-культурной жизни в этот период.

Вот как описывает «Ultima Hora» свои впечатления от нашего спектакля: «Хорошо дышалось вчера в «Одеоне». Новый, неожиданный возбуждающий воздух. Труппа Таирова совершила чудо. Мы обязаны многими незабвенными ощущениями этому театру. С горячим увлечением мы будем превозносить эту новую форму драматического выражения, которую через океан принесла нам блестящая труппа артистов московского Камерного театра. Ее искусство открывает нашему пораженному взору неведомые пути».

Известная во всем мире крупнейшая аргентинская газета «La Nacion» по поводу нашего спектакля «Грозы» писала:

«Новый театр был вчера нам показан Таиривым. Новый, потому что мы вдыхали в себя широкое зрелое искусство русского народа, — пестрое и трагическое дыхание его обычаев в мощном драматизме минувшего века; новый, хотя ему уже аплодировали в самых известных европейских театрах; новый, совершенно новый для нашей публики, показавший зрелище, полной грандиозного величия и совершенной связи всех его элементов. Он был понятен всем, хотя никто не знал русского языка, не только своим пластическим выражением, но и своим заразительным чувством. Давно уже Буэнос-Айрес не помнит приезда такой значительной труппы, столь торжественного спектакля. Этот вечер в «Одеоне» был чем-то исключительным, был пиршеством искусства».

Особенно большой успех в Буэнос-Айресе имела «Саломея», она прошла двадцать раз. Нет возможности хотя бы вкратце дать выдержки из огромного количества появившихся статей.

«Успех таировской «Саломеи» небывалый», — пишет «La Prensa» в заголовке статьи. И в этом же плане помещают статьи все газеты, резюмируя их следующим образом: «Влияние Та-

ирова должно оставить глубокий и обновляющий след» («La Platta»).

Нашим спектаклям, практике и теории нашей работы, ряду бесед о положении культуры и искусства в Советской стране не только театральная, но и вся повседневная периодическая пресса отдавала огромное количество статей, занимая часто для критических мнений и рисунков целые подвалы, а иногда и всю первую страницу. Я приведу еще только отчет о единственном общедоступном спектакле, который нам удалось дать в Буэнос-Айресе. Вот что по поводу этого спектакля пишет «Caratula»:

#### «Памятная ночь.

Это вечер пролетариев, с билетами по 6 песос. Митинг в вестибюле «Одеона». Множество аргентинцев жаждало приветствовать Таирова, мага мизансцены. Занавес поднялся, и рты раскрылись. Занавес опустился, и челюсти сжались. Задвигались пальцы, протянулись руки своеобразной публики, которой хотелось бы схватить пережитое чувство спектакля, увести его домой и провести ночь без сна, восхищаясь невиданной красотой».

В конце этого действительно памятного спектакля на сцену неслись крики: «Да здравствует Советское искусство!», «Да здравствует Советский Союз!», да и весь спектакль вылился в волнующую и мощную манифестацию горячих симпатий аргентинского рабочего зрителя к нашей стране.

Наше пребывание там несомненно обострило внимание передовых кругов населения к жизни и стройке Советского Союза, и этот интерес выразился как в прессе, так и в ряде докладов, приемов, интервью, а также и в том значительном для Аргентины факте, что при Буэнос-Айресском университете под председательством его ректора, после заслушивания моего доклада, был организован Институт по изучению советской культуры.

Если эта «первая ласточка» еще не делает «весны», то все же ряд фактов и встреч с передовыми общественными и

культурными деятелями дает мне основание утверждать, что интерес к стройке нашей страны в Южной Америке очень велик, и что ему удастся в результате преодолеть противодействие реакционных кругов.

После гастролей в Уругвае (Монтевидео), где нам тоже удалось завязать большое количество дружеских связей с художественными и наиболее культурными кругами столицы и где наши спектакли принимались с настоящим и горячим энтузиазмом, мы сели на пароход «Ориньи» и отплыли обратно в Европу.

Как и в первый раз, по пути в Южную Америку, нам пришлось пересекать экватор. По традиции, идущей с давних пор, переход экватора отмечается особым праздником. Уже с утра на палубе под звуки музыки сходятся все пассажиры (конечно 1-го и 2-го класса) и начинается торжественно-комический обряд «крещения». В специально приготовленный бассейн, в купальных костюмах, с соответствующими церемониями опускают для «морского крещения» пассажиров, впервые пересекающих экватор. Капитан парохода с привязанной бородой разыгрывает роль Нептуна, прочее корабельное начальство — его свиту и, при шутках и смехе «морских волков», новичков трижды погружают в воду и «нарекают» специальными именами морских существ. После этого каждому прошедшему испытанию выдается особая, специально напечатанная грамота с его новым именем.

На этот раз мы уже не были новичками и сами всегда охотно помогали в совершении этого обряда над друзьями.

Вечером по традиции был концерт и костюмированный бал. На пути нашем в Аргентину этот бал происходил в большой кают-компании. На обратном пути была нестерпимая жара, и бал перенесли на палубу. Во время концерта большинство номеров конечно были наши.

Часов в 6 дня ко мне в каюту вошла А. Коонен и с возмущением стала рассказывать о том, что палуба убрана флагами всех стран, кроме СССР. Я

вышел на палубу. Советского флага, действительно, не было. Я немедленно обратился к комиссару парохода, и между нами произошел следующий диалог:

— Отчего среди всех флагов я не вижу советского? — спросил я.

Комиссар заметно смутился.

— Не знаю, — ответил он, — а разве это так существенно?

— Во всяком случае я полагаю, что это не совсем тактично, поскольку большинство ваших пассажиров — советские граждане.

— Да, но у нас нет такого обычая.

— Придется завести.

— Я сам не могу ничего ответить вам. Разрешите, я побеседую с капитаном.

Через некоторое время меня пригласили в каюту капитана. Новый диалог:

— Тут явное недоразумение, — начал «дипломатически» капитан. — Мы вывешиваем флаги только тех стран, в порты которых мы заходим.

— Разве? — ответил я. — Мы второй раз совершаем этот путь и, насколько мне известно, в порты Северной Америки не заходим. Тем не менее флаг Соединенных Штатов занимает на палубе весьма видное место.

Дипломатический трюк капитана явно не удался.

— Но мы никогда не вывешивали советского флага, — продолжал он со скрытым раздражением.

— Напрасно. Ведь пароход французский, с Францией у нас существуют нормальные дипломатические отношения. А в данном случае, когда большинство у нас на пароходе — советские граждане, это тем более недопустимо. Давайте говорить коротко. Либо вы вывесите советский флаг, либо вся наша труппа не будет участвовать ни в вечере, ни в концерте.

— Но у нас нет советского флага, — с комическим отчаянием от моего ультиматума воскликнул капитан.

— А это другое дело. Мы беремся его сделать.

— Делайте, — буркнул мой собеседник, пожимая мне руку.

Флаг был сделан нашим художником Рындиным и торжественно водружен на палубу.

Вечером мы от души веселились, а капитан с подчеркнутой любезностью поднимал бокал за франко-советскую дружбу.

За время нашей третьей гастрольной поездки это была последняя наша борьба за водружение советского флага, флага советской культуры и искусства, в

ряде стран, которые до того времени не были с ней знакомы.

С тех пор прошло еще 4 года, и наши культурные связи с зарубежными странами непрерывно росли и крепились, и знамя советской культуры и советского искусства все шире и победнее развевается по всему миру как знамя всех передовых борцов за новое человечество.

■



# Эрнст Тельман

С. САРМАТОВ

**Н**ельзя представить себе более трагического положения, чем положение томящегося в фашистской тюрьме вождя германской коммунистической партии — Эрнста Тельмана.

Вся жизнь Эрнста Тельмана — боевая жизнь коммуниста и революционера — тесно связана с германскими трудящимися массами, особенно тесно — с революционным авангардом германского рабочего класса. Он, еще до того времени, как стал общепризнанным вождем революционного авангарда рабочего класса, всегда находился в первых рядах тех, кто борется за уничтожение в Германии власти капитала — за прекращение эксплуатации человека человеком.

Само собой разумеется, что Эрнст Тельман был бы, естественно, лучшим из мыслимых вождей германского рабочего класса и всех трудящихся в борьбе против фашизма. Между тем вскоре после прихода к власти Адольфа Гитлера, в разгар своей революционной работы над организацией сопротивления фашистскому режиму, над подготовкой его свержения, Эрнст Тельман попадает в плен к врагу. Его имя является теперь символом последнего, решительного боя с фашизмом и создания советской Германии. Требование освобождения Тельмана — один из самых популярных лозунгов этой борьбы. Вокруг этой борьбы — за освобождение из фашистской тюрьмы вождя германской коммунистической партии, — вокруг этой героической партии в Германии сплачиваются сотни тысяч и миллионы рабочих, тру-

дящихся крестьян, антифашистской интеллигенции и разоряющихся до конца мелких буржуа. Вокруг лозунга освобождения Эрнста Тельмана сплачиваются миллионы трудящихся всего мира, для которых имя вождя германской коммунистической партии также является символом и лозунгом борьбы против фашизма, — самой отвратительной формы господства буржуазии.

Отголоски этой борьбы доходят до Эрнста Тельмана через толстые стены мрачной фашистской тюрьмы. Тем сильнее должны быть моральные страдания этого борца-революционера, который всегда привык быть в момент боя с рабочими массами, — на передовых линиях классовой борьбы.

В Эрнсте Тельмане — через поколения пролетарских бойцов — получили свое классовое выражение лучшие качества германских революционеров: мужество и выдержка в борьбе. Одновременно Эрнст Тельман отличается железной преданностью делу пролетариата, — недаром он родился в Гамбурге, который занимает весьма почетное место в истории германского рабочего движения. Красный Гамбург не раз оправдывал свою кличку в классовых боях. Последний раз он оправдал ее в день плебисцита, инсценированного германскими фашистами и долженствовавшего дать всенародное подтверждение новому званию Адольфа Гитлера, званию «вождя германского народа». Несмотря на то, что Гитлер выступил со своей программной речью именно в Гамбурге, Гамбург дал свыше 20 проц. голосов

прогнв Гитлера, хотя национал-социалисты здесь больше, чем где-либо, пустили в ход самые изощренные приемы агитации и террора.

Гамбург является цитаделью германского рабочего движения в его современных формах. Уже во время выборов в первый германский рейхстаг в 1871 г. социал-демократическая партия получает в Гамбурге 24 проц. всех поданных на выборах голосов; в 1875 г. за социал-демократов голосует 41 проц. всех избирателей Гамбурга. Представителем Гамбурга в рейхстаге является Август Бебель, знаменитый вождь германской социал-демократии, один из самых популярных руководителей германского рабочего движения. Без всяких преувеличений можно сказать, что после Августа Бебеля место вождя рабочего класса в сердцах не только гамбургских, но и всех германских пролетариев занял Эрнст Тельман.

То, что второй раз именно из Гамбурга выходит популярнейший вождь рабочего движения, отнюдь не случайно. В Гамбурге, в этом центре германского империализма, в этом городе крупнейших заокеанских паровых компаний, судостроительных верфей, заводов и фабрик, в городе руководящих экспортеров и банкиров, с еще большей силой, чем во всей остальной стране, сталкиваются классовые противоречия. Гамбург является не только окном и дверями германского империализма во внешний мир, но и зеркалом, в котором отражаются классовые противоречия между германским монополистическим капиталом и широкими трудящимися массами. Это город невероятного экзотического богатства небольшой кучки капиталистов, город сытной и жирной жизни узкого круга привилегированных приказчиков монополистического капитала. Но в то же время это — город невероятной нищеты, город грошевой проституции и люмпен-пролетариата. Ни в одном германском городе не представлены так разносторонне все категории трудящихся, все виды труда и ремесел. В этот город стекаются пришельцы со всех концов Германии. Один только Берлин может в этом смысле тягаться

с Гамбургом. Но в Берлин стекаются главным образом крестьяне из Восточной Пруссии и Померании. В столицу попадают те деревенские элементы, которые бегут в большой город от гнета померанских помещиков, напоминающего средневековые. Условия жизни на городской фабрике кажутся им блестящими по сравнению с тем, что они видели в Восточной Пруссии или Померании. Проходит много времени, пока эти пришельцы из деревни начинают понимать, что и здесь они попали в кабальную зависимость от капиталиста, по существу ничем не отличающегося от померанского юнкера. Процесс перековки этих крестьян в сознательных пролетариев города долг и мучительно труден.

В Гамбурге, на фабрики и заводы, на судостроительные верфи и грузовые пристани экспортеров, также приходят крестьяне, но они являются потомками тех крестьян, которые неоднократно восставали с оружием в руках против своих эксплуататоров, в защиту своих материальных и политических прав. Эти люди приходят в Гамбург исполненными здорового чувства недоверия к любому эксплуататору, готовыми всегда и в любой момент начать борьбу против эксплуатации в любой ее форме. Стремление к защите своих прав и требований соединяется здесь с инстинктивным осознанием проблем мировой политики, которые в Гамбурге как бы висят в воздухе.

Все это, вполне естественно, привело к тому, что именно в Гамбурге так бурно развивалось профессиональное движение, что именно здесь так часты были забастовки, которые нигде не протекали под знаком такой беспримерной солидарности и организованности.

Отличительной чертой рабочего движения в Гамбурге является необычайная страстность и решительность не только его руководителей, но и рядовых участников. Кто имел возможность побывать в Гамбурге, тот легко мог убедиться в том, что в лице гамбургских рабочих он видит пролетариев, всегда рвущихся в бой, всегда готовых к нему: они поражают своей активностью, инициативой и предприимчивостью. Это

можно наблюдать во время любой избирательной кампании в Гамбурге. Не только своими крепкими и остроумными словечками, но и самым своим внешним видом и, если угодно, даже походкой гамбургский пролетарий демонстрирует свою непримиримую ненависть к классу эксплуататоров, свою постоянную боевую готовность к борьбе.

В этом боевом городе обосновался в свое время Иоганн (Ян) Тельман, отец вождя германской коммунистической партии. Старик Тельман пришел в Гамбург из Голштинии, где ему надоело тянуть батрацкую лямку у богатого кулака. Он ищет лучшей доли в большом городе, — получает место кучера в транспортной конторе. Очень быстро находит он и контакт с рабочим движением. В 1884 г. Тельман-отец вступает в социал-демократическую партию, которая тогда, во времена пресловутых бисмарковских антисоциалистических законов, была нелегальной. Два года спустя, в 1886 г., родился его сын, Эрнст. Как раз в этом году хозяин Яна Тельмана начинает преследовать его, требуя отказа от политической деятельности. Тельману-отцу угрожает увольнение с работы. Он сам уходит с работы, открывая на скопленные гроши небольшую пивнушку. Это — «партийная пивнушка», одна из тех пивнушек, которые играли (и играют в особенности теперь) большую роль в германском рабочем движении: они являются сборными пунктами революционных рабочих. Принадлежат они или рабочим-активистам, или бывшим рабочим, которые, по стечению обстоятельств, как Тельман-отец, или за старостью и инвалидностью вынуждены покинуть фабрику или завод. Такие пивнушки являются микроскопическими дискуссионными клубами не только для революционных рабочих, но и для сочувствующих революционному движению мелких буржуа данного переулка или улицы. Из такой пивнушки легко организовать расклейку нелегальных афиш, раздачу листовок. Здесь легко организовать собрание коммунистической ячейки, небольшой летучий митинг и т. д.

Старик Ян Тельман охотно, с типичной стариковской гордостью, рассказывает своим слушателям, как ему удавалось во время действия антисоциалистических законов организовывать в своей пивнушке собрания активистов, заранее подготовив, на случай появления полиции, путь к отступлению. При пивнушке для лучшей маскировки организовывался то клуб любителей игры в кегли, то певческий союз, то союз держателей выигранных билетов. Конечно такие партийные пивнушки могли существовать только до тех пор, пока они не раскрывались полицией. В конце концов гамбургской полиции удалось установить и нелегальную деятельность Яна Тельмана. У него отнимают разрешение на право содержания пивной, — он попадает на несколько месяцев в тюрьму. Маленькому Эрнсту Тельману приходится переселиться к родственникам. После выхода отца из тюрьмы Эрнст Тельман — ему тогда было 6 лет — начинает свою трудовую жизнь. Отец открывает небольшую овощную лавку. В 4 часа утра встает маленький Эрнст и до начала занятий в школе, то-есть в течение пяти часов, разносит покупателям пакеты с овощами и кореньями. Еще труднее становится малышу, когда отцу, чтобы прокормить многочисленную семью, приходится начать торговать углем. Маленький Эрнст начинает таскать мешки с углем, а кроме того, заботится о двух лошадях, которые приобрел отец для перевозки товара. Эрнст Тельман видит, что не все люди ведут такую тяжелую, трудовую жизнь, он видит роскошь вилл гамбургских патрициев. В беседах с отцом ищет маленький Эрнст объяснения причин разделения всех людей на богатых и бедных. Старый социал-демократ снабжает сына книжками и брошюрами. До поздней ночи читает их Эрнст. Одновременно он упорно учится, — он считается в школе лучшим учеником. Учителя, рано отметив способного мальчика, советуют родителям дать ему возможность получить высшее образование. Старик Тельман очень любит рассказывать о том, как учитель Эрнста уговаривал его отдать сына в высшую школу, но он не мог

этого сделать за отсутствием средств. С чисто пролетарским юмором старик Тельман делает при этом типичный жест двумя пальцами, обозначающий, что у него в кармане — ни гроша.

По окончании школы у Эрнста Тельмана, который с ранних лет чувствовал необычайную жажду познания мира и расширения своего кругозора, появляется желание посмотреть — что происходит за пределами Гамбурга и за пределами Германии. Он нанимается грузчиком на заокеанский пароход, попадает в Нью-Йорк, работает батраком на ферме около Нью-Йорка, но затем возвращается обратно в Гамбург, с рабочим движением которого он с первых сознательных лет связан крепкими, неразрывными нитями. В Гамбурге он становится транспортным рабочим и немедленно же (ему 16 лет отроду) вступает в социал-демократическую партию. Два года спустя (в 1904 г.) он вступает в профессиональный союз транспортных рабочих. Как в партии, так и в профессиональном союзе Эрнст Тельман очень быстро становится одним из самых видных активистов. Когда, три года спустя после своего возвращения из Америки, Эрнсту Тельману приходится пойти на военную службу, в артиллерийский полк направляется соответствующая справка полицейского управления: Тельман называется в ней человеком «без отчества», весьма подозрительной личностью — с полицейской и милитаристской точки зрения.

В германской армии Тельман служит недолго: под каким-то предлогом военное командование освобождается от опасного агитатора, увольняя его в запас. Тельман снова возвращается в Гамбург. Он основывает антимилиитаристский кружок, в который входят не только социал-демократы, но и синдикалисты и анархисты. В этом кружке весьма оживленно обсуждаются все большие и малые политические проблемы того времени, в особенности оживленно и подробно — вопросы рабочего движения. Эрнст Тельман ставит ребром вопрос о связи между рабочими, солдатами и моряками военного флота, то-есть теми же рабочими в солдатских шинелях. Но

Эрнст Тельман, по своему происхождению и воспитанию, слишком активная натура, чтобы удовлетвориться хотя бы самой оживленной дискуссией по животрепещущим вопросам рабочего движения. Он хочет не только дискуссии, но и конкретных действий. На линкоре «Карл Великий» обнаруживают антимилиитаристские листовки, — это работа Тельмана, работа вдвойне нелегальная, так как она проведена им тайно и от прусской полиции, и от социал-демократического руководства, которое конечно не хочет иметь ничего общего с такой игрой с огнем. Антимилиитаристская пропаганда на военном судне Вильгельма II является в то время огромной сенсацией. Сообщение о найденных листовках производит в министерствах и в политических кругах впечатление разорвавшейся бомбы. В рабочих кругах Гамбурга это сообщение приводит к невиданной активизации революционного движения.

Это — первое боевое крещение Эрнста Тельмана на политической работе. Но уже в этом инциденте отражаются отличительные черты Эрнста Тельмана; основные его заслуги заключаются не в таких ярких выступлениях, а в повседневной партийной и профессиональной работе. Для Эрнста Тельмана и организация антимилиитаристской пропаганды на линкоре «Карл Великий» является тем основным делом, в котором он показывает упорство в стремлении к достижению раз намеченной цели и беззаветную преданность делу рабочего класса. Гамбургские пролетарии, люди упорные и настойчивые, особенно ценят эти качества в других людях. Они рано отмечают Эрнста Тельмана. В особенности становится он популярным среди транспортных рабочих. В 1913 г. транспортные рабочие Гамбурга хотят сделать Тельмана платным сотрудником профессионального союза, то-есть профсоюзным чиновником. Тельман решительно отказывается от такого, необычайно лестного для молодого рабочего, предложения. Уже тогда чувствует он вражду к профсоюзным заправилам — к большим и малым бонзам в германском рабочем движении. Он предпочитает

остаться рядовым активистом в рядах рабочего класса. Одновременно и предприниматели делают попытку купить опасного агитатора: ему предлагают место заведующего отделением крупнейшей в Гамбурге прачечной. Предприниматель ставит два условия: во-первых, Тельман должен жениться и, во-вторых, отказаться от всякой политической и профессиональной деятельности. Тельман, действительно, женится, но не потому, что этого хочет предприниматель: он находит в своей жене верного товарища по борьбе и партийной работе — одного из лучших организаторов женского движения в Германии. Но он наотрез отказывается оставить свою политическую и профессиональную деятельность. Наоборот, он еще с большей активностью защищает интересы своих товарищей по работе и по классу. В ответ на отказ Тельмана увольняют с работы. Он попадает в черный список и, перед войной, в течение двух лет живет жизнью безработного, познавая на собственном опыте всю горечь существования безработных — лишних людей капиталистического общества. Будущему вождю германской коммунистической партии, вождю германского рабочего класса, впоследствии очень пригодилось это знание жизни, навыков и психологии безработного. Недаром никто из вождей германской коммунистической партии не умел так подходить к безработным, устанавливая общность интересов между ними и занятыми в производстве рабочими, как Эрнст Тельман.

Эрнст Тельман никогда не был особенно высокого мнения о руководителях социал-демократии и профсоюзов. В своей повседневной партийной и профсоюзной работе он имел возможность наблюдать и их соглашательские навыки, и их стремление к компромиссу. Но до мировой войны Тельман никогда не верил в возможность такого предательства интересов рабочего движения и революции, которое обнаружилось в голозовании за военные кредиты и в организации пресловутого гражданского мира. До мировой войны молодой Эрнст Тель-

ман не верит в возможность объявления социал-демократией солидарности со своей буржуазией в защите интересов «отечества». Четвертое августа 1914 г. ударило Эрнста Тельмана, как обухом. Но, в отличие от многих других рядовых активистов рабочего движения, Тельман очень быстро оправился от этого удара, — сказались его неисчерпаемая энергия и кипучая активность. Проходит всего несколько дней после начала войны, и Тельман ищет контакта с теми социал-демократами, которые, как и он, по достоинству оценили предательство вожаков. Тельман посещает делегатские собрания актива гамбургской социал-демократии. Он не решает еще взойти на трибуну и сказать — в дискуссионной речи — все то, что он думает по поводу войны и политики социал-демократии. Но он агитирует среди рабочих, он собирает вокруг себя небольшие кружки слушателей. Он агитирует так, как он привык агитировать на предприятиях и в партийных пивнушках. Опыт, вынесенный Эрнстом Тельманом из повседневной защиты профессиональных интересов рабочего класса, сослужил ему хорошую службу. Этот опыт он применяет в дискуссии по столь крупному политическому вопросу, как вопрос об империалистической войне и гражданском мире. Тельмана мобилизуют. Он уходит на фронт с осознанием того, что со взрывом империалистической войны начался конец старой германской социал-демократии, что необходимо заново строить все рабочее движение в Германии. На фронте он думает о том, как бы, возможно скорее, превратить империалистическую войну в войну гражданскую, хотя тогда этот термин ему, возможно, в точности был еще и неизвестен. Эрнст Тельман великолепно знает, что его враг — не во французских окопах, где находятся такие же пролетарии, как и он сам, а в тылу, в лице своей собственной буржуазии. Он — очень плохой солдат. В армии его ждут не отличия, а дисциплинарные взыскания. У начальства он на очень «плохом счету». Этот солдат-артиллерист выписывает «Бремер бюргерцейтунг» — орган левых радикалов в германской социал-демократии, которые

резко критикуют социал-соглашательскую и социал-империалистическую политику партийных бонз. Проходит всего только несколько недель, и энергичному Тельману удается наладить связь с нелегальной организацией в Гамбурге, которая снабжает его листовками и брошюрами, разъясняющими подлинный смысл империалистической войны. Эти листовки и брошюры Тельман распространяет на своем участке империалистического фронта. Уже тогда он выделяется не только как страстный и искусный агитатор, но и как опытный подпольщик, умеющий сочетать страстную политическую работу с искусством маскировки ее от врага, в данном случае — от военного начальства. Военное начальство лишь подзревает в Тельмане опасного агитатора, но не может поймать его «с поличным» и упечь в военную тюрьму или подвести под расстрел. Оно пытается освободиться от него посылкой его на самые опасные вылазки, но Тельману везет: он выходит живым из пекла империалистической войны. Военное командование мстит Тельману за его революционную работу еще и тем, что оно не дает ему отпуска с фронта на родину. Тельман непрерывно проводит на фронте два с половиной года. Лишь в 1917 г. попадает он, в качестве отпускника, в Гамбург, причем появляется в родном городе в разгар первой большой забастовки рабочих судостроительных верфей.

Как только в Гамбурге вспыхивают первые зарницы германской революции, Эрнст Тельман опять появляется в рядах рабочего класса.

Конечно, Тельман пользуется своим отпуском не только для того, чтобы ориентироваться в политическом положении, а для того, чтобы активно участвовать в борьбе. Он принимает участие в организации поддержки бастующим рабочим и здесь знакомится с гамбургскими руководителями независимой социалистической партии, членом которой он становится. При этом Эрнст Тельман с первого же момента стоит на самом левом фланге партии, поддерживая самый интимный контакт с членами кружка «Спартак». «Спартаковцы» нра-

вятся Тельману главным образом тем, что они противопоставляют путаной пацифистской фразеологии независимцев конкретную программу революционной работы в армии, на фронте и на заводах, работающих на оборону. Обратно на фронт Тельман возвращается уже спартаковцем. У него много новых знаний по теории и практике классовой борьбы. Он проверил, в беседах с товарищами, продуманное им на фронте. Он привез с собой кипу новых листовок и брошюр. В голове у него — новые, свежие мысли о будущей революционной работе.

Ноябрь 1918 г.

Германская революция.

Эрнст Тельман опять возвращается с фронта в Гамбург. На этот раз он окончательно уходит в политическую работу. Он принадлежит к тем революционным рабочим, которые не могут понять попыток социал-демократии и независимцев влить революцию в какие-то парламентские, демократические формы. Эрнст Тельман понимает, скорее и лучше рядовых рабочих, что в 1918 г. социал-демократия снова повторяет свое предательство, совершенное в 1914 г. Не совсем ясно понимает он, куда идет независимая партия и что надо противопоставить политическому курсу ее официальных руководителей. Он инстинктивно восстает против компромиссной политики независимцев: этот гордый гамбургский пролетарий всегда ненавидел всяческий компромисс. Тельман, в поисках понимания развертывающихся на его глазах и при его активном участии событий, избирает весьма правильный путь. Он изучает опыт пролетарской революции в Советской России, жадно проглатывает и старательно прорабатывает все брошюры Ленина, которые ему удастся получить на немецком языке. Для Эрнста Тельмана типично, что все эти попытки обогатить свои теоретические познания в области классовой борьбы и революционной работы несколько не мешают ему в повседневной пропагандистской работе. Наоборот, чем больше расширяется его теоретический кругозор, тем лучше ведет он свою повсе-

дневную пропагандистскую работу среди рабочих-транспортников, где он, пользуясь своими старыми связями, непрерывно завязывает новые. Опыт повседневной пропагандистской работы подводит, с другой стороны, твердую базу под приобретаемые им теоретические знания. И то, и другое помогает ему стать одним из руководящих членов кружка так называемых революционных уполномоченных, которые устанавливают во имя организации революционного движения связи между отдельными гамбургскими предприятиями, помимо социал-демократии и независимой партии. Тельман становится во главе забастовочного движения среди рабочих транспорта. Это движение терпит поражение, но Тельман учится на уроках этих поражений. Поражение в забастовочном движении заставляет Тельмана продумать вопрос о необходимости своевременной организации сопротивления рабочего класса Гамбурга тем белогвардейским бандам, которые были организованы кровавой собакой германской революции — Носке. Белогвардейские банды не сразу подходят к Гамбургу, они ведут свой поход на революционных рабочих Приморского района, пытаются окружить Бремен. В Берлине к этому времени контрреволюция разгромила спартаковское движение и зверски убила Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Гамбургский «Великий рабочий совет» несколько дней обсуждает вопрос об организации помощи бременским рабочим, которые находятся под прямым ударом контрреволюционных банд, организованных Носке. Эрнст Тельман развивает кипучую агитационную деятельность, требуя оказания бременским рабочим немедленной вооруженной помощи. Гамбургские рабочие под влиянием агитации Тельмана требуют оружия. Социал-демократические вожаки и независимцы продолжают обсуждать вопрос об оказании помощи бременским рабочим, но первые просто саботируют дело помощи, а последние, растерявшись под ударами победоносной контрреволюции, колеблются. Оружие дает гамбургским рабочим Эрнст Тельман. Руководимые им рабочие добывают себе оружие, силой и

хитростью, в казармах гамбургского гарнизона и полиции. Гамбургские рабочие спешат на помощь своим бременским братьям, но помощь их приходит слишком поздно: белогвардейцы уже взяли Бремен.

В июне 1919 г., как-раз в тот момент, когда контрреволюции кажется, что ей удалось окончательно подавить революцию в Германии, в Гамбурге разрастается революционное движение. Оно начинается вследствие острого недостатка предметов первой необходимости и в особенности ввиду возмущения рабочей той спекуляцией, которая развивается в результате продовольственного кризиса. В Гамбурге происходит так называемый «Sülzекrawallen» (холодецкий бунт). Сигналом к восстанию является негодование широких народных масс, вызванное тем, что на территории консервной фабрики Гейля находят сгнившие шкуры и всякую нечисть. Происходят массовые демонстрации, которые подвергаются обстрелу со стороны так называемых добровольческих отрядов, то-есть белогвардейских организаций из буржуазных сынков. Начинается всеобщая забастовка. Одним из ее организаторов является Эрнст Тельман. Под его руководством рабочие оказывают вооруженное сопротивление контрреволюционным бандам. Вокруг ратуши, биржи и казарм, где разместились белогвардейские отряды, разыгрываются упорные бои. Рабочие одерживают блестящую победу: контрреволюционные банды попадают в плен и вынуждены сложить оружие. Рабочие разоружают белогвардейцев, но гамбургская буржуазия призывает к себе на помощь Носке, который присылает отряд Леттов-Фербек, известного колониального «героя». Пролетарский Гамбург должен покориться. Но и это поражение является для Эрнста Тельмана ценнейшим уроком. Он понимает, что гамбургские рабочие — и германские рабочие вообще — потерпели поражение потому, что у них не было в 1918 — 1919 гг. массовой пролетарской партии, той революционной большевистской партии, которая, под руководством Ленина, взяла в октябре 1917 г. власть в России.

Именно гамбургские события показывают Тельману, как важно для одержания победы над буржуазией создание массовой коммунистической партии. Он приветствует создание коммунистической партии, которое состоялось в Берлине под новым, 1919, год. Тельман понимает, что основная проблема заключается в том, чтобы массово-революционное движение в Германии было возглавлено этой партией, то-есть чтобы был осуществлен переход тех рабочих масс, которые следуют еще за руководством независимцев, к новой — коммунистической — партии. Тельман, хотя он и является коммунистом, остается поэтому официально в рядах независимой партии, даже входит в состав руководства гамбургской организации этой партии. Это дает ему возможность перейти на съезде в Галле в 1920 г. в коммунистическую партию вместе с 90 проц. всех членов приморской организации независимой партии. Тельман очень гордится этим своим политическим успехом. Из Галле он пишет своим родителям: «Мои дорогие родители. Шлю вам самый сердечный привет. Вчера в Галле состоялось решение. Мы являемся честными, искренними, мы движемся вперед. С революционным приветом. Ваш Эрнст».

Эти строки очень типичны для Эрнста Тельмана. Для него самое важное в коммунистической партии то, что она ведет рабочие массы вперед, что она делает свое дело честно и искренно.

На съезде коммунистической партии в декабре 1920 г. в Берлине Тельман избирается в центральный комитет. С этого момента не было ни одного съезда коммунистической партии в Германии или международного съезда авангарда рабочего класса, в котором не принимал бы участия Эрнст Тельман. С 1920 г. Эрнст Тельман является классическим представителем, как бы прототипом, германского рабочего-революционера. Показательно, что, уже будучи членом центрального комитета, он все еще продолжает работать в качестве рабочего на судостроительной верфи. Это сильно повышает его авторитет среди гамбургских рабочих.

Когда социал-демократ Герзинг пытается разоружить рабочих Средней Германии и коммунистическая партия, организуя оборону германского рабочего класса, осуществляет так называемое мартовское наступление 1921 г., имя Тельмана гремит на всю Германию: под его руководством гамбургские рабочие объявляют политическую забастовку. После мартовского выступления германская коммунистическая партия пережила, как известно, тяжелый кризис: тогдашний ее вождь Пауль Леви выступил с брошюрой «Наш путь против путчизма», которая дала германской контрреволюции материал против молодой коммунистической партии. Тельман принимает живейшее участие в той дискуссии, которая разыгрывается в июне 1921 г. на III конгрессе Коминтерна в Москве и на съезде коммунистической партии Германии — в августе того же года. Тельман выступает в этой дискуссии как представитель той массы рабочих, которые принимали участие в мартовском восстании. Он пытается поставить вопрос о том, как будет себя чувствовать участвовавшие в борьбе рабочие, если им скажут, что все то, что они делали, было если не путчем, то во всяком случае предприятием, которое официально будет признано противоречащим революционной стратегии и тактике? Тельман во имя борцов мартовского выступления требует его оправдания. Речь Тельмана производит на конгрессе Коминтерна огромное впечатление именно потому, что все чувствуют, что перед ними — настоящий германский рабочий.

Самое ценное, что есть в Тельмане, — это именно его непрестанная и теснейшая связь с массами. На съезде партии в Иене Тельман ставит вопрос о том, какую пользу может вынести партия из мартовского поражения: «Если это было поражение пролетариата, то тогда я скажу, что это было победой партии, ибо мы имели возможность убедиться в том, какие огромные недостатки у нас имеются, которые необходимо немедленно устранить. Мартовское выступление научило нас тому, что нам необходимы дисциплина и централизованное руко-



вождство всеми членами партии и ее функционерами».

Одновременно, — и это опять очень показательно для Тельмана, — он ставит вопрос о необходимости осуществления единого рабочего фронта, о необходимости теснейшего контакта с социал-демократическими рабочими массами, во имя общей борьбы против буржуазии.

Германская буржуазия, в особенности фашисты, рано замечает будущего вождя коммунистической партии, Эрнста Тельмана. В июле 1922 г. два молодых фашиста совершают покушение на Тельмана, — они бросают две бомбы в его квартиру в Гамбурге. Тельман остается невредимым, а социал-демократический гамбургский сенат спешит выпустить на свободу покушавшихся на его жизнь белобандитов, которых даже буржуазный суд приговорил к каторжной тюрьме. В Германии нарастает волна революционного движения. В условиях невероятного понижения зарплаты рабочих и обнищания мелкой буржуазии на почве инфляции происходит съезд германской коммунистической партии в январе 1923 г. в Лейпциге. Между руководством партии, которое находилось в руках правых оппортунистов — Брандлера и Тальгеймера, — и левым крылом, возглавлявшимся Рут Фишер и Эрнстом Тельманом, происходит жестокая борьба по вопросу о едином фронте и рабочем правительстве. Правооппортунистическое руководство считает социал-демократию правым крылом рабочего движения и добивается осуществления единого фронта сверху. При этом правые оппортунисты пытаются доказать, что левая группа мешает всей этой дискуссией осуществлять в стране работу коммунистической партии. Тельман отвечает на это: «Теоретические споры существуют для того, чтобы партия могла осуществлять практически свои задачи. Мы в Гамбурге могли во всяком случае установить, что наши острые споры привели не к разложению партии, а к оживлению ее активности».

Когда летом 1923 г. в Германии зреет решительный бой между рабочим классом и буржуазией, Тельман становится одним из руководителей пар-

тии. Он является одним из самых активных работников партии в деле организации революционных фабзавкомов, в деле агитации за вооружение рабочих. В Гамбурге, под руководством Тельмана, все готово для организации вооруженного восстания. 20 октября происходят демонстрации безработных. В разных частях города голодные демонстранты силой берут продовольствие в лавках. Происходят кровавые столкновения с полицией. Рабочие выходят на улицу. Рабочие почти во всех полицейских участках Гамбурга овладевают оружием и разоружают полицию. Рабочее предместье Гамбурга — Барнбек — превращается в крепость, укрепленную баррикадами. Трое суток полиция, рейхсвер и морская пехота (всего свыше 6 тыс. человек) борются против вооруженных рабочих. Впервые в истории германского революционного движения правительственные войска несут более тяжелые потери, чем восставшие рабочие. Это в первую очередь является заслугой Тельмана, как его же заслугой является и организация отступления после того, как выяснилось, что революционные бои разгорелись только в одном Гамбурге. В Германии наступает пресловутая стабилизация, и Штреземан говорит о «серебряных чертах на горизонте». Только Тельман заявляет в этот момент: «Стабилизация буржуазной Германии не имеет долгого дыхания, несмотря на план Дауэса или, вернее, потому, что план Дауэса существует».

И это новое поражение германского рабочего класса подробно изучается Тельманом. 23 октября 1925 г. он писал в «Роте фане»: «Восстания пролетариата являются этапами на победоносном пути революции не только благодаря их непосредственным положительным результатам, но и благодаря тому, что они приносят уроки всему рабочему классу». Тогда уже общепризнанный вождь германской коммунистической партии говорит еще: «Все предпосылки для победы рабочего класса были даны, кроме одной: кроме существования железно спаянной с широчайшими массами, тесно связанной с ними коммунистической партии, которая была бы исполнена ре-

шимости и могла бы организовать и руководить борьбой рабочих масс. Руководство нашей партии оказалось не в состоянии это сделать в решающий час. Вступление руководящих коммунистов вместе с левыми социал-демократами в саксонское правительство было бы правильным, если бы этот шаг служил одной единственной цели — организации революции, движения масс, возобновления борьбы во всей Германии».

Тельман отказывается считать гамбургское восстание путчем, но указывает, что «наша слабость состояла в том, что мы не сумели сплотить вокруг нас массы, привести их на нашу сторону во время частичных боев и составить вместе с ними единый фронт против социал-демократических вождей».

Крупным недостатком гамбургского восстания было отсутствие сильного движения в пользу советов. Тельман указывает еще на то, что виной всему является занятие коммунистической партией «старой социал-демократической жилплощади», то-есть неумение изжить организационные навыки социал-демократии. Завоевание власти рабочим классом не может быть единым актом, ибо дело не только в организации вооруженного восстания, — «это завоевание должно быть подготовлено годами упорной работы коммунистической партии и всего рабочего класса».

На съезде германской коммунистической партии во Франкфурте в 1924 г. Эрнст Тельман избирается вождем партии, и именно он перестраивает партию под лозунгом ее большевизации. Он является организатором подлинно большевистской германской коммунистической партии, руководителем этой партии в борьбе против опасности фашизма, до прихода Гитлера к власти, а с момента установления национал-социалистической диктатуры — организатором борьбы за ее свержение.

В ночь на 3 марта 1933 г. германское фашистское правительство через свою печать и через все радиостанции распространило сообщение о том, что Тельман арестован. Это сообщение, не-

смотря на всю его трагичность для германского рабочего класса, было в основе своей подтверждением морального поражения фашистского правительства, ибо еще утренние выпуски газет от 3 марта сообщали, что Тельман скрылся за границу и в сопровождении Пика направился в Копенгаген.

Дело в том, что германские фашисты великолепно учли тот урон, который нанесен был антифашистскому фронту германского рабочего класса бегством социал-демократических вождей за границу. Гильфердинг, к примеру, действительно бежал в Копенгаген, не удосужившись даже сказать рабочему классу, вождем которого он считал себя в течение многих лет, что он должен делать в условиях фашистской диктатуры. Гитлеровское правительство великолепно понимало, что авторитет коммунистической партии неизмеримо возрос от того, что никто из руководителей коммунистической партии не бежал за границу, не бросил своего революционного поста, что в особенности вождь партии — Эрнст Тельман — остался в Берлине, в центре фашистской власти и в центре борьбы с ней. Сообщая об аресте Тельмана, гитлеровское правительство должно было самым фактом этого сообщения мобилизовать рабочие массы на борьбу против себя, — этим сообщением оно говорило германским рабочим о том, что германская коммунистическая партия остается на посту.

Гитлеровское правительство должно было еще раз разоблачить себя признанием, что Эрнст Тельман был арестован на скромной квартире пролетария в Шарлоттенбурге, то-есть отказаться от грязной клеветы, будто Тельман, если и не бежал за границу, скрывается в некоей роскошной вилле в Грюнвальде, в самом аристократическом квартале Берлина. Из квартиры шарлоттенбургского рабочего Тельмана повезли в полицейскую тюрьму на Александровской площади, затем его перевели в знаменитую Моабитскую тюрьму. Тельмана подвергают невероятным моральным пыткам. Его совершенно изолируют от внешнего мира. Его беспрестанно допрашивают, пытаются убедить в

том, что коммунистическое движение Германии находится на ущербе. С другой стороны, в широких массах распространяются самые фантастические слухи, позорящие имя Тельмана. В Тельмана пытаются вселить неверие в силы рабочих масс, в рабочие массы — недоверие к их вождю. Но этот маневр фашистских провокаторов не достигает своей цели. На волю доходят лишь скудные сведения о Тельмане, но и эти скудные сведения говорят о его боевой непоколебимости, о его твердой уверенности в конечной победе рабочего класса. Несмотря на все усилия фашистской полиции, в широких массах Германии скоро становится известным, что Тельман и в фашистской тюрьме остался пролетарским бойцом, исполненным чувства классового товарищества и пролетарской солидарности. Становится известным, что Эрнст Тельман категорически отверг все те преимущества перед другими политзаключенными, которые ему предлагали тюремщики, чтобы скомпрометировать его, посеяв рознь не только между ним и другими политзаключенными, но и между ним и всем германским рабочим классом. Тельман получает тот же скудный тюремный паек, что и другие политзаключенные, носит то же платье. Так же, как и они, сам убирает свою камеру. Он пытается, хотя бы маленьким жестом, продемонстрировать свою солидарность с ними. Из окна своей камеры он бросает своим товарищам по заключению папиросы. Тюремщики замечают это и запрещают Тельману курить. На прогулке Тельман узнает о зверской расправе фашистов с социал-демократами и рейхсбаннеровцами в Кепениге. Это сообщение Тельман немедленно использует для того, чтобы в тюремной обстановке осуществить лозунг единого рабочего антифашистского фронта. Он призывает всех политзаключенных коммунистов, социал-демократов и профсоюзников объединиться для борьбы против фашистской диктатуры.

Жалкие маневры фашистских провокаторов, пытавшихся дискредитировать Тельмана в глазах широких масс, не могли конечно достигнуть цели: история германского рабочего движения не

знает, после смерти Августа Бебеля, другого вождя, который пользовался бы такой популярностью, таким уважением и любовью, как вождь коммунистической партии, Эрнст Тельман. Фашисты не могли, разумеется, понять что Эрнст Тельман потому и стал вождем коммунистической партии, что он с ранней своей юности был тесно связан с рабочим классом, что в нем рано пробудилось классовое самосознание, что он пришел к большевизму как теоретик и практик революционного рабочего движения. Теория и практика революционного движения дали ему и тесную связь с массами, и понимание больших и малых вопросов рабочей жизни, и неустрашимость и мужество.

В июле 1932 г. к Тельману явилась делегация социал-демократических активистов, старейших членов партии, для того, чтобы обсудить с ним вопросы текущей боевой тактики. Уже через несколько минут после начала беседы с тов. Тельманом старые социал-демократы убедились, что перед ними находится подлинный вождь рабочих, знающий и понимающий нужды и запросы масс. Любопытно, что эти социал-демократические рабочие почти в начале беседы задают Тельману, вместо очередного вопроса из области текущей политики, вопрос о взаимоотношениях между вождями и массами в германской коммунистической партии и в германской социал-демократии. Тельман дает следующий ответ: «Наше партийное руководство отличается теснейшей связью с пролетарскими массами. Различие в психологии социал-демократических вождей и вождей коммунистической партии является само по себе наглядным уроком для рабочих. Лидеры социал-демократии в продолжение долгих лет были теснейшим образом связаны с чуждыми рабочему классу элементами и враждебными ему слоями буржуазии. Они находились и находятся на хорошо оплачиваемых государственных должностях, они состоят в административных советах капиталистических предприятий. Само собой разумеется, что они перенимают обычай и навыки своего окружения». «Вы думаете, — продолжал Тельман, обращаясь

к социал-демократическим рабочим, — что я хоть когда-нибудь был у Гинденбурга? Никогда. А как часто лидеры социал-демократии бывали у Папена и Гинденбурга?! Лидеры социал-демократии, бонзы кооперативных и профсоюзных организаций, превратились в прослойку рабочей аристократии, интересы которой не совпадают больше с интересами пролетариата».

В этом, действительно, основное различие между Эрнстом Тельманом и социал-демократическими вожаками. Именно потому, что Тельман никогда не был в гостях ни у крупного банкира, ни у фашистского убийцы с генеральскими погонами, германские рабочие знают, что его нельзя ни купить, ни сломать моральными и физическими пытками в тюрьме. Именно потому, что Эрнст Тельман никогда не мог перенять обычаи и навыки у буржуазного окружения, — он в этом окружении никогда не бывал, — германские рабочие верят в него, как в беспощадного борца не только против буржуазии, но и против любых фальсификаторов марксизма, — проводников социал-соглашательства и социал-фашизма во всех его видах. Германский рабочий класс знает Тельмана как руководителя борьбы за нераздельную власть рабочего класса в союзе с трудящимися крестьянами. Именно Эрнст Тельман обьяснял все тем германским рабочим, которые еще нерешительно ориентировались в сторону революционной классовой борьбы, подлинный смысл лозунга пролетарской диктатуры. Тельмана спрашивали, не противоречит ли диктатура рабочего класса принципу участия масс в разрешении тех или иных вопросов, принципу демократии в рядах рабочего класса.

На этот вопрос Тельман отвечал: «При так называемой буржуазной демократии диктует свою волю финансовый капитал. Диктатура пролетариата является той формой государственной власти, при которой рабочий класс сверт господство буржуазных эксплуататоров и подавляет всякое сопротивление своих бывших угнетателей, пользуясь своей массовой базой и своим вооруженным

состоянием. При диктатуре буржуазии нет истинной демократии, в каких бы формах она ни осуществлялась, ибо финансовый капитал, как меньшинство, правит большинством, в особенности решающей частью большинства населения, т. е. рабочим классом. В советском же государстве мы имеем нечто совершенно противоположное: там огромное большинство трудящихся господствует над меньшинством, над остатками господствовавших прежде классов. Через советы, которые стали единственным административным и государственным аппаратом, осуществляется фактическое участие всей массы пролетариата и остальных трудящихся в управлении пролетарским государством. Следовательно, диктатура пролетариата отнюдь не является, как утверждают лидеры социал-демократии, диктатурой над пролетариатом. В уставе Коммунистического интернационала (гл. 2-я, разд. 9-й) говорится: «Диктатура пролетариата является наиболее совершенным осуществлением руководства всеми трудящимися и эксплуатируемыми, которых класс капиталистов поработил, закабалил, запугал, распылил и обманул, со стороны единственного класса, подготовленного всей историей капитализма к такой ведущей роли».

Германский рабочий класс не только чувствует, но и знает, что Эрнст Тельман, выковавшийся в огне борьбы за большевизацию нынешнюю коммунистическую партию, является вождем рабочего класса в его борьбе не только за свержение фашизма, но и за создание советской Германии. Германские рабочие тем больше понимают весь трагизм положения их вождя, брошенного в средневеково-фашистскую тюрьму, чем больше фашисты пытаются создать искусственное средостение между Эрнстом Тельманом и германским рабочим классом.

Не случайно, что именно Эрнст Тельман, — уже год спустя после оккупации Рура, в 1923 г., — является основателем и затем неустанным организатором красного «Союза фронтовиков». Он создает эту массовую организацию для борьбы против опасности новой импери-

алистической войны. Но одновременно Эрнст Тельман, который еще на фронте мечтал о превращении войны империалистической в войну гражданскую, прилагает все свои усилия к тому, чтобы сделать популярной в широчайших массах германских трудящихся идею вооружения рабочего класса и трудящегося крестьянства — для борьбы не только против угрозы новой империалистической войны, но и в защиту их повседневных интересов.

Германский рабочий класс тем более понимает весь трагизм положения рвущегося в бой, но заключенного в четырех стенах фашистской тюрьмы Эрнста Тельмана, что борьба за его освобождение проводится не только в Германии, но и во всем мире. Интернационалист с первых же своих шагов на политическом поприще, Эрнст Тельман, вероятно, рад этой демонстрации международной солидарности всех трудящихся в кампании за его освобождение. Однако его боевая натура должна глубоко страдать от сознания того, что очкам не может активно участвовать в этой широчайшей борьбе против германского фашизма.

С наступлением мирового экономического кризиса, когда всем стали ясны военные мероприятия германской буржуазии, пытающейся новой войной разрешить внутренние классовые противоречия, Эрнст Тельман выдвигает на первый план необходимость воспитания в германских массах чувства международной солидарности. На лейпцигском съезде партии в 1929 г. Тельман обращается к активистам партии со следующими словами: «Мы выполним свой долг перед Коммунистическим интернационалом и перед нашими братскими партиями. Нашей партии нужен более глубокий интернационализм». На январском пленуме ЦК германской компартии в 1931 г. Тельман опять выдвигает требование «высоко поднять знамя интернационализма в нашей партии». На этот раз он выдвигает это требование в связи с разоблачением антисоветских авантюристских планов германской буржуазии.

Тельман всегда добивался того, чтобы противопоставить подлинный интер-

национализм той волне шовинизма, которая, начиная с 1929 г., поднималась в Германии и привела на своем гребне к власти фашизм. Коммунистическая партия и Коммунистический интернационал боролись против кабальных постановлений Версальского договора. Но германская коммунистическая партия и Коммунистический интернационал объясняли германским трудящимся, что и Версальский договор является продуктом капиталистического строя, что неслыханные страдания германских народных масс являются последствием эксплуатации не только со стороны капиталистов версальских держав, но и со стороны своих, «отечественных» капиталистов. Никто не понимал так хорошо, как Эрнст Тельман, что коммунистическая партия должна была возглавить борьбу народных масс против порабощения их не только отечественными капиталистами, но и капиталистами стран-победительниц в империалистической войне. Тельман старался еще в 1929 г. добиться в центральном комитете германской коммунистической партии победы своей точки зрения. Он требовал, чтобы компартия приняла участие в плебисците против плана Юнга, организованном «Стальным шлемом», требовал, чтобы коммунистическая партия возглавила борьбу народных масс против Версальского договора, привлекая, таким образом, на свою сторону те массы, которые вели за собой национал-социалисты благодаря этому, демагогически и лживо используемому ими, лозунгу.

Германская коммунистическая партия вскоре осознала это упущение, — она сформулировала в 1930 году большую освободительную программу. Под руководством Тельмана партия провела ряд ударных кампаний против Версаля в 1932 и 1933 гг., объединив с этой кампанией кампанию против новой империалистической войны. Благодаря инициативе Тельмана и по его настояниям, германская коммунистическая партия ставит во главу угла всей своей пропагандистской работы лозунг о том, что национальное освобождение Германии возможно только вместе с ее социальным

освобождением, т. е. в результате победоносной пролетарской революции.

В октябрьские дни 1932 г. Эрнст Тельман излагает, в тесном кругу руководителей германской коммунистической партии, свой план поездки в Париж, где он хочет выступить на грандиозном пролетарском митинге. Той волне шовинистической агитации, которую развивают национал-социалисты в Германии, увлекая за собою все большие прослойки мелкой буржуазии и деклассированных рабочих, Эрнст Тельман хочет противопоставить союз германского и французского пролетариата. Совершенно естественно, французское посольство в Берлине отказывает Тельману в визе. Подлинного, интернационалиста не может конечно остановить такое формальное препятствие. Тельман выступает, в конце октября, в Мюнхене на массовой демонстрации. Уже в Берлине, на вокзале, а затем и в Мюнхене, за ним по пятам следуют не только германские, но и французские сыщики. Однако в ночь после выступления в Мюнхене Тельман оказывается по ту сторону французской границы, направляясь в Париж, где его радушно встречают руководители французской коммунистической партии. Тельман выступает в зале Бюлье вместе с французскими товарищами, Кашеном и Торезом. Парижские рабочие восторженно встречают представителя германских пролетариев, — собрание находит глубокий отклик не только во Франции и Германии, но и во всем мире. Выступление Тельмана в Париже является действительно событием огромного международного значения. На собрании в Бюлье Тельман и Кашен принесли перед парижскими рабочими подлинно интернациональную, торжественную клятву о совместной борьбе против германского и французского империализма. Тельман в своей речи напомнил парижским рабочим о Парижской коммуне, о необходимости бороться против классового врага в своей собственной стране. Указывая на пример победоносной Октябрьской революции, свергнувшей затем гнет германского империализма,

Тельман заявил: «Мы знаем, что только победа рабочего класса, в союзе с остальными трудящимися, может покончить одновременно как с версальским угнетением, так и с капиталистической эксплуатацией».

Утром 1 ноября специальные выпуски коммунистических газет сообщили трудящимся Германии о той международной боевой демонстрации солидарности, которая состоялась в Париже по инициативе Эрнста Тельмана. Вечером того же дня Тельман, которого берлинские рабочие встретили с неопишемым восторгом, выступал во Дворце спорта в Берлине. Тельман, докладывая берлинским пролетариям о собрании в зале Бюлье, говорил и об империалистической войне, — он, возвращаясь в Германию, видел бесконечно растянувшиеся вдоль границы ряды могил... Он видел, как тысячи людей возлагали венки на могилы павших в этой беспримерной войне рабочих и крестьян. Тельман выступил с обвинением против германских социал-шовинистов: «Это они, — сказал он, рыли во время всемирной войны могилы для двух поколений германских и французских пролетариев в солдатских шинелях. По приказу германской буржуазии в последней всемирной войне расстреливали из орудий города и села Франции. По приказу французской буржуазии германские трудящиеся должны теперь платить за это контрибуцию. Но правящим классам всех стран помогала социал-демократия!»

Гром аплодисментов десятков тысяч берлинских пролетариев покрыл возглас вождя германской коммунистической партии: «В наших обеих странах мы, после того как придем к власти, развернем творческие силы рабочего класса и рука об руку с Советским Союзом приступим к социалистическому творчеству!»

Никто не удивился, когда на следующий день орган германских промышленников, «Рейниш-вестфелише цейтунг», потребовал немедленного ареста Тельмана, обвиняя его в «государственной измене». Еще более «преступным» является теперь для буржуазии этот человек, который мог бы возглавить совместную

борьбу трудящихся масс Германии и Франции против новой империалистической авантюры, готовящейся германским фашизмом.

Эрнст Тельман, пленник германского фашизма, тем более тяжело должен переживать весь трагизм своего положения, что, под ударами фашистской диктатуры, в германском рабочем классе закаляются именно те идеи классовой борьбы, за которые он боролся всю жизнь. В огне борьбы против фашизма исчезают те препятствия в организации подлинно массового движения, которые всегда пытался устранить Тельман. Он всегда боролся против попыток бюрократизации рабочего движения, всегда был представителем революционной массовой политики и непримиримым врагом оппортунизма во всех его видах. Под ударами фашистской диктатуры завершается процесс большевизации германской коммунистической партии, за которую боролся с первых же дней германской революции Тельман. Именно Тельман, больше, чем кто-либо другой из руководителей германской коммунистической партии, последовательно проникся наилучшими традициями революционного большевизма, найдя путь к Ленину и Сталину. Он в свое время приветствовал ту резкую критику ряда серьезных теоретических ошибок германской довоенной с.-д. левой, с которой выступал Ленин. Германские радикалы несомненно имеют свои заслуги в различных областях классовой борьбы, — например в области борьбы с милитаризмом посредством массовой стачки и избирательных кампаний. Но они не могли избавиться от власти меньшевизма, и поэтому никто не приветствовал так, как Тельман, историческое письмо тов. Сталина в редакцию «Пролетарской революции». В этом письме тов. Сталин дал классическую, исчерпывающую характеристику довоенной левой германской социал-демократии, и Тельман, со своим безошибочным инстинктом большевика, немедленно понял, какое значение может иметь это письмо для германской компар-

тии. По требованию Тельмана германская компартия повела, выполняя указания тов. Сталина, широкое идеологическое наступление на пережитки люксембургизма, на неправильное истолкование эпохи империализма, на теорию автоматического крушения власти буржуазии, внезапности революции и ослабление или отрицание ведущей роли коммунистической партии. Эрнст Тельман всегда был предан заветам Ленина, всегда был проникнут чувствами глубочайшего уважения и неразрывной связи с лучшим учеником Ленина, — вождем международного рабочего класса — тов. Сталиным. Поэтому Тельман не только проявил инициативу в смысле широкой проработки письма тов. Сталина в рядах германской партии, — он сам с особым рвением занялся изучением той критики, которой Ленин и Сталин подвергали германских левых и, как подлинный большевик, сделал из этих уроков практические выводы по целому ряду актуальнейших политических проблем германской компартии.

В уже упомянутой, очень интересной беседе с делегацией социал-демократических рабочих (в июле 1932 г.) вождь германской компартии заявил, что если бы левые в рядах довоенной германской социал-демократии, группировавшиеся вокруг Меринга, Либкнехта, Люксембург, Клары Цеткин и других, еще в 1914 г. провели резкую грань между собою и Давидом, Носке, Фольмаром, Ауэром и др., как это сделали русские большевики, порвав с меньшевиками, то новая революционная партия могла бы стать вождем победоносной германской революции. Социал-демократия, говорил Эрнст Тельман, развивалась в охранительницу капиталистической системы, между тем как коммунисты стремились к свержению капитализма посредством диктатуры пролетариата.

Находящийся в фашистской тюрьме вождь германской коммунистической партии именно теперь, в условиях фашистской диктатуры, когда политика германской социал-демократии нашла свое логическое завершение, мог бы с большей силой, чем кто-либо другой,

осуществить в Германии единый фронт снизу. Он бы осуществил его политикой окончательного разоблачения социал-демократических вождей, которые расчистили фашизму пути к власти последовательным отказом от революционного марксизма, коалицией с буржуазными партиями и вращением в «социализм» через министерские кресла. Именно Тельман бросил в массы, задолго до прихода национал-социалистов к власти, крылатый лозунг: «Национал-социалисты и социал-демократы — это два орудия в руках буржуазии». Всем памятна речь Тельмана, в которой он заклеил съезд социал-демократии в Киле в 1927 г., на котором пребывающий ныне в Копенгагене Гильфердинг выдвинул теорию «организованного капитализма». Тельман выступил тогда с критикой теории Гильфердинга отнюдь не в печати, а — что особенно типично для Тельмана — на массовом рабочем собрании в Берлине. Тельман высмеял тогда контрреволюционное учение о том, что нынешний период монополистического капитализма будто бы опрокидывает учение Маркса об анархии капиталистического строя. Тельман едко опроверг учение Гильфердинга о том, что современный строй мирным путем, без кризисов и революционных столкновений, развивается в сторону социализма. На съезде компартии в Веддинге (Берлин) Тельман в большом докладе дал отчетливое изображение всеобщего кризиса капитализма, развив, применительно к германским условиям, те основные положения, которые даны были по этому вопросу в решениях Коминтерна и исторических выступлениях тов. Сталина.

Почти одновременно с этим выступлением Тельмана происходит магдебургский съезд социал-демократии, на котором Дитман от имени руководства социал-демократии заявляет: «Мы живем уже не в условиях чистого капитализма, а в условиях перехода к социализму, как в экономическом, так и в политическом и социальном отношении». Тельман в ответ развивает широкую кампанию против повторения социал-демократией этого, уже давно обанкротившегося

лозунга — об «организованном капитализме». Кампания компартии, развернутая по инициативе Тельмана, привела к тому, что перед лицом массового полевения рядовых членов социал-демократической партии, с.-д. партия на съезде в Лейпциге (1931 г.) не решилась выступить снова с этим лозунгом: она, наоборот, выпустила пресловутого Тарнова — с докладом «Об анархии капиталистического производства». Тарнов вынужден был признать, что организованный капитализм фактически обозначает не только гражданскую войну, но и «экономическую партизанскую войну».

Только благодаря тому, что Тельман руководил компартией в духе указаний Ленина и Сталина, Тарнов и вся германская социал-демократия вынуждены были притти к признанию банкротства своих теорий об «организованном капитализме». Тельман, выступая на массовом митинге во Дворце спорта (июнь 1931 г.), дает историческую оценку лейпцигскому съезду социал-демократии: он оценивает его как веху на пути развития социал-демократии к фашизму. Тельман дает социал-демократии характеристику «покорно блеющей овечки», т. е. оппозиции, которая должна помешать переходу революционизирующихся социал-демократических рабочих в ряды коммунистической партии.

20 июля 1932 г. Папен и Брахт с помощью десятка рейхсверовских солдат ликвидируют социал-демократическое прусское правительство. Германская контрреволюция совершает решающий шаг на пути к установлению фашистской диктатуры. Правительство Папена было предтечей правительства Гитлера. Браун и Зеверинг и не думают оказывать Папену сопротивление. Они сдают власть, ограничиваясь лишь жалким протестом перед верховным судом в Лейпциге. Браун пишет в своем письме верховному суду: «Более десяти лет я, независимо от состава различных имперских правительств, поддерживал политику этих правительств... Меня прогоняют с моего поста, как проворовавшегося



слугу. Горько сознание того, что это делается по приказу того (Гинденбурга), который не в последнюю очередь обязан мне переизбранием на пост президента республики».

Утром 20 июля Тельман появляется в Лейпциге. В тот же вечер он собирався выступить на крупной массовой демонстрации в Тюрингии. Узнав о смещении прусского правительства, он по телеграфу и телефону передает из Лейпцига свои директивы центральному комитету в Берлине. Бешено мчится автомобиль, в котором вождь коммунистической партии спешит в Берлин. В пути ему удается встретиться с ближайшим своим другом и соратником, Джоном Шеером, впоследствии зверски замученным фашистами. Положение ясно. Коммунистическая партия должна мобилизовать социал-демократических рабочих, побудить их к совместному с коммунистическими рабочими выступлению против полуфашистского правительства, расчищающего путь Гитлеру. Тельман собирается предложить социал-демократической партии провести, вместе с коммунистической партией, всеобщую забастовку, чтобы ликвидировать тот государственный переворот, который уже произвели фашисты и который они собираются углубить. Берлинские фашисты знают, что Тельман находится по пути в Берлин, они знают, что вождь коммунистической партии является их самым опасным противником. На всех шоссе-ных дорогах, ведущих к Берлину, поставлены полицейские заставы. Все автомобили задерживаются, проверяются документы, производятся аресты подозрительных лиц. Тройной наряд прусской полиции, организованной еще Зеверингом, издали дает сигналы шоферу машины, в которой едет Тельман, требуя, чтобы машина остановилась. Тельман наклоняется к шоферу: «Прибавь газу, и мы проскочим». Бешеным темпом мчится машина Тельмана мимо изумленных полицейских. Они не успевают снять свои карабины, как машина Тельмана исчезает в облаках пыли.

Тельман — в Берлине.

Немедленно созывает он заседание центрального комитета коммунистиче-

ской партии. По его предложению центральный комитет обращается к социал-демократической партии и профессиональным союзам с предложением провести совместно всеобщую стачку, оказав сопротивление фашистскому государственному перевороту. Одновременно по предложению Тельмана коммунистическая партия обращается к германскому рабочему классу и к германским трудящимся — с призывом высказаться в пользу всеобщей забастовки. Центральный орган германской социал-демократии — «Форвертс» — начинает бешеной бой против попыток организации единого антифашистского фронта. Вельс и Штампфер несут последними словами руководителей коммунистической партии за то, что они хотят прибегнуть к оружию всеобщей забастовки. Социал-демократы называют коммунистов «провокаторами» и призывают рабочих «не попадаться на их удочку». Так разоблачает себя германская социал-демократия, которая оказалась неспособной даже защитить свою веймарскую демократию, не говоря уже о борьбе за уничтожение власти капитала. На двенадцатом пленуме ИККИ (в сентябре 1932 г.) и на всегерманской партконференции (октябрь 1932 г.) Тельман подводит в своих докладах итоги 20 июля. Он дает следующую оценку роли германской социал-демократии: «Мы в Германии, — говорит он, — правильно оцениваем социал-демократию, следуя сталинскому определению роли «близнецов». Можно сказать, что все политическое развитие Германии представляет как бы наглядный урок в доказательство правильности тезиса тов. Сталина, согласно которому «фашизм и социал-фашизм не противники, а близнецы, и не только не исключают друг друга, а друг друга дополняют».

Эрнст Тельман всегда со всей резкостью и решительностью выступал против какого бы то ни было ослабления борьбы против социал-демократии, — он неоднократно заявлял о недопустимости противопоставления фашизма социал-фашизму. Но точно так же всегда возражал Тельман и против недопустимости схематического отождествления

фашистов с социал-фашистами. Идея единого фронта всегда была доминирующей в установке Тельмана, и, повторяем, нельзя себе представить более трагического положения, чем положение томящегося сейчас в фашистской тюрьме вождя германской компартии, вынужденного к бездействию в то время, когда в Германии лозунг единого фронта является ведущим лозунгом в рабочих массах. Единственным утешением в его трагическом положении может служить то, что одним из тех лозунгов, которые мобилизуют массы на осуществление единого фронта, является лозунг с требованием освобождения Эрнста Тельмана.

Отклонение социал-демократией предложения коммунистической партии, во главе с Эрнстом Тельманом, осуществить единый фронт неизмеримо повысило авторитет партии и личный авторитет Тельмана в глазах германского рабочего класса, в глазах всех германских трудящихся. Они осознали и правильность политики коммунистической партии, и, еще более, ее непоколебимую болю к осуществлению единства рабочего класса, которое является залогом окончательной победы пролетариата над буржуазией. Любимым выражением Тельмана, всегда лично редактировавшего все воззвания германской коммунистической партии по вопросам единого фронта, было: «Надо протянуть братскую руку социал-демократическому рабочему». Тельман неоднократно заявляет: «Наша партия не знает узкопартийных интересов. Она знает только классовые интересы пролетариата. Мы обращаемся к нашим социал-демократическим братьям по классу без всяких задних мыслей. У нас нет тактических маневров, нет оговорок и каких-либо условий. Вернее, мы ставим одно только условие — единый фронт должен быть осуществлен во имя борьбы за классовые интересы пролетариата против классового врага — буржуазии, во имя победы рабочего класса, во имя победы социализма».

Задолго до того, как фашистская диктатура стала готовить против Тельмана процесс по обвинению его в госу-

дарственной измене, социал-демократический гамбургский сенат, еще в условиях демократической республики, лишил Тельмана его депутатской неприкосновенности, чтобы дать возможность правительству, подготовлявшему фашистскую диктатуру, бросить главного ее противника в тюрьму. Социал-демократический полицейский президент гор. Галле организовал еще в 1925 г. покушение на жизнь Тельмана, пытаясь лишить германский рабочий класс его вождя — так же, как в январские дни 1919 г. германская буржуазия обезглавила германскую революцию, убив Карла Либкнехта и Розу Люксембург.

Ленин однажды спросил: — благодаря чему большевизм стал велик и силен? — и ответил: — исключительно благодаря борьбе против оппортунизма.

Эти слова Владимира Ильича великолепно применимы и к Эрнсту Тельману, который вырос в борьбе против оппортунизма и именно поэтому был бы теперь естественным вождем германского рабочего класса в его борьбе против фашизма. Тельман всегда руководился своим верным классовым инстинктом, и этот свой классовый инстинкт он мастерски умел сочетать с углубленным изучением теории и практики Ленина и Сталина. Инстинкт и познание уроков классовой борьбы побуждали Тельмана к неустанной и неумолимой борьбе против всех тех, кто пытается затормозить развитие германской компартии в массовую большевистскую партию, кто фальсифицирует ее цели, пытаясь внести путаницу и неясность в ее четкую платформу классовой борьбы. Неумолимая борьба Эрнста Тельмана против малейших колебаний и уклонов внутри партии, его резкие и беспощадные атаки на оппортунизм никогда не выливались у него в бюрократическую догматику, а всегда были выражением его подлинно-большевистских попыток помешать проникновению в компартию буржуазным, контрреволюционным концепциям.

Уже в 1919 г. Тельман со всем своим революционным энтузиазмом выступает против правых оппортунистов, которые

умели только плакать по поводу поражения германской революции, — они, к примеру, считали, Баварскую советскую республику обреченной на поражение. Тельман выступает с энергичным требованием поддержки борьбы баварских коммунаров.

В 1921 г. Тельман приветствует восстание в Средней Германии и, как мы видели, возглавляет борьбу против Пауля Леви, который дает революционерам оскорбительную кличку путчистов. В гамбургской организации Тельман ведет, перед историческим восстанием, борьбу не только против Брандлера и всего оппортунистического руководства германской компартии, но и против тогдашнего секретаря Приморского округа Урбанса, за левацкими перегибами которого Тельман уже тогда разглядел будущего троцкиста и контрреволюционера. Тельман ведет энергичную борьбу против так называемых «национал-большевиков», группирующихся вокруг Лауфенберга. Заслугой Тельмана является разгром этой кучки интеллигентов. Наконец в недрах независимой социалистической партии Тельман является одним из энергичнейших застрельщиков и сторонников принятия 21 условия Коминтерна, убежденным сторонником демократического централизма и большевизации будущей массовой коммунистической партии.

Гамбургское восстание в октябре 1923 г., подготовка этого восстания, его проведение и использование его уроков решительно выдвинули Эрнста Тельмана в первые ряды борцов против оппортунизма.

Пример гамбургских пролетариев позволяет германской коммунистической партии быстро преодолеть наступившее после октябрьского поражения состояние депрессии. По инициативе Эрнста Тельмана, загнанная в подполье партия требует смены оппортунистического руководства. Став фактически вождем партии, Тельман со всей своей настойчивостью добивается осуществления в Германии подлинно-большевистской линии в области массовой работы. Впервые в истории германской компартии имеется вождь, который всегда

может опереться на подавляющее большинство членов партии в борьбе против любых антиленинских течений, все равно — лево- или правооппортунистического порядка.

После разгрома брандлеровского оппортунизма на франкфуртском съезде (1924 г.) в партии замечен новый оппортунистический уклон — пропаганда мелкобуржуазных, контрреволюционных воззрений группы Шолема, Розенберга и Каца. Тельман быстро и решительно ликвидирует эту группу. Он же выступает затем инициатором борьбы против так называемого «центрального комитета Рут Фишер», организовавшегося после устранения брандлеровского руководства и, несмотря на предостережение со стороны Коминтерна, саботировавшего применение тактики единого фронта. Именно Эрнст Тельман одним из первых в Германии сумел разглядеть под «левыми» фразами Рут Фишер и других оппортунистическую практику, которая приводила к значительному сужению массового влияния партии. Тельман подписал известное открытое письмо Коммунистического интернационала КПГ (1925 г.), в котором разоблачаются эти лево-сектантские тенденции. Одна из исторических заслуг Тельмана заключается в том, что благодаря его борьбе против оппортунизма во всех его видах Коммунистический интернационал мог констатировать, что в германской компартии наблюдается лишь банкротство отдельных «левых» лидеров, но никак не банкротство подлинно-левого большевистского курса, который германская коммунистическая партия взяла после отстранения брандлеровского руководства. Главным проводником нового, подлинно-левого, подлинно-большевистского курса был Эрнст Тельман.

Впоследствии, в 1928—1929 гг., правые и примиренцы сделали попытку перенести центр тяжести политики единого фронта снизу вверх, подвергнув пересмотру решения съезда партии в Эссене по этому вопросу. Эрнст Тельман немедленно разоблачил оппортунистический характер этих попыток и их опасность для всей стратегии и тактики коммунистической партии. Правые и при-

миренцы предлагали, вместо установления единого фронта с социал-демократическими рабочими на предприятиях и в пролетарских кварталах, вести переговоры с руководителями социал-демократии. Эверт выдвинул тогда лозунг: «Надо принудить социал-демократических бонз». Но Тельман немедленно же понял, что такая постановка вопроса помогла бы социал-демократическим вождям отвлечь внимание рабочих от единого фронта снизу. Поэтому Тельман со всей большевистской решительностью выступил против оппортунистической, хвостистой политики правых оппортунистов и примиренцев. На VI конгрессе Коминтерна политика Тельмана получила единодушное одобрение всех коммунистических партий. Авторитет Тельмана особенно возрос потому, что политику германских примиренцев подверг жестокой критике тов. Сталин.

Оппортунисты, под руководством брандлеровцев и примиренцев, попытались в 1928 г. дискредитировать тов. Тельмана как вождя партии. Нечего и говорить, что оппортунисты всех мастей блокировались в борьбе против тов. Тельмана с той целью, чтобы добиться изменения генеральной линии партии, олицетворявшейся Тельманом. Но так как Тельман был олицетворением и символом большевистской политики компартии в глазах всех рядовых членов партии и всего революционного авангарда германского рабочего класса, то, опираясь на эти массы, большинство ЦК быстро ликвидировало все выпады, организованные брандлеровцами и примиренцами против Тельмана. Во время этой борьбы особенно ярко проявилась преданность революционного авангарда германского рабочего класса своему вождю, его глубокая вера в Эрнста Тельмана.

История большевистской ленинской партии, боровшейся под руководством Ленина и Сталина, учит нас тому, что борьба против оппортунизма должна быть постоянной, последовательной и упорной. Только тогда большевистская партия может продолжать курс на победу над буржуазией, не позволяя проникать в свои ряды буржуазным и

контрреволюционным влияниям. Эрнст Тельман великолепно усвоил этот великий большевистский урок и опыт. В усвоении этого опыта помогли ему как углубление теоретического познания классовой борьбы, так и прозорливость, получающаяся в результате сочетания большевистской теории и практики. Едва были разбиты правые оппортунисты с их теориями единства и беспринципных блоков, как оппозиция в рядах германской компартии качнулась в другую, «левую» сторону. Появилась теория, дошедшая в своем непонимании политики единого фронта до отождествления социал-демократических рабочих с социал-демократическими бонзами, даже с кровавыми псами германской революции вроде Носке и Цергибеля. Тельман со всей большевистской энергией и резкостью подвергает критике эту ультра-левую, по существу мелкобуржуазную, установку. В особенности памятна его речь, которую он произнес на мартовском пленуме ЦК германской компартии (1930 г.), — против теоретиков «Цергибелей в миниатюре».

1931 и в особенности 1932 г. проходят для германской партии под знаком борьбы Тельмана против новой антипартийной группировки: Неймана и Ремелле, — в партии и Курта Мюллера — в комсомоле. XII пленум ИККИ, всегерманская конференция в октябре 1932 г. и в первую очередь окружные партконференции были теми трибунами, с которых Эрнст Тельман разоблачал Неймана Ремелле и других, пытавшихся, под заслоном «левых» фраз, повести партию в болото правого оппортунизма. Именно теперь, когда германский рабочий класс и его революционный авангард — германская коммунистическая партия, — следуя основным линиям, сформулированным еще Тельманом, борется с фашизмом, интересно напомнить, в чем заключалось существо взглядов Неймана. В то время как национал-социалистское движение продолжало расти и шириться и приход к власти Адольфа Гитлера становился вполне реальным, Нейман пытался убедить партию, что наблюдается спад фа-

шистского движения. Другими словами, Нейман пытался ослабить ту оборонительную борьбу, которую германский рабочий класс и его коммунистическая партия вели против фашизма. Нейман, далее, неправильно пытался убедить партию, что правительство Брюнинга уже есть правительство фашистской диктатуры. Он упорно отстаивал неверный лозунг: «Бей фашиста, где бы ты его ни встретил», и тем затруднял борьбу партии, которую она, опять-таки по инициативе Тельмана, вела против попыток индивидуального террора. Нейман и Ремелле особенно «горячо» выступали против тельмановского лозунга: «Протянем руку социал-демократическому рабочему», пытаясь убедить партию, что Тельман плетется в хвосте социал-демократических рабочих. Наконец в профсоюзном вопросе правые оппортунисты и любители левой фразы, во главе с Нейманом, ратовали за выход коммунистов из профорганизаций, в то время как Тельман всегда выступал за самое энергичное развитие работы революционной оппозиции в профсоюзах.

Вместе с Коминтерном Эрнст Тельман при поддержке некоторых своих друзей и товарищей из руководства компартии вступил в борьбу против группы Неймана — Ремелле и быстро ее ликвидировал. Теперь, после прихода Гитлера к власти, наглядно видно, насколько был прав Тельман в своей энергичной борьбе против этой группы. Нейман и Ремелле фактически отстаивали социал-фашистские пораженческие теории в партии. Пытаясь ослабить борьбу против фашизма до его прихода к власти, они хотят теперь возложить на Тельмана и всю партию вину за то, что в Германии победил фашизм. Эти оппортунисты и паникеры, уже после ареста Тельмана, оскорбляли и носили его, дойдя затем, — в постановке вопроса о расколе партии, — до «последней черты» в своем банкротстве. XIII пленум ИККИ заклеил преступные планы Неймана—Ремелле, послав заключенному в фашистской тюрьме вождю германской компартии пламенный боевой привет всего международного рабочего движения.

Передовые борцы международного рабочего движения знают, что бороться и победить фашистскую диктатуру рабочий класс может только под руководством подлинно большевистской партии. Организатором борьбы коммунистической партии с фашизмом является Тельман, хотя он и не может сейчас принимать физического участия в этой борьбе. Большевикизация германской коммунистической партии является в значительной мере личным делом Эрнста Тельмана, который сумел претворить в жизнь заветы Маркса, Ленина и Сталина, сумел подлинно по-большевистски развернуть массовую работу партии, которая продолжается в Германии и теперь, когда сам Тельман находится в фашистской тюрьме. Огромной заслугой Тельмана является и то, что тов. Мануильский, говоря о положении в Германии на XVII съезде ВКП(б), мог заявить: «Когда в Германии низовая группа товарищей собирается в лесу около десятка раз, чтобы в выпускаемом ими номере газеты не проскользнуло никаких политических ошибок и уклонов, то это кое о чем говорит. Люди боятся уклона больше, чем смерти. На борьбе с правым уклоном как главной опасностью и «левым» уклоном крепнул и большевикизировался Коминтерн».

Делегаты XVII съезда нашей партии покрыли громом аплодисментов слова тов. Мануильского, который, воздав должное заслугам Эрнста Тельмана, констатировал: «Ни одна секция Коминтерна не дрогнула после прихода фашистов к власти в Германии. Ремелле и Нейман не могли сколотить пораженческой группы в рядах КПП».

На этом же съезде тов. Мануильский объяснил, почему борьба против уклонов и ошибок в наших рядах носит такой упорный и систематический характер. Он сказал: «Вопросы, которые решались этой борьбой, были вопросами, от которых зависели судьбы всего мирового рабочего движения».

В этих словах тов. Мануильского — оценка всей внутрипартийной работы тов. Тельмана до его ареста фашистами.

Таким же большевиком-революционером был Тельман и на профсоюзной ра-

боте, в которой он принимал участие в течение более 25 лет. Еще в довоенные годы Эрнст Тельман предостерегает профсоюзное движение от сращивания его организационного аппарата с государственным аппаратом капиталистической страны. Он ведет среди своих товарищей по работе упорную борьбу за сохранение боевого характера профсоюзов. Еще на VIII съезде профсоюза транспортников в Бреславле Тельман указывает на перегибы, которые допускаются в вопросе оказания пособий членам профсоюза. Он указывает, что профсоюз может потерять свой боевой характер и превратиться в организацию помощи, в своего рода благотворительную организацию. На съезде транспортников в 1914 году Тельман выступает против долгосрочных тарифных договоров, при помощи которых рабочих надолго связывали неприемлемыми условиями в ухудшающейся обстановке. После мировой войны (1919 г.) Тельман на съезде транспортников в Штутгарте выступает против политики гражданского мира в профсоюзах. Цитируя Маркса, Тельман указывает на то, что не надо дать профсоюзному движению зайти в тупик тред-юнионизма. Тельман говорил тогда о том, что профсоюзное движение не должно скатываться в болото экономической партизанщины, а должно становиться широким политическим боевым движением.

В этой связи очень интересно выступление Тельмана на берлинском съезде транспортников в 1922 г. Здесь он борется против пресловутого утверждения реформистов, что 8-часовой рабочий день является продуктом соглашения с предпринимателями. Тельман доказывает, что 8-часовой рабочий день был завоеван рабочими во время революционного штурма 1918 года. Как истинный большевик, он расценивает такого рода реформы исключительно в качестве побочного продукта классовой борьбы, подчеркивая всегда и везде, что никогда нельзя упускать из виду основную и конечную цель — освобождение рабочего класса от рабства наемного труда.

Когда в 1929 г. исполнилось 25-летие профсоюзной деятельности Тельма-

на, объединение германских профсоюзов рабочих транспорта выдало ему почетную грамоту, в которой благодарило за верную и преданную работу. Профсоюзные реформисты, ненавидевшие Тельмана, вынуждены были подписать эту грамоту по формальным соображениям. Эту грамоту Тельман смог предъявить делегации социал-демократических рабочих — для опровержения клеветнического утверждения «Форвертса» о том, что он никогда не имел ничего общего с профсоюзным движением. Заслуги Тельмана перед профессиональным движением в Германии не удержали профсоюзных реформистов от исключения Тельмача из Всеобщего объединения германских профсоюзов. Они мотивировали это исключение тем, что Тельман является председателем коммунистической партии и принимает участие в организационной работе революционной профопозиции. Тельман ответил на это исключение известным письмом, в котором он изложил содержание и смысл 60-летнего германского профессионального движения. Письмо заканчивалось страстным призывом ко всем классово-сознательным рабочим, которых он призывал объединиться вокруг знамени революционного профдвижения.

Революционные заслуги Тельмана в области профессионального движения имеют особенное значение в современной Германии, потому что выдвинутые в свое время Тельманом лозунги еще и теперь противопоставляются революционным авангардом германского рабочего класса фашистскому лозунгу «мира в промышленности». Тельман всегда боролся за идею широкой революционной работы профсоюзной оппозиции. Он, в соответствии с решениями IV и V конгрессов Красного Профинтерна, горячо и энергично проводил в Германии выдвинутую тов. Сталиным в президиуме ИККИ еще в конце 1928 г. линию самостоятельной революционной борьбы и самостоятельного руководства стачками. Вопреки всем упрекам правых и примиренцев, Тельман в Германии первым усвоил мысль тов. Сталина о том, что в профсоюзном движении коммунисты не должны быть рабами

норм и требований реформистских профсоюзов, что борьба, которую ведут коммунисты, не может проходить без прорыва существующих рамок реформистского профдвижения. Ряд крупных экономических боев (стачки горнорабочих в Рурской области, забастовка трубопрокладчиков в Берлине, стачка берлинских металлистов и т. д.) показали, что правильная стратегия и тактика Тельмана привели к новому подъему стачечного движения. Углубленное освоение учения Ленина и Сталина приводит к тому, что Тельман становится отважным борцом не только за революционное стачечное движение, но и за массовую стачку. На съезде партии в Веддинге (Берлин), а в особенности на X, XI и XII пленумах ИККИ и на последующих съездах германской компартии, Тельман страстно и убежденно выступает в пользу всеобщей и политической массовой забастовки. Он указывает при этом на необходимость организации движения революционных уполномоченных. Он требует образования крепких производственных ячеек и профсоюзов. Он не устает подчеркивать, что, обогащаясь новым опытом стачечной борьбы, пролетариат приближается к массовой стачке, что во имя массовой стачки необходима широчайшая популяризация стачечного движения. Неустанно следит Тельман за тем, чтобы партия и весь рабочий класс Германии неизменно считались с необходимостью политической всеобщей забастовки, которая может послужить рычагом свержения капиталистического государства.

Революционный вожь рабочего класса Германии не может не быть одним из самых энергичных руководителей Коммунистического интернационала. Впервые Тельман участвует в его работах как делегат III конгресса. Тельман тогда впервые посетил Советскую Россию, впервые видел и слышал Ленина. Всем участникам конгресса бросилась тогда в глаза фигура гамбургского пролетария, и Владимир Ильич обратил особое внимание на будущего вождя германской коммунистической партии. Владимира Ильича поразило то, что во

время речи, с которой Тельман выступил в прениях по поводу мартовских событий 1921 года в Германии, он сумел совершенно отвлечься от своей собственной личности и говорил только о том, что чувствуют и думают массы, доказав этим свою теснейшую связь с ними.

После избрания в Исполком Коминтерна Тельман всегда и везде горячо борется за поддержание авторитета Коммунистического интернационала в международном рабочем движении. В одной из своих последних больших речей, в докладе на всегерманской партконференции в октябре 1932 года, Тельман сказал: «Наше отношение к Коминтерну, тесная, неразрывная, основанная на доверии, связь КПГ с Коммунистическим интернационалом и его Исполкомом являются одним из важнейших последствий развития нашей партии, ее внутриполитических боев и стачек, ее повышенной политической зрелости. Эти, основанные на доверии, взаимоотношения являются стержнем большевизации нашей партии».

Об этой верности Коммунистическому интернационалу Тельман говорил также и делегации социал-демократических рабочих. Он указал на то, что КПГ связывает с Коминтерном решение учиться на революционном опыте большевиков, чтобы и в Германии свергнуть власть капиталистов и построить социализм. Как убежденный интернационалист, Тельман не только пользовался опытом международного рабочего движения в пользу германской партии, но и пытался, пользуясь своим богатым опытом, давать советы братским коммунистическим партиям. В 1926 году, после майского переворота Пилсудского, Тельман выступил со статьей против оппортунистической линии тогдашнего ЦК КПП. На XII пленуме Коминтерна Тельман предостерегал чешскую партию от расплывчатой, оппортунистической теории единого фронта, которую выдвинул будущий ренегат Гутман. Наконец исторической заслугой Тельмана является то, что он во время борьбы нашей партии с контрреволюционным троцкизмом, не колеблясь, немедленно стал на сторону великого вождя нашей

партии и международного пролетариата — тов. Сталина. Тельман, одним из первых в Германии, усвоил учение Ленина и Сталина о построении социализма в одной стране. Он особенно хорошо усвоил — и блестяще проводил — политику защиты Советского Союза от нападения со стороны капиталистических стран. (Тельман, чем он ближе знакомился с тов. Сталиным, становился все более пламенным, и не только политическим сторонником, но и личным его другом и почитателем. Тельман всегда видел в тов. Сталине величайшего стратега и тактика мирового большевизма, гениального продолжателя дела В. И. Ленина. Исторической заслугой Тельмана является и то, что он был неутомимым инициатором глубокого изучения трудов Ленина и Сталина рядовыми членами германской компартии. В этом подавал им пример он сам: из трудов Ленина и Сталина Тельман черпал вдохновение для своей революционной работы.

Германские фашисты великолепно понимают, какого опасного врага они имеют в лице Эрнста Тельмана, — Тельман в своей борьбе против фашизма всегда старался, прежде и раньше всего, ярко и выпукло показать классовое содержание фашистской диктатуры. Он первым поставил вопрос о необходимости разоблачить фальшивую демагогию так называемой национально-освободительной программы фашизма. На янгарском пленуме КППГ в 1931 году Тельман дал следующее определение фашистской диктатуре: «Таким образом, классовое содержание фашистской диктатуры несомненно характеризует последнюю как диктатуру финансового капитала, сопровождающуюся осуществлением максимального террора».

При этом Тельман определил роль социал-демократии как вспомогательной полиции откровенного фашизма. Демагогическому национально-освободительному лозунгу национал-социалистов Тельман противопоставил лозунг народной революции. Он заявил на большом конгрессе антифашистского фронта: «Ло-

зунг народной революции является исключительно синонимом пролетарской революции, является популярной формулировкой, включающей в себя ленинский тезис о том, что пролетариат, под руководством революционной партии, должен сделать трудящихся города и деревни своими союзниками».

Фашистские диктаторы именно потому так боятся Тельмана, что никто другой не умел лучше вербовать союзников пролетариата в рядах трудящегося крестьянства. Упорной пропагандистской работой добивался вождь коммунистической партии Германии освобождения крестьянских и мелкобуржуазных масс из-под фашистского влияния. По инициативе тов. Тельмана в 1931 году компартия выработала программу помощи крестьянству, благодаря которой в широких массах трудящегося крестьянства стали расти симпатии в пользу коммунистического движения. Весьма энергично выступает Тельман и в пользу все более пауперизирующейся, в условиях небывалого экономического кризиса, прослойки служащих, которым живется отнюдь не лучше, а чаще и хуже, чем рабочим. Тельман пытается сделать этих служащих союзниками борющегося за освобождение всех трудящихся пролетариата. Тельман получает сотни и тысячи писем от крестьян и служащих, не говоря уже о рабочих. Эти письма свидетельствуют о том, как возросла популярность вождя коммунистической партии в широких массах трудящихся. В особенности растет сочувствие широких масс к политике коммунистической партии, когда, опять-таки по инициативе Тельмана, коммунистическая партия перед лицом фашистского террора выступает против индивидуального террора, противопоставляя фашистскому террору массовую разъяснительную работу. В 11-м и 12-м номерах журнала «Интернационал» за 1931 г. Тельман разъясняет смысл выступления партии против индивидуального террора, объявляя, что это выступление отнюдь не является только тактическим маневром. Тельман писал тогда: «Всякое пренебрежение, проявленное в борьбе против индивидуального террора,



всякое примиренческое отношение к нему лишь облегчило бы национал-социалистам и тем самым буржуазии отвлечение рабочего класса от решающих революционных задач массовой борьбы».

Тельман подчеркнул, что «средство освобождения трудящихся из-под влияния фашизма дано в стачках, выступлениях безработных, забастовках квартирников, наемщиков, налоговых забастовках и наконец в массовой политической стачке, во всеобщей стачке во имя свержения диктатуры капитала».

Теперь, после событий 30 июня 1934 г., когда Адольф Гитлер, по указке монополистического капитала, расстрелял нескольких видных руководителей штурмовых отрядов, сильно умалив роль этих отрядов, особенно следует помнить то, что сказал Эрнст Тельман во время массового собрания в ноябре 1931 года по адресу тех обездоленных мелких буржуа и деклассированных пролетариев, которые входят в состав штурмовых отрядов. Тельман тогда сказал: «Недовольным штурмовикам и охранникам мы напоминаем о нашей исторической борьбе против версальского угнетения. Мы говорили: сейчас вы обращаете свое оружие против своих революционных братьев, против истинных борцов против Версаля, против пролетарской армии борцов за свободу. Сейчас вы по приказу фашистских главарей расстреливаете честных борцов за социализм. Но знайте: пробьет час, когда и вы поймете, что ваши вожди предали и продали вас, что вас использовали, как пользуются ландскнехтами».

Поистине трагической является судьба вождя коммунистической партии, который не только дал правильную установку рабочему классу в его борьбе против фашизма, но даже предсказал отдельные этапы борьбы внутри фашистского лагеря. Теперь, когда революционный авангард германского рабочего класса мог бы использовать под его руководством весь его опыт в борьбе против фашистской диктатуры, Тельман вынужден ограничиться весьма пассивной ролью, являясь лишь живым лозунгом этой борьбы!

Эрнст Тельман никогда не считался блестящим оратором. Сила его влияния на массы и залог авторитета — не в ораторских выступлениях. Наоборот, Тельману всегда претили всякие риторические и высокопарные украшения речи. Он говорит просто, — так, что его может понять любой трудящийся города и деревни. В особенности легко понять Тельмана рабочему. Германского рабочего всегда прельщало в речах Тельмана то, что он никогда не пытался льстить ему, купив этой лестью его одобрение. Тельман всегда считал своим долгом говорить массам правду: он всегда говорил германским рабочим то, что думал. Каждое его выступление — задуманная беседа рабочего со своими товарищами по классу. Между Тельманом и Августом Бебелем имеется большое сходство в этом подходе к массам. Но еще большее сходство между популярнейшим вождем германской социал-демократии и вождем коммунистической партии заключается в том, что оба они всегда, после любых классовых боев, беспощадно подводят итоги, отмечая не только достижения и успехи, но и ошибки и неудачи рабочего движения. Особое искусство Тельмана заключается в том, что такая его критика никогда не оскорбляла ни партийных работников, ни рабочие массы. Наоборот, она всегда оказывала на них воспитательное действие. Выступления Тельмана с критикой их действий всегда давали партийным работникам и рабочим материал для поучительных размышлений, служили толчком для дальнейшей работы над собой.

Вся сила авторитета Тельмана особенно ярко сказывалась на заседаниях ЦК, на конференциях и съездах партии. Перед важными заседаниями центрального комитета, перед обсуждением основных политических вопросов на конференциях и съездах Тельман проводил целые дни и ночи над проработкой насущных проблем политики партии. В своей скромной берлинской квартире он ночами сидел за классиками марксизма, за трудами Маркса, Ленина, Сталина, за газетами и сообщениями местных партийных организаций. Он старательно записывал все

те вопросы, которые казались ему основными и важными, заранее шлифовал и уточнял формулировки своего выступления. Тельман знает, что каждая из тех политических формулировок, которые он дает, должна бить в цель, должна быть точной и ясной, не вызывающей никаких сомнений и колебаний. Только после такой подготовки выступает он перед членами ЦК на конференции или съезде, где с неумолимой резкостью анализирует уклоны и неверные установки, ясно развивает главные выводы и уроки и затем логически приходит к формулировкам генеральной линии партии. Слушатели чувствуют, как аргументация его становится все более убедительной, и когда Тельман приходит к заключительному выводу, этот вывод является не только естественным для слушателей, — он напрашивается сам собой.

В центральном комитете партии, т.е. в доме им. Карла Либкнехта, в партийной школе им. Розы Люксембург в Фихтенау, на своей квартире, — повсюду окружает Тельмана атмосфера товарищеского доверия. Его предположения и доводы неизменно выслушиваются с величайшим вниманием. Его понимают с полуслова, — он относится к своим товарищам по борьбе, к своим ближайшим соратникам и сотрудникам с редким уважением, вниманием и чуткостью. Они всегда знают, что первая забота Тельмана в борьбе за генеральную линию партии — мобилизовать весь партийный коллектив, вести эту борьбу сплоченной, монолитной массой.

Даже те из членов партии, которые в пылу полемики выступали против Эрнста Тельмана, всегда признавали, что Тельман, несмотря на резкость своих выступлений и беспощадность аргументов, никогда не был мелочным: он подходил к разногласиям по-товарищески, по-деловому. В партии Тельман никогда не знает чувства личной вражды. Он всегда готов подать руку своим бывшим противникам, если они готовы вместе с ним бороться в интересах партии. Ничто так не претит Тельману, как интриги, слабохарактерность, чувствомести или те колебания, которые являют-

ся результатом принципиального оппортунизма и влечения к соглашательству. Не может Тельман простить также недостаточной связи с рабочими массами. Связи с рабочими массами он требовал в первую очередь. Рабочим массам он отдавал каждую минуту своего свободного времени. Он был счастлив, если ему удавалось после рабочего дня где-нибудь в рабочем квартале Берлина, Гамбурга или Рурской области выпить кружку пива в среде рабочих. Он всегда — и великолепно — знал положение трудящихся по своему личному опыту и наблюдениям. В особенности чутко относился Тельман к надеждам и чаяниям рабочей молодежи, — он очень много времени посвящал работе среди германского комсомола. Он несколько раз ставил перед партией проблему молодежи. Особенно дорога была ему братская солидарность трудящейся молодежи разных стран. В Париже он заявил: «Мы, коммунисты, хотим собрать под нашими знаменами трудящуюся молодежь Германии и Франции, которая не пережила ужасов и бедствий империалистической войны».

Тельман провел лучшие годы своей молодости на фронте империалистской войны. Мечтой его жизни было освободить пролетарскую молодежь от кошмара грядущей империалистской бойни.

Вся личная жизнь Тельмана проходила как бы под контролем рабочих масс. Клевета фашистских писак о попойках, в которых будто бы участвовал Тельман, всегда вызывала в рабочих кругах Германии презрение и ненависть. Тельман всегда боролся за сохранение чистоты и порядочности в рабочем движении. Он требовал от себя и от всех работников партии отказа от саморекламы, от ненужной шумихи. Тельман категорически отказывался от приема буржуазных интервьюеров или фотографов. Но его двери всегда были широко открыты для трудящихся города и деревни. Он был прекрасным товарищем в личной жизни. Недаром то ласковое имя «Тедди», которое дали ему его ближайшие товарищи по борьбе, стало популярным в широчайших массах рабочего класса. Когда рабочие встретили его этим име-

нем на массовом собрании в Дортмунде, буржуазная газета «Дортмундер анцейгер» писала: «Имя Тедди, которым прозвали Тельмана рабочие, свидетельствует о том, что этот человек одарен добродушием медведя и тесно связан с массами».

Когда маленькая дочь Тельмана в письме отцу пожаловалась ему, что он слишком редко пишет своей семье, он ответил ей: «Ко мне, а тем самым и к партии, обращается так много пролетарских детей, у которых нет куска хлеба, у меня так много людей просят помощи, что я должен о них думать в первую очередь. Моя семья это не только ты, мать и дед. Моя семья — весь рабочий класс».

Жизнь Тельмана является куском истории германской коммунистической партии. И не случайно лозунг борьбы за освобождение Тельмана стал лозунгом борьбы за освобождение Германии от фашистской диктатуры. Германские фашисты нанесли партии сильнейший удар, захватив в плен Эрнста Тельмана. Но они не обезглавили партию: именно Тельман воспитал партию так, что она, в отсутствие Тельмана, может бороться, идя по его стопам и поднимая, в качестве боевого лозунга, его имя. В трагическом положении Тельмана, вынужденного к тюремному безделью и страданиям от физических и моральных мук фашистских палачей, это сознание боеспособности партии, вождем которой он остается, является величайшим утешением.

В начале 1934 года тов. Вильгельм

Пик в статье, посвященной 15-летию партии, писал от имени ЦК партии и Коминтерна: «Правильность политики германской коммунистической партии под руководством Тельмана, подтвердившаяся в решающей борьбе на два фронта, теперь подтверждена фактами. Усвоив учение большевизма, учение Ленина, под руководством Коммунистического интернационала, во главе с тов. Сталиным, КПП стала подлинно-большевистской массовой партией, которая оказалась способной организовать революционную массовую борьбу даже в самой тяжелой обстановке. Влияние КПП выросло в колоссальной степени. Большевистская партия Тельмана стала вождем миллионов. Она сумела показать германскому рабочему классу революционную перспективу его грядущей победы. В огне борьбы против фашизма и социал-фашизма, в энергичнейшей борьбе на два фронта выстроила КПП свои ряды, воспитала новое поколение революционных бойцов, вооруженных учением Ленина и способных бороться против любых трудностей».

В коммунистической партии Германии, борющейся за освобождение своего вождя из фашистской тюрьмы, живет боевой дух Эрнста Тельмана. Его именем борется партия за мировую революцию, за освобождение мирового рабочего класса. На всех участках классовой борьбы в Германии, — на фабриках и заводах, в рабочих кварталах и в деревнях, — несет партия знамя Тельмана — во имя конечной победы социализма.

# Люди и факты

1. Акад. Н. И. ВАВИЛОВ — Праздник советского садоводства. 2. О. РОГДАЕВА — Путь Мичурина

## 1. ПРАЗДНИК СОВЕТСКОГО САДОВОДСТВА

(К 60-летию юбилею И. В. Мичурина)

Акад. Н. И. Вавилов

Героика наших дней выдвигает новых людей. Им принадлежит великое настоящее и будущее; перед ними открыт беспредельный простор увлекательной многообразной деятельности, направленной на создание высокой социалистической культуры.

Среди этого архива, поднятого из недр огромной страны, особенно дороги нам те немногие единицы, которые еще во мраке прошлого начали большое, близкое для нас дело. Невзирая ни на какие трудности прошлого, они донесли свой труд до наших дней и ныне активно участвуют в стройке новой жизни. Их подвиги особенно рельефны на фоне прошлого.

«Чем ночь темней, тем ярче звезды»...

Среди этих людей выделяется крупная фигура замечательного оригинатора, творца новых растительных форм, Ивана Владимировича Мичурина, 60-летний юбилей которого в нынешнем году справляет Советская страна.

В чем подвиг И. В. Мичурина?

60 лет назад, когда сельскохозяйственная наука была в эмбриональном состоянии в нашей стране, когда еще не было ни одной опытной сельскохозяйственной станции, 20-летний юноша Мичурин подходит к наиболее отсталой отрасли сельского хозяйства — садоводству. Его поражает низкий уро-

вень нашего северного плодородства, случайный набор в садах малоценных сортов, плохо выдерживающих условия зимы, низкое качество плодов. Везде и всюду одни и те же антоновки, борозинки и прочие монастырские древности. При этом все запущено. Плодородство в царской России не привлекало внимания ни правительства, ни широкой общественности.

Без всякой поддержки, по личной инициативе и на овой ничтожные средства, в скромнейших условиях начинает Иван Владимирович трудовой подвиг оригинатора в суровом климате города Козлова на 53° сев. широты. Для многих улучшение плодовых сортов в то время казалось делом безнадежным. Взяться за него значило обречь себя на многие годы усилий. Селекция как наука еще только зарождалась в хаосе доморощенных традиций и ламаркистских идей, господствовавших в то время. Это был период веры во всемогущество длительной акклиматизации южных сортов. Считалось, что южные сорта, путем прививки на холодостойкие расы, постепенно должны сами сделаться стойкими и выносливыми к северным морозам.

Нужна была самоотверженность, большая воля и настойчивость для того, чтобы взяться за это трудное дело. Бо-

лее десятка лет ушло у Мичурина на проверку этих теорий, чтобы убедиться в их неправильности. Пройдя эту обычную для того времени рутину западноевропейской науки, убедившись в неверности старых воззрений, Мичурин приступает к проверке другой школы — Бан Монса, утверждавшей, что наиболее верным путем для создания сортов плодовых деревьев является отбор сеянцев из семян лучших сортов. Это более надежный путь, но и он не удовлетворяет Мичурина: для него становится совершенно ясным, что только путем решительной переделки ассортимента старого времени можно продвинуть плодоводство к северу.

Мичурин приступает к скрещиванию близких сортов, пытаясь получить сочетания наших местных форм с лучшими западноевропейскими сортами. Так им выводится ряд ценных сортов. Накопление опыта приводит Ивана Владимировича к переоценке однако и самого метода гибридизации. В то время как селекционеры за границей для улучшения своих сортов довольствовались обычно скрещиванием близких форм, в расчете на быстрое получение положительных результатов, — Иван Владимирович силой фактов приходит к использованию отдаленной гибридизации, скрещивания отдаленных географических рас различных видов и родов, становится на путь радикального изменения растений в смысле повышения их зимостойкости, болезнеустойчивости и качества сортов. Логически он приходит все более и более к признанию роли отдаленных скрещиваний в плодоводстве. Для Мичурина стало ясным, что наиболее ценные свойства сортов плодовых для наших суровых условий Севера — холодостойкость, болезнеустойчивость, высокое качество плодов в природе, — распределены между отдаленными видами и даже родами, свойственными отдельным континентам Азии, Северной Америки и Европы. Необходимость сочетания этих свойств привела к отдаленной гибридизации. Этот радикальный метод потребовал упорного труда в многократной повторности скрещиваний, смелого подбора исходных форм,

многолетней настойчивой работы. Он шел вразрез с господствовавшими в то время воззрениями. Это не остановило Мичурина.

Крупнейшая научная заслуга Ивана Владимировича Мичурина состоит в том, что он, как никто в нашей стране, выдвинул эту идею отдаленной гибридизации, смелой переделки видов растений путем скрещивания их с другими видами, и научно, и практически доказал правильность этого пути.

Вегетативное размножение плодовых, позволяющее закреплять любые сочетания сортов без расщепления (столь затрудняющего работу с растениями, размножаемыми семенами), дало ему возможность создать в сравнительно короткое время большое число новых ценных сортов.

По этому пути, указанному Мичуриным, пошло современное научное плодоводство. Этот путь привел в последние десятилетия и за границей к огромному успеху в культуре сахарного тростника. Утроение урожая сахарного тростника на Яве главным образом связано именно с применением отдаленной межвидовой гибридизации и с использованием диких отдаленных видов, отличающихся иммунитетом к болезням. Одним из замечательных результатов селекции в Индии в последние годы является получение скороспелых гибридов сорго и сахарного тростника, позволяющих занять большие районы этой новой культурой.

Теоретические исследования последних лет открыли возможности восстановления плодовитости у бесплодных отдаленных гибридов растений, размножающихся семенами, путем удвоения хромосомального аппарата. Практически еще нужно преодолеть немало трудностей, однако и в этом направлении на наших глазах проходят факты исключительного значения, подтверждающие основную мысль И. В. Мичурина.

Вторая заслуга Ивана Владимировича состоит в том, что он выдвинул в первые в плодоводстве

идею широкого привлечения в сельском хозяйстве одного видового и сортового материала для скрещивания.

Он первый понял необходимость всемерного использования диких холодоустойчивых и болезнестойчивых форм Сибири, Дальнего Востока, Канады, Горного Китая, Тибета для улучшения наших сортов. Почти безвыходно работая в Козлове (ныне Мичуринске), в трудных условиях старорусского захолустья, он упорно, год за годом, собирает со всего света исходный сортовой материал. Он привлекает дикие груши и дикие яблони из Сибири, с Кавказа; он вовлекает в скрещивание дикие персики и абрикосы тибетских нагорий, дикий уссурийский виноград, дикую вишню Канады, соединяя их с нашими русскими сортами. Для этой же цели он использует лучший ассортимент южноевропейских плодов, вводя их в сложное скрещивание, упорно, как скульптор, отливая все новые и новые формы. Идея мобилизации мировых сортовых плодовых богатств в целях улучшения наших сортов оказалась исключительно плодотворной и ныне поставлена в основу научного плодоводства. Планомерное использование диких культур и культурных растительных ресурсов Восточной Азии, Кавказа, Средней Азии и Северной Америки ныне является первоочередной задачей советского и мирового плодоводства в северных широтах. В восточноазиатском очаге видообразования плодовых сосредоточены ценнейшие качества, как исключительная холодостойкость, болезнестойкость, необходимые для коренного улучшения нашего советского северного ассортимента. И. В. Мичурин первый понял исключительное значение смелого, широкого привлечения диких и культурных форм из трех основных очагов плодоводства в умеренных зонах, именно из Северной Америки, Юго-Западной Азии (включая наше Закавказье и Северный Кавказ) и Восточной Азии.

Огромная заслуга И. В. Мичурина заключается в особенности в том, что свои идеи, невзирая ни на какие труд-

ности, он воплотил в действительность, создав множество новых ценных растительных форм. Талант, упорство в труде и железная воля сочетались изумительно в этом самородке. Около 350 разных сортов яблонь, груш, слив, вишен, абрикосов, персиков, винограда, крыжовника, смородины, рябины, барбариса, айвы, актинидии выведены им лично. За полувекую деятельность им выведено: 50 новых сортов яблонь, 14—груш, 22—вишен. Среди них первоклассные сорта яблони, как «кандиль-китайка», «бель-флер-китайка», «пипин-шафранный», «бессемянка Мичурина»; груши: «бере-победа», «бере-зимняя» и др. Многие из этих сортов ныне являются стандартными и широко вводятся в культуру в северных районах. Родословная многих мичуринских сортов представляет собой сложное сочетание многих отдаленных видов и сортов.

Работа И. В. Мичурина дает большой материал для установления закономерностей в образовании форм путем скрещивания. Это ценнейший вклад в науку о плодоводстве и научной селекции.

Интереснейшие гибриды, сочетающие свойства разных видов и родов, сложные гибриды, составленные из многих видов, как показали опыты Мичурина, нередко обнаруживают поразительную плодovitость, дают семена и в расщеплениях могут обнаружить еще новые сочетания. Так напр. мичуринский сорт вишни «Надежда Крупская» соединяет в себе четыре далеко отстоящие вида вишен: *Prunus cerasus* T., *P. chamae cerasus* Jacq., *P. pensylvanica* L. и *P. avium* L. В то же время этот сорт отличается чрезвычайной урожайностью, нетребовательностью к почве, устойчивостью к грибным болезням, морозам и может идти далеко на север. Ряд гибридов вишни с черемухой, названных И. В. Мичуриным *Cerapadus*, отличается поразительной ядовитостью, вырабатывая в большом количестве синильную кислоту не только в косточках, но и мякоти плодов. Таков гибрид вишни «иде-

ал» (*Prunus chamae cerasus* Jacq. + *Prunus pensylvanica* L.) с японской черемухой *Prunus padus* Maackii. Ценнейшие сочетания представляют гибриды американской холодостойкой карликовой вишни *Prunus Besseyi* с туркестанскими и монгольскими абрикосами (*Prunus armenica*, *Prunus mandshurica*), а также гибриды этой вишни с восточноазиатскими сливами (*Prunus triflora*.) Работы Мичурина так же, как и одновременно производящиеся опыты американского селекционера Ганзена в Южной Дакоте, показали определенно, что восточноазиатские виды родов *Prunus*, *Vitis* и *Malus* особенно легко скрещиваются с североамериканскими видами этих же родов, тем самым указывая на их филогенетическую близость.

Для генетика, цитолога, биохимика, систематика, физиолога здесь непочтатый край интереснейших фактов, дальнейшей углубленной работы.

Большая заслуга Мичурина состоит также в том, что он в отличие от большинства селекционеров свои работы документировал множеством опубликованных работ, сотнями статей. Мемориальные труды «Итоги 60-летней работы» или «Выведение новых улучшенных сортов плодово-ягодных растений» представляют замечательные книги не только в советском, но и в мировом плододстве.

Когда в 1920 году мне впервые пришлось в Козлове познакомиться с Иваном Владимировичем и его работами, меня поразили сундуки, заполненные аккуратно собственноручно написанными на машинке, переплетенными отчетами с прекрасными цветными рисунками, сделанными самим автором, — и все это в совершенно законченном виде.

Изумительны упорство, настойчивость — притом в глубоком одиночестве — в течение десятилетий. Иван Владимирович является образцом исключительного трудолюбия и подлинным героем труда, показавшим своим примером, как надо жить и работать.

Поражает его многосторонний талант, проявляющийся в умении подойти ко

всему по-новому, включительно до врачевания болезней. Им сконструирован ряд новых инструментов для плододства, различные приборы: суровые условия действительности заставили мысль работать в поисках преодоления трудностей.

После полувекового упорного труда Мичурин остался искателем, неустанно стремящимся идти вперед, вовлекая все новые объекты в исследование. Его интересуют и каучуконосы, и бахчевые культуры, и цветы, и озеленение городов и индустриальных центров.

В прошлом работа Мичурина шла в исключительно трудных условиях одиночества и нищеты; мы вспоминаем убогую обстановку станции в начале революции, убогую избушку, в которой жил и работал один из самых замечательных плододов нашего времени. Октябрьская революция все изменила: его любимое дело подхвачено большим молодым коллективом и пошло вширь и вглубь. От Москвы до Мичуринска потянулись на десятки километров сады. Советская страна по заслугам оценила подвиг И. В. Мичурина. Сам В. И. Ленин обратил внимание на его работу. На основе мичуринской работы создана Всесоюзная селекционная станция, оборудованная по последнему слову науки; рядом с ней выросли большой Северный исследовательский институт по плододству и вуз.

Работа Мичурина известна ныне не только всему Советскому Союзу, — ее хорошо знают плододы Америки и Западной Европы. С восхищением нам показывали в 1930 году в Северной Калифорнии превосходный мичуринский сорт сливы, буквально осыпанный плодами; его вывоз из Козлова известный американский интродуктор Франк Майер. Вашингтонский департамент земледелия давно уже следит за тем, что делается в бывшем Козлове, ныне Мичуринске, и на нынешнем юбилее мы видим одного из корифеев американского плододства, оригинатора д-ра Ганзена, приехавшего из Южной Дакоты.

Ныне, когда переделывается весь лик советской земли, когда глубоким плантажем перепахивается наша страна, ко-

гда реализуется мысль о превращении северных районов в цветущие сады, когда мы глубоко убеждены в том, что можно в северных условиях — до карельских широт — иметь прекрасные сады, дело Ивана Владимировича стало особенно дорогим, особенно близким. Почти в два раза увеличилась площадь под садами в Советской стране за последние пять лет; почетное место в них находят сорта Мичурина.

Неизвестный, глухой уездный город Козлов, переименованный советским правительством в город Мичуринск, ныне стал Межкой для советских плодово-

дов; его хорошо знают и плодороды всего мира. Гиганты-сады окружают ныне Мичуринск. Они почти сплошь состоят из сортов, созданных упорным трудом И. В. Мичурина.

Подвиг Мичурина стал лозунгом к действию в советском плодоводстве.

60-летний юбилей И. В. Мичурина — большой праздник советского плодоводства. Глубокоуважаемый и дорогой нам юбиляр может быть счастлив и спокоен, — его любимое дело стало родным для Советского Союза, на его подвиге строится новое социалистическое садоводство нашей страны.

## 2. ПУТЬ МИЧУРИНА

### О. Рогдаева

«Я, как помню себя, всегда и всецело был поглощен одним лишь стремлением — выращивать те или другие растения».

М и ч у р и н.

#### I

Трудно представить себе жизнь, где бы поставленные цели и их осуществление были связаны так целостно-неразрывно, как у Ивана Владимировича Мичурина.

60 лет тому назад он, как революционер флоры, вошел в сад с тем, чтобы вывести природу из состояния застоя и толкнуть ее на борьбу за новые виды растений. «Почему, — думал он, — в других странах растут сочные персики, душистые абрикосы, самые разнообразные пруши, вызревает всех цветов виноград, а у нас — лишь яблоки да два-три сорта груш, из которых ни одного зимнего. Почему?»

Эта мысль не давала ему покоя.

Поселившись в б. гор. Козлове, городе наживы и бескультурия, он снимает на Полтавской улице небольшую усадьбу.

Через мореплавателей, случайных путешественников и любителей добывает он семена и саженцы южных растений и разводит их в своем саду.

Усадьба так быстро переполнилась растениями, что продолжать научную работу стало невозможным.

На небольшие сбережения, полученные от работы «точного механика» по ремонту часов и сигнальных аппаратов на участках Рязань — Козлов — Ртищево, И. В. покупает, с рассрочкой платежа, под слободой Турмасово участок земли в 6 десятин.

Он буквально на своих плечах переносит туда наиболее редкие растения и закладывает крохотный плодовый питомник.

Это было в 1888 году.

Служба, усиленная работа по пополнению своих знаний и работа в саду, с постоянной сменой всевозможных опытов и обработкой участка, поглощают все его время.

Спустя 12 лет И. В. приходит к выводу о необходимости создания более суровых почвенных условий для воспитания растений. Оставляя турмасовский участок с тучным черноземом, он переносит выведенные им растения на участок с тощим речным наносом на берегу реки Лесной Воронеж.

К этому времени у него уже накопился большой опыт и развился скептицизм к указаниям, которые он встречал в на-



учных трудах, о пересадке, с целью акклиматизации южных растений, как о единственном средстве обогащения ими ассортимента плодово-ягодных растений нашей средней полосы. Перешагнув через догмы науки, он начинает применять искусственное скрещивание растений местных сортов с лучшими иностранными сортами.

«Шаг за шагом в течение многих лет, — пишет он в своей автобиографии, — я старательно изучал на практических, разносторонне обставленных опытах дело гибридизации. Через мои руки прошли десятки тысяч опытов».

«Иван Владимирович, — пишет академик Б. А. Келлер, — видит в природе много такого, что остается скрытым от обыкновенного наблюдателя».

Благодаря этому свойству и непрерывным исканиям он сумел найти пути к приручению теплолюбивых растений, сумел путем введения целого ряда методов овладеть флорой и резко трансформировать ее. «Каждое растение, — говорит Мичурин, — лишь постепенно привывает к разным операциям, производимым над ним человеком», а потому для получения хорошего потомства в первую очередь надо думать об умелом подборе производителей и осторожном предварительном вегетативном сближении их; надо своевременно провести кастрацию и искусственное опыление цветов, обеспечить воспитание гибридных семян и их отбор.

... Годы неудач, когда растения, получаемые из семян иностранных сортов, оказывались невыносливыми и погибали на суровой чужбине, миновали: в саду Мичурина закипела жизнь. Вспыхнули яркой листвою растения, привезенные из всех уголков мира: с Кавказа, из Крыма, из далеких тундр Канады, Северной и Южной Дакоты, Японии, Манчжурии, Кореи, Туркестана, Казахстана, Китая, Тибета, Индонезии, Балкан, Альп, Франции и Англии, — целый «интернационал растений», призванный Мичуриным к борьбе за лучшие виды.

До 800 различных видов и разновидностей растений насчитывалось на его «Зеленом мысу» к моменту передачи в

1919 г. питомника в ведение Наркомзема. Постановка работы в гибридизационном питомнике им. Мичурина получила такую высокую оценку, что в 1928 г. он был признан опытно-научным учреждением общегосударственного значения и переименован в «Селекционно-Генетическую станцию им. Мичурина».

Десятки лет непрерывных исканий дали блестящие результаты: закаляя в борьбе за существование своих питомцев, отбирая стойких и отбрасывая оказавшихся пассивными, Мичурин вывел более 300 сортов новых растений.

Персики и абрикосы, миндаль и айва, дальневосточная вишня с вязовыми листьями и прекрасного вкуса плодами, рябина с листьями крушины, ольхи, смородины, ренклоды, виноград и черешня, тутовое дерево, пробковый дуб, грецкий орех, актинидия, папиросный табак, орехи-фундуки, ядовитый церападус, плоды которого настолько насыщены синильной кислотой, что от четырех съеденных ягод наступает отравление со смертельным исходом, бесконечные сорта вишен, яблок и груш, фиалковые лилии, стелящиеся ковром памирские розы, пахнущий земляничкой жасмин и другие прекрасные декоративные растения, — все это растет в чудесном мичуринском саду.

Революционер флоры, превративший заброшенный пустырь в экспериментальную усадьбу СССР, бросивший лозунг: «Надо уметь не только объяснять, а и переделывать мир», Мичурин в своей работе никогда не останавливался на полпути. Есть ряд сортов, над усовершенствованием которых он работал не один десяток лет. Так, оплодотворение цветов груши «царской» пылью груши «сен-жермен» было произведено в 1904 г. Лишь на 12-м году появились первые плоды. И. В. продолжал производить опыты, в результате которых плоды постепенно увеличились в весе почти вдвое, а лежкость их удлинилась до февраля — марта. 22 года пришлось работать Мичурину, пока наконец он смог назвать этот сорт «бере-п о б е д а». Яркожелтые, с румянцем по всей солнечной стороне, плоды эти буквально

осыпают деревья: настолько урожаен этот сорт.

В течение 19 лет следил он за сортом яблони «бельфлер-китайка», пока не достиг ежегодной щедрой урожайности.

40 лет назад начал он работу по выведению бессемянного барбариса, — путем скрещивания нашего барбариса с малоазнатским видом, — и лишь в 1932 г. ему удалось отобрать новый, совершенно бессемянный сорт этого прекрасного растения, столь необходимого для кондитерской промышленности. Еще в 1885 г. Мичурин задался целью ввести персики в культуру растений нашей средней полосы. Нелегко было найти посредственное выносливое звено, пока наконец и эти искания увенчались успехом: выращенное им в виде посредника деревцо миндаля весной 1930 года было захвачено утренними заморозками в 8° по Цельсию в полном цвету, но эти морозы не оказали действия ни на цветы, ни на последовавшее плодоношение.

И. В. до сих пор продолжает работать над осеверением персиков, абрикосов, которых у него насчитывается до 8 сортов, а также и над выведением новых орехоносных пород. «Это наш будущий хлеб» — говорит Мичурин; он хочет заставить расти на севере сладкий каштан. Ему нужна груша с красным мясом, — как рубиновое яблоко; он вводит все новые и новые сорта винограда.

Задавшись целью в годы своей далекой молодости обогатить ассортимент наших северных растений южными, И. В. в процессе работы выдвигал все новые и новые задачи, к разрешению которых всегда упорно шел, как бы трудны они ни были.

Так, при работе над каждым видом он всегда стремится к улучшению качества плодов в величине, вкусе и лежкости: это видно на примере «полуторафунтового» яблока, груши «бере-победа», удвоившей свой вес, ряда крупноплодных вишен: «комбинат», «краса Севера», малины «техас», достигающей почти 5 см., очень крупной «гранатной» рябины, полученной от оплодотворения нашей простой горькой рябины пылью сибирского боярышника.

То, что И. В. перешагнул установленные «границы» для развития многих растений, объясняется его умением повысить их морозоустойчивость. Например неведомые раньше в средней полосе черешни смогут теперь конкурировать не только с нашими крымскими сортами, но даже и с западноевропейскими. К ним относятся мичуринские «первая ласточка», и «первенец». Выведенная им айва так легко переносит холода, что он, по заслугам, назвал ее «айва северная». Так же легко переносит холод и абрикос «садер», полученный от косточки, привезенной из Монголии, из монастырской рощи буддийского монастыря.

Особой морозоустойчивостью обладают мичуринские яблони. Он продвигает их на север и на юг. Когда в районе Эривани произошло полное вымерзание местных сортов яблонь, Селекционно-Генетической станцией им. Мичурина по требованию Наркомзема Армении туда было отправлено 1.500 саженцев мичуринских сортов яблонь и груш.

Южные сорта груш, когда-то недоступные для ЦЧО, начинают культивироваться значительно севернее Мичуринска.

И. В. продолжает работать и над закалкой грушевых деревьев. С этой целью он между прочим употребляет в качестве ментора лимон.

Уже на первых порах лимон, как вечнозеленое растение, не только не лишился листьев с наступлением зимы, но — через влияние на корневую систему груши — воспрепятствовал ей остановить рост и сбросить листья, между тем как стоящие в том же помещении и одновременно высаженные гибридные сеянцы груши своевременно освободились от листвы.

Применяя межвидовую гибридизацию, он укрепляет боящуюся морозов грушу любящей их рябиной. Дружно развивающиеся на одном стволе рябина и груша дают плоды; из семян выращенной таким путем груши должно выйти крепкое, не боящееся холодов грушевое дерево, а рябина выиграет во вкусе.

Разведение винограда в Мичуринске, где стоят долгие и суровые зимы и не-

избежные весенние утренние заморозки, затягивающиеся до начала июня, казались раньше чем-то несбыточным. А между тем И. В. вывел больше 20 самых разнообразных сортов винограда, образующего густые аллеи в его питомнике.

Его сорта настолько терпимы к холодам, что зимуют под снегом даже без прикрытия землей, как это практикуется на Юге.

Многие научные работники Селекционно-Генетической станции думали, что виноград не выдержит морозов, доходивших до 40° по Реомюру в 1929 г., но И. В. успокаивал их, говоря: «Это блестящая проверка моих более чем полувекowych работ. Эта зима верно покажет, заблуждалась мы или, напротив, действовали правильно».

Наступила весна, сошел снег, отжурчали ручьи, обнажились лозы, и все увидели, что двадцатилетнее дерево нашей выносливой антоновки вымерзло, а виноград, обвивающий до самой вершины соседнее дерево груши, начинает покрываться яркой листвой. Летом он дал такой же обильный урожай, как и в предыдущие годы.

На далекий Север, в Сибирь, продвигает его Мичурин; сорт «северный белый» он рекомендует разводить в лесной полосе б. Томской, Енисейской и Иркутской губерний, особенно близ больших рек и озер, где вредное влияние утренников парализуется туманами и теплыми испарениями.

Сорта «северный белый» и «северный черный» распространены в Донбассе, в Калуге, под Москвой, во Владимире, в Самаре, под Уральском, в Белебее, в Башкирской республике.

Площадь, занимаемая в питомнике виноградником, настолько разрослась, что в этом году станция сможет разослать в различные пункты СССР 50.000 кустов винограда.

Не менее выносливы и выведенные Мичуриным сорта вишен. «Краса Севера» разводится в Сибири, в б. Томской губернии. Перворазрядный сорт «Надежда Крупская» смело продвигается на далекий Север, не обращая внимания на его морозы.

«Плодородная Мичурина» широко распространилась не только по СССР, — она заняла огромные площади в Америке, после того как в Канаде, во время суровой зимы, вымерзли все сорта вишен, кроме мичуринской.

Ближайшей задачей И. В. является введение в культуру сортов плодовых растений с возможно более ранним началом плодоношения; в этом направлении у него есть большие достижения: введенный им новый зимний сорт яблони «скороплодная» отличается обильным плодоношением с трехлетнего возраста; бессемянный барбарис принес ягоды в двухлетнем возрасте, в то время как обыкновенные сеянцы дают первые плоды на пятый-шестой год жизни.

Многие плодовые растения дают урожай с перерывом в два-три года. Мичурин требует от них бесперебойного ежегодного плодоношения; работает над тем, чтобы растения не боялись вредителей и болезней. Особым завоеванием в этой области надо считать выведенный им сорт крыжовника, так называемый «штамбовый».

Несколько десятков лет назад американцы экспортировали в Европу, вместе с кустами и ягодами крыжовника, очень опасного вредителя из растительного мира — грибок сферотека (*Sphaerotheca mors uvae*), который сравнительно за короткое время заразил собою все сорта крыжовника, почти уничтожив эту культуру в Европе. На всесоюзной генетической конференции выведение новых сферотекоустойчивых сортов крыжовника было включено в программу исследовательских работ для обязательного разрешения этого вопроса во второй пятилетке.

В 1927 г. И. В. начал работы по выведению требуемых сортов: введение в культуру сферотекоустойчивого сорта «штамбовый» можно считать блестящим разрешением вопроса. Также надо отметить, что мичуринские сорта винограда совершенно не подвергаются бичу этой культуры.

Раньше могучий рост и необъятная крона плодовых деревьев считались положительным качеством. По отношению

ко многим плодовым деревьям И. В. держится противоположного взгляда: он находит, что при низкорослых формах значительно сокращается требующийся для них вегетационный период, а выносливость к зимним морозам повышается. Низкорослым растениям легче дать какую-либо искусственную защиту на зиму; невысокие деревья легче поддаются борьбе с вредителями и защите от птиц, а сбор с них плодов гораздо доступнее. Потому И. В. и культивирует низкорослые сливы, черешни, вишни, невысокие абрикосы и кустарниковую актинидию.

Актинидия, по мнению И. В., — будущий конкурент винограда. Она встречается в диком состоянии в лесах Манчжурии и отчасти в Гималаях, где обвивается лианой вокруг кедров. Чтобы снять пуда два сладких, пахнущих ананасом ягод с верхушки лианы, нередко достигающей 40 метров (в Мичуринском музее находится лиана длиной в 35 метров), местные обитатели спиливают вековые кедры. Кедров у нас нет, хотя, если бы Мичурин нашел нужным, он бы вероятно вырастил и их, но валить их из-за ягод было бы недопустимым варварством, а потому И. В. стал разводить ее в виде низкорослого кустарника.

В его чудесных садах «карлики и великаны» не только мирно уживаются, но и помогают друг другу бороться за лучшие виды растений. Карликовые груши, яблони, ренклоды растут в горшках, — всем им уже по 5 — 6 лет, — деревья, посаженные одновременно с ними, достигли полного расцвета, а «зеленые карлики» до сих пор — не больше метра. Они приносят большую пользу, служа для опыления северных сортов.

Громадное значение придает Мичурин использованию огромных зарослей дикорастущих плодовых деревьев и ягодников Казакстана, Кавказа, Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Не один из его культурных сортов — яблони, груши, виноград, персики — ведет свою родословную от этих «знатных дикарей». Они упорны в борьбе за

существование, не боятся морозов и летних ожогов, в высшей степени урожайны.

Чтобы проложить им путь в культуру получивших «права гражданства» растений, Селекционно-Генетической станцией была проведена экспедиция на Дальний Восток; для участия в экспедиции, состоявшейся осенью прошлого года, прибыл из Америки крупнейший американский оригинал плодово-ягодных растений проф. Ганзен. Всесоюзная пионерская экспедиция на Алтай, снаряженная в июне этого года по заданию Наркомзема и института им. Мичурина, привезла много ценного для науки и для хозяйства материала. Юные натуралисты, следуя совету Ивана Владимировича быть «настоящими разведчиками неисчерпаемых природных богатств нашей страны», не попустому изъездили и исходили по Алтаю 500 километров: они привезли оттуда 147 ягодных и 154 технических и декоративных растений, что имеет большое значение, так как морозоустойчивость алтайских растений позволяет продвигать их далеко на север.

## II

Вся долгая творческая работа Мичурина распадается на два, резко различающихся между собою, периода: до и после Октябрьской революции.

До Октябрьской революции работой Мичурина интересовались только зарубежные ученые. Не встречая никакой поддержки со стороны царского правительства, он в течение многих десятков лет был обречен в своей работе на кустарничество.

Ни средств, ни рабочих рук, — одно лишь упорное желание завоевать природу, заставить ее повиноваться могучей воле человека.

Вскоре после Октября В. И. Ленин затребовал у тамбовского губисполкома подробный доклад о работах Мичурина. Вскоре мичуринский питомник объявляется опытным учреждением государственного значения, и закладывается питомник первой репродукции. Широко развивается научная разработка методов

Мичурина. С этой целью на Селекционно-Генетической станции им. Мичурина организуется ряд лабораторий, оборудованных усовершенствованными приборами вначале заграничного, а позднее и советского производства.

Для руководства работой Академией наук командированы профессор и научные работники. Основывается Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ).

Со всех концов страны стекается молодежь для изучения работы Мичурина.

Гор. Мичуринск охвачен широкой сетью научно-исследовательских и учебных заведений, работающих по методам И. В. Мичурина.

В состав сети входят: детская сельскохозяйственная станция, техникум и институт плодовых культур с функционирующими при них рабфаком, курсами по подготовке в институт и сектором заочного обучения и научно-исследовательский институт с имеющимся при нем отделом аспирантуры. Все они — имени И. В. Мичурина.

Эти учебные заведения существуют в среднем от двух до пяти лет; некоторые из них еще настолько молоды, что не могли вполне себя обеспечить, — как со стороны подбора педагогического персонала, так и материального оборудования. Однако эти недочеты быстро изживаются, и в недалеком будущем крепко спаянная учебная сеть, пропускающая ежегодно сотни учащихся, выравнивается и станет показательной по подготовке ученых пловодоводов.

Весной 1931 г. была организована детская сел.-хоз. станция, поставившая своей целью пропаганду агротехники среди детей. Станции отведен участок, на котором культивируются как мичуринские, так и другие плодово-ягодные и кормовые сорта. Станция обслуживает городские и районные школы и летние пионерские лагеря, один из которых находится при питомнике. Она имеет 60 опорных пунктов в районе. Работой школ района станция руководит путем устного и письменного инструктажа; время от времени ее работники посещают эти школы. Станция направляет работу функционирующих при школах го-

рода кружков мичуринцев, опытников, юнатов, кролиководов.

При детской сел.-хоз. станции имеется актив, состоящий из городских школьников. Этот актив помогает проводить работу на опытной базе станции.

Работники станции часто проводят беседы с пионерами и со школьниками. Летом работа переносится на участки лагерей и площадки; с площадок города и района дети приходят по нескольку раз в течение лета на опытное поле станции, чтобы наблюдать растения в период цветения и плодоношения.

При станции существует постоянная выставка для ребят, в создании которой принимают участие детские организации. Станция систематически участвует в колхозных выставках, за что не раз была премирована.

Несмотря на то, что работа станции ведется только тремя работниками, ей удалось наладить связь с самыми отдаленными уголками СССР. Школы Западной Сибири, Дальнего Востока, Крыма, Мордовской области, Татарии, Московской, Ленинградской, Средневожской областей, ЦЧО переписываются со станцией, закидывая ее запросами о мичуринских сортах плодово-ягодных насаждений и прося указаний в пользовании ими.

Станция гордится тем, что ею был выделен юнат-ударник Паша Летуновский для участия в четвертой пионерской экспедиции на Алтай.

В связи с юбилеем И. В. Мичурина станция приступила к организации питомника по репродукции мичуринских сортов для снабжения школ посадочным материалом — как внутри района, так и за его пределами — и к закладке коллекционного мичуринского уголка на участке опытного поля.

Администрация мичуринского питомника, считая намеченные станцией мероприятия вполне целесообразными, идет навстречу в реализации их.

Пионером учебных заведений, ставших работу на базе достижений Мичурина, был техникум, основанный в б. Козлове в 1929 г.

Осенью 1932 г. техникум произвел первый выпуск в количестве 36 чел.

плодоводов и овощеводов-селекционеров. В 1933 г. был произведен второй выпуск в количестве 51 чел. тех же специальностей. Окончившие техникум работают главным образом на зональных станциях и опорных пунктах Сибири, северных областей Союза, а также и по кохозному и совхозному секторам.

Учебная практика — в частности по селекции — проводится полностью в питомнике И. В. Мичурина под руководством опытных специалистов и самого Ивана Владимировича.

В техникуме имеется кружок мичуринцев, который в зимнее время проводит на добровольных началах занятия со студентами всех курсов по тщательной проработке методов Мичурина.

1931 год является переломным годом по расширению сети научно-исследовательских и учебных заведений гор. Мичуринска. В этом году были организованы Научно-Исследовательский институт и Институт селекции плодово-ягодных культур; при них созданы рабфаки, секторы заочного обучения и курсы по подготовке в институт.

По постановлению НКЗ от 20/VIII 1931 г., из Московского садово-огородного и Ленинградского молочно-овощного институтов к 1/IX 1931 г. были переведены плодово-ягодные отделения в Козловский институт; из Воронежского сел.-хоз. института была перенесена кафедра плодоводства; установлены контингенты института в 1.200 человек.

Все студенты техникума и вуза обязывались принять участие в выполнении плана посадок в совхозе № 24; таким образом, первый академический год начался для них экзаменом на выявление их производственных качеств.

Первые дни жизни института были нелепки: нехватало общежитий, учебных и наглядных пособий, литературы и преподавателей-специалистов.

На сегодняшний день институт располагает хорошим и достаточным оборудованием на кафедрах ботаники и почвоведения, всеми необходимыми лабораториями по кафедре химии, лабораторией агрохимии и библиотекой в 40.000 томов, отвечающей запросам учебного процесса.

Институту недостает лишь таких подсобных учреждений, как вегетационный домик, оранжерея, теплицы.

Большим преимуществом, в сравнении с другими учебными заведениями, для студентов института является возможность принимать участие не только в практических работах, но и в решении проблем, которые разрабатываются на Селекционно-Генет. станции и в ЦНИИ.

В 1933 г. институт переведен на единый профиль плодовода, с сохранением в учебном плане значительного времени на селекцию.

В 1934 г., в связи с постановлением КЗОТ от 25 января, институтом закреплена профиль плодовоовощеводства с организацией дополнительных кафедр овощеводства и земледелия.

Результаты научно-исследовательских работ института представлены в I томе трудов института «Научное плодоводство». Всего будет выпущено 6 томов.

С конца 1933 г. приступлено к созданию музея садоводства, который должен будет отразить старую и новую агротехнику, показать значение работ И. В. Мичурина в плодоводстве, содействовать активизации учебно-педагогического процесса.

За время своего существования институт выпустил 126 человек, работающих в научно-исследовательской и производственной сети. Студенчество по национальному составу распадается на 17 национальностей.

Существующий при институте рабфак находится в совершенно особых условиях. Ряд преподавателей рабфака в то же время являются преподавателями вуза и техникума им. Мичурина. Студенчество рабфака живет в самой тесной связи со студенчеством вуза, пользуясь одним и тем же учебным зданием и общежитием. Рабфакская молодежь на каждом шагу слышит имя Мичурина, видит экспонаты его достижений, совершает экскурсии в основной питомник, где нередко беседует с самим «дедушкой», — так они называют Ивана Владимировича.

Все это настолько способствует пробуждению интереса к его работам, что в вуз они вступают уже горячими ми-

чуринцами. Даже издаваемая ими стенгазета называется: «За мичуринские кадры».

Через студентов и рабфаковцев мичуринские идеи и его сорта проникают в колхозную глушь, так как подавляющее число учащихся рабфака — колхозная молодежь.

В 1931 г. был основан сектор заочного обучения Института плодово-ягодных культур. Сектор ведет работу по учебным планам и программам института и техникума, подготавливая специалистов высшей квалификации — агрономов, организаторов крупного социалистического плодово-ягодного хозяйства, средней квалификации — техников и массовых бригадиров для колхозов и совхозов. Общее количество заочников — около 1.200 человек.

Тяга к заочному обучению — колоссальная.

На состоявшуюся этим летом сессию съехались заочники с самых отдаленных концов Союза: из Владивостока, Западной Сибири, Туркестана, Дагестана, Урала и т. д.

Заочный сектор ведет также работу и по повышению квалификации студентов института и техникума плодово-ягодных культур гор. Мичуринска.

В связи с юбилеем сектор развернул работу среди работников колхозов и совхозов по вопросам методики Мичуринна.

Под руководством учебной части института ведется работа на курсах по подготовке в вуз. Курсы основаны по предложению НКЗ, они имеют две группы с количеством слушателей в 50 чел. Занятия протекают по 3 — 3½ месяца.

В феврале 1934 г. были переведены на первый курс института слушатели осеннего набора.

Большую работу ведет ЦНИИ, включающий секторы агротехники, селекции, сортоизучения, экономики и организации, защиты растений, агрохимии и почвоведения, технологии и сектор механизации. Секторы не имеют достаточно хорошо оборудованных лабораторий, что тормозит ведение экспериментальной работы, и она проводится поэтому полевым

опытом. Отсутствуют теплицы, вегетационный домик.

Институт основан в 1931 г. и, несмотря на свой молодой возраст, имеет большие достижения.

Институтом укомплектованы кадры не только института, но и зональных станций, которые находятся под его методическим и методологическим руководством. Институт имеет хорошо разработанную тематику экспериментальных работ по институту и по зоне для ежегодного выполнения их на всю вторую пятилетку; им разработаны вопросы методического характера.

Результатом деятельности института является ряд ценных научных трудов, часть которых уже издана, а другие готовятся к печати.

При институте функционирует консультационное бюро, куда обращаются за справками различные с.-х. учреждения, школы, колхозы, совхозы; поступают и индивидуальные запросы, на которые институт дает исчерпывающие ответы.

Институт следит за развитием мичуринских сортов как по ЦЧО, так и по всему Союзу.

В 1933 г. им проведена обследовательская работа по выявлению и апробации дикорастущих плодово-ягодных растений, а также по уточнению и установлению порайонного ассортимента; этот род работы проходит в непосредственном контакте с агро-лесорганизациями, колхозами и совхозами.

Институт поставил своей целью освоить в ЦЧО в течение второй пятилетки площадь под плодово-ягодные насаждения мичуринских сортов в 118.000 га.

При ЦНИИ существует отдел аспирантуры, комплектуемый успешно окончившими вузы и имевшими до поступления в вузы практический стаж, а также лицами с производства, имеющими специальное высшее образование. При институте функционирует бюро иностранного опыта — БИО, — которое ведет большую работу по выполнению тематики института и связи с западноевропейскими и другими странами. Учебными заведениями плодово-ягодных культур им. Мичуринна и Селекционно-Генетической станцией ведется непрерывная

работа по внедрению мичуринских сортов в самых разнообразных пунктах СССР, крайними точками которых надо считать Архангельск—Эривань, Хабаровск — Ленинград.

Научные работники и студенты выезжают на места — для проведения бесед и лекций. По всему Союзу устраиваются хаты-лаборатории, при Домах крестьянина организуются мичуринские уголки, создаются сотни кружков, изучающих методы Мичурина и продвигающих их в массы.

Отделом репродукции Селекционно-Генетической станции ведется работа двумя способами: через печать и путем отпуска материала для различных районов СССР и за границу.

В пределах СССР станция имеет 4.000 точек, куда ею отпускаются мичуринские сорта — растениями, черенками, семенами, а виноград — чубуками.

По Союзу существует 12 зональных станций и 8 опорных пунктов.

В семи центральных областях с этого года будут заложены питомники промышленного типа для массового выращивания посадочного материала мичуринских сортов.

Размножение сортов, которые введены в стандарт промышленных насаждений, должны вести все питомники Союза в пределах зоны их обслуживания.

Таков путь мичуринской работы: от одного гектара на окраине б. гор. Козлова — до неограниченно разросшейся сети распространения мичуринских сортов по всему СССР!

### III

Деятельность Селекционно-Генетической станции института плодово-ягодных культур им. Мичурина и ЦНИИ не ограничивается пределами СССР.

Они поддерживают связь с целым рядом стран путем обмена черенками новых сортов, литературой, саженцами, семенами дикорастущих плодово-ягодных растений и образцами различных предметов: инструментами, лентами для перевязок при прививках и пр.

Станция отправляет черенки в Латвию, Германию, Польшу и Северную Америку.

На основании статьи о достижениях Мичурина, помещенной во французском журнале «Horticulture française», один французский специалист-садовод выписал ассортимент всех мичуринских сортов для закладки ботанической коллекции в своем саду.

Обмен с границей непрерывно развивается. БИО поддерживает связь с 21 страной, имея в этих странах 237 корреспондентов, из которых 113 являются учеными и специалистами-плодоводами, держит связь с 77 научными учреждениями, опытными станциями и институтами, с 47 промышленными предприятиями.

Количество иностранной литературы, получаемой БИО, с каждым годом увеличивается. За 1933 г. в БИО поступило 429 названий, а только за первую половину 1934 года — больше 600.

Бывают, правда, случаи, когда предложение БИО об установлении контакта приветствуется, налаживается переписка, но обмен литературой отклоняется. Иллюстрируем примером: директор Института селекции в Вене на предложение БИО организовать обмен литературой отвечает, что, хотя он и является редактором журнала «Растениеводство», но установить обмен не имеет возможности, так как получает только один экземпляр журнала. Дальше он сообщает, что в течение целого года не получает никаких дотаций, в силу чего издание научных трудов прекращается. «Печальное время, особенно для нашей подрастающей молодежи» — так кончает он свое письмо от 28 февраля 1934 г.

О том, что зарубежные работники не располагают большими материальными возможностями, говорит следующий факт: директор Института растениеводства в Берлине проф. Маурэр был приглашен СССР для проведения докладов по вопросам организации питомников, с условием финансирования его в пределах СССР нашими организациями.

Но у профессора, состоящего в течение 25 лет директором крупнейшего питомника в Европе («ШПЭТ»), имеющего научные труды, большие книги, не нашлось средств для этой поездки — только до Москвы, так как дальнейшее



передвижение и пребывание в СССР ему было обеспечено.

БИО, внимательно следя за зарубежной периодикой, отмечает, что в 1932 г. в зарубежных журналах было помещено о работах Мичурина больше 40 статей и заметок популярного характера, в 1933 и 1934 гг. — также около 40 статей.

Америка первая обратила внимание на работы Мичурина.

Еще в конце прошлого столетия им заинтересовались ученые США и Англии. Мичурин был избран членом американского ученого общества профессоров «Бридерс»; его сорта еще в 1890 г. распространялись в районах Вашингтона, Квебека и Чикаго. Его вишня «плодородная Мичурина» пользуется большой популярностью в США и в Канаде.

Всеканадский съезд фермеров, состоявшийся в 1898 г., после суровой зимы, констатировал, что все старые сорта вишен как европейского, так и американского происхождения в Канаде вымерзли, за исключением «плодородной Мичурина». В настоящее время эта вишня занимает в Америке огромные площади.

Живой отклик в американской прессе встретил отображающий достижения Мичурина кинофильм «Юг в Тамбове». Он демонстрировался в 1929 г. на годовом банкете научной ассоциации садоводов, после чего в журнале «The floriste Exchange» между прочим писали:

«Как бы мы ни рассматривали теорию и результаты советского режима, мы не можем однако отрицать того, что научно-исследовательская работа в этой стране стоит на высоте своего положения и продолжает развиваться при энергичной и деятельной поддержке советского правительства».

Не менее интересен отзыв, передаваемый директором нашего бюро сел.-хоз. информации в США, проф. Мирта:

«Показ вашей работы произвел на американских ученых садоводов неотразимое впечатление. Фильм, изображающий работу Мичурина, — говорили мне американцы, — демонстрирует две вещи: интересную, высокоценную работу

Мичурина и заботу советского правительства об успешном развитии научной мысли в СССР».

Эта кинокартина принята в Америке как учебное пособие. Проф. Гансен, самый крупный американский оригинал, прибывший в СССР, чтобы принять участие в экспедиции по выявлению дикорастущих плодово-ягодных растений, систематически следил за работами Мичурина, давая им неизменно положительную оценку.

Так же оценивают работу Мичурина и самые крупные пловопроводы США, и учреждения, находящиеся в ведении министерства земледелия, — опытные станции и институты США.

Большинство зарубежных отзывов свидетельствует так или иначе об огромных достижениях И. В. Мичурина в области плововодства.

Так, один из крупнейших специалистов-пловопроводов Германии, Янсон, утверждавший еще в 1929 г. в своем труде «Промышленное плововодство», что «Россия в отрасли плововодства еще спит», в 1932 г. предупреждает о конкурентной опасности со стороны советского плововодства.

«Рейнский ежемесечник плововодства», подчеркивая значение работ Мичурина, напоминает об угрозе отечественному плововодству со стороны «красной торговли». «Гамбургские известия» пишут:

«Если даже многое из планов советского правительства останется только на бумаге, то Германия все же должна стараться выдержать конкуренцию с СССР».

Более объективен журнал «Садовое хозяйство», который, разбирая информацию о советском плововодстве и достижениях Мичурина, пишет:

«Основной задачей советских мероприятий является снабжение собственного населения в самом избыточном количестве наилучшими плодами собственной земли и возможность, таким образом, обусловить здоровье населения СССР».

«Немецкая крестьянская газета», давая обзор достижениям Мичурина, заключает:

«Обновить лицо земли призваны новые люди, и эти люди — их миллионы! — в СССР, в стране нового порядка».

Германский еженедельник «Роте пост», говоря о развитии нашего садоводства и достижениях Мичурина, так кончает свою статью:

«Развитие плододства в Советском Союзе должно служить толчком для всех трудящихся наших деревень и городов к ликвидации правительства юнкеров, дворян и промышленников».

Англия называет Мичурина «русским Бербанком» (на что между прочим Мичурин всегда кровно обижается). Норвегия, выражая недоверие успехам нашего садоводства, уделяет должное Мичурину, культивируя у себя его сорта — актинидию, малину «техас» и другие. В итальянском «Бюллетене Международного аграрного института» при общей положительной оценке советского плододства говорится:

«Северизация плодовых культур возможна только при условии создания новых морозостойких сортов, где работы И. В. Мичурина имеют крупное значение».

Чехословацкий журнал «Земледелец» не устает писать об успехах советского плододства и достижениях Мичурина. Так, директор государственных сел.-хоз. библиотек, доктор Пум, характеризуя достижения Мичурина в области гибридизации и генетики, пишет:

«Работа Мичурина — это квинт-эссенция целой жизни человека, который не только любил и любит плододство, — она также является доказательством того, сколько может дать один человек для всего народа».

В заключение необходимо упомянуть об ячейке международной рабочей связи

при институте им. Мичурина. Ячейка основана в 1931 г. — по инициативе студента вуза Борисоглебского, «старого» эсперантиста. Члены ячейки изучают эсперанто. Ячейка держит связь с 37 странами, обменивается журналами, газетами, фотоснимками. Основатель ячейки совместно с преподавателем института Татаринцевым заканчивают составление словаря по плододству на пяти языках — русском, английском, немецком, французском и эсперанто. В составлении словаря оказывают помощь многие ученые плододы Англии, Швеции, Дании, Чехословакии, Болгарии, Китая. Из Америки, Марокко, Венесуэлы и Австрии получен ценный материал по терминологии растений. Обещан материал знаменитой Саппорской японской сел.-хоз. станцией, а также станцией на Гавайских островах. Переписка, помимо эсперанто, ведется на английском и французском языках.

60 лет назад в б. городе Козлове, городе наживы и бескультурия, поселился человек, задавший целью вывести из состояния покоя нашу флору, произвести в ней революцию.

На одном гектаре, на заброшенном пустыре, начал он свои опыты. Прошли года. Его питомник раскинулся на 400 га. Экспериментальные работы ведутся в совхозе-саду, занимающем площадь в 5.000 га.

В течение второй пятилетки 118.000 га в ЦЧО будут покрыты мичуринскими насаждениями. Архангельск — Эривань, Никольско-Уссурийск — Ленинград, — все пестрит его сортами. Перед нашим плододством открылись неограниченные возможности.

Как много мог сделать — и сделает еще! — Иван Владимирович Мичурин!

# За рубежом

1. Н. КОРНЕВ — Внешняя политика Советского Союза. 2. А. ЮРЬЕВ — В стране Ибн-Сауда

## 1. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Н. Корнев

Нынешнюю годовщину великой Октябрьской революции Советский Союз встречает, между прочим, в качестве члена Лиги наций. Мы этим отнюдь не хотим сказать, что получение нашей великой социалистической родины звания члена Лиги наций может стать в ряд с теми огромными достижениями, которые мы, благодаря торжеству генеральной линии нашей партии, под руководством товарища Сталина, имеем в области хозяйственного и культурного строительства. Мы хотим только сказать, что вступление СССР в Лигу наций, в той форме, в которой оно произошло, было результатом тех великих успехов и достижений, которые мы имеем в нашем социалистическом строительстве. СССР — не просто член Лиги наций, какими являются те буржуазные государства, которые входят в состав этой организации. В политике часто важен не самый факт, а обстоятельства, сопутствующие этому факту. Вступление СССР в Лигу наций последовало после того, как почти все европейские государства, заинтересованные в сохранении мира, — в первую очередь Франция, — поняли, что борьба за мир, сопротивление надвигающейся военной опасности не может быть действительно эффективным без активного сотрудничества Советского Союза. Вернее, эти государства, уже давно и по достоинству оценившие усилия советского правительства в борьбе за мир, поняли, что их собственные усилия

в данном направлении (порожденные, правда, иными стремлениями и соображениями, чем усилия советского правительства) могут быть действительно активными только в том случае, если они будут работать совместно с советской страной. Для буржуазных государств совершенно естественной была мысль о возможности и целесообразности слить свои усилия в борьбе за мир с усилиями советской страны в Лиге наций, тем более, что из Лиги наций ушли как раз те государства, политика которых направлена к попыткам осуществить на путях войны свои основные империалистически-захватнические цели.

Эта политика мира, политика борьбы с военной опасностью, вытекающая из единственно правильного определения подлинных интересов трудящихся масс не только Советского Союза, но и всего мира, отнюдь не обозначает, что наша партия и советское правительство «пересмотрели» свой взгляд на военную опасность, как на явление, органически заложенное в капиталистическом строе. Советский Союз не потому вступил в Лигу наций, что его правительство вдруг поверило в возможность отказа капиталистического мира от войны, как от способа разрешения внутривнутриполитических и междуимпериалистических противоречий. Советский Союз, наоборот, вступил в Лигу наций потому, что ныне еще больше, чем когда-либо, он сознает опасность войны — с тем отличием от

прежних времен, что сейчас некоторые капиталистические страны также готовы бороться против военной опасности.

После каждого более или менее важного выступления Советского Союза на международной арене с капиталистической стороны делаются попытки истолковать это выступление как какую-то «новую линию» в советской внешней политике. Буржуазные политики и в особенности буржуазные журналисты умеют думать и выступать только в доступных им категориях. Поскольку и они признают СССР одним из могущественнейших, решающих факторов международной политики, они пробуют толковать любое международное выступление Советского Союза в тех же империалистических категориях, в каких привыкли представлять политику любой так называемой «великой» (империалистической) страны. Они никак не поймут того простого факта, что внешняя политика советской страны, являющейся страной строящегося социализма, не может находить и не находит параллелей в истории внешней политики капиталистических стран. Мы великолепно знаем, что любая капиталистическая страна меняет «основной» курс своей внешней политики применительно к развитию междумпериалистических противоречий на международной арене. Буржуазным политикам, и опять-таки буржуазным журналистам в особенности, кажется непонятным, что советская страна открыто заявляет, что ее политика, не подвергающаяся никаким изменениям и колебаниям в своей основе (борьба за мир, борьба за мирное сосуществование двух систем на данном историческом этапе), изменяется в зависимости от политики тех или иных отдельных буржуазных стран по отношению к СССР. Буржуазным политикам и журналистам кажется непонятным признание советской страны в том, что ее политика в отношении других стран является производной от политики этих стран по отношению к СССР. Они хотят усмотреть в такой формулировке взаимоотношений между СССР и другими странами не то признание несамостоятельности совет-

ской внешней политики, не то какой-то политический прием, сущность которого буржуазным наблюдателям непонятна по той простой причине, что этот прием ими же выдуман.

Между тем всякие кривотолки (нароचितые и искренние) по поводу советской внешней политики получаются от того, что кое-кто не хочет, а кое-кто и не может увидеть и убедиться в том, что советская внешняя политика лапидарно проста, что она исходит из того основного положения, которое было сформулировано в столь простых, но и столь величественных словах товарища Сталина: «Ни одного вершка чужой земли не хотим, но и своей земли, ни пяди своей земли не отдадим никому». В этой формуле заключается, по существу, вся внешняя политика Советского Союза. «Ни одного вершка чужой земли не хотим»: другими словами, нам чужды все империалистические устремления, мы не знаем ни открытых, ни скрытых захватнических стремлений, мы не знаем таких чужих территорий, во имя которых мы могли бы начать новую войну. «Ни пяди своей земли не отдадим никому»: это обозначает, что мы готовы к обороне социалистической родины, к защите социалистического отечества, отечества трудящихся всех стран. Да, советская внешняя политика прямолинейна, однообразна и, с точки зрения буржуазных историков, быть может, лишена сенсационности. Верно. Только не забудем здесь же упомянуть, что известная причудливость и извилистость внешней политики капиталистических стран всегда и везде приводила к новым войнам. Эта политика, в смысле «разнообразия», была, быть может, красочнее внешней политики советского правительства, не лишенной известной монотонности в повторах необходимости борьбы за мир, но красочность внешней политики капиталистических стран — это главным образом кровь тех миллионов, которые пали на полях сражений империалистических войн.

Нам приходится разочаровать буржуазных политиков: на всем протяжении семнадцатилетнего существования советской страны ее внешняя политика

никогда и ни при каких обстоятельствах не менялась. Она в некоторых случаях вынуждена была лишь делать соответствующие выводы из политики того или иного капиталистического государства или группы капиталистических государств. Но, поскольку внешняя политика советской страны определялась волей советского правительства, волей нашей партии, волей миллионов трудящихся, она фактически была всегда той же, как она была декларирована в момент великой Октябрьской революции. Конечно никто и не думает утверждать, что внешняя политика советской страны была одной и той же и в годы гражданской войны и интервенции, и в годы так называемых «признаний» — в годы нэпа, в годы социалистического наступления, и в годы пресловутой капиталистической «стабилизации» и, потом, беспримерного в истории экономического кризиса. Но не требует дальнейших доказательств то положение, что интервенция и попытки разрешить за счет Советского Союза междуимпериалистические противоречия вносили во всяком случае известный корректив в советскую внешнюю политику со стороны капиталистического мира. Не требует слишком пространных доказательств и то положение, что никак не советская страна повинна в том, что с началом социалистического наступления в области внешней политики отразилось разочарование некоторых капиталистических стран, связывавших с нэпом совершенно неоправданные и неоправдавшиеся надежды на капиталистическое перерождение нашей родины.

Внешняя политика Советского Союза была предопределена в момент овладения властью рабочим классом, под руководством большевистской коммунистической партии. Для того, чтобы изучить и понять во всех тонкостях эту внешнюю политику, достаточно перечитать внимательно историческую резолюцию «О войне и мире», принятую седьмым съездом нашей партии. Эта резолюция написана, как известно, В. И. Лениным в тесном сотрудничестве с

И. В. Сталиным. Она является, в лучшем смысле этого слова, основоположнической резолюцией нашей внешней политики. В ней говорится:

«Съезд признает необходимым утвердить подписанный советской властью тягчайший, унижайнейший мирный договор с Германией ввиду неизменения нами армии, ввиду крайне болезненного состояния деморализованных фронтовых частей, ввиду необходимости воспользоваться всякой, хотя бы даже малейшей, возможностью передышки перед наступлением империализма на Советскую социалистическую республику.

Исторически неизбежны в настоящий период начавшейся эры социалистической революции многократные военные наступления империалистических государств (как с запада, так и с востока) против Советской России. Историческая неизбежность таких наступлений при телерешнем крайнем обострении всех внутрисоциалистических классовых, а равно и международных отношений, может в каждый, самый близкий момент, даже в несколько дней, привести к новым империалистическим наступательным войнам против социалистического движения вообще, против Российской социалистической республики в особенности.

Поэтому съезд заявляет, что первейшей и основной задачей и нашей партии, и всего авангарда сознательного пролетариата, и советской власти съезд признает принятие самых энергичных, беспощадно решительных и драконовских мер для повышения самодисциплины и дисциплины рабочих и крестьян России, для разъяснения неизбежности приближения России к освободительной отечественной социалистической войне, для создания везде и повсюду строжайше связанных и железной единой волей скрепленных организаций масс, — организаций, способных на сплоченное и самоотверженное действие как в будничные, так и в особенно критические моменты жизни народа, наконец для всестороннего систематического всеобщего обучения взрослого населения, без различия пола, военным знаниям и военным операциям».

Мы имеем в этой резолюции все основные линии нашей внешней политики: уверенность в неизбежности новых империалистических войн, но одновременно стремление использовать любую передышку в пользу социалистического строительства. В этой резолюции подчеркнута, что капиталистические страны могут в любой момент попытаться разрешить свои междуклассовые и междуимпериалистические противоречия за счет нашей социалистической родины; в резолюции указано и на то, что Красная армия наряду с международной солидарностью трудящихся (единственных подлинных союзников Советского Союза в борьбе за мир) является наиболее эффективным оплотом мира не только для советской страны, но и для всех стран. Как можно, имея перед собой эту историческую резолюцию, говорить о различных фазах и этапах советской внешней политики!

Конечно историк советской внешней политики не ограничится резолюцией VII съезда нашей партии «О войне и мире». Он должен будет остановиться на выступлениях товарища Сталина, в которых имеются классические формулировки нашей внешней политики. История советской внешней политики фактически уже написана в тех разделах отчетов товарища Сталина съездам ВКП(б), которые посвящены вопросам международной политики и внешнеполитического положения Советского Союза. Сейчас особенно интересно перечитать международный раздел отчета Центрального комитета партии, который сделал товарищ Сталин XVI съезду. В этом отчете тов. Сталин указал, что «стабилизации капитализма приходит конец», что «подъем революционного движения масс будет нарастать с новой силой», что «мировой экономический кризис будет перерастать в ряде стран в кризис политический».

Указав на эти основные факты, тов. Сталин поставил перед партией, перед советской страной и международным рабочим движением вопрос о том, что все это обозначает, и ответил следующим образом: «Это значит, во-пер-

вых, что буржуазия будет искать выхода из положения в дальнейшей фашизации в области внутренней политики, используя для этого все реакционные силы, в том числе и социал-демократию. Это значит, во-вторых, что буржуазия будет искать выхода в новой империалистической войне и интервенции в области внешней политики. Это значит наконец, что пролетариат, борясь с капиталистической эксплуатацией и военной опасностью, будет искать выхода в революции».

В связи с этим товарищ Сталин говорил далее о том, что, «кроме противоречий мирового капитализма, существует еще одно противоречие», а именно — противоречие между капиталистическим миром и СССР. «Правда, — говорил тов. Сталин, — это противоречие не есть противоречие внутрикапиталистического порядка. Оно есть противоречие между капитализмом в целом и страной строящегося социализма. Но это не мешает ему разлагать и расшатывать самые основы капитализма. Более того, оно вскрывает до корней все противоречия капитализма и собирает их в один узел, превращая их в вопрос жизни и смерти самих капиталистических порядков. Поэтому каждый раз, когда капиталистические противоречия начинают обостряться, буржуазия обращает свои взоры в сторону СССР: нельзя ли разрешить то или иное противоречие капитализма или все противоречия, вместе взятые, за счет СССР, этой страны Советов, цитадели революции, революционизирующей одним своим существованием рабочий класс и колоний, мешающей наладить новую войну, мешающей переделать мир по-новому, мешающей хозяйничать на своем обширном внутреннем рынке, так необходимым капиталистам, особенно теперь, в связи с экономическим кризисом. Отсюда тенденция к авантюристическим наскокам на СССР и к интервенции, которая (тенденция) должна усилиться в связи с развертывающимся экономическим кризисом».

Но дальше товарищ Сталин, со всей присущей ему четкостью формулировок различных сторон одной и той же про-

блемы, указывает на то, что «интервенция есть палка о двух концах». «Это, — говорит он, — в точности известно буржуазии. Хорошо, думает она, если интервенция пройдет гладко и кончится поражением СССР. Ну, а как быть, если она кончится поражением капиталистов? Была ведь уже одна интервенция, которая кончилась крахом. Если первая интервенция, когда большевики были слабы, кончилась крахом, какая гарантия, что вторая не кончится также крахом. Все видят, что большевики теперь куда сильнее экономически и политически, и в смысле подготовки обороноспособности страны. А как быть с рабочими капиталистических стран, которые не дадут интервенцировать СССР, которые будут бороться против интервенции и которые, в случае чего, могут ударить в тыл капиталистам. Не лучше ли пойти по линии усиления торговых связей с СССР, против чего и большевики не возражают. Отсюда тенденция к продолжению мирных сношений с СССР».

Достаточно сравнить эти два исторических документа, т.е. резолюцию VII съезда нашей партии «О войне и мире» и речь товарища Сталина на XVI съезде партии, чтобы документально доказать неизбежность генеральной линии нашей внешней политики, чтобы вывести ее основные моменты, неизбежные для всех периодов существования советской власти. Конечно, от VII до XVI съезда нашей партии прошел огромный период: за эти годы мы имели гражданскую войну и интервенцию, героическую борьбу революции с полчищами контрреволюции, а затем и окончательный разгром контрреволюции и интервенции, в которой принимали участие армии 14 буржуазных государств. Мы пережили годы блокады, а потом — годы восстановления нашего разоренного империалистической и гражданской войной народного хозяйства. Мы видели затем годы развернутого социалистического наступления. Лицо нашей страны радикально изменилось, и, соответственно этому, изменились и методы подхода к ней капиталистических стран, а следовательно, и некото-

рые методы нашей внешней политики. Но в основном (смотри резолюцию VII съезда и отчет XVI съезду) внешняя политика осталась без изменений: в ее основе лежит стремление как можно больше оттянуть новую войну (поскольку мы уверены, что при капиталистическом строе ее избежать невозможно) и использовать в стремлении к миру те буржуазные страны, которые в этом заинтересованы.

Буржуазия и ее публицисты любят, как известно, утверждать, что хорошая внешняя политика является результатом хорошей внутренней политики. В буржуазных устах такое утверждение звучит цинической ложью и двойным надругательством над широкими народными массами. В самом деле, что такое хорошая внутренняя политика в представлении буржуазных политиков? Это — та внутренняя политика, при которой в стране царствует кладбищенское спокойствие, при которой самые разнообразные методы насилия и обмана широких масс приводят к тому, что эти массы не оказывают сопротивления безграничному политическому господству монополистического капитала. При «хорошей» внутренней политике капиталистических стран подавлены все социально-освободительные и национально-освободительные стремления широких народных масс. Такая внутренняя политика считается в буржуазных странах хорошей по той простой причине, что она (т.е. «тишина» в стране) дает возможность господствующим классам вести империалистическую политику «большого стиля» — политику угнетения чужих народов и захвата чужих территорий. Иначе говоря, умение покорить свои собственные массы («хорошая внутренняя политика») приводит к умению покорить и чужие народы («хорошая внешняя политика»). Советская внешняя политика хороша именно потому, что внутренняя политика советского правительства целиком и полностью посвящена вопросам внутреннего строительства, а его внешняя политика направлена исключительно на дело поддержания всеобщего мира, на дело борьбы с опасностью новой войны. В

этом смысле конечно каждый наш успех на внутреннем, хозяйственном или культурном фронте является одновременно и вкладом в борьбу за мир.

Мы не собираемся здесь разбирать всех перипетий борьбы за мир советского правительства и нашей партии.

Советское правительство образовалось под руководством В. И. Ленина в борьбе за землю и мир. По историческому выражению Ленина, российские рабочие и крестьяне голосовали за мир ногами, уйдя с фронта империалистической войны. Вопрос о необходимости разоружения всех стран советское правительство ставило с первого же момента своего существования, — и в первом предложении мира всем воюющим странам, и на конференции в Женеве. Убедившись в невозможности побудить все страны разоружиться, в невозможности побудить, в первую очередь, к соглашению по вопросам разоружения ведущие империалистические страны, советское правительство пыталось достигнуть соглашения об ограничении вооружения между своими ближайшими соседями. Советское правительство и по сей день не прекращает своей борьбы за всеобщее и полное, а если оно, вследствие сопротивления империалистических правительств, невозможно, то хотя бы частичное разоружение. Через все дипломатические выступления советского правительства проходит красной нитью утверждение, что любое предприятие по охране всеобщего мира будет без разоружения лишено эффективности, останется лишь паллиативом, суррогатом, слабым подражанием тому окончательному решению проблемы безопасности войны, которая возможна только в результате разоружения. Говорит ли советское правительство о своем предложении заключить пакты о ненападении, о своем присоединении к пакту Бриана — Келлога (пакт об объявлении войны вне закона), о своем вступлении в Лигу наций, — оно всегда и везде утверждает, что эти мероприятия в пользу мира не дадут и не могут дать окончательного эффекта, если не закрепить их осуществлением разоружения. Чтобы понять внешнюю политику со-

ветского правительства, надо помнить о его постоянной борьбе за разоружение.

Во внешней политике советского правительства нас, современников, поражает (и, вероятно, еще больше поразит будущих историков) умение большевистской дипломатии пользоваться в борьбе за мир приемами обыкновенной буржуазной дипломатии, инструментами обыкновенных дипломатических договоров и соглашений. Мы говорим здесь о той системе пактов о ненападении, а затем пактов об определении агрессора (нападающей стороны), которая была, по указанию партии и советского правительства, выработана и осуществлена тов. М. М. Литвиновым. В буржуазной печати принято говорить и утверждать, что некоторые стороны советской внешней политики являются исключительно пропагандой дела мира и разоблачения воинственных намерений империалистических правительств. Что же, никто из нас не отрицает, что мы ведем пропаганду мира, и вряд ли кто посмеет откровенно заявить, что нехорошо и преступно разоблачать те империалистические правительства, которые готовят миру новую кровавую бойню. Однако эта пропаганда — только косвенное следствие нашей дипломатической работы, только побочный продукт внешней политики советского государства. Надо сказать, что, если бы советское правительство занималось только разоблачением военной политики империалистических правительств, оно давно разочаровало бы международные трудящиеся массы, которые, зная империалистическую политику, готовящую войну, требуют не пропаганды, а дела в пользу мира. Дело Советского Союза в пользу мира базируется на двух основных фактах, почерпнутых из опыта империалистической войны. Факт первый: локализация войны в условиях эпохи империалистических войн невозможна. Факт второй: в деле подготовки войны играет значительную, если не решающую, роль осуществление такой политической системы, при которой можно было бы в случае военного конфликта



сразу установить, кто является нападающей стороной.

Что касается первого факта, то советское правительство с первых же годов своего существования вело политику, при которой оно стремилось довести довоенную систему двухсторонних договоров (в лучшем случае договоров с участием трех-четырёх стран) до общей системы пактов о ненападении; заключая эти пакты, договаривающиеся стороны отказываются прибегать к нападению и войне, как способу разрешения споров и противоречий. Можно смело сказать, что пакт Бриана—Келлога был порожден усилиями советской внешней политики, т. е. что этот пакт родился в результате осознания буржуазной стороной того факта, что нельзя оставлять всю инициативу в деле обеспечения всеобщего мира советскому государству, что надо и самим что-то предпринять в этом деле. Но уже и тогда, при осуществлении этого пакта об «объявлении войны вне закона», в котором советское правительство приняло участие, было ясно, что его неэффективность вызвана тем, что, пытаясь вырвать инициативу борьбы за мир из рук советского правительства, авторы пакта не имели мужества продумать до конца основные установки советской внешней политики и осуществить главные ее положения. Пакт Бриана—Келлога стыдливо признавал основной советский тезис о невозможности локализовать новую империалистическую войну. Поэтому пакт придавал мирным обязательствам универсальный характер, т. е. привлекал к участию в нем решительно все страны. Но такой универсализм имел смысл только в случае осуществления дальнейших требований советского правительства, т. е. выявления роли агрессора, равно как и тесно связанной с установлением агрессора необходимости заранее установить санкции против нападающей стороны.

Теперь стоит, наряду с теми историческими документами, которые мы цитировали выше, перечитать советскую ноту, объявляющую о присоединении Советского Союза к пакту Келлога—Бриана и перечисляющую знаменитые

советские оговорки. В этих оговорках указывается на то, что без определения заранее понятия агрессора, без определения заранее того, что будут делать государства, которые должны призвать к порядку агрессора, весь пакт об объявлении войны вне закона является хотя и полезной, но все-таки только декларацией. И любопытно, что советское правительство немедленно после присоединения к пакту Бриана—Келлога начинает борьбу за осуществление своей старой системы пактов о ненападении, а затем — системы конвенций об определении агрессора, которую оно заключает с рядом стран после того, как всемирная конференция по разоружению отказалась включить эту конвенцию в общее соглашение между всеми государствами.

В этой своей борьбе против опасности войны, т. е. в стремлении увенчать здание обеспечения всеобщего мира (по-скольку обеспечение всеобщего мира возможно с помощью исключительно политических договоров, дипломатических инструментов, т. е. без одновременного осуществления всеобщего разоружения), советское правительство, — только на первый взгляд неожиданно, — получает мощную поддержку одной из ведущих империалистических стран — Франции. Эта поддержка, которая ведет к углублению и расширению дружеских связей между Францией и Советским Союзом, вызывает за границей, кривотолки об изменении внешней политики Советского Союза. Так называемому рапальскому периоду советской внешней политики, т. е. периоду соглашения между Германией и СССР, противопоставляется период соглашения между Францией и СССР, причем естественно, что у тех, кто может мыслить исключительно в империалистических категориях, напрашивается параллель между советско-французским соглашением и франко-русским довоенным союзом.

На вопросе о франко-советском сближении стоит остановиться не только потому, что это сближение является одним из самых значительных факторов современной международной политики,

но и потому, что именно оно, несмотря на все утверждения некоторых злопыхателей или искренне не понимающих существа советской внешней политики, является доказательством ее неизбежности и неизменности. По существу, между политикой соглашения СССР с Германией и нынешней политикой сближения с Францией нет никакой разницы. То и другое сближение для СССР оправдывалось исключительно стремлением того и другого правительства способствовать делу сохранения мира в Европе или во всем мире. Французское правило гражданского судопроизводства по алиментным делам и долгам гласило: «Установление отцовства запрещается». Собственно говоря, следовало бы запретить устанавливать и происхождение мирных устремлений империалистического буржуазного правительства, так как это может кое-кого разочаровать в миролюбии данного правительства. Но в данном случае такое исследование необходимо, ибо иначе нельзя лишний раз установить генеральную линию советской внешней политики.

Что обозначал раппальский период советской внешней политики? Неужели кто-либо мог подумать, что могут быть какие-либо родственные нити между советским правительством, детищем великой Октябрьской революции, и германским правительством, которое родилось в позорном социал-демократическом предательстве ноябрьской революции 1918 г., в поражении в империалистической войне и в победе над собственными народными массами? Неужели можно было хоть на один миг допустить, что германское правительство социал-демократов, «демократов» или открытых и скрытых националистов могло быть для советской страны хотя бы на один нюанс «симпатичнее» правительств (таких же или отличных от них) Франции или Англии? Наоборот, любое германское правительство всячески желало заключить соглашение со странами-победительницами в мировой войне за счет своих собственных народных масс. Шансов на соглашение однако не было. Была лишь возмож-

ность продолжения первой империалистической войны со стороны версальских стран и, одновременно, было налицо вполне естественное сопротивление германской буржуазии такой попытке, только потому нежелательной, с германской точки зрения, что Германии опять было бы уготовано поражение. Отсюда — «миролюбие» германской буржуазии. В то же время налицо была опасность, что буржуазия версальских стран может попытаться распространить версальскую систему, которая держала под своей пятой Германию, и на советскую страну. Логическим выводом из этих устремлений руководящих или решающих прослоек версальской буржуазии и было наше сопротивление версальской системе. Теперь некоторые буржуазные политики, в особенности германские фашисты, пытаются изобразить дело так, что мы, мол, были врагами версальской системы, а стали ее друзьями. Последнее утверждение является глупой и наглой клеветой, ибо советское государство никогда не может быть другой системы, которая является системой угнетения и порабощения целого ряда народов. Но мы — трезвые политики, мы знаем, что свергнуть версальскую систему может только новая мировая война. В результате этой войны (если не будет конечно победоносной пролетарской революции, которая подвергнет ревизию Версаль, как в конце-концов Октябрьская революция ревизовала Брест) будет новый империалистический Версаль, продиктованный той империалистической страной, которая на этот раз победит в кровавой схватке народов. Ясно, что такой новый Версаль, по существу, ничем не будет отличаться от нынешнего Версаля, и вызывать во имя его новую войну было бы преступлением. Сознание невозможности пересмотра нынешнего Версаля без новой войны вызывает у нас стремление бороться против такого пересмотра во имя сохранения всеобщего мира. Но во время так называемого раппальского периода нашей внешней политики наблюдалась, повторяем, опасность углубления версальской системы и в нашу советскую сторону, и борь-

ба против версальской системы со стороны германской буржуазии, боявшейся поражения в новой империалистической войне. Отсюда — возможность некоторой согласованности в области внешней политики, которая приводила к советско-германской «дружбе».

Но вот наступили времена «Третьей империи», которая хочет насильственно свергнуть версальскую систему, т. е. откровенно ищет путей к новой войне. К тому же основоположник этой «Третьей империи» — Адольф Гитлер и его соратники не отрицают, что возможность пересмотра нынешней версальской системы без новой мировой войны лежит исключительно в соглашении за счет советского государства, т. е. в придании версальской системе того антисоветского содержания, стремление к которому определяло в свое время — поскольку оно шло из антигерманских версальских стран — самую сущность советско-германского соглашения и сближения. С другой стороны, мы имеем перед собой Францию, которая ныне совершенно не заинтересована в новой империалистической войне, — эта война ничего не может ей дать, она в результате войны может только потерять, — и поэтому искренно стремится к сохранению мира. Значит ли, что такая замена одного буржуазного сотрудника другим, — во имя сохранения мира, во имя борьбы против военной опасности, — является каким-то радикальным изменением курса советской внешней политики? Наоборот, поскольку в сотрудничестве с тем или иным буржуазным государством решающим моментом является исключительно один и тот же фактор — его отношение к вопросу о войне и мире, — замена в советской системе борьбы за мир Германии Францией является лишь подтверждением неизменности нашей внешней политики: она была, есть и будет политикой сохранения мира, политикой борьбы против военной опасности — во имя охраны завоеваний Октябрьской революции и величайших достижений социалистического строительства. Сравнение франко-советского сближения с довоенным русско-французским союзом поэто-

му и не выдерживает никакой критики: русско-французский союз был соглашением двух империалистических держав, стремившихся в новой империалистической войне восстановить свое ущемленное великодержавие, в то время как франко-советское сближение, хотя и по разным мотивам его партнеров, стремится к координации усилий в борьбе за сохранение всеобщего мира.

Здесь очень уместно вспомнить столь простые, но столь величаво-спокойные слова тов. Сталина (в его отчете XVII съезду партии): «Некоторые германские политики говорят, что СССР ориентируется теперь на Францию и Польшу, что из противника Версальского договора он стал его сторонником, что эта перемена объясняется установлением фашистского режима в Германии. Это не верно. Конечно мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм например в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной. Дело также не в мнимых изменениях в нашем отношении к Версальскому договору. Не нам, испытавшим позор Брестского мира, воспевать Версальский договор. Мы не согласны только с тем, чтобы из-за этого договора мир был ввергнут в пучину новой войны. То же самое надо сказать о мнимой переориентации СССР. У нас не было ориентации на Германию, так же как у нас нет ориентации на Польшу и Францию. Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся в настоящем на СССР и только на СССР. И если интересы СССР требуют сближения с теми или иными странами, не заинтересованными в нарушении мира, мы идем на это дело без колебаний».

Эти формулировки тов. Сталина вызваны новой обстановкой в империалистических странах (не в СССР), они являются необходимыми дополнениями к той его основной формулировке нашей внешней политики, которую мы приводили выше.

Для того, чтобы на примере вступления СССР в Лигу наций показать, что советская внешняя политика и в данном случае осталась верна своим основным положениям, — генеральной линии защиты социалистического строительства, — надо хотя бы в общих чертах объяснить основные положения устава Лиги наций, т.-е. вскрыть те возможности, которые заключаются в природе этого учреждения. Лига наций была учреждена, как известно, странами-победительницами в мировой войне, — ее устав включен поэтому в состав Версальского договора. Но это отнюдь не значит, что своим вступлением в Лигу наций мы как бы признаем в известной мере Версальский договор: мы не значимся и не можем значиться в числе стран, которые подписали этот договор. Поэтому нас совершенно не интересует «окружение» устава Лиги наций.

В статуте Лиги наций декларативно-принципиальный характер имеет статья 1-я, которая говорит о том, что высокие договаривающиеся стороны (т.-е. державы и страны, основавшие Лигу) сознают, как важно «для развития сотрудничества между народами и для гарантии мира и безопасности между ними принять обязательства не прибегать к войне», и посему основывают Лигу, которая должна способствовать строгому соблюдению постановлений международного права, господства справедливости и добросовестности в международных отношениях. Из этого пункта уже видно, что Лига наций была, собственно говоря, задумана как организация для борьбы против опасности новой войны. И, действительно, основные статьи устава Лиги наций трактуют об ее поведении именно в случае войны или военной опасности. Статья 8-я признает, что «сохранение мира требует ограничения национальных вооружений до минимума, совместимого с национальной безопасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых общим выступлением». Статья 10-я указывает на обязательство «уважать и сохранять против всякого внешнего нападения территориальную целость и существующую политическую независимость всех чле-

нов Лиги. В случае нападения, угрозы или опасности нападения Совет указывает меры к обеспечению выполнения этого обязательства». Соответственно этому в статье 11-й определено объясняется, что «всякая война или угроза войны, затрагивает ли она прямо, или нет, кого-либо из членов Лиги, интересуется Лигу в целом и что последняя должна принять меры, способные действительным образом оградить мир наций...» Кроме того, объявляется, что «каждый член Лиги имеет право дружественным образом обратить внимание Собрания или Совета (Лиги) на всякое обстоятельство, способное затронуть международные отношения и, следовательно, грозящее поколебать мир или доброе согласие между нациями, от которого мир зависит».

Но что будет, если мир все-таки окажется нарушенным, если член Лиги наций все-таки прибегнет к войне как к средству разрешения международных споров (которые, по уставу Лиги, должны разрешаться третейским разбирательством)? Как гласит знаменитая статья 16-я, «если член Лиги прибегнет к войне... то он «ипсо факто» рассматривается, как совершивший акт войны по отношению ко всем другим членам Лиги. Последние обязуются порвать с ним все торговые и финансовые отношения, воспретить все сношения между своими гражданами и гражданами государства, нарушившего статут, и прекратить всякие финансовые, торговые или личные сношения между гражданами этого государства и гражданами всякого другого государства, является ли оно членом Лиги, или нет. В этом случае Совет обязан предложить различным заинтересованным правительствам тот численный состав военной, морской или воздушной силы, посредством которого члены лиги будут, по принадлежности, участвовать в вооруженных силах, предназначенных для поддержания уважения к обязательствам Лиги. Члены Лиги соглашаются, кроме того, оказывать друг другу взаимную поддержку при применении экономических и финансовых мер, которые должны быть приняты в силу настоящей статьи, что-

бы сократить до минимума могущие проистечь из них потери и неудобства. Они равным образом оказывают взаимную поддержку для противодействия всякой специальной мере, направленной против одного из них государством, нарушившим статут. Они принимают необходимые постановления для облегчения прохода через их территорию сил всякого члена Лиги, участвующего в общем действии для поддержания уважения к обязательствам Лиги».

Таким образом, устав Лиги наций действительно дает возможность бороться против военной опасности, дает возможность весьма эффективного выступления против нарушителя мира. Но при одном весьма важном условии: если члены Лиги наций, вернее, если государства, руководящие Лигой, действительно хотят бороться против военной опасности и если сохранение всеобщего мира лежит в их интересах. Со свойственной ему точностью это положение и определил товарищ Сталин в беседе с американским корреспондентом В. Дюранти.

Американский журналист спросил товарища Сталина: «Всегда ли исключительно отрицательна ваша позиция в отношении Лиги наций?» Ответ товарища Сталина гласит: «Нет, не всегда и не при всяких условиях. Вы, пожалуй, не вполне понимаете нашу точку зрения. Несмотря на уход Германии или Японии из Лиги наций, или, может быть, именно поэтому, Лига может стать некоторым тормозом для того, чтобы задержать возникновение военных действий или помешать им. Если это так, если Лига сможет оказаться неким бугорком на пути к тому, чтобы хотя несколько затруднить дело войны и облегчить в некоторой степени дело мира, то тогда мы не против Лиги. Да, если таков будет ход исторических событий, то не исключено, что мы поддержим Лигу наций, несмотря на ее колоссальные недостатки».

Тот ход исторических событий, о котором говорил товарищ Сталин, привел к тому, что Лигу наций никогда (а в особенности теперь) нельзя было рассматривать, как некое, раз навсегда

оформившееся, учреждение. Несмотря на то, что, как было нами показано выше, Лига наций теоретически может быть великолепнейшей организацией против войны, именно она в первые послевоенные годы была организацией, так или иначе подготовлявшей продолжение империалистической войны. Дело в том, что политику Лиги наций решают руководящие империалистические державы (в первую очередь Англия и в особенности Франция). Между тем империалистические державы, державы-победительницы в первой империалистической войне, фактически не считали эту войну законченной и отчасти продолжали ее или, во всяком случае, занимались подготовкой ее продолжения и даже мечтали об углублении версальской системы за счет Советского Союза. В таких условиях Лига наций не могла быть орудием мира, — она, по отношению к Советскому Союзу, к стране строящегося социализма, была орудием войны, даже орудием вооруженной интервенции. В таких условиях те статьи, которые мы приводили выше в доказательство возможности превращения Лиги в организацию мира, принимали, особо для Советского Союза, зловещий и провокационный характер. В частности именно такой характер принимала статья 16-я устава Лиги. Но, как уже указано выше, Лигу наций никак нельзя рассматривать, как некое механическое учреждение: изменился характер политики руководящих империалистических стран — изменился и самый характер Лиги наций. Если, в связи с нынешней внешнеполитической установкой Франции, перед советским правительством встала и была разрешена проблема о возможности согласования усилий в совместной борьбе за мир, то перед тем же советским правительством, которое не пропускает неиспользованной ни одну из возможностей действительно активной борьбы за мир, должна была, и без инициативы других стран, встать проблема сотрудничества с Лигой наций в пользу всеобщего мира. То, что все империалистические державы и так называемые малые страны, заинтересованные в сохранении всеобщего мира (в

особенности опять-таки Франция), взяли на себя инициативу приглашения СССР в Лигу наций, показывает только, что даже империалистические страны убедились, что никакая эффективная борьба против военной опасности не может иметь места без участия в этой борьбе Советского Союза — главного организатора всех предприятий, служащих делу мира.

Конечно, как указал тов. Литвинов в своей первой речи на пленарном собрании Лиги наций, Советский Союз «далек от преувеличения возможностей и средств Лиги наций по организации мира». Однако тов. Литвинов указал в этой речи и на то, что «над этой задачей (организации мира) советское правительство никогда не переставало работать. Отныне оно хочет объединить свои усилия с усилиями других государств, представленных в Лиге наций. Стало быть, вступление СССР в Лигу наций — явление такого же порядка, как и все мероприятия советского правительства в борьбе за мир. «В этой предстоящей нам с вами общей работе, я уверен, будет мощно чувствоваться воля 160-миллионного государства к миру, к миру для себя и других государств».

В этих словах тов. Литвинова заключается не только характеристика нашей внешней политики в прошлом, но и прогноз нашей внешней политики на бу-

дущее. За рубежом напрасно трудятся над предсказаниями, куда идет СССР и каковы будут отныне основные линии его внешней политики. Эти линии очень просты, ибо в основу советской внешней политики положено одно только слово: «мир». Правда, как указывал тов. Сталин, а за ним и тов. Литвинов, не надо забывать, что к этому слову «мир» ставит свой восклицательный знак наша славная и могучая Красная армия — величайший в мире оплот всеобщего мира. Но именно мощь Красной армии, которая никогда не допустит врага на советскую территорию, именно воспоминания о ее победах над белогвардейской контрреволюцией и интервенцией четырнадцати государств, заставляет нас еще сильнее бороться за мир: боевые герои Советского Союза не обязательно рождаются на полях войны, — они рождаются и на гигантах социалистической промышленности, и на колхозных полях, и в борьбе с природой и стихией.

У римлян была поговорка: «Времена меняются, и мы меняемся с ними».

Советский вариант этой поговорки гласит: «Времена меняются, но мы не меняемся с ними». Мы остаемся все теми же борцами за мир, какими были в момент Октябрьской революции, победившей под руководством В. И. Ленина, какими мы работаем на социалистической стройке, руководимой нашим великим вождем, товарищем Сталиным.

## 2. В СТРАНЕ ИБН-САУДА

### А. Юрьев

На столе, в рубке капитана, карта Черного моря. Прямая карандашная линия соединяет две точки: Одесский маяк и маяк Анадоли Фанер на азиатском берегу Босфора. Между ними — двадцать семь часов безостановочного пути, и мы — у берегов Турции, у входа в Босфорский пролив.

Трещина, расколовшая твердый материк на Европу и Азию. Узкое коленчатое горло около трех десятков километров длины, соединяющее два моря:

Черное и Мраморное. Многоводный и глубокий естественный канал, один из живописнейших в мире. Это — Босфор.

В Турции мне предстояло пересечь на пароход, который прямым рейсом шел в аравийскую Джедду.

Мои сборы окончились. Настал момент отъезда.

В этот сезон<sup>1)</sup> Совторгфлот имел на Красноморско-Персидской линии три

<sup>1)</sup> 1932 г.

товаро-пассажирских парохода: «Туржмен», «Зырянин» и «Самоед».

На этот раз в тропический рейс шел «Самоед».

Прощальные приветствия стамбульских товарищей на борту парохода.

Осталась позади суетливая Галата. «Самоед» выбрался с внутреннего рейда, развертываясь между немногими в порту пароходами. Их грязные, облезлые, давно некрашенные борта свидетельствовали о плохих делах их хозяев. Выступающая из воды ватерлиния указывала на неполную загрузку судов. Их малочисленность в порту — признак застоя в торговле. Мировой экономической кризис и здесь крепко держит в железных тисках свои жертвы.

«Самоед» вышел в Мраморное море и дал полный ход.

Перед глазами — великолепная панорама. Теперешний республиканский Стамбул, бывший султанский Константинополь, древняя Византия римских императоров, — все сосредоточилось на небольшом клочке земли, там, где сливаются Босфор, Золотой Рог, Мраморное море. Громадной махиной распласталась на высоком берегу тысячелетняя, окаменелая Айа-София. Рядом желтеет огромное здание бывшего султанского сераля с торчащими на крыше неуклюжими широкими трубами дворцовой кухни. И тут же, поодаль, Ахмет-Султан поднимает в голубую высь свои шесть тонких точеных минаретов. С обрывистого, крутого берега смотрят в море дощатые, почерневшие от времени и нищеты, лачуги окраинных бедняков. Дальше, уже на краю города, — Едикюле, что значит «семибашенный замок». От него остались лишь четыре полуразвалившиеся каменные башни — свидетели былого султанского самовластия. От самого моря, огибая огромный город, тянется вглубь длинной серой лентой знаменитая Византийская стена. С парохода в ней видны обросшие зеленым кустарником «Золотые ворота», на которых якобы прибил свой щит при вступлении в Византию «первый русский империалист», князь Олег. На

берегу моря — новый цементный завод. Купальный пляж «Флория». А дальше — холмистые зеленые поля.

Скоро все эти «достопримечательности» потонули в дымчатой мгле наступивших сумерек. Впереди, далеко в море, темнеет остров Мармара. Отсюда великие скульпторы античной Греции и Рима добывали чудесный мрамор для своих изумительных Венер и Аполлонов.

Быстро наступившая ночь скрыла оставшийся в стороне мраморный остров.

Рано утром проходим последние границы Турции. Направо — низкие зеленые берега полуострова Галлиполи, — древнегреческий Херсонес Фракийский. В узком проходе Дарданельского пролива, у песчаных берегов, торчат из воды почерневшие обломки мачт от потопленных здесь в мировую войну многих десятков военных судов. В этом тихом и спокойном теперь проливе принесены в жертву алчным капиталистическим аппетитам тысячи человеческих жизней. У галлипольских фортов бросался жребий из-за вождяленного Константинополя, уже в начале мировой войны обещанного в обмен на русское пушечное мясо верному слуге империализма — Милюкову Дарданельскому.

Высоко на холме, на безоблачном небе, сереет пирамидальный памятник жертвам войны, — памятник величайших преступлений, совершонных в этих местах «героями» империалистической эпохи.

Наш «Самоед» входит в Эгейское море. Море островов. Места знаменитой эгейской культуры. Мысль уходит в иную эпоху, эпоху иных героев.

Вспоминается эпоха античной Греции, населившей это идеально голубое море и разбросанные повсюду острова необыкновенными существами, наивные сказания о которых дошли до нас в виде многочисленных причудливых мифов. Целый сонм «небожителей», вершителей судеб человеческих, дает нам античная мифология. Зевс, Аполлон, Посейдон, Афродита, Дионис, Гермес, Артемида и много других богов-олимпийцев

чередой проходят перед нами. Великий Гомер, оставивший человеческой культуре великолепные образцы античного эпоса, дает в своих знаменитых «Одиссее» и «Илиаде» ряд красочных описаний удивительных подвигов богов и героев. Это Гомер воспел утреннюю зарю, открывшую нам сегодняшний день при входе в Эгейское море:

Встала из мрака младая с перстами  
пурпурная Эос...

Эгейское море — море мифов, море островов. Это — арена борьбы античных богов и героев за власть сильного над слабым, за господство аристократов над рабами, за «божественную» власть над «черной». Об этом говорят мифы. И не об этом ли говорят и оставленные позади, в проливе Геллеспонтском, обломки мачт и серые памятники?..

Пароход миновал последний остров. Остров Родос — когда-то, в глубине веков, могучая Родосская республика. Впереди — необъятная ширь Средиземного моря. Это море — тоже арена, арена современных империалистических «богов и героев», также пытающихся решать судьбы народов.

Пустынное море. На всем пути до Суэцкого канала нам встретилось не больше трех-четырёх пароходов. Экономический кризис опустошил не только сушу, но и море.

У входа в Суэцкий канал — высокий маяк. Наверху его установлен огромных размеров хрусталь, дающий яркость и силу света, видимого с моря на расстоянии нескольких десятков километров. Канал в 168 километров длины. Два египетских порта, по существу два британских наблюдательных пункта, замыкают оба конца канала: Порт-Саид в начале и порт Тауфик (напротив порта Суэца) в конце, у входа в Красное море.

Двенадцать часов необходимо, чтобы пройти канал. Путь — ночью. Поэтому на нашем пароходе устачавливают мощные прожекторы. Английский лоцман занимает место на капитанском мо-

стике. Подозрительный тип, «портовый агент», шныряет глазами за нашими матросами и немногими пассажирами. Египетская полиция, расставив посты на пароходе, «охраняет» судно. В таком «оформлении» советский «Самоед» проходит из Средиземного моря в Красное.

Зажатое между тропическими берегами Африки и Аравии, млеет море от нестерпимого зноя. Здесь нет пощады от горячего солнца и «банной» температуры. И наш «Самоед» с его «ледяным» названием мужественно вступил в полосу жгучего тропического воздуха.

Двое суток пароход шел открытым жарким морем без всяких признаков земли, после того как пропустил мимо себя небольшой скалистый островок Братья, в 270 километрах от Суэцкого канала.

Красное море изобилует многочисленными подводными рифами. Это делает крайне опасным подход морских судов к портовым городам. Без опытного местного лоцмана ни один капитан иностранного судна не рискует подойти к Джедде.

В последний вечер нашего пути капитан «Самоеда», в ожидании с ближайшего морского поста арабского лоцмана, бросил якорь в открытом море, в 20 милях от Джедды, опасаясь двигаться дальше при наступающей темноте.

Далеко впереди белой точкой, принятой было нами за парус лоцманской лодки, показался маяк Шаб-эль-Кебир. На морских картах он нанесен черным пятнышком с булавочную головку.

Слабый ветерок качал «Самоед» из стороны в сторону. Пароход крепко держался на якорной цепи, глубоко ушедшей в морскую пучину. Наступила черная тропическая ночь. Было жарко и душно. Далеко, низко на горизонте, зажглись два ярких огня, как два живых глаза среди мертвой безбрежной пустыни. Это — Абу-и-Кадар, морской сигнальный пост, установленный на микроскопическом рифовом островке. Отсюда должен был с вечера подойти на паруснике к нашему пароходу запоздавший лоцман.



Рано утром, еще до восхода солнца, большая парусная лодка с тремя черными арабами подошла к «Самоеду». Один из арабов привычно быстро поднялся по трапу на пароход, прошел на капитанский мостик, поздоровался с присутствующими. Это был ожидаемый нами лоцман. Высокого роста, в белой, до самых плечок, рубашке, в черном жилете, с кружевным белым колпачком на голове, босой, — этот крепкий и уже пожилой араб уверенно занял место на капитанском мостике. Окинув острыми глазами широкий горизонт, он взмахнул рукой, давая знак поднять якорь.

Пока с грохотом поднималась якорная цепь, араб-лоцман умыл руки и лицо из стакана с водой и быстро, мимоходом, совершил утренний намаз. Освежившись предложенной бутылгой нарзана и поблагодарив широкой улыбкой со словом «таиб» (хорошо), лоцман вступил в исполнение своих обязанностей, заняв место впереди штурвального.

Солнце еще не взошло, но небо кругом уже посветлело. На горизонте туманной линией обозначался берег. Это — Тихама. Низкая пустынная полоса земли, которая тянется почти вдоль всего аравийского побережья Красного моря на сотни километров, отходя от берега не более 30—40 километров вглубь материка.

За Тихамой — цепь высоких гор. Резкой ломаной линией они вырисовывались на далеком горизонте. Жаркие лучи показавшегося солнца окрасили розовой дымкой острые, скалистые их вершины.

Наш черный лоцман, пристально всматриваясь в даль, движением руки указывал штурвальному направление курса. Пароход шел полным ходом.

Вдруг, как-то внезапно, в знойном мареве на горизонте замаячили белые и светлосерые кубообразные глыбы. Они взбирались друг на друга, тесной каменной громадой выделялись на голубом фоне моря и неба и уходили в стороны, расплываясь по низкому, еле заметному берегу.

— Джебда х, — с каким-то гортанным придыханием, громко произнес лоц-

ман, указав рукой на сверкающий уже от тропических лучей солнца силуэт арабского города. Его плоские горизонтальные очертания все резче и резче обозначались по мере приближения к нему «Самоеда».

Мы быстро подходили к порту. Несмотря на ранний час, изнурял зной. Всюду, неглубоко под поверхностью воды, показывались широкими изумрудными пятнами подводные рифы. Коегде они выступали наружу гладкими, покрытыми яркой зеленью площадками. Тут же из воды торчали, на равных интервалах, каменные низкие столбы-тумбы, обозначая для морских судов направление главного фарватера.

«Самоед» продолжал идти полным ходом. Я поражался чрезмерной смелости арабского лоцмана, ведущего пароход на полных парах между предательскими «Сциллами» и «Харибдами».

При входе на рейд пароход встал: наш «араб-капитан», пользовавшийся известностью у всех моряков Востока как единственный опытный арабский лоцман, на этот раз потерпел аварию.

Никто из нас не понимал, о чем взволнованно кричал по-арабски лоцман, указывая то на каменные тумбы, то на изумрудные подводные пятна. Одно было для нас ясно — пароход сидел на мели.

Недалеко от «Самоеда», тут же на рейде, видны остатки другой, более трагической аварии. В воде на боку лежал ржавый железный остов сгоревшего года четыре назад французского парохода «Анна». Пароход погиб вместе с пассажирами, мусульманскими паломниками. Очевидцы этой трагедии утверждают, что спасение с горевшего судна смогли лишь те, кто был в состоянии заплатить лодочникам золотыми фунтами стерлингов.

К «Самоеду» подошел морской катер и снял нас, троих пассажиров, с аварийного судна. Минут через двадцать мы были у берега.

Белое каменное здание таможни близко подходило широкими крытыми галереями к морю. Вдоль стенки неболь-

шого мола качалось на воде десятка полтора щеголеватых морских катеров. На берегу, у самого края воды, — группа каких-то влиятельных арабских персон. Арабы в коричневых или черных тонких бурнуссах («аба»), надетых поверх белых шелковых рубах или пестрых длинных халатов. На головах — белые кисейные покрывала, «увенчанные» черным или серебряно-золотистым коленчатым жгутом.

Рослые, со смуглыми «породистыми» лицами, с тщательно выхоленной черной бородой и усами, они несомненно принадлежали к джеддинской знати. В их группе находилось несколько европейцев в белых костюмах и пробковых шлямах на головах. Как мы впоследствии узнали, в группе находились губернатор города и наиболее влиятельные представители крупных торговых джеддинских фирм. Это были типичные экземпляры компрадорских слоев арабской буржуазии.

Катер пристал к каменному молу, и мы сошли на горячую аравийскую землю.

Джедда — не только морской торговый порт. Джедда — приемочный пункт для многих десятков тысяч паломников-мусульман, ежегодно высаживающихся с иностранных пароходов на эту бесплодную почву. Период паломничества — «хадж», — является богатейшей «жатвой» для английских и голландских пароходных компаний. Контингент паломников в значительной степени составляют пожилые мусульмане. Немалую долю годами накопленных специально для «хаджа» средств эти жертвы исламского фанатизма оставляют в карманах предприимчивых пароходоладельцев. На период «хаджа» пароходы значительно повышают свои фрахты.

Отсюда, из Джедды, паломники направляются на родину Магомета, в город Мекку, чтобы поклониться арабской «святыне» Каабе — древнему черному камню, якобы упавшему с неба.

Всего лишь 87 километров отделяют Джедду от Мекки. Но на этом коротком пути паломники, уже ранее достаточно обобранные ловкими пароходны-

ми компаниями, оставляют, во имя Аллаха и его пророка Магомета, почти все остальные свои сбережения.

Высаженная на джеддинский берег шумная, фанатично настроенная толпа паломников тотчас попадает в хитро расставленные сети агентов правительства Ибн-Сауда. И здесь каждый шаг паломника тщательнее опечатывается этими агентами.

Золотыми английскими фунтами стерлингов оплачивают сыны ислама свое право на поклонение «святым местам». Другая какая-либо валюта в расчетах с иностранцами, в том числе и с мусульманами-паломниками, здесь не пользуется популярностью.

Четыре золотых англофунта стоит паломнику в'езд в Джедду, считая портовые, таможенные и прочие сборы. Нужно заплатить один фунт золотом хозяину дома, у которого временно остановился прибывший паломник. Сверх того, тому же хозяину вносится правительственный налог в размере около семи золотых англофунтов. Не иначе, как только по золотой таксе, оплачивается и поездка паломника из Мекки в Медину (могила Магомета), если эта поездка имеет место на автотранспорте. Лишь стоимость верблюда, плата за питание, пользование палаткой, предохраняющей паломника в пути от лучей тропического солнца, восхождение на «священную» гору Арафа и прочие местные расходы взимаются в местной денежной валюте — серебряных реалах.

Местная валюта, — реалы, или иначе талеры, — пользуется широким распространением не только в Аравии, но и в значительной части восточноафриканских колоний. Она чеканится в Вене и является для Австрии значительной экспортной статьей. На серебряной монете крупного размера изображен портрет жившей в XVIII веке австрийской императрицы Марии-Терезии. На обратной стороне монеты вычеканен 1870 год. Эпоха XVIII века. императрица Терезия, аравийские феодалы и африканские колонии, — таково одно из сплетений эксплуататорских интересов современного империализма в аравийско-африканских странах.

Месяц пребывания в «святой земле» обходится каждому паломнику в среднем 18—20 золотых англофунтов, идущих в правительственную казну Саудии. Тысячи «правоверных», умирающих в период «хаджа» у «священных» стен Мекки от тропической лихорадки, в счет не идут.

Саудия — единственное в своем роде государство, вся жизнь которого зависит от столь случайной и непрочной экономической категории, как паломничество. Государство не имеет своей экономической базы. Нельзя считать надежной экономической базой кочующие по неуютным аравийским пустыням бедуинские племена. Их вожди, поддерживающие Ибн-Сауда прежде всего как духовного главу ваххабитов, требуют от него за эту поддержку известной денежной дотации. Отсюда — финансовая проблема как основной стержень всей экономики Саудии.

Ибн-Сауд, еще будучи только эмиром Неджда, до завоевания им в 1925 году Геджаса, хорошо понял всю материалистическую суть мусульманских святынь — Мекки и Медины. В поисках разрешения финансового вопроса, остро поставленного вождями кочевых племен Неджда, и под их давлением Ибн-Сауд объявил в 1924 году войну геджасскому королю Али Гуссейну, посланному ставленнику англичан. Занял Мекку и Медину, дошел до моря, утвердился в Джедде и объявил себя королем Геджаса, Неджда и Присоединенных областей. Осенью 1932 года Ибн-Сауд по мотивам, близким к идее «панарабизма», переименовал свое государство в «Арабское государство Саудию».

Мекка, Медина, Джедда превратились теперь для нового короля в богатый источник денежных средств. В 1927—1929 годах волна паломничества поднялась до 100—125 тысяч человек в год. Это давало в саудовскую казну от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов.

Но последующие годы, годы мирового экономического кризиса, резко сократили приток паломников в Саудию. 1930 год дал лишь 31 тысячу человек,

1931 год — 45 тысяч, 1932 год — 29 тысяч, 1933 год — не более 30 тысяч.

Это катастрофическое для финансовой системы Ибн-Сауда падение притока паломничества объясняется не только годами экономического кризиса, подорвавшими материальное благосостояние паломников. На сокращение волны паломников оказывают влияние и другие, более глубокие, факторы. Смена султанского деспотизма в Турции передовой республикой Кемалю, беспрестанно потрясающие Индию национально-революционные выступления голодных народных масс, стачечная борьба на чайно-сахарных плантациях голландской Явы и ряд прочих явлений того же порядка в странах с мусульманским населением пробуждают сознание широких мусульманских масс, отвлекают их внимание от религиозных настроений и бросают наиболее передовую часть мусульманства на борьбу не столько за «небесные», сколько за земные блага.

Ибн-Сауд — реальный политик. Он видит, как уплывает из-под его ног основа финансового благополучия страны — паломничество. Лишиться миллионных доходов от «хаджа», это — поставить под угрозу само существование арабского государства. Надо искать выход. Нужно создать собственную внутреннюю экономическую базу, которая не зависела бы от столь случайных в век империализма факторов, как паломничество. Поэтому сейчас Ибн-Сауд делает крутой поворот во внутренней политике. Он переводит дикие бедуинские племена, кочующие по бескрайным и бесплодным пустыням Геджаса и Неджда, на оседлое положение. Король Саудии решил превратить эту бродячую и идущую за ним, как за вождем духовной секты ваххабитов, силу в оседлых землепашцев, прикрепить их к разбросанным по пустыне оазисам, создав таким путем земледельческие хлебные районы.

Сложность и серьезность проведения этой задачи сталкивается с величайшим стихийным препятствием: отсутствием в пустыне воды. Без воды прикрепить кочевника на участке невозможно. Поэтому водяная проблема для Саудии яв-

ляется в настоящий момент одной из главнейших проблем экономического устройства. Разрешение этой проблемы связано с импортной политикой. Требуется ввоз бурильных станков, насосов, ирригационного оборудования и прочего. Американцы, англичане и немцы своевременно учли эту ситуацию, направив в Аравию не только образцы насосов и станков, но и своих инженеров.

Порт Джедда является сейчас средоточием ловких капиталистических дельцов. Пользуясь испытанными методами восточной «колониальной политики», они наперебой предлагают Саудии свои сомнительные услуги.

Недавно закончившаяся война Ибн-Сауда с иеменским королем имамом Яхьей до последней степени истощила финансовые ресурсы Саудии. Войной решался давнишний спор между арабскими феодальными владыками о пограничных территориях. Ибн-Сауд оспаривал у имама Яхьи суверенные права на приморский эмират Ассир и на небольшой горный район Неджран. Негласный вдохновителем этой кровавой распри арабская национальная печать считает великобританский и итальянский империализм, заинтересованные в укреплении своего влияния на два самостоятельных арабских государства: Саудию и Йемен. Британский империализм остался удовлетворенным успехами Ибн-Сауда в войне с Йеменом. Война окончилась уступкой Ибн-Сауду со стороны имама Яхьи спорных территорий. Наступила пора для ловких колониальных дельцов использовать создавшуюся «ситуацию». Лучше всего это можно проделать в портовом городе Джедде.

Город Джедда еще со времени империалистической войны сделался хорошо проторенной дорожкой для всякого рода капиталистических авантюристов.

Сюда в 1916 году пристал, пробираясь через опасные подводные рифы, военный английский корабль, высадив здесь известного полковника Лоуренса.

Отсюда начал этот «некоронованный король Аравии», как называли Лоуренса сами англичане, свою провокацион-

ную авантюру арабского «восстания в пустыне»<sup>1)</sup>. Агент великобританской контрразведки, сотрудник так называемого «Арабского бюро» в Каире, Лоуренс покупал на английское золото арабских вождей различных кочевых племен. Используя их национально-освободительные стремления сбросить турецко-султанское иго, этот ловкий авантюрист, взрывая самолично железнодорожные мосты, вел голодные арабские племена на Дамаск под провокационным лозунгом провозглашения там самостоятельного национального арабского государства.

Лоуренс сделал свое дело. Империалисты извлекли нужную для них выгоду из арабского национального движения во время империалистической войны, поставив арабское население перед фактом создания целой коллекции подмандатных территорий: Ирак, Сирия, Трансиордания, Палестина...

Теперь Джедда — резиденция представителей европейской дипломатии. Здесь, под знойным тропическим солнцем, плетутся хитроумные узлы восточной политики бассейна Красного моря. Здесь тонко «обрабатываются» в интересах империализма арабские короли, эмиры, шейхи.

Порт Джедда связан пароходными рейсами с африканским берегом через Суэц, Порт-Судан, Суакин, Массауа, Джибути. По аравийскому берегу Красного моря Джедда имеет связь с Ходейдой, Меккой, Аденom. Через Аден, английский военно-торговый пункт в юго-западном углу Аравийского полуострова, Джедда ведет большую торговлю с Индией, Австралией, Персией.

В момент прибытия в Джедду нашего советского «Самоеда» в порту идет суетливая выгрузка муки. На рейде стоит пароход английской компании «Хедивиаль-Ляйн», сбрасывая со штропов в большие лодки-самбуки тяжелые мешки бомбейского хлеба. На берегу группа портовых рабочих сносит мешки из самбуков на склады. Прикрытые грязными

<sup>1)</sup> Свою деятельность в Аравии Лоуренс описал в книге, вышедшей в 1928 г. в русском переводе в издательстве «Московский рабочий» под названием: «Восстание в пустыне».

кусками холстины грузчики, в большинстве случаев черные суданские негры, частью местные арабы и пришедшие из неждидийских пустынь бедуины, обливаются горячим потом. С коротким гортанным возгласом двое полуголых суданцев ловко подцепляют из самбука железными крючьями тяжелые мешки и кладут их на блестящие от солнца и обильного пота черно-шоколадные спины товарищей. Полусогнувшись от тяжести, грузчики бегут к складу и быстро сбрасывают тяжелую ношу на землю. Тут же, у склада, рассказывает в богатых белых одеждах упитанный арабский коммерсант из местной компрадорской буржуазии. Он дает какие-то распоряжения своему приказчику, указывая на груды мешков.

К берегу подходят новые самбуки, высоко нагруженные деревянными громоздкими ящиками. Это автомобили Форда, прибывшие на нашем пароходе из Стамбула. Их снятие с «Самоеда» дало возможность сойти ему с подводного рифа.

В порту невыносимая вонь от гниющих, плавающих у самого берега, различных отбросов. Дохлые собаки и кошки, рыбы головы, зеленая плесень, доски, палки, разнообразный мусор, — все это плавно качалось на воде у берега. Зной, пыль, суетня лодочников, крики грузчиков, визг ребятишек, груды мешков, тюков. Крытые галереи каменных зданий, белые стены, отражающие горячий слепящий глаза солнечный свет. Таков порт Джедда.

Вокруг города — каменная белая стена. Пять ворот в разных направлениях выводят из города на бесплодные песчаные окрестности. На горячем солнце большие дома, иные в 5—6 этажей, ярко блестят своими густо оштукатуренными стенами. Окна без стекол — особенность тропиков. Вместо оконных стекол — целая система деревянных решетчатых жалюзи. Потемневшие от солнца, они скрипят на ржавых крючках. Эти своеобразные окна на яркobelом фоне зданий резко выделяются темными квадратами и четырехугольниками на пыльных площадях и в узких пролетах кривых, пустынных улиц. Узорчатые балкончики, прилепившись к стенам,

еще больше затемняют тесные просветы переулков. Всюду прибиты к домам деревянные ящики из-под керосиновых бидонов. В ящике проделана круглая дыра. Так арабы привлекают в эти «скворешницы» диких голубей.

Плоские, гладко обмазанные известью, крыши домов служат джеддинской буржуазии любимым местом для семейных интимных бесед в вечерние часы, когда спадает жара. Эти крыши служат и местом для сна. Закутавшись с головой в белые покрывала, арабские семьи спят здесь ночью, обычно не раздеваясь, накрывшись иногда еще стегаными теплыми одеялами. Правоверные последователи Магомета, поднявшись еще до восхода солнца, тут же, на крыше, становятся для утренней молитвы. Женщины, тщательно кутаясь в длинные покрывала, убирают после сна цыновки и тюфяки, спускаясь, как тени, куда-то по каменной внутренней лестнице. Поработание женщины, как и все остальные традиции ислама, составляют основу быта в этих защищенных темными жалюзи домах.

Городской бедноте и рабочему люду нет места на широких плоских крышах. Они спят на базарных площадях и переулках, вытянувшись на простых плетеных диванах под открытым небом.

Арабская беднота первая нарушает утреннее безмолвие улиц. С раннего часа гортанный крик водовозов оглашает узкие переулки Джедды. На крашенных в желтые пятна осликах они развозят по домам пресную воду. У стены, на кривоногом диване, еще не проснулся домашний слуга. Подъехавший водовоз посмотрел на спящего и, следуя арабскому обычаю — никогда не будить спящего, двинулся дальше, оставив дом без воды.

По переулку торопливо прошел черный, как уголь, негр, направляясь на утреннюю работу в порт.

В яркожелтом полосатом халате, с чашками козьей простокваши в руках, пробежал молодой арабчонок, поднимая босыми ногами клубы серой пыли.

В соседнем переулке проснулись прачки — два полуголых суданца. Они спали тут же, у своих грязных корыт. Не

закусывая, клевнув лишь из чайника какой-то бурой жидкости, они быстро принялись за работу, наполняя свои корыта водой из подехавшей двуколки водовоза.

Старая негритянка с голым ребенком за спиной неслышно движется, неся на голове широкую корзину со скудной зеленью на базар.

Базар — в центре города. Он занимает несколько тесных улиц. Одна, более широкая, защищена от жаркого солнца сплошным навесом из досок, холстины и пальмовых листьев. Здесь — наиболее крупные мануфактурные магазины и бакалейные лавки. Товар исключительно привозной: чехословацкий сахар, японская и американская бязь, индийская и австралийская мука, керосин и бензин Шелла, лес из Югославии, шведские и японские спички, бельгийский цемент, немецкие и английские металлические изделия и т. д. Весь этот ассортимент капиталистической продукции, специально изготовленный для колониальных стран, мирно уживается в этих тесных восточных кварталах. Здесь товары «нормально» конкурируют друг с другом. Рынок поделен. Пружинные, действующие в этом дележе, расположены тут же по соседству, в другом квартале... посольском.

Капиталистические державы пытаются отсюда регулировать свои взаимные интересы в Саудии, уже давно ставшей ареной капиталистических противоречий.

Тихо сейчас в центральной части базара. Красочные, в пестрых одеждах, купцы — арабские, индусские, сирийские — флегматично перебирают янтарными четками, сидя на поджатых ногах перед своими товарами за чашкой черного кофе, в ожидании покупателей. Пальмовыми флажками, вместо вееров, освежают они свое лицо от дневной томительной духоты. Всякие базарные сплетни — предмет их мирных бесед. Ласковыми кивками и приветствиями стараются купцы завлечь в магазин случайного покупателя. Настоящих покупателей нет. Сейчас — «мертвый сезон». Не только потому, что мировой кризис и здесь нащупал

свои жертвы, заколовив досками часть магазинов и лавок, но и потому, что не наступил еще сезон «хаджа» — паломничества, — когда торговля значительно оживает. Полутора-двухмесячный период «хаджа» составляет почти две трети годового оборота коммерсантов. Но «хадж» падает из года в год. Джеддинские капиталисты жалуются на наступившие плохие времена, говоря об отсутствии капиталов, о неаккуратных должниках, уповают на аллаха, на его пророка и на... кое-кого из советчиков в посольском квартале.

Лишь только чайханы в узких боковых переулках, пропахших жареным бараньим салом и зеленеющих свежими овощами и фруктами из соседнего оазиса, оглашаются громкими криками, возгласами, полны восточной суетни и шума. Здесь погонщики мулов, мелкие ремесленники, бедуины из жаркой пустыни, находят часы отдохновения за чашкой мутной жижицы и порцией пропахнувшей потом баранины. Кругом кишат мириады мух. Грязный арабченок, специально приставленный к прилавку, монотонно обмахивает плетеным из листьев веером замысловатую арабскую снедь.

Базар лишен вывесок, указывающих на характер торговли. Рекламой служат выставленные на прилавках и в дверях товары. Мишурный блеск, яркие краски, кричащие формы пестрят повсюду. Это лучше, чем незатейливая вывеска с фамилией торговца, привлекает падкого на все блестяще-яркое восточного клиента.

Европейские и американские коммерсанты учли страсть восточного человека к блестящей мишуре. Яркожелтые щиты пестрят по всему базару Джедды, на углах домов, на высоких столбах городских окраин, в порту и т. д. Это «всепогожий» на Красном море Шелл предлагает свой керосин и бензин. С не меньшей назойливостью всюду лезут в глаза оранжево-фиолетовые автопокрышки американской фирмы.

Тут же, у американской рекламы, равнодушные ослы и мулы жуют клочок выброшенной им сухой травы. Их раскрашенные желтыми полосами ноги,

гривы, бока явно соперничают с кричаще разрисованной американской автопокрышкой. Эта яркая желто-оранжево-фиолетовая мимикрия Шеллов и американских «каучуконосов» ловко придумана империалистами в их тайных целях проникновения в желтую аравийскую пустыню.

У посудной лавки какой-то нищий старик перед зеркалом рассматривает свою скудную растительность на лице. Его борода и бакенбарды, окрашенные в густой оранжевый цвет, дополняют яркую гамму базарных красок.

В шесть часов вечера вдоль базарных лавок быстро проходит полиция «нравственности», громко постукивая по прилавкам толстыми бамбуковыми палками, предлагая прекращать торговлю. Это — время вечернего намаза, молитвы Магомету. Купцы торопливо собирают на полки товары, спускают деревянные щиты, служащие вместо дверей, запирают магазины на два-три замка и группами расходятся с базара. День кончился.

Электрического освещения на улицах нет. Лишь в центре города две-три улицы скудно освещаются керосиновыми лампами, установленными высоко на углах домов. Арабская знать не нуждается в электрическом уличном освещении. После семи часов вечера, когда все погружается во тьму, можно видеть в разных районах города, в темных улицах, движущиеся ярко горящие точки. Это — газолиновые лампы. Черный слуга несет такую лампу на коромысле через плечо, освещая путь своему хозяину. Пучки света от лампы вырывают из уличного мрака то закутанную в белое фигуру, спящую на плетеном диване у стены, то запоздалого пешехода, то спугнутую сонную кошку, обилие которых здесь прямо поражает.

Джедда вообще изобилует всякими «домашними» животными. Бледножелтые ящерицы с большой ловкостью переползают по стенам жилых комнат, внезапно останавливаясь и наивно вращая круглыми, как горошины, желтыми глазами. Огромные коричневые тараканы настороженно сидят, тихо шевеля усами, по углам и щелям. Аравийские

пауки стремительно срываются в темных, сырых местах, высоко приподнявшись на длинных коленчатых ногах. Как живые черные точки, пестрят они по стенам. Мелкопородные жгучие мухи неустанно липнут к потному телу.

За городом, на футбольной площадке, у морской лагуны, арабская молодежь в европейских спортивных костюмах в вечерние часы ведет оживленную игру в футбол. Сила, ловкость, быстрота, проявляемые в игре молодыми арабскими спортсменами, не могут не свидетельствовать о наличии у народов Аравии достаточных гарантий для обеспечения их национальной независимости.

На этих футбольных состязаниях арабская буржуазия не бывает. В часы, когда спадает дневной жар, она предпочитает совершать на прекрасных автомобилях загородные прогулки, километров за двадцать от Джедды, на пустынный каменистый берег моря. Этот бесплодный, покрытый вулканической почвой берег является излюбленным местом прогулок также и для представителей иностранных миссий.

Единение и уединение агентов империалистических держав с арабской буржуазией на тропическом вулканическом берегу Красного моря — достаточно характерный символ восточной колониальной политики империалистов.

За городом, среди чахлах, покрытых густым слоем пыли, деревьев, раскинулись военные казармы. Тут же, на открытом месте, небольшая радиостанция. А вдали, на песчаной равнине, стильное зеленое здание, — дворец Ибн-Сауда. Здесь останавливается в свои редкие посещения Джедды король и вождь вахабитов. В дни нашего пребывания в Джедде во дворце находилась прибывший из летней резиденции Таифа сын короля, принц Фейсал...

Рядом с Джеддой, у моря, расположилась убогая рыбацкая деревенька. Сделанные из ржавых керосиновых бидонов, деревянных обломков, сухих листьев, выцветшего тряпья и всякой прочей рухляди, рыбацкие хижины тонули в песке и серой пыли. Одинокие арабы-

рыбаки, согнувшись, чинили длинные сети. Женщин не видно. Голые ребятишки со вздутыми животами, серые от пыли, сливались на фоне жалких лагун с унылой природой.

Вдали, среди песчаных гряд, видна дорога в Мекку. Всем немусульманам, не исповедующим ислама, въезд в Мекку закрыт. Лишь только до деревни Бахра, на полпути от Джедды до Мекки, дозволено иностранцу-немусульманину проехать по утрамбованному в течение веков паломническому пути к «священной Каабе».

Сюда, в Бахры, обычно едут европейцы, жители Джедды, для охоты на диких голубей и куропаток. Эту дичь, привлекаемую на гладкое шоссе разбросанным там и тут верблюжьим навозом, охотники бьют десятками штук с трех-четырёх выстрелов. Недобитую птицу арабы, проводники охотников, ловят руками, гоняясь за ней по песку. Рядом, с груды костей от павших по дороге верблюдов, слетают спугнутые выстрелом огромные серые хищники.

По дороге пилигриммов видны высокие, из дикого камня, полуразрушенные башни. Султанская Турция этими каменными крепостями вынуждена была защищать и охранять паломников от частых в ту пору бедуинских набегов. Кое-где, у края шоссе, в виде намогильных памятников высятся каменные столбы, указывающие источник свежей воды. Изредка попадаются благообразные арабы с поседевшими густыми бородами, в запыленных белых рубашках. Опираясь на длинные посохи, ступая босыми ногами по горячему песку, они красочно напоминают библейских старцев.

На горизонте гряда каменных голых гор отливает в жарком солнце розовыми, зеленоватыми, темносерыми и черными оттенками. Там, по направлению к этим горам, скрыт в густых финиковых пальмах оазис «Кюхейта». В редкие годы здесь устраиваются арабские «пикники» власть имущих, влиятельных

арабов с приглашением сюда не менее влиятельных европейцев...

Широко раскинулась по берегу Красного моря и по бескрайним пустыням Аравии страна Ибн-Сауда. До боли в глазах сверкают белизной стены и крыши Джедды под палящими лучами солнца.

Как хищники на гряде верблюжьих костей, высматривают себе добычу в аравийской земле европейские и американские дельцы. За почерневшими на солнце жалюзи высоких домов, в усталых пестрых коврах прохладных комнат, на цветных, ярких диванах и подушках, среди тенистых пальмовых оазисов, идет тайный сговор — торг между арабской реакционно-феодалной буржуазией и ловкими агентами мирового империализма.

Рубиновыми сочными зернами спелых гранатов освежают себя «сговорщики», зеленокожими аравийскими лимонами подкисляют они свои напитки, душистыми пряностями разбавляют вкус черного кофе. И всю эту пышно-приторную «экзотику» венчает золотой блеск звонких английских sovereignов! Под звон империалистического золота так удобно отвлекать внимание арабских националистов от ныне подмандатных арабских земель Сирии, Палестины, Ирака, Трансиордании...

Молодое арабское национально-освободительное движение прекрасно помнит авантюрные походы неудачливых Лоуренсов, жалкой демагогией и сотнями тысяч фунтов стерлингов пытавшихся купить себе «славу» «освободителей арабского народа».

Не агенты великобританской Интеллидженс сервис, а арабские национально-революционные организации поставили теперь перед собой задачу действительного освобождения арабского народа от кабалы империалистов. Борьба за арабскую независимость и самостоятельность, — вот знамя, под которым сегодня организуются трудящиеся арабские массы.



# Литература и искусство

1. Р. АБИХ — Фердоуси. 2. БОР. ПИЛЬНЯК — Рассказ о съезде писателей. 3. М. СЕРЕБРЯНСКИЙ — Артем Веселый. 4. Письма Жорж-Санд

## 1. ФЕРДОУСИ <sup>1)</sup>

Р. Абих

«Только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру» <sup>2)</sup>. Ленин

**П**од этим девизом величайшего мыслителя — основоположника пролетарской культуры — у нас, в стране строящегося социализма, торжественно праздновался тысячелетний юбилей Фердоуси, творца «Шах-намэ» —

.. книги о прошлых царях,  
О витязях славных и гордых бойцах.

Размах торжеств, равных которым не было ни в одной европейской стране, свидетельствует о том, что этот завет Владимира Ильича усвоен и осуществляется. В СССР сделано очень много для изучения творчества Фердоуси, — это признано иранцами всех европейских стран. Однако мы и до сих пор не знаем точно и всесторонне ни великого произведения, ни жизни его творца, ни страны и народа, который выдвинул гигантскую фигуру поэта, выразившего лучшие мечты своего времени и использовавшего в своем творчестве древние народные легенды и сказания. В лице Фердоуси мы чтим иранские народы как законных сотворцов замечательной

эпопеи и, изучая ее, обращаемся прежде всего к тем источникам, которые неизменно питали мастера слова.

Известно, что поэма «Шах-намэ» возникла в результате творческой переработки двух основных потоков материала — официальных хроник, составленных для возвеличения властелинов Ирана придворными историками, и живого изустного народного творчества. Когда Фердоуси взял на себя огромную задачу — изготовить для Саманидов (конец X века н. э.) поэтизированную историю царей, он обогатил сухую прозу протокольных хроник «Ходай-намэж» поэтическим наследием фольклора. На этой основе Фердоуси создал поэму, воспевшую величие и героизм иранцев, — литературное произведение исключительной силы.

«Шах-намэ», признанный памятник мировой культуры, включающий в себя обилие международных эпических мотивов, сохранил и поныне, наряду с историко-культурным и научным значением, литературно-художественную свежесть. Это «старое, но грозное оружие» воспринимается с захватывающим, напряженным и неослабевающим интересом, несмотря на колоссальные размеры поэмы (от 79 до 132 тысяч стихов).

<sup>1)</sup> Речь на вечере Союза советских писателей, посвященном тысячелетию со дня рождения Фердоуси, 12 октября 1934 г.

<sup>2)</sup> В. И. Ленин. Собр. соч., т. XXV, стр. 387.

Очень многое в этой эпической поэме, насыщенной пафосом и героикой, находит живой отклик у наших читателей (хотя построена она на далеком нам материале и идеологии). Захватывает мастерство Фердоуси, исключительное умение четко выдержать сюжетную линию, остро и занимательно развернуть фабулу, ясно и образно передать свою мысль. Поэма покоряет огромным техническим мастерством. Фердоуси доводит стих до совершенной прозрачности и вместе с тем счастливо избегает изощренности и зауми. В этом отношении нашим поэтам есть чему поучиться у Фердоуси.

Трудно в нескольких словах передать содержание колоссальной эпопеи. Можно только отметить, что простейшая формула: рождение — жизнь — смерть, получила у Фердоуси многообразное и многогранное выражение. Все проявления человеческой жизнедеятельности нашли в этом произведении большее или меньшее отражение. При этом в отличие от взгляда, установившегося на эпос, в этом произведении много лирических отступлений и нравоучительных наставлений, дающих обильный материал для суждения о классовом лице Фердоуси, о его идеологии и политических устремлениях.

В основу поэмы положена зороастрийская идея борьбы двух сил — доброй и злой. Добрый и благой дух Ормузд находится в постоянной борьбе со злым и вредным духом Ариманом. За этой поэтической оболочкой нетрудно обнаружить реальную действительность, реальную борьбу.

Фердоуси, переработав древние эпические предания, отозвал в своей поэме ту эпоху, когда в Иране очень остро протекала борьба между оседлыми и кочевыми племенами. Непрерывная и жесточайшая борьба Ирана и Турана, которой отведена большая часть поэмы, отражает именно этот важнейший переломный фактор в развитии иранских народов. В правильности этого убеждает нас изучение подлинной истории.

Ростем и Эфрасиаб, которые, по Фердоуси, олицетворяют две враждебные нации (иранцев и туранцев), на самом

деле оба принадлежали к иранским племенам, находившимся лишь на разных ступенях общественного развития.

Стержневая идея борьбы проходит через всю поэму, находя свое отражение как в конструкции вещи, так и в строении образов. Не говоря о блестящем умении лепить образы, создавая крепко запоминающиеся типы и характеры, хочется отметить внимание Фердоуси к «мелочам». Мелкие и мельчайшие детали проработаны у него в совершенстве. Они применяются исключительно целесообразно. Пример: формула перехода к другим событиям дана у Фердоуси всюду в образе смены дня и ночи, — она повторяется на протяжении поэмы несколько сотен раз и, казалось бы, могла наскучить. Но Фердоуси показывает несравненное мастерство и оригинальность приема, вновь и вновь обыгрывая одну и ту же тему. Вместе с тем эта конструктивная деталь служит не только формулой перехода. Она несет и смысловую нагрузку в полном соответствии с отрывками, которые она цемментирует, обобщая предыдущее и намечая последующее.

По этой детали нетрудно представить себе, как монолитно и величественно выглядит грандиозное здание поэмы в целом. Три большие части поэмы — фантастическо-легендарная, богатырская и якобы историческая — связаны между собой так же крепко, как и мельчайшие ее детали.

Конструкция и форма целиком подчинены основной идее поэмы. В этом — ее совершенство, но это не избавляет ее от противоречивости. Четко выдерживая идею борьбы двух сил, Фердоуси через всю поэму проводит две взаимно исключающие идеи: уверенность в победе над врагом, в какой бы форме он ни предстал, неизменно сопровождается мотивами предопределенности судьбы, бессилия изменить порядок природы и «бренности» всего житейского.

Что плачем мы и сетуем напрасно?

Смерть все живое стережет всечасно.

(Фердоуси, «Сохраб»).

В этом столкновении двух идей для нас раскрывается новое содержание поэ-

мы. Фердоуси выступает в новом свете, — он выражает в своем произведении противоречивость собственного положения.

В песне, посвященной доблестям его класса, мотивы героизма соседствуют с мотивами грусти: величие в прошлом — и падение в настоящем. Эта противоречивость основного идейного содержания поэмы была причиной многих спорных и ошибочных суждений наших иранистов и литературоведов. У нас нет единства взглядов на классовое лицо Фердоуси: в статьях и исследованиях, обильно появившихся в связи с празднованием тысячелетия Фердоуси, можно найти самые разнообразные оценки, базирующиеся в каждом данном случае на обращении к первоисточнику — «Шах-намэ», по существу единственному источнику для «правильных и более или менее обоснованных суждений».

Наиболее четко обозначились, не считая промежуточных, эклектичных и научно не обоснованных, две точки зрения.

Одни утверждают, что Фердоуси был представителем феодальной аристократии и, отражая ее идеологию, сознательно поставил свою литературную работу на службу аристократии для утверждения ее могущества (Бертельс).

Другие, не отрицая феодального происхождения Фердоуси, причисляют его к той группе мелких землевладельцев (дихкан, в сасанидской Персии — азада), которые дошли до пределов разорения или обнищали в результате столкновения с крупными феодалами. Они резонно напоминают первым, что феодальная формация не едина, — имела свою стадиальность и соответственные этой стадиальности изменения и в идеологических надстройках (Чайкин, Таодов и др.).

Первая точка зрения — продукт формального мышления — не видит за ярко выраженной установкой автора объективно сложившегося содержания и не совпадает с данными научных исследований о социальной и политической обстановке, в которой жил и творил Фердоуси.

Вторая точка зрения, будучи результатом многосторонней, вполне научной разработки вопроса, дает твердую осно-

ву для дальнейшего углубления проблемы.

Следует только, для окончательного прояснения вопроса, особо подчеркнуть наличие субъективных и объективных факторов в творчестве Фердоуси.

Субъективно Фердоуси как представитель феодального землевладения несомненно идеализировал былое величие своего класса, мечтал о восстановлении его мощи и, во имя этого, создал литературный шедевр, которым хотел вооружить своих современников.

Объективно же он отразил состояние мелких, разоряемых или уже обнищавших землевладельцев, вытесненных из круга феодалов более мощной аристократией и тем самым отброшенных в лагерь тех, кто добывает хлеб тяжелым трудом и, не будучи в силах бороться с угнетателями, убаюкивает себя формулой: «Все тлен, все прах, все суета и суета сует».

Небесполезно в этом случае вспомнить мнение покойного академика Бартольда, который, как известно, не был марксистом, но, добросовестно следуя историческим фактам, установил, что уже в IX — X вв. «некоторые местности были сплошь населены «благородными дихканами», фактически очевидно превратившимися в крестьян, но, подобно польской шляхте, сохранившими память о своем благородном происхождении»<sup>1)</sup>.

И дальше: «... в других местностях... где... преобладали «низшие классы», получила распространение коммунистическая секта, возникшая еще в сасанидскую эпоху»<sup>2)</sup>.

Сказанное выше, как и мнение Бартольда, позволяют искать в поэме «Шах-намэ» отражений не только творческих тенденций Фердоуси, но и исторической действительности его времени. В частности необходимо проследить и подчеркнуть, на примере отношения Фердоуси к крестьянам и главе примитивно-коммунистического движения Маздака, двойственность идеологии «благородного дихкана» — азада, отметить столкновение мечты о восстановлении бы-

<sup>1)</sup> «Культура мусульманства», стр. 60, изд. «Огни». Петроград, 1918.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 61.

лого величия своего класса с восприятием идеологии разоренных масс и сочувствием проповеднику коммунистического учения.

В главе «Бахрам Гур слагает подати с дихканов» читаем <sup>1)</sup>:

Когда земледелец бежит от труда,  
Достоинств не жди от него никогда.  
Он празден затем, что в невежестве рос,  
И участь невежды достойна лишь слез.  
Но ежели кто без семян и быков,  
Того не обидь и не будь с ним суров.  
Такого снабди, пособи из казны:  
По бедности люди страдать не должны.  
Так точно, когда от погоды урон:  
У нас над погодой никто не волен.  
Когда налетит на поля саранча  
И сгубит посевы, все в прах измельча,  
Убыток опять из казны возмести,  
По краю в приказе о том возвести.  
Иль если неплодная есть полоса  
И если безводна земля и лыса,  
На чьем бы участке пустырь  
ни лежал,  
Велик ли хозяин, иль скуден и мал,  
С него, как сказал я, не брать  
ничего:

И если возьмется хоть грош у него,  
На месте в могилу зарю живьем,  
Да будет она ему ложе и дом.

Исследователь, даже невооруженный марксистско-ленинской методологией, без труда заметит, что в приведенном отрывке начертана целая программа аграрных мероприятий, которые не могут уложиться в рамки классических феодальных отношений. Совершенно ясно, что мы здесь имеем дело с мечтой мелкого разоренного землевладельца или земледельца. Не противоречит этому и то, что Фердоуси вложил эту программу в уста доброго царя Бахрам Гура. Страстность, с которой Фердоуси заканчивает отрывок, убеждает, что это и его программа и он не возражал бы против ее осуществления царем, ибо других путей он, по своей классовой природе, еще не мог видеть.

В этом убеждает и отрывок из «Шах-намэ», где с большим сочувствием говорится об участии Маздака. Он единственный в исторической и художественной литературе IX — XI вв. признает, что Маздак «красноречив, мудр и ученый с сильной волей». Но вместе с тем он предостере-

гает своих современников от пути восстания, который избрал один из первых утопистов-коммунистов.

Отметим еще, что аграрная программа, приписанная Фердоуси Бахрам Гуру, и до сих пор составляет предмет мечтаний персидского крестьянина.

Перечень мероприятий, указанных Фердоуси, почти дословно был приведен в считавшейся очень радикальной программе «Революционного комитета Персии» в период гиланской революции в 1920 — 21 гг. Вождь правого крыла национально-освободительного движения, Кучик-хан, в тот же период выдвигал как «достаточно революционное» требование — возврат к десятине и право на урожай с необработываемых земель.

Обратим внимание еще на одну черту, характеризующую разрыв в идеологии Фердоуси: он с любовью описывает непокорный нрав Ростема и проявления его феодальной строптивости и наряду с этим мечтает о создании великого, единого, централизованного, национального государства с шаханшахом во главе. Первое явно противоречит второму. Этого наши исследователи первой группы, не заметили.

Вытесненный из среды феодальной знати, обезземеленный Фердоуси так же, как и остальные азаданы, наиболее близко стоял к массе тружеников-земледельцев. Он отразил в своем творчестве их чаяния и свою эпоху, хотя и ориентировал его на обслуживание интересов феодальной аристократии.

Впоследствии Фердоуси, в поэме «Юсуф и Зулейха», раскаивался и жаловался, что отдал на служение этому делу долгие и лучшие годы жизни.

Нельзя сказать, что Фердоуси недооценивал значения своего произведения, — он надеялся, что его труд будет когда-нибудь оценен более высоко, нежели при жизни. Перекликаясь с Горацием и Пушкиным, он писал <sup>1)</sup>:

Стихи мои гордым чертогом стоят,  
Ни дождь им не страшен, ни буря, ни град,  
Над этою книгою годы пройдут,  
Но светлый умом прочтает мой труд.

Но вряд ли он предполагал, что самые различные социальные группы бу-

<sup>1)</sup> Перевод Мих. Лозинского. «Шах-намэ», избр. места. Изд. «Academia». 1934.

<sup>1)</sup> Перевод М. Дьяконова.

дут многие века пользоваться его несравненным произведением для укрепления своего господства и идеологии.

Еще меньше он мог предполагать, что вылепленные им образы не только выдержат испытания столетий, но и оживут, будут действовать и двигать широчайшие массы на ратный подвиг против угнетателей.

«Круг времени, вращаясь, шел», и влияние Фердоуси, образов, созданных им в «Шах-намэ», непрерывно возрастали и возрастали.

Ограничимся лишь несколькими примерами из числа тех, что так мало или совершенно не освещались в литературе, посвященной Фердоуси.

Имя Ростема — основного героя богатой части «Шах-намэ» — получило после Фердоуси широчайшее распространение. Каждый, кто хотел возвеличить себя или мнил себя подобным Ростему по силе, героизму и преданности делу, называл себя его именем. Немецкий ученый спедантичной аккуратностью перечисляет в своей книге «Иранские имена»<sup>1)</sup> 95 исторических лиц (царей и вельмож), присвоивших себе имя Ростема. Нужно ли говорить о миллионах неведомых Ростемов, которые носили и носят это имя во всех странах Ближнего и Среднего Востока.

Фердоуси предвидел, что каждый найдет в его книге то, что его интересует. И действительно, в каждую эпоху выделялись отдельные главы и куски, имевшие наибольшее распространение, особую популярность в тех или иных социальных группах и прослойках.

К этому нужно прибавить, что потребности общественного развития выдвинули еще многие формы использования и популяризации «Шах-намэ».

Очень скоро в отдельные главы «Шах-намэ» начали вносить дополнения, а затем появились большие, законченные произведения («Гершасп-намэ», «Барзу-намэ» и др.), которые частично или целиком вставлялись в «Шах-намэ».

Характер этих вставок и дополнений отражает конечно лицо тех, кто их создал; анализ их может служить мате-

риалом для изучения эпох, их породивших.

К сожалению, мы еще не можем дать исчерпывающий анализ этих вставок, так как работа по очистке текста «Шах-намэ» от наслоений не была проделана ни европейскими, ни восточными специалистами. Только теперь у нас начата работа по описанию рукописей «Шах-намэ» из ленинградских собраний (а затем по всему СССР), которая позволит вплотную подойти к изучению вопроса о добавлениях и вставках. Уже одно описание рукописей позволило тт. Гюзальяну и Дьяконову, которые ведут эту работу<sup>1)</sup>, откинуть большие куски, заведомо не принадлежащие Фердоуси, вполне выпукло установить наличие нескольких редакций «Шах-намэ», осуществленных самим поэтом, и пролить некоторый свет на спорный вопрос о происхождении так называемой сатиры, существование которой взял под основательное сомнение К. И. Чайкин.

Чрезвычайно ценно, что названные исследователи привлекли к работе миниатюры, сопровождающие описанные ими рукописи «Шах-намэ». Анализ миниатюр обещает дать чрезвычайно интересные и подчас неожиданные выводы. Несомненно, что наличие той или иной группы миниатюр в данной рукописи и в ряду других рукописей той же эпохи покажет особый интерес к тем или иным сюжетам «Шах-намэ», их трактовку и т. д.

Следовало бы предпринять еще одну работу — по обследованию изданий «Шах-намэ» в более поздние времена. Нужно проследить, что, как, когда и для кого извлекалось из «Шах-намэ», что издавалось и популяризировалось через школы, хрестоматии и др. каналы воздействия на массы.

Весь этот материал позволил бы рельефно показать воздействие поэмы на читателя и характер использования ее.

Тт. Гюзальян и Дьяконов утверждают, что значительное засорение текста

<sup>1)</sup> «Рукописи «Шах-намэ» в ленинградских собраниях». Гос. Эрмитаж и Академия наук СССР. Ленинград. 1934.

<sup>1)</sup> Фердинанд Юсти.

«Шах-намэ» совпадает с эпохой Сефевидов (XVI в.), когда сильно возрос интерес к поэме «в связи с политическими задачами нарождающегося персидского национального государства, видевшего в «Шах-намэ» национальную эпопею».

Известна попытка шиитского духовенства использовать образ Ростема для целей религиозной пропаганды. В 80-х годах был выпущен лубок, который рассказывал о борьбе заклятого зороастрийца Ростема с посланником божьим Али, в результате которой Али обратил Ростема в шиита<sup>1)</sup>.

За последнее десятилетие в Персии вновь наблюдается широкое использование «Шах-намэ» как национальной эпопеи, причем всемерно выдвигаются те части поэмы, которые говорят о твердой власти, «светиле и великом повелителе», способном удержать национальную независимость (Бади-ос-Земан). Персидские литераторы и журналисты, сравнивая государственную философию Фердоуси с нынешней политикой шаханшахского правительства, видят в ней практическое осуществление теории великого поэта (Мас'уди).

В противоположном направлении использовали творчество Фердоуси демократические элементы и революционеры, также нашедшие в Шах-намэ близкие образы.

В легендарной части поэмы Фердоуси дает очень яркий образ кузнеца Кавэ, у которого деспот Зохака отнял семнадцать сыновей. Возмущенный Кавэ явился во дворец и потребовал у Зохака отчет<sup>2)</sup>.

Быть может, отчет твой поведает нам,

Как очередь вышла моим сыновьям

И как ты мозгами моих сыновей

За каждой трапезой кормил своих змей.

Ему вернули сына и предложили подписать бумагу, что царь был ласков и добр к народу. Он отверг предложение и —

Как вышел Кавэ из дворцовых ворот,

Стопился кругом на базаре народ,

Взял кожаный фартук, которым перед

Кузнец прикрывает, как молотом бьет,

<sup>1)</sup> Жуковский В. А. «Мусульманство Ростема Дастановича». Журн. «Живая старина» за 1891 г., вып. IV, СПб.

<sup>2)</sup> Перевод Мих. Лозинского. «Шах-намэ», избрани. места. Изд. «Academia». 1934.

К вершине копья прикрепил его сам,  
И пыль на базаре взвилась к небесам.

Кричал и расхаживал, знамя неся:

«Эй, вы, кто Йездану душой предался,

Когда к Феридуна сердца ваши льнут,

Вы сбросите с шеи зохаков хомут.

Мы этим ничтожным, худым лоскутом

Друзей и врагов голоса разберем».

Он шел все вперед посреди удальцов,

Немало собралось их с разных концов.

Кавэ поднял восстание, сверг Зохака и посадил на трон «доброего» царя — Феридуна.

Образ Кавэ стал знаменем демократического и национально-освободительного движения. Изображение Кавэ появилось на обложке журнала, названного именем Кавэ, издававшегося в 1918 — 20 гг. в Берлине группой Таги-заде.

Более широко и глубоко образ Кавэ действовал во время гиланской революции 1920 — 21 гг.

Тут развернулось давно свернутое знамя Кавэ. Его подняли дженгели («лесные братья») — персидские революционеры, вышедшие на открытую борьбу со своими врагами.

Как-то само собой, без специального решения каких-нибудь органов, образ Кавэ стал символом национальной революции. Образ этого борца наилучшим образом отвечал настроениям тех, кто считал себя подобным Кавэ в борьбе против шахского и иностранного угнетения.

Идя в бой, они неизменно пели свой марш свободолюбцев, в котором сообщалось:

Наш предок Кавэ в Исфгане рожден,

Любите свободу — так учит нас он

Изображения Кавэ появились на знаменах отрядов моджахидов-дженгели и республиканских учреждений. На печатях органов Гиланской республики, учрежденных и штабных бланках, почтовых марках, — всюду изображался Кавэ. Правой рукой он вздымал, как знамя, свой кожаный фартук, а левой смирался на кузнечный молот. Наиболее яркое изобразительное выражение получил Кавэ-кузнец в живописном, а затем графическом плакате художника Совета пропаганды Персии<sup>1)</sup>. Именно этот

<sup>1)</sup> Плакат выставлен в Музее революции СССР и опубликован в журн. «Бригада художников» № 3 за 1932 г., в моей статье.

плакат вдохновил В. Хлебникова на стихотворение «Кавэ-кузнец»<sup>1)</sup>. Он почувствовал в этом плакате манифест труда:

Так обнародовали  
Мы труд первый и прочее и прочая.

Революционеры, к которым был обращен призыв<sup>2)</sup>, —

Люди открытий,  
люди отплытий,  
режьте в Реште  
нити событий... —

искали себе подходящие имена, созвучные героической эпопее, развертывавшейся в Гиляне, — и находили их в легенде о Кавэ.

Молодой секретарь комсомольской организации назвал себя Кавэ-Джамшиди, а пожилой политработник ПУР принял имя Феридуна.

Ожило также имя Бахмана, которое гордо носил начальник укрепленного района Энзели, ожили и многие другие имена, не сохранившиеся для истории.

Походы, борьба в гилянских лесах и горах Мазендерана будили многие воспоминания, и революционеры часто обращались к Фердоуси в поисках красных строф.

Выступая на митингах перед боями, пламенный вождь гилянцев Эхсанулла нередко цитировал стих Фердоуси<sup>3)</sup>:

Посмотрим, Ростема ли конь-исполнин  
Вернется без всадника к стойлу один,  
Иль конь Исфендиара один у ворот  
О всаднике павшем уныло заржет.

Многие замечательные события сопровождалась стихами Фердоуси. Так, в программе ревкома, в пункте о земле, приведена цитата из Фердоуси. Победа или поражение, прибавление новых сил или измена старых вождей, переписка с противником или приветствие друзьям, — все сопровождалось звучными стихами и, часто, двустихиями Фердоуси.

Известен случай, когда утомленные бойцы-революционеры пали духом и го-

товы были сдать позиции, но откуда-то появилась женщина, выхватила из-под чадры маузер, прочла воодушевляющий стих, — и бой был выигран, позиции удержаны.

Но только этот бой.

Революция потерпела поражение, однако знамя Кавэ не свернулось. Оно реет на обложке программы Революционного комитета освобождения Персии, дошедшей до нас в 1928 году.

Так образ Кавэ, древнейшего героя иранского фольклора, обогащенный поэтической обработкой Фердоуси, стал на службу народу и революции, приобретая ярко выраженные классовые черты.

Революционеры конечно охотно опускают ту часть сказания и поэмы, в которой сообщается, что Кавэ возвел на трон Феридуна. Наоборот, господствующие классы оттеняют именно эту сторону в эпизоде Кавэ и Зохака.

Примечательно, что в 29 рукописях «Шах-намэ» ленинградского собрания только одна миниатюра XV века изображает момент восстания Кавэ; во всех остальных случаях художники, иллюстрируя сюжет «Кавэ и Зохака», останавливают внимание на борьбе Феридуна с Зохаком (Феридун везет связанного Зохака, приковывает его к скале или сидит на троне в окружении дочерей Джамшида). В этом ярко обнаруживается классовая направленность и отбор. Кавэ сознательно отодвигается на задний план.

По мнению М. М. Дьяконова, явление это не случайно, ибо образ Кавэ уже с давних лет стал «одиозным» в глазах господствующих классов, т.-е. тех, кто заказывал и покупал рукописи «Шах-намэ», украшенные миниатюрами.

Еще ярче обнаруживается классовая тенденция в отборе миниатюр к сюжету о восстании Маздака. Художники, выполняя социальный заказ, проводят как бы художественную редакцию «Шах-намэ». Ни одна миниатюра во всем ленинградском собрании не показывает ни самого Маздака, ни тем более руководимого им восстания. Больше того, Маздак изображается только в момент казни. Этим, как видно, хотели усилить и закрепить в сознании зрителей и чита-

<sup>1)</sup> Собрание соч., т. III, стр. 128. Изд-во пис. в Ленинграде. 1930.

<sup>2)</sup> В. Хлебников, собр. соч., т. III, стр. 132. «Исфаганский верблюд».

<sup>3)</sup> Стиховая обработка К. Б. Т.

телей толкование эпизода, явно противоречащее тому, что дал Фердоуси. Сочувственное отношение Фердоуси к Маздаку механически снимается, подменяясь документальным предупреждением.

Совершенно обратное явление наблюдается у нас, в СССР.

К празднованию тысячелетия Фердоуси во всех союзных республиках переведены и изданы в первую очередь отрывки о Кавэ и Зохаке и Маздаке. Ни один советский переводчик не обошел этих отрывков. Художники иллюстрируют именно эти сюжеты, подавая их в духе и трактовке подлинного Фердоуси. Так через тысячу лет после своего рождения, поэма Фердоуси начинает полнокровную жизнь в самой молодой стране мира, по-новому строящей свою культуру.

Фердоуси оказал громадное влияние на литературу и фольклор всех народов Советского Востока, Кавказа и Закавказья.

Переводы и подражания «Шах-намэ» появились на грузинском, тюркском, узбекском, армянском и др. языках в очень скором времени после появления «Шах-намэ».

До нас дошли грузинские версии «Шах-намэ», датированные XIV веком, древние армянские и другие рукописи, не миновавшие влияния Фердоуси.

Крупнейший поэт древней Грузии, Шота Руставели, русские поэты Жуковский и Пушкин обращались к творению Фердоуси, как к неиссякаемому поэтическому роднику<sup>1)</sup>.

История появления и жизни «Шах-намэ» в европейских странах чрезвычайно интересна и поучительна, и ей следует посвятить специальное исследование. К сожалению, некоторые наши иранисты, разрабатывавшие эту тему, сознательно ограничивают себя рамками

формального исследования. Они наивно полагают, что, чем формальней, тем академичней, и потому не позволяют себе сделать ни одного политического вывода. Между тем появление «Шах-намэ» в Европе было обусловлено исключительно политическими моментами.

Колониальная экспансия «великих держав» вынудила их заняться «историей литературы» и бытом народов, облюбованных в качестве объектов колониального порабощения.

«Великие державы», в точном соответствии с ростом колониальных вожделений, последовательно вступали на путь изданий и переводов «Шах-намэ»<sup>1)</sup>.

Первыми выступили англичане. Уже в 1774 году, при поддержке заинтересованных организаций («Ост-Индская компания»), Вильям Джон опубликовал первое критическое издание «Шах-намэ», осуществленное европейцем.

Во Франции интерес к «Шах-намэ» появился лишь через 35 лет после обнаружения его у англичан, — когда Наполеон вовлек Персию в орбиту своего влияния. Но только в 1826 году был издан королевский приказ о полном переводе и издании «Шах-намэ».

Самое замечательное в этом событии то, что эта работа была возложена на выходца из Германии — молодого ориенталиста Моля, который не нашел применения своим знаниям на родине. Германия была тогда еще занята своими внутренними делами и не помышляла о вневропейской экспансии.

Французское издание (Моля) осуществлялось 40 лет (первый том вышел в 1838 году, седьмой — в 1878 году). На этом отрезке времени произошли многие политические события, которые отражались на французской колониальной политике и, соответственно, на издании «Шах-намэ». Интервалы между выходом томов прямо отражают картину изменений в политической ситуации.

<sup>1)</sup> Еще и поныне эта «линия интереса» не прервалась. Вышедший в связи с 100-летием Фердоуси спец. номер журнала «Нир ист' энд Индия» имеет жирный подзаголовок: «Выпущен на средства Имперского (английского) банка в Персии!»

<sup>1)</sup> Более обстоятельно вопрос о влиянии «Шах-намэ» на творчество народов СССР освещен в статье акад. А. Н. Самойловича «Иранский эпос в тюркских литературах Средней Азии», — сборн. «Фердовси», 1934 г., изд. Академии наук и Эрмитажа, и в статьях Айни, Наджми, М. Шагиния, Торшелелдзе, Н. Тихонова, Гришашвили и др. в редактированном нами номере журн. «Строим», посвященном тысячелетию Фердоуси. М. 1934.



Такое же колебание мы наблюдаем и в Германии, где над переводом «Шах-намэ» уже с 1827 года (почти одновременно с Модем во Франции) начал работать Рюккерт. Его работу не замечали 15 лет, — до тех пор, покуда начавшееся внутри страны движение за приобретение колоний не вынудило обратиться к источникам, освещающим жизнь народов Востока. В 1841 году Рюккерта «заметили», приласкали и, «покровительствуемый прусским королем»<sup>1)</sup>, он появляется в Берлине и приступает к изданию перевода «Шах-намэ».

Король очень интересуется французским изданием, над которым работал Моль, но начавшаяся было активизация немецкой политики прерывается революцией 1848 года, и Рюккерт уходит в отставку, успев издать лишь один эпизод — «Ростем и Сохраб». «Жизнь в Берлине для него, привыкшего к уединению, оказалась тягостной»<sup>2)</sup>. Его услуги оказались лишними.

Россия, ведшая со времен Петра и Екатерины довольно активную политику в Персии и на Кавказе, странным образом обходилась без точного знания и научного изучения памятников литературы этих стран и народов.

В 1815 году появился перевод небольшого отрывка так наз. сатиры, кусок из эпизода «Бижан и Манижэ»; затем небольшой отклик на издание «Шах-намэ» во Франции, и только в 1849 году В. А. Жуковский опубликовал «Рустема и Зораба» — вольный перевод, или, вернее, подражание Рюккерту, на мотив одноименного эпизода «Шах-намэ».

Российская доморощенная политика в области знаний удовлетворялась «заграничной продукцией» и неизменно плелась в хвосте европейского востоковедения.

Как уже было сказано, уровень знаний, достигнутых нами в области ирани-

стики, и в данном случае, в изучении творчества Фердоуси, мы не можем считать удовлетворительным, хотя по сравнению с прежним проделано уже многое.

Как расценить то, что до сих пор не была научно разработана биография Фердоуси — и большинство иранистов к юбилею в сотый раз пережевывали легенду о Фердоуси, не попытавшись даже проверить самые доступные данные, которыми мы располагаем!

Подготовка к юбилею Фердоуси дала сильный толчок к пересмотру всего того, что было сделано прежде. Исследования советских иранистов: Орбели И. А., Чайкина К. И., Марр Ю. Н., Тардова В. Г., Якубовского А. Ю., Тревер К. В., Дьяконова М. М., Гюзальяна Л. Т. и др., — внесли уже много нового и интересного в этот вопрос. Нужно удержать уровень подъема советской иранистики и обеспечить дальнейшую работу организационными мероприятиями.

У нас есть все необходимое для того, чтобы поднять востоковедение до уровня подлинной, точной науки. Мы можем уже выдвинуть целый ряд научных работ, построенных на основе марксистско-ленинской методологии.

В плане массовых мероприятий нужно, в первую очередь, дать хорошие переводы иранских классиков и, главное, издать «Шах-намэ» Фердоуси. Мы должны дать хорошие переводы с оригинала, чтобы ознакомить наших читателей с этим замечательным произведением в целом, а не по кусочкам. Мы должны довести «Шах-намэ» до самых широких читательских кругов и потому еще, что только у нас, в стране пролетарской диктатуры, впервые в мире получили реальное осуществление образы героев и героизм, которые воспел Фердоуси.

Страна героев должна знать героическую поэму.

Надо добиться того, чтобы Фердоуси зазвучал «во весь голос», и тогда действительно —

... то не умрет для света,  
чего коснулась раз рука поэта.

<sup>1)</sup> А. А. Ромаскевич, «Очерк истории изучения «Шах-намэ», стр. 35. Сборн. «Фердовси». 1934 г., изд. Ак. наук СССР. Л.

<sup>2)</sup> Там же.

## 2. РАССКАЗ О СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Бор. Пильняк

### Глава первая

На Урале выходит ежедневная газета политотдела Пермской ж. д. «Путевка». В «Путевке» напечатано от 8 августа 1934 г.:

«На последнем месте всех дорог Союза — Пермская».

### Глава вторая

У дореволюционной русской литературы был штамп. Если писателю требовалось описать бессмысленность одиночества, жестокость скуки, тупость безделья, — то писатель описывал провинциальную, глухую станцию. Мимо станции проносились поезда, проносили чужие жизни, чужое счастье и подчеркивали пустоту русской жизни. Вокруг станции были или степь, или глухие леса, или болота и — первозданная дичь. Эта бессмысленная дичь жила и на станции, в доме начальника, дежурных, весовщиков, стрелочников. Дежурный по станции, станционный телеграфист прошел по старой русской литературе с гитарой и бездарными стихами, символом пошлости.

У М. Горького есть рассказ, называющийся «Скуди ради». Рассказ посвящен именно этой бессмысленной и жестокой скуке старой российской станции. В рассказе описана именно эта скука. И в рассказе рассказано, что делает с людьми скука. На станции, кроме жены начальника, жила только одна женщина — кухарка, обломок горькой жизни, бог весть каким образом занесенная на эту станцию, одинокая сорокалетняя некрасивая, забитая, молодость которой прошла таким образом, что она до сорока лет осталась девушкой, — «девкой», как она говорила о себе. На станции жил стрелочник. Он тайно сошелся с этой женщиной, скуки ради. Об этом узнали остальные станционные «жители». И эти жители подкарауливали, подкараулили, как Арина пришла к стрелочнику. Они заперли стрелочника и Арину. Когда те выламывались из-под запора, они устро-

или им собачий концерт, били в тазы и ведра, — скуки ради. Стрелочник, чтобы избавиться от издевательства, сам стал рассказывать вояческие гадости об Арине, о сорокалетней девственнице. Скуки ради все эти станционные «жители» довели Арину до логического конца всей той жизни: Арина повесилась.

Страшный и жестокий рассказ!

Этот рассказ был перепечатан газетой «Путевка», в номерах от 24, 26 и 27 августа, то-есть в дни, когда в Москве проходил Всесоюзный Съезд советских писателей.

Надо отдать справедливость и засвидетельствовать, что пермская «Путевка» освещала дела и события Съезда писателей совсем не хуже, чем многие московские газеты.

Надо засвидетельствовать, что семнадцать лет тому назад на железных дорогах не было таких газет, немислимы были такие газеты, как «Путевка».

А дела и события, описанные «Путевкой», связанные со Съездом писателей и с рассказом М. Горького, сами по себе есть художественное произведение, талантливая весть о теперешних железнодорожных делах, о теперешних глухих станциях и об их событиях.

### Глава третья

За два месяца — за август и сентябрь — эта «повесть» имела продолжение в двадцати девяти номерах «Путевки».

«Повесть» началась главкой, в номере от 15 августа, в день, когда должен был открыться в Москве Съезд советских писателей. Глава заняла две полосы газеты — фотографиями и текстом. Глава называется «Встреча писателей и пассажиров на перегоне Свердловск — Красноуфимск». Писатели — делегаты Урала — товарищи Куштум, Реут, Хорунжий, Маленький, Горев, писатель — тагильский слесарь Бондин, писатель — железнодорожный машинист и наша молодая знаменитость Авдеенко, — эти пи-

сатели, по инициативе «Путевки», в жестком поездном вагоне встретились с читателями, с пассажирами, с железнодорожниками. Поэты читали в вагонах свои стихи и рассказывали слушателям о Съезде писателей в Москве, на который они ехали. Читатели спрашивали о делах литературы. На рельсах происходил литературный митинг. Этот митинг прерывался станциями, где писателей встречали железнодорожники, жители этих станций, которые приветствовали писателей, с которыми писатели, пусть мелко, все же говорили о предстоящем съезде. Аудитория поезда, совершенно естественно, оказалась случайной, как случайными были и аудитории около вагонных подножек. Но писатели засвидетельствовали отчетами в «Путевке», что читатели-пассажиры вели с ними большие и деловые разговоры. Скука поездных рельс превратилась для пассажиров в литературный праздник. Колхозники, рабочие, студенты, красноармейцы — пассажиры — наполнили поездный день ознакомлением с писателями своего края, с писателями Урала, делегатами Всесоюзного Съезда.

Это первая глава «повести». — Где это видано не только на страницах «Скуки ради», но и во всем мире, во всех временах мира, кроме СССР и советского времени!? — Какой старый писатель мог бы придумать такую фантазию, как этот литературный митинг, на страницах до-революционной русской жизни, на до-революционных шпалах в частности!?

Следующие главы «повести», опубликованной в «Путевке», были посвящены событиям Всесоюзного Съезда писателей, полно и исчерпывающе, — событиям съезда, перестраивавшего понятие «литература». Эту главу «повести» здесь комментировать не следует, ибо эта глава известна, ибо по поводу этой главы будут написаны томы.

В описание дел Всесоюзного Съезда вплелась глава третья «повести»: «Путевка» напечатала рассказ М. Горького «Скуки ради». В примечании «от редакции» сообщалось:

«... Мы печатаем рассказ «Скуки ради» в дни, когда в Москве работает первый Всесоюзный Съезд советских писателей... Редакция ждет от рабочих и служащих дороги откликов на рассказ, откликов, рисующих жизнь станции сегодня, откликов, ярко и правдиво показывающих, насколько непохожа наша советская станция на станцию до-революционной России...»

Дальнейшие главы можно охарактеризовать их заголовками:

«День писательского Съезда на заводе».

«Литконференция в Кузино».

«О прошлом и настоящем».

«Паровозники и вагонники Чусовой обсуждают доклад Горького».

«На станции Половинка проведено чтение и обсуждение напечатанного в «Путевке» рассказа Горького».

Сотрудник «Путевки», не писатель, железнодорожник Колосницын, в связи с литконференцией на станции Кузино, рассказывает о самой этой станции:

«... В прошлом Кузино — глухой раз'езд. Точь-в-точь как в рассказе Горького... Не узнать станции сегодня. В 1919 году, как только отступили белые, на станции открыли рабочий клуб. Год за годом росли, появлялись культурные учреждения. Жизнь расширялась. Теперь она не пробегала мимо станции. Женщины устроили детский сад и детские ясли. Появились столовые, парикмахерская, баня, построили школу. Заговорило радио. Маленькая электростанция осветила квартиры рабочих. Как-то незаметно, наполовину своими силами, провели водопровод... Пятидесятилетний столяр Белкин, пьяница и забулдыга, отступил от своих правил. Сегодня он уже числится активистом, его избрали председателем цехового комитета профсоюза. Машинист Кудрявцев, глушивший вечера пьяными криками и всхлипами своей гармоникой, больше не горланит на улице. Он работает заместителем начальника депо, стал культурным человеком... Станция имеет своих героев. Гордится машинистом Злоказовым,

предотвратившим крушение двух пассажирских поездов...»

Постановление парткома станции Кузино от 27 августа 1934 г.:

«... Отмечая, что на конференции рабочие подвергли суровой критике работу библиотеки (беспорядок на полках, отсутствие работы по привлечению читателей...), партком требует от заведующего клубом и библиотекой немедленно оздоровить работу библиотеки. Поручить т. Щоробогатовой развернуть работу с читателями, вывешивая списки литературы, отзывы о книгах, витрины книг, плакаты, изучая запросы рабочих читателей и проводя читки книг в цехах, в клубе и на квартирах. Считать необходимым создать на станции литературный кружок. Поручить тт. Кузнецову и Старобогатовой выявить начинающих рабочих писателей и интересующихся литературой».

Следующие главы:

«Берите слово, герои не написанных книг!»

«... Рассказ Горького «Скуки ради» я прочел охотно. Из него я впервые узнал о быте и нравах старой станции. Появилось желание прочесть еще что-то из сочинений Горького. Алексея Максимовича надо просить, чтоб он еще раз написал о станции. Показал, как мы все, рабочие, комсомольцы, политотделы, боремся за новую станцию...» — пишет помашиниста комсомолец Свердлов.

«... Рассказ Горького «Скуки ради» я прочитал с большим удовольствием... Только нужно больше о новом, о наших достижениях, о людях—героях нашего строительства... О работе на паровозе можно написать целую серию увлекательных и интересных рассказов. Прошу «Путевку» написать об этом Алексею Максимовичу...» — пишет машинист Черногубов.

«... Организовать при клубе рабочих свердловского узла им. Андреева культурный университет!..» — пишет один из корреспондентов.

«... Ученики школы № 9 пишут рассказ о станции... Класс дружно прини-

мает ее (ученицы Оли Шульц) предложение коллективным рассказом о станции наших дней ответить на рассказ Горького. Оля Шульц взяла слово:

«Нам нужно просить Алексея Максимовича, чтобы он написал что-нибудь о сегодняшней станции».

Несколько номеров «Путевки» заняты такими письмами. Редакция печатает от своего имени: «Товарищи со станции Билимбаев просят прислать им книжки. Только ли со станции Билимбаев? Буквально идет «голодный поход за книгой» с мелких станций нашей дороги. Люди требуют художественную литературу, политическую и техническую. Мы ставим перед дорпрофсоюзом Пермской такие требования: организовать на каждую станцию и раз'езд выезды передвижной библиотеки; эту работу провести совместно с облпрофсоветом; начать эту работу специальными декадами продвижения книги на полевые станции; провести на станциях изучение — кто что читает и кто что хочет прочесть, чтобы потом на требование коллективов и отдельных рабочих высылать требуемые книги».

#### Глава четвертая

Эта «повесть», которая развернулась на страницах «Путевки», не имеет конца, как вся современная жизнь. Механическим концом этой «повести» может быть вечер массовой встречи работников Свердловского узла с писателями — делегатами Всесоюзного Съезда советских писателей, вернувшимися из Москвы. Этот вечер состоялся в клубе им. Андреева 12 сентября. Героем этого вечера был писатель, молодая наша знаменитость Авдеенко, автор романа «Я люблю», писатель-машинист. Железнодорожники чествовали товарища по профессии, по труду, — машиниста. На этом вечере было больше тысячи рабочих. Этот вечер был праздником литературы у рабочих-железнодорожников.

Петитом в том же номере «Путевки», где описывалась эта праздничная встреча писателей и читателей, напечатано:

«16 сентября в 7 час. вечера состоится организационное собрание литературного кружка...»

Кто знает, быть может, на это организационное собрание придут не один и не два будущих Авдеенки?!.

И крупным шрифтом сообщено:  
«Пишем историю нашей дороги!»

### Глава пятая.

«В пяти часах езды от Свердловска стоит он, раз'езд Берлога. Две минуты стоянки почтовых поездов — единственная видимая связь Берлоги с внешним миром» — пишется в «Путевке». «Гиблое у нас было место, — лес кругом и медвежьи берлоги. Недаром раз'езд Бер-

логой называется» — пишет дорожный сторож Кругликов. На этой Берлоге коллективно обсуждался рассказ Горького. Страница «Путевки» занята письмами берлогжан — бодрыми и грамотными вестями.

«Путевка», печатая горьковский рассказ «Скуки ради», давала предисловие. Часть этого предисловия гласит:

«Сопоставьте, прочтя рассказ, жизнь этой станции и жизнь станции наших дней. Что осталось на станции от нудного прозябания, от гнетущего, то скливого станционного дня?..»

Улица «Правды»,  
20 окт. 934.

## 3. АРТЕМ ВЕСЕЛЫИ

### М. Серебрянский

#### I

Почти одновременно появились три книги Артема Веселого: исторический роман «Гуляй-Волга», сборник переизданных ранних повестей и рассказов и весьма значительное по своим размерам и очень талантливое произведение «Россия, кровью умытая», — результат десятилетнего творческого труда, итог многих переработок прежних вариантов романа.

Эти три книги, в которых собраны все основные произведения Артема Веселого, дают большую, чем раньше, возможность понять идейную основу творчества писателя, его политический пафос, и определить место и значение этого крупного художественного дарования в современной советской литературе.

В статьях, посвященных творчеству Артема Веселого, общепринятой является мысль о том, что его главная тема — гражданская война, партизанское движение, борьба миллионов крестьянских масс со своими вековыми угнетателями. Но, кажется, ни в одной из этих статей нельзя найти прямого и ясного ответа на вопрос: какие же существенные стороны революционного развития деревни и партизанского движения отражают его произведения, какой этап революцион-

ной борьбы запечатлен художником, в чем творческая оригинальность и своеобразие А. Веселого?

С большой художественно-изобразительной силой, с напряженной страстностью и энергией речевого ритма передает Артем Веселый нарастание революционного кризиса в старой армии и сцены бегства фронтовиков домой, или, по выражению Ленина, голосование ногами против войны. Картины фронтовой жизни между Февралем и Октябрем принадлежат к лучшим страницам «России, кровью умытой».

Весть о Февральской революции рождает стихийную надежду на немедленное окончание войны; на позициях начинается братание с турками; наивная солдатская вера в близость перемирия наполняет солдат — на очень короткое время — радостью и восторгом. Когда в торжественную минуту «на глазах у всех дивизионный генерал расцеловал в обе щеки рядового первой роты Алексея Митрофанова... полк ахнул... шеренги дрогнули, перемешались все в одну кучу... Кто рыдает, кто целуется.казалось, все готовы итти заодно — и солдаты, и офицеры, и писаря».

Артем Веселый, шаг за шагом, показывает, как разоблачала жизнь эти наивные солдатские иллюзии, как посте-

пенно доходила солдатская масса до понимания истинного характера временно-го правительства, его лозунгов и курса на продолжение войны. Ближайший разговор с начальством, долгие месяцы бесплодного ожидания мира, большевистская агитация о повороте штыков в другую сторону вносят свет революционно-го сознания в массы забытых и одуряченных солдат. Зло и метко высмеивает солдатская делегация, во главе с Максимом Кужелем, героем «России», режим керенщины.

Старая вражда между солдатом и офицером, бариним и мужиком, вспыхивает с неслыханной силой. Полкового командира Половцева солдаты убивают на митинге; фронтовиков неудержимо тянет домой — к земле, к хозяйству, к семьям.

Правдиво и ярко, убедительным и образным языком рассказывает Артем Веселый о той ненависти к войне и господствующим классам, которая накопилась в солдатской массе. Жажда мира на время, правда, объединяет ингородского бедняка из кубанской станицы, Максима Кужеля, с зажиточным казаком Яковом Блиновым, у которого дома «земли — глазом не окинешь, скотины полон двор и птицы — бесчисленно». Блинов рассказывает Кужелю, как даже казаки «решили всем батальоном в большевики качнуться». Из большевистских лозунгов Блинов берет те, которые соответствовали интересам всей солдатской массы и, разумеется, прежде всего его собственным интересам, — лозунг немедленного прекращения войны и заключения мира. Большевики — «партия — долой войну, мир без никаких контрибуций — подходящая для нас партия» — говорит Блинов Максиму.

Богатый кубанский казак Блинов и солдат из ингородских мужиков, всячески теснимых богатым казачеством, Максим Кужель принадлежат к различным социальным слоям деревни. Позже их пути разойдутся, но пока Максим и Яков Блинов еще находят общий язык. Вернувшись домой, Максим видит, что назревает новая война — бедноты с деревенскими богатеями, с богатым казачеством.

Деревня, разбуженная войной и революцией, мечтает о захвате помещичьей земли.

«В революцию без шапки, с разинутым ртом стояла деревня на распутьи зацветающих дорог, боязливо крестилась, вестей ждала, сучила комястым кулаком.

— Земля.. Свобода...»

(«Страна родная»).

В «Стране родной» и «России, кровью умытой» А. Веселый живыми и сочными красками рисует, как вслед за Октябрьской революцией в городах подымается «осмелевшая» деревня, закипает в ней гражданская война, развивается партизанское движение. Запылала «страна родная... дым, огонь, конца-краю нет...» Мастерски нарисованные картины общедемократического движения крестьянства против буржуазно-помещичьей власти — наиболее удачные страницы в романе А. Веселого: в них чувствуются подлинный трепет жизни, подлинный «цвет и запах» эпохи.

Партизанский эпос, развертываясь на этой основе, находит в Артеме Веселом замечательного художника.



Творчество Артема Веселого очень противоречиво. В художественном решении проблем гражданской войны его произведения объективно занимают место между «Партизанскими повестями» Вс. Иванова и произведениями Фурманова, Фадеева, Серафимовича и других пролетарских писателей, отличаясь от них некоторыми существенными особенностями.

От «Партизанских повестей» Вс. Иванова или «Барсуков» Л. Леонова, как и от всей «попутнической» литературы, бесспорные достоинства которой нельзя отрицать, произведения Артема Веселого отделяет и большая зарядка революционной ненависти, и полное отсутствие каких бы то ни было интеллигентско-гуманистических тенденций, и то наконец, что в его произведениях, пусть недостаточно, но в какой-то мере уже показано начало перехода деревни на рельсы социалистической революции.

От изображения гражданской войны в произведениях передовых пролетар-

ских писателей Артема Веселого отделяет играющая заметную роль в его творчестве идеализация крестьянской партизанской стихии, недостаточное понимание тех основных этапов революции, через которые проходила деревня до и после осени восемнадцатого года. Правда, Артем Веселый в позднейшей переработке текста романа стремится глубже и сильнее подчеркнуть новое содержание классовой борьбы в деревне, но все-таки нельзя обойти тот факт, что гораздо чаще писатель изображает деревню как единое целое, деревню, в которой классовые противоречия еще не достигли полной остроты.

## II

Отнюдь не стихийность вообще является наиболее существенной и наиболее типической чертой крестьянского движения, особенно в тот период, когда в деревне побеждает Октябрьская революция.

Увлечение «стихийностью» помешало писателю схватить некоторые существенные черты характера и поведения изображенных им героев и показать во всей полноте те типические обстоятельства, в которых тогда приходилось действовать рабочему классу и его большевистскому авангарду.

Пролетарские художники смотрели дальше и глубже.

Дмитрий Фурманов например видел в деревне не только стихию партизанщины или стихию вообще, он глубоко и со многих сторон показал то основное социальное содержание борьбы, в свете которого только и можно понять сильные и слабые стороны партизанского движения.

«Всей нуждой и событиями личной жизни он толкаем был на недовольство и протест» — говорит Фурманов о партизане Чапаеве, показывая, как пролетарская революция и большевики подняли стихийный анархический протест крестьянина-бедняка на идейную высоту. Чапаев был поставлен во главе тысяч таких же, как он. Уже одно это обстоятельство делает образ Чапаева более глубоким и обобщенным, чем образ

партизана Черноярова у Артема Веселого.

Что толкнуло Ивана Черноярова, сына богатого кубанского казака, на путь революционной борьбы? Если внимательно рассмотреть социально-психологические черты характера Черноярова, основного героя веселовского романа, то нетрудно прийти к выводу, что путь Черноярова к революции в известной степени более случаен и менее закономерен, чем путь Чапаева.

Авантюристские наклонности, «крутой характер, природное удальство и любовь к движению», как говорит автор, проявляются у Черноярова еще в годы детства и юношества.

Чернояров «полевой и домашней работы с малолетства не признавал, зато в плясках, драках и джигитовках всегда был первым. В будни и праздники шлялся по улицам, горланя песни и сводя с ума девок. Одна ночь темная знала, откуда казак добывал денег на гулевань. Болтали, будто удалец водится о конокрадах, но пойман он не был ни разу».

Против воли отца и не дожидаясь призыва, Иван с другом Шалимом бегут на фронт. Там «огневой и дикий парень» развертывается во-всю. За избивание офицера ему грозит расстрел. «Революция распахнула перед ним ворота тюрьмы», и, когда революционный вихрь закружил станицу, Чернояров возвращается домой.

В сцене разговора Черноярова с отцом Артем Веселый рисует своего героя решительным противником войны. Путая лозунги, смутно разбираясь, что к чему, не умея отличить одну партию от другой, Чернояров все же, как-то по-своему, пробует разобраться в социальном смысле происходящего. Больше того: он даже предсказывает отцу неизбежность новой войны, — бедных против богатых, но надо заранее сказать, что судить о Черноярове по этим словам очень трудно, и образ его в этом смысле гораздо сложнее и противоречивее, чем это кажется на первый взгляд.

«— Богатства нам не наживать, мы — враги богатства, — глухо сказал Иван. — Нас фронт изломал. Три года — не три дня...»

— На фронт тебя ни государь, ни я не посылали, сам пошел.

— Генералы-буржуазы, большевики-меньшевики, — всех их на один крючок. Через ихние погонны и золото слезы льются. Новую войну надо ждать, батаня.

— Чего мелешь. Какая война и с кем?

— Направо-налево война. Тут тебе генералы, тут ученые, тут мужики. Нагляделся я на казанские-рязанские деревни: плохо живут — теснота, духота. Он хоть и мужик — кругом брюхо, а есть-пить все равно хочет. И иногородний крикнет: «Твое—мое, дай сюда...»

Нельзя сказать, чтобы Иван Чернояров с большой ясностью представлял себе смысл революционных событий, но во всяком случае можно было ждать, что он определит свое место в развертывающейся классовой борьбе. Но в том-то и дело, что Чернояров — натура во многих отношениях антиобщественная. Он скорее представляет собой пену, выброшенную движением на поверхность, чем выражает сущность этого движения.

К самым кровным интересам мужиков он равнодушен. То, что задевало за живое десятки миллионов людей, определяло их судьбу и поведение, ни с какой стороны не волнует и не интересует его.

«Бесконечные разговоры мужиков о хозяйстве, о земле нагоняли на него смертную скуку» — говорит о нем автор.

Рисуя такого партизанского вождя, которого не увлекали реальные и жизненные интересы борьбы миллионов, Артем Веселый обрек себя тем самым на трудно разрешимые противоречия. Отчасти поэтому эпопея чернояровщины переключается на изображение военных подвигов атамана, на идеализацию стихийности в ее самых крайних и анархических формах.

Образ Черноярова, как он дан в «России, кровью умытой», не противоречит жизненной правде. В числе многих продуктов эпохи империалистической войны сформировался и такой тип человека, изломанного, духовно изуродованного, по всему своему психологическому облику не характерного для трудовой среды. Профессия солдата-рубахи, ставшая его второй натурой

и единственным содержанием жизни, захватывает Черноярова целиком.

«Воевать я привык, — говорит он Марине, — а тут у вас такая тишина».

И когда в шинке неизменный друг Шалим зовет Черноярова в набег на богатого кабардинского князя, «жилы дергать», терпенью Черноярова приходит конец.

Эта сцена романа дает исключительно четкую характеристику психологии Черноярова.

«Иван тянул рисовую водку, усмешка плескалась в его затуманенных хмелем глазах. Слушал и не слушал азиата, был доверху налит своими думками, а думки эти в зареве пожаров, в трескотне выстрелов мчали его на Дон, Украину, от села к селу и от хутора к хутору... Как сквозь сон, дорогой виделся ему степные просторы, взлески выстрелов, свёрканье кинжалов, слышались яростные крики и рожки горнистов, и грохот скачущих телег, и топот коней, и тугой свист шашки над головой.

Он схватил руку Шалима:

— Друг.

— Ходым.

— Ах, друг, мне тут тоже не житье. Такая скука — скулы ломит. Надо уходить».

Дело конечно не в идиллической тишине, которой не было и не могло быть в станице, вздыбленной вихрем революционной борьбы. Чуть ли не рядом со словами Черноярова о скуке и гишине автор говорит о солдатах-фронтвиках, которые вернулись домой и принесли с собой «новые песни», и каждый из них, «как пушка, был заряжен неприимимой злобой к старому-бывалому». Или вот еще деталь, опровергающая слова о тишине.

Максим Кужель и Иван Чернояров — одностаничники. Вернувшись домой с фронта, Максим Кужель сразу попадает в атмосферу напряженной борьбы иногородних мужиков за землю. В станице обостряется классовая борьба. Быстрыми темпами идет классовое расслоение казачества.

Отчего же скука томит Черноярова? Откуда в станице тишина?

Гораздо вернее раскрывает социально-отрицательный облик Черноярова, как мы видим, приведенная выше сце-



на с Шалимом в шинке и те строки, в которых Артем Веселый говорит о равнодушии Черноярова к интересам крестьян, к содержанию и целям классовой борьбы, разгоравшейся в станице.

Жернова империалистической войны основательно перемололи характер будущего атамана. Они усилили в нем черты предельного властолюбия и крайнего индивидуализма, еще с детства привитые ему бытовым укладом казачьей кулацкой семьи. Участвуя в империалистической войне, Черноярлов даже не пытается в меру своих сил вникнуть в классовые цели воюющих сторон.

Война для Черноярлова — средство к тому, чтобы властвовать и повелевать, чтобы развернуть во-всю свою богатую, но крайне необузданную натуру, чтобы в тугом свисте шашек блеснуть удалью и храбростью, личными качествами, заставив людей служить себе.

Вольница Черноярлова, по крайней мере так, как она изображена в первой части «России», отличается по существу настолько очевидным антиреволюционным характером, что Артем Веселый, не задумываясь, без обиняков, называет ее бандой. Но это обязывало художника сделать отсюда соответствующие выводы.

Есть известное сходство между черноярловской вольницей из романа Артема Веселого и улялаевщиной из одноименной поэмы И. Сельвинского. Противопоставляя пролетарскую организованность (так, как ее понимали конструктивисты), мелкобуржуазной стихийности деревни, Сельвинский не разглядел в последней ее различных слоев. Улялаевщина оказалась равнозначной революционному партизанскому движению. Навряд ли нужно доказывать, что стихийность стихийности рознь, что партизанское движение было революционным фактором, а улялаевщина — взрывом кулацкой стихии. И когда Артем Веселый в своем романе рисует черноярловщину, он также не замечает, что всеми ее наиболее характерными сторонами (особенно в первой части романа) она, по существу, противоположна революционному партизанскому движению.

Вот страничка «России», характеризующая «вольный» отряд Черноярлова:

«Богато пошатались кунаки (Шалим и Черноярлов. — М. С.) с тех пор, как покинули станицу: гуляли по Дону и Волге, заезывали в Крым и после многих злоключений на Украине попали в банду атамана Дурносвиста. В огне и крови прошли всю Уманщину. Однако Дурносвист вскоре был уличен в черной корысти и повешен своими же отрядниками. Выбранный ему на смену Сысой Букретов в первом бою испустил дух на пики сечевика. Ванька, назвавшись Черным Вороном, принял командование над бандой и повел ее по древним шляхам Украины. Под Знаменкой дрались с гайдамаками, под Фастовом — с Петлюрой, под Киевом — с немцами и большевиками. Молодой атаман всей душой был предан дисциплине и порядку, но на первых порах, чтобы расположить к себе людей, поважал укоренившимся в банде привычкам к грабежу, пьянству и всяким бесчинствам.

Потом, когда положение его укрепилось, круто повернул по-своему, сам стрелял трусов, рвал плети на барахольщиках, но толку от всего этого было мало. При самых пустяковых неудачах банда разлеталась, как дым, по ветру, и Ванька с Шалимом скакали по степи, окруженные двумя-тремя десятками самых преданных. Поворот счастья — и шайка быстро возростала до нескольких сотен. Боевая, волчья жизнь вырабатывала свои права, которые не укладывались ни в какой написанный устав: смертью карался лишь трус и барахольщик, не желающий делиться добытым с товарищем, все остальное было ненаказуемо.

С Дону банда шла в восьми сотнях.

Личная храбрость, смелость и бесстрашие атамана и «широкий» разгул черноярловщины занимают в этом, как и во многих других отрывках, главное место: они выдвинуты на первый план, но какие насущные жизненные цели преследует Черноярлов в этой войне — читателю неясно.

Образ Черноярлова, анархистующего партизана, — отнюдь не единственный в произведениях Веселого. В рассказе «Дикое сердце», показывая отрицательные черты партизана Гришки, представителя люмпенпролетарских элементов южных портовых городов, Артем Веселый одновременно любит его жизненной цепкостью, удалью, бесшабашным характером. Таковы и Ванька Граммофон и Мишка Крокодил из рассказа «Реки огненные». — люди, для которых участие в гражданской войне было

опасным, но не всегда бескорыстным предприятием.

Артем Веселый не жалеет темных красок для их изображения. Он показывает их объективно, так сказать, со «всеми потрохами», но, разоблачая героев «Рек огненных», он в то же время несомненно идеализирует их. На этой любопытной особенности творчества Артема Веселого мы остановимся дальше. Она многое объясняет в отношении художника к изображаемым объектам.

Между партизаном Гришкой (из «Дикого сердца»), Ванькой Граммофоном и Мишкой Крокодилем из «Рек огненных» и, с другой стороны, Черноярным есть не только черты определенного сходства, но и существенные различия. Чернояр концентрирует в себе больше, чем другие герои артемовских произведений, все их наиболее отрицательные черты, доводя их до самого крайнего и опасного предела.

И самое главное — здесь-то и выступают со всей силой внутренние противоречия образа Черноярца.

Отряд Черноярца включал в свой разношерстный и случайный состав «матросов — первых удальцов и в боях, и в грабежах, обалдевших от горя и злобы на немцев», «усатых мужиков Приднепровщины», «очкастых юношей, до хрипа распевавших гимны анархии», «отплетых бандитов и шпанку южных городов» и наконец «разно одетую роту шахтеров, замыкавших шествие». Шахтеры здесь — случайные гости, не они определяют социально-политическое «лицо» отряда; сомнительно вообще их присоединение к отряду Черноярца, которому Артем Веселый дал такую колоритную характеристику (б а н д а). И то, что несколько позже матрос Васька Галаган при помощи шахтеров расслаивает и разоружает черноярцев, терроризировавших станичный ревком, дополнительно характеризует сущность черноярщины.

В станицу отряд Черноярца входил «осененный» черным знаменем анархии, с шумом и грохотом потрясающего разгула.

«Тачанки были завалены подушками и перинами, а поверх засланы серыми от пыли коврами.

Перемерившие ногами всю Украину и Дон, загнанные лошади всхрапывали, прядали ушами и, чуя близкий отдых, ржали. Заседланные строевые кони бежали на привязи за тачанками: в гривах развевались ленты, на хвосты были навязаны пучки засохших полевых цветов.

... Накрашенные девки сидели в тачанках: в каждых девичьих коленях валялась пьяная голова партизана. Прикованный на цепь медведь бежал за возом и неистово тоскующим ревом оглашал улицу. В разливе пыли, в чаще многих голосов обоз походил на кочующий цыганский табор».

Свое прибытие в станицу черноярцы, в главе с атаманом, ознаменовали издевательствами над ревкомовскими работниками, диким пьянством и повальным грабежом.

«Шайки барахольщиков бродили из двора во двор. Гостей встречали лай взвониванных собак, плач детишек, бабья ругань и причитания», из-за отрядной девки Машки Белуги «товарищ командующий» подрался с шахтером, пулеметчиком Лященко; над ограбленным стариком Редеем грубо смеется Иван Черноярца, советуя и старику кого-нибудь ограбить.

Надо отдать справедливость Артему Веселому — военно-бытовой уклад черноярцевской вольницы показан во многом объективно. Но, чем большее количество эпизодов посвящает Артем Веселый подвигам Черноярца, тем непонятнее для читателя превращение атамана банды (как называет писатель отряд своего героя) в революционного партизанского вождя.

На страницах, посвященных похождениям Черноярца, Артем Веселый наименее реалистичен. Натуралистическая погруженность в детали обращается против художника. Действие развивается скачками, без внутренней связи.

### III

В образах Васьки Галагана, Ивана Черноярца, матроса Тимошкина и героев «Рек огненных» Артем Веселый хотя и приукрашивает партизанскую вольницу и стихийность, но все же на

страницах, посвященных черныяровщине, лежит какой-то мрачный оттенок.

Артем Веселый понимает конечно отрицательный характер поступков своего героя, но не знает, что с ним делать, а с другой стороны, ему определено не хватает красок полноценного художественного изображения той новой исторической силы, которая должна была, в интересах победы революции, «сняться», и действительно «сняла», анархическую стихию партизанщины. Красная армия и ее представители изображены Артемом Веселым менее удачно, тускло, схематически. Они во многом уступают ярким и сочным образам партизан, этим вообще лучшим образам романа.

Иван Чернояров, который совершил не одно преступление перед революцией (дикое и бессмысленное убийство уполномоченного РВС Арсланова, не менее чудовищное по своим мотивам убийство командира кавалерийского полка, — конь Белецкого понравился Черноярову), на требование члена РВС Муртазалиева сдать оружие и предстать перед судом советской власти отвечает отказом. Чернояров не верит реввоенсовету, где, по его мнению, окопались царские полковники и генералы. Он говорит, что верит только комиссарам, которые стоят на фронте, но ни одного комиссара не видно в черныяровской бригаде.

Чуткий и внимательный читатель обязательно уловит какую-то стесненность творческого дыхания художника на тех страницах «России», где в ряде эпизодов (а их не мало) показаны все отрицательные стороны черныяровщины.

Писатель сам чувствует необходимость как-то вырваться из этого противоречия, уяснить себе самому его смысл, но, чтобы найти этот правильный выход, требовалась дальнейшая работа художника, требовалось понять значение Красной армии как вооруженной силы пролетариата, которая органически была связана с переходом деревни, после общекрестьянского этапа борьбы, на путь социалистической революции. Артем

Веселый отступил от этой чрезвычайно важной художественной задачи. Он предоставил читателю самому дойти логически до вывода о роли Красной армии в эпоху гражданской войны. Сам же писатель торопится перейти к другим героям, к другим представителям партизанской стихии, более «светлым», более революционным и, если угодно, более близким художнику, как например матрос Васька Галаган.

В размахе партизанского движения, его стихийном разливе, который выражал всю силу вековой революционной ненависти миллионов трудового народа к своим угнетателям, Артем Веселый увидел существенную сторону жизни масс, отразив ее на страницах своих произведений. Художественно сильное и яркое изображение борьбы масс, с которыми Веселый связан кровной связью как активный участник этой борьбы, — бесспорная заслуга писателя. Достоинства и недостатки его произведений надо оценивать именно с этой точки зрения.

Революционную, плебейскую ненависть к прошлому хорошо выражают лучшие из основных героев Артема Веселого, и с особенной силой — матрос Васька Галаган, один из наиболее удавшихся Артему Веселому образов в «России».

Для Галагана, который прошел сквозь категорию царского флота, революция — «первый праздник в жизни». Он показывает Максиму Кужелю работу кочегаров на миноносце «Пронзительном».

«— Ад, — сказал Максим, утираясь шапкой. Пот садил с него в тридцать три ручья, от духоты спирало дыхание.

Наклонясь к нему, Васька кричал:

— Это что... Два котла пущены... Это что... Вот когда все десять заведем... Жара под семьдесят. Ветрогонка старой системы, тяга слабая, — жара под семьдесят. Да ведь надо не сидеть — платочком обмахиваться, надо работать — без отверту, без разгиба работать. Не пот, кровь гонит с тебя...

В глазах моряка полыхали отблески огней: в эту минуту он показался Максиму похожим на чорта с базарной картинки.

— Эх, в бога-господа мать, пять годков я тут отбухал. Жизнь — горьки слезы. Али и теперь не погулять. Первый праздник в нашей жизни».

И Васька Галаган, как и тысячи таких же матросов, по-своему празднует этот «первый праздник в жизни». Но даже в чаду разгула они не забывают о своем революционном долге. Они в любую минуту готовы итти в бой с врагом, с офицерем и гайдамаками, с бандитами и кулаками, с каждым, кто подымет руку на революцию.

«Га, резвы ножки верти, верти...

Плясали смоляные факелы, плясали моряки рогачевского отряда. Обвешаны они были бомбами, пулеметными лентами, револьверами. Пахло от них пылью, порохом. Вчера только с фронта убежали, погулять вечерок-другой, и на извозчиках покатают обратно на позицию. Позиция под боком, кругом огонь, кругом вода.

— Ходи, отдирай пятки!..

— Арра, барра, засобачивай!»

Эти страницы романа, где главными действующими лицами являются матросы, до краев наполнены самой жизнью — во всей ее непосредственности и свежести. Почти физически ощутимо воспринимаются читателем Галаган, Тимошкин, Кужель и другие герои. Острый, меткий и сочный язык матросов воспроизводит живые черты представителей «флотской республики». На этих страницах «России» талант Артема Веселого разворачивается со всей силой. Артем Веселый говорит здесь полным голосом хорошо владеющего своим материалом художника. Но он не показывает другой стороны дела — как упорно и терпеливо перевоспитывали большевистские комиссары и политработники партизанскую стихию, как под руководством партии анархическая мелкобуржуазная масса в практике борьбы перековывалась в полки организованных, стойких и сознательных борцов социалистической революции.

Сколько непосредственности, яркости и напористой жизнерадостности в героях «Рек огненных», но как нетипичен и бесцветен, в сравнении с ними, корабельный комиссар, «который ни крику, ни моря не любил, был прислан во флот по разверстке» и у которого единственное отличие — «грива густая — драки на две хватит».

Комиссар, сухой и черствый бюрократ, в ответ на «лозунг дружков»:

«Дашь робу!» — бросает вскользь: «Доложите рапортом личному секретарю, он мне доложит».

Оторвавшимся от фронтовой действительности учреждением рисует Артем Веселый городской исполком или реввоенсовет XII армии.

«Члены фронтового реввоенсовета, сотрясая криком стены поповского дома, дни и ночи напролет зывали к сознанию друг друга, сочиняли воззвания и приказы».

Когда Муртазалиев приезжает к Чернояррову, вся черноярровская бригада, как один, протестует против отъезда своего вождя. Когда красноармейским частям, посланным на разоружение черноярровцев, отдан приказ открыть огонь, Черноярров силой удерживает своих, велит играть отбой, и «бригада без единого выстрела, теряя убитых и раненых, отхлынула на Промысловку».

Моральное превосходство остается, таким образом, на стороне Чернояррова. Партизанская вольница оказалась выше представителей красноармейского командования. Симпатии художника — на стороне «обиженных» реввоенсоветом партизан Чернояррова.

Если сопоставить «Чапаева» Фурманова с «Россией, кровью умытой», можно увидеть, насколько глубже и правильнее отражены в произведениях Фурманова наиболее значительные проблемы эпохи военного коммунизма.

Дм. Фурманову, художнику, разумеется, менее яркому и одаренному, чем Артем Веселый, но хорошо вооруженному большевистским мировоззрением, в большей мере удалось сделать то, чего не удалось Артему Веселому, — т.е. создать типический образ партизана, партизанского вождя. И это не потому, что Дм. Фурманов не показывает отрицательных сторон стихийной анархической природы Чапаева. Наоборот, сравнивая образы обоих партизан — Чапаева и Чернояррова, — можно найти у них ряд одинаковых психологических свойств и особенностей характера. Чапаев, так же, как и Черноярров, больше чем неприязненно относится ко всяким «центрам», «штабам» и военспецам из офицеров. «Да вот, напихали там

всякую сволочь» — бормотал Чапаев, будто только для себя, но так бормотал, чтобы Федор все и ясно слышал. Чапаев не верит и в международный характер рабочего движения. «Это, — говорит он, — газеты выдумали, чтобы веселее было воевать». А сколько в Чапаеве бахвальства, ложной гордости, самомнения и обычных мужицких предрассудков.

Но, самое главное, в романе Фурманова нет этого не критического отношения к стихийности, — в нем есть убедительное изображение рыхлости, а иногда и военно-политической неустойчивости партизанского движения, когда оно, в силу различных причин и обстоятельств, находилось вне большевистского влияния. Надо сказать, что в образе Черноярова, в изображении некоторых его особенностей, партизанское движение представлено таким, каким оно бывало вне пролетарского руководства, точно так же, как в образе Чапаева партизанское движение показано таким, каким оно становилось под руководством партии, даже оставаясь по своему составу партизанским.

С другой стороны, Фурманов достигает типичности в изображении Чапаева, — он правильно показывает, как Чапаев, представитель трудового крестьянства, был тесно связан с делом рабочего класса. По отношению к Чапаеву в романе Фурманова немислима фраза, сказанная Артемом Веселым о Черноярове: «Бесконечные разговоры мужиков о хозяйстве, о земле нагоняли на него смертную скуку». Такое отношение к мужицким интересам абсолютно чуждо Чапаеву.

Артем Веселый создает романтический ореол вокруг Черноярова, всячески подчеркивая его «необычайность», надевая его даже «сверхчеловеческой» удалью и смелостью. Чапаев вряд ли уступит Черноярору в боевых талантах. Но Фурманов при помощи тонких, содержательных и художественно необходимых деталей правильно показывает, если можно так выразиться, «обычность» Чапаева, умело снимая с его образа те напластования вымысла и легенды, которые искажали партизанского

вождя в тысячах рассказов его соратников и современников.

Чапаев храбр, смел, мужественен, но —

«...вот вы заметьте, товарищ Клычков, что чем я выше поднимаюсь, тем жизнь мне дороже... Не буду с вами лукавить, прямо скажу — мнение о себе развивается такое, что вот, дескать, не клоп ты, каналья, а человек настоящий, и хочется жить по-настоящему, как следует...»

Чапаев, который умел в бою показывать чудеса храбрости, отнюдь не склонен был играть опасностью и попусту рисковать жизнью, чтобы порисоваться перед ближними. Чапаев, наблюдая, вместе с комиссаром Клычковым, действия частей, прячется за высокие стога и осторожно перебегает от овина к овину...

Осторожность Чапаева — не от трусости, не от недостатка мужества.

«Чапаев перебежал последним. Федор, чтобы наблюдать, спрятался и следил, как тот сначала рванулся и побежал, но вдруг повернулся обратно и юркнул снова за стог.

Потом переждал и уж не пытался перебежать прямо к деревне, а взял в обратную сторону, окружным путем и к штабу явился последним».

Разумеется, это — деталь, мелочь, но художественно необходимая и оправданная, — она добавляет замечательный психологический штришок к характеристике Чапаева. Чапаев не хочет подставлять голову под шальную, случайную пулю — не из страха смерти, а потому, что в первые в революции, борясь за интересы трудового народа, он почувствовал себя настоящим, стоящим человеком.

Так создает писатель-большевик Фурманов типический образ партизана, нашедший в мировоззрении и практике пролетариата ключ к художественному познанию эпохи и ее героев.



Известно, какую огромную роль сыграли комитеты бедноты в деле углубления социалистической революции в деревне. Выпущенное Аграрным инсти-

тутом Комакадемии научное исследование о деятельности комбедов развертывает перед читателем, в протоколах и документах, героическую эпопею борьбы деревенской бедноты за победу пролетарской революции. Эта прекраснейшая страница из истории гражданской войны недостаточно полно отражена в советской художественной литературе.

Деревня в «Стране родной» также показана больше всего и художественно сильнее в проявлениях и фактах «общекрестьянского» этапа борьбы. Классовая борьба внутри деревни дана бегло, схематично. Она в известной степени вообще есть «результат» последней по времени работы Артема Веселого над романом.

Вот например, концовка раннего задания «Страны родной».

«Под Клюквинным ударились. Соломенная сила рухнула» и т. д.

Вот переработанная концовка последнего варианта:

«Под Клюквинным ударились. Город подмял кулацкую деревню, соломенная сила рухнула...»

Восстанцы, бросая по дорогам вилы, пики, ружья, на все стороны бежали, скакали и ползали, страшные и дикие, как с мамаева побоища».

В речь предревкома Капустина Артем Веселый также добавил слова о кулачестве, которых не было раньше. Эти поправки — факт, безусловно положительный: они — следствие более продуманного отношения автора к событиям того времени.

Но, с другой стороны, любопытно метафорическое определение кулацкой деревни, «как соломенной силы» и сравнение разгрома кулацкого восстания с мамаевым побоищем.

Поэтический образ, метафора, сравнение, аналогия — вещь вообще не безразличная по отношению к содержанию произведения. Поэтические сравнения, на материале которых построена Артемом Веселым концовка романа, неправильны. Они указывают на один из основных недостатков талантливого художника в изображении деревни эпохи гражданской войны. Сложность револю-

ционного развития деревни на разных этапах военно-коммунистического периода недостаточно раскрыта в образах «Страны родной», хотя последний вариант романа и говорит об определенном углублении темы.

В кулацком селе Хомутове, о котором далеко «бежала славушка худая», комиссар Ванякин собирает комбедчиков; но все они показаны темными, забитыми людьми, мало активными в борьбе с кулаками и очень плохо понимающими свои же собственные классовые интересы.

На совещании с комиссаром Ванякиным выступает например хомутовский активист, бедняк Хохленков.

«Власть на местах, — говорит он Ванякину, — она действительно крепкая, — власть палкой не сшибешь. Правда, кое-где и пролезли кулаки, но большого вреда мы от них пока не видели. Есть среди них сильно образованные: — он тебе и декрет новый растолкует, и в сметах разберется, и бумажку какую хочешь сочинит» и т. д., в таком же духе. А ведь Хохленков в романе представляет революционную деревенскую бедноту, поднявшуюся на борьбу с кулаками.

Насколько ниже стоит Хохленков, если сравнить его с Софроном, Сусловым или Виринеей — героями повестей Л. Сейфуллиной, в которых — пусть неполно, — но все же во многом верно показана борьба сибирской бедноты с кулачеством.

Когда Ванякин ругнул комбедчиков («На фронте наши солдаты колют, рубят и стреляют неприятелей, а вы тут перед кулаками на задних лапках ходите»), разыгрывается такая сцена:

«— Ты во мне дух не забирай, — грохнул кулаком по столу Емельян Грошев. — Я десять лет у кулака в работниках жил, а такого гнета над собой не терпел. Прошу исключить меня из партии, ввиду моей причины, как я не прочь от общества, поэтому выхожу, и ты меня лучше не держи, — вытряхнул из шапки на стол измятое заявление.

— И меня не держи, — вскочил с полу мужик по прозвищу Над-нами-кверх-ногами. — Мы и так своей бедностью ужатые... Сократи меня из ячейки, я мало ученый и к коммунизму не подготовлен... Весь народ

глядит на нас, ровно на зверей, и я не могу переносить всего этого, как местный житель...»

В первом варианте «Страны родной» эта сцена дана в другом месте, и Антон (а не Емельян) Грошев и Над-нами-кверх-ногами — одно и то же действующее лицо. В последней редакции мы видим два действующих лица. Но эта поправка не уменьшает недостатков сцены, нарисованной художником.

Такие деревенские коммунисты, как Грошев и Над-нами-кверх-ногами, могли быть — и были — в то время. Но типичны ли они? Выражают ли они действительные настроения бедняцких масс, пробудившихся в огне революционной борьбы «к самостоятельной политической жизни»? (Ленин.) Нарисованные Артемом Веселым образы бедняков не выражают типических тенденций и черт людей того времени, они не дают читателю достаточно правильного представления о классовой борьбе бедноты с кулачеством, а роль комбедов показана Артемом Веселым в известной мере искаженно и неверно. Практика борьбы комбедов с хомутовскими кулаками слабо показана в «Стране родной».

Рост классового расслоения деревни, борьбу с кулачеством, переход деревни на рельсы социалистической революции Артем Веселый еще не сделал исходной точкой зрения для художественного изображения эпохи, — он лишь пробует приблизиться к этому. В «России, кровью умытой» пролетарскому государству, спящему железной революционной дисциплиной, деревня противопоставлена как единое целое. Эти страницы романа напоминают (и отчасти повторяют) некоторые мотивы «Барсуков» Л. Леонова или «Партизанских повестей» Вс. Иванова. Тут нет еще правильного понимания внутридеревенской борьбы и отношений рабочего класса с крестьянством. Кулацкий мятеж в Хомутове показан А. Веселым слишком широко, — как восстание общекрестьянское. Противостояния и борьбы бедняцкой части деревни в романе почти не видно.

«Потоки бурных бумажек размывали соломённые крепости. Много бумажек, отчаян-

ные сотни, а припев один: «За неподчинение, промедление — кара...»

Такое толкование взаимоотношений пролетарского города и деревни крайне ошибочно. Разумеется, бывали случаи, когда в кулацких восстаниях против советской власти принимала участие и деревенская беднота, одураченная сельскими богатеями. Но не это было характерным и главным. Классовая практика борьбы брали свое, и основное заключается в том, что деревенская беднота под руководством пролетариата боролась с кулачеством, которое пыталось измором взять советскую власть и уничтожить диктатуру рабочего класса.

Художественно односторонне акцентируя мужицкую земляную стихию (см. сцену в деревне на масляной, картины восстания и нападения повстанцев на городок Ключевин), А. Веселый лишь бегло показывает классовую борьбу в деревне и революционную роль комбедов.

Особенно наглядно эта слабая сторона романа представлена в сцене единоборства Анархиста с паровозом, сцене тяжелой и мрачной, имеющей почти символическое значение. В этом, с большой силой написанном, эпизоде жестокий, властный город побеждает деревенскую стихию, шагая через нее к своим целям и идеалам.

Вот встреча быка и поезда.

«По бровке насыпи на под'еме царалася хлебный поезд. Паровоз буксовал, устало отпыхивался, стонал и с таким трудом тащил свой хвост, что продвигался, казалось, не больше одной сажени в минуту.

Анархист хлыстал себя по бокам тяжелым, как канат, хвостом с пушистой макушкой на конце, метал копытами песок и, пригнув до земли голову, со стремительным ревом стремительно бросался встречу паровозу и всаживал могучие рога в грудь паровозу.

Уже были сбиты фонари, обмят передок, но паровоз — черный и фырчащий — наступал: на под'еме машинист не мог остановить.

Два рева старались перебороть друг друга и заглушали крики набежавших и суетившихся вокруг людей.

Анархист с разбегу ударился снова и снова... Рога его уже были сломаны, дрожали точеные ноги, ходили взмыленные бока, и морда его была залита кровью, измазана нефтью... Разбежался в последний раз, стук

нулся, передние ноги подломились... Испускающая последнюю силу страшным ревом, он упал перед врагом на колени, потом медленно рухнул на бок и устало закрыл слепящиеся от крови глаза...

Из-под чугунного колеса брызнула белая кость. Поезд прошел не останавливаясь, — на подеме машинист не мог остановить».

Идейно-эмоциональное содержание этой мрачной сцены не нуждается в комментариях. В мысли о том, что «на подеме машинист не мог остановить», что поступательный ход революции сметает все на своем пути и в первую очередь обращается против всей деревни, — еще раз нашла здесь свое выражение та ошибка, о которой мы говорили раньше. В том-то и заключается непреодоленное еще Артемом Веселым внутреннее противоречие «Страны родной», что рядом с изображением кулацкого по своему характеру восстания деревня в других сценах романа теряет свою классовую конкретность, выступая как «единое целое»!

#### IV

Писатель-коммунист, активный участник гражданской войны, Артем Веселый понимает конечно, что революция не победила бы, если бы во главе ее не стояли большевики, которые сумели партизанское крестьянское движение тесно и неразрывно связать с борьбой рабочего класса за социализм.

Герои произведений Артема Веселого — и сам писатель — отлично знают, что только пролетарская революция дала им возможность выпрямиться во весь рост, заговорить полным голосом и впервые в истории почувствовать себя хозяевами жизни, «кузнецами» своей судьбы. Отсюда этот бодрый тон, исключительный оптимизм, жизнерадостность, веселый смех и юмор, мужество и героизм, примеры которых можно найти чуть ли не на каждой странице «России». Даже самый мрачный герой Артема Веселого, Иван Чернояров, который, может быть, незаметно для себя, готов вот-вот перешагнуть грань, отделяющую друзей от врагов, мужественно гибнет от рук белогвардейцев.

Герои Веселого — люди массы, стихийно протестующей и стихийно борющейся. Из одной крайности они могут шарахнуться в другую, не менее опасную и тяжелую. Но их ненависть к своим врагам прочна и устойчива, хотя их революционность больше инстинктивная, чем сознательная. Они больше чувствуют свои классовые интересы, нежели ясно осознают и представляют конечные цели борьбы. Они меньше всего склонны к размышлениям, но всегда готовы к активному действию, а очень часто — к стихийным, неорганизованным порывам. «Грудь стальная, рука твердая — вперед, вперед и вперед!» Стихийность их революционного протеста, их жгучая ненависть к старому миру — а в этом сильнейшая сторона творчества Артема Веселого — показывают, какие огромные пласты народа подняла пролетарская революция, какие громадные резервы ведет за собой рабочий класс в последний бой за освобождение трудового человечества.

«Стихийность движения, — говорил Ленин, — есть признак его глубины в массах, прочности его корней, его неустрашимости, — это несомненно. Почвенность пролетарской революции, беспочвенность буржуазной контрреволюции, — вот это с точки зрения стихийности движения показывают факты» (Соч., т. XI, стр. 202).

Артем Веселый с поразительной художественной мощью рисует эти факты — стихийное движение миллионов, насыщенное огромной взрывчатой силой. Это движение масс рождает своих героев, оно втягивает в свои ряды даже случайных попутчиков, оно подбирает на своем пути людей, или обиженных старым миром, или прозревших в борьбе и захваченных пафосом восстания трудящихся.

В превосходном этюде «Взятие Армавира» партизанским полком командовал монах Варрава.

«В недавнем бою пуля прорвала ему горло. Рана быстро заплыла и подсохла, но шея онемела, и головы поднять он уже не мог». В бою «головная рота дрогнула, замешкалась, и ряды перепутались. Тогда Варрава повернулся к полку и, откинувшись



всем корпусом, чтобы видеть солдат, хрипло крикнул:

— Голяфы, вперед! —

и... партизаны ворвались в город со всех сторон».

Таких сцен множество в «России, кровью умытой». Чего стоит одна только эпопея похождения матроса Васьки Галагана, насыщенная таким богатством красок, звуков и образов, что ее хватило бы на добрый роман писателю, менее щедрому, чем Артем Веселый.

Но откуда же у Артема Веселого эти крупные противоречия? Яркость и сочность языка в изображении мелкобуржуазной крестьянской стихии — и сухость и тусклость красок словаря, образов в изображении представителей пролетариата, его армии, его партии? Огромная революционная энергия — и неумение с достаточной полнотой изобразить основную силу и социалистическое содержание пролетарской революции. Уменье проникнуться поэзией партизанской стихии — и очень слабое проникновение более высокой, более содержательной поэзией большевистской воли и сознательности, пафосом ясного и осмысленного действия.

Ответ на это дают «Реки огненные», одно из первых произведений талантливого художника, написанное в 1922 году, в первые дни нэпа. Эмоционально-психологическая настроенность этой поэмы объясняет многое и в последующем творчестве Артема Веселого.

Психологию своих героев Артем Веселый раскрывает в большой мере односторонне, чаще изображая ее проявления в крайних и даже анархических формах. Другой стороне дела — росту классовой сознательности бедноты в эпоху гражданской войны — Артем Веселый уделяет меньше внимания. Он как бы отстает от своих же собственных героев, — факт, очень опасный для художника, для его творческого развития. Даже в последней редакции «России, кровью умытой», помеченной 1932 годом, вопросы партизанщины, партизанской стихии — вопросы о взаимоотношениях пролетариата и крестьянства — еще не достаточно переосмыслены,

или, вернее, еще далеко не вполне поняты писателем.

В этом — различие между Артемом Веселым и, например, М. Шолоховым. Дело не только в том, что некоторые герои «Тихого Дона» перешли в «Поднятой целине» на путь борьбы за коллективизацию деревни, но и в том, что «Поднятая целина» является ответом на те мысли и настроения, которые раньше задерживали идейно-художественное продвижение М. Шолохова к большевистскому пониманию исторических процессов.

Именно сейчас, когда практика социалистического строительства направлена на преодоление самой косной силы, — пережитков прошлого в быту и сознании людей, на уничтожение всяческой стихийности, — с особенной ясностью обнаруживаются недостатки творчества талантливого художника.

Идеализация партизанской, крестьянской стихии была в творчестве Артема Веселого своеобразным выражением отрицательного отношения писателя к нэпу, к более тонким и трудным на прошлом этапе формам борьбы за социализм, сложные методы и способы которой были тогда, в первые годы нэпа, кстати сказать, не поняты не только Артемом Веселым.

Сухая и трезво-расчетливая, будничная и прозаическая, как она воспринималась рядом художников, новая экономическая политика отрицала стихийность и вела с ней борьбу. Поэтический смысл великого спора «кто — кого» во всей его глубине оказался недоступным такому художнику, как Артем Веселый. Эпоха гражданской войны была ярче, проще, понятнее и героичнее. Романтика вооруженной бури и натиска отступала перед реалистической «прозой» строго рассчитанного плана ежечасной и ежеминутной экономической войны. Если отрицательное отношение Артема Веселого к нэпу в «Реках огненных» выразилось в форме несколько иронической, то в «Босой правде» оно было весьма болезненным и острым.

«Было время, и в Мишке с Ванькой ревели ураганы. И через них хлестали взмыленные дни: не жизнь — клюковка. А те-

перь — «в наше растаковское времячко телячья кротость в почете. В почете аршин, рубль да язык с локоть».

«Попридерживали шаг у зеркальных окон обжорных магазинов, — слюна вожжой, — в полный голос мечтательно ругались:

— Не оно...

— Какой разговор, все поборол капитал.

— Наша старая свобода была куда лучше ихой новой политики.

— Была свобода, осталась одна горькая неволя».

Артем Веселый, отнюдь не рисуя своих героев «рыцарями без страха и упрека».

«Много чего натворили дружки, прежде чем с поезда попали на корабль».

В прошлом они

«всю гражданскую войну на море ни глазом: по сухой пути плавали, шатались по свету белу, удаль мыкали, за длинными рублями гонялись». «Насчет эксов, шамовки али какой ни на есть спекуляции Мишка с Ванькой первые хваты, с руками оторвут, а свое выдерут... Даешь — берешь, денежки в клеш и каргала».

Прикидывая в уме, что делать, если не удастся вернуться на судно, друзья решают:

« — А в случае чего и блатных поискать можно.

— По хазам мазать.

— Почему не так? И по хазам можно, и негорушку где сковырнем.

— Чулуха, — говорит Ванька, — нестоющее дело... Мы с тобой и в стопщиках пойдем первыми номерами...»

Мишка Крокодил, Ванька Граммофон, Иван Чернояров, Гришка Тяптя (из «Дикого сердца») и другие герои Артема Веселого нарисованы во многом как будто объективно, и этот объективизм изображения здесь, как и во всех других случаях, хотя бы в эпопее чернояровщины, не противоречит их явной идеализации.

Верность действительности обязывала художника показать, за внешней яркостью и красочностью героев «Рек огненных», их реальную суть — такой, какова она была на самом деле, то-есть мало соответствующей сложным задачам сознательной и организованной борьбы за социализм. Артем Веселый не сумел подняться на эту идейную высоту. В

образах своих героев он приукрашивает и отрицательные стороны стихийности, утверждая свои собственные, субъективные — и во многом ошибочные — представления о ней.

Это объясняется в большой степени тем, что эмоционально, психологически стихия партизанщины была понятнее самому писателю. Только она вызывает в нем то творческое волнение, без которого не может быть художественного творчества. Артема Веселого не смущает даже то, что партизанская стихия в действиях его героев иногда перехлестывает через край, теряет свой революционный характер.

«Реки огненные» насквозь пронизаны поэтической грустью о романтике гражданской войны, лирикой боевой жизни, полной радости борьбы и движения.

«Сидели Мишка с Ванькой на столе, и все в них и на них играло, плясало. Плясали, металась глаза. Дергались вертяво головы. Прыгали плечи. Скакали пальцы в бешеном галопе. Трехпыхались руки, как вывихнутые. Убегали и скользили копыта. В судороге смеялись, радовались, едко сердились горячие губы, торопливо ползали юркие уши. Зудкая ловкость, угловатая хваткость, разбитые в-нет ботинки, вихрастые лохмы, язык в жарком выюхе.

Все в них и на них орало:

Скорей,

скорей!..

Даешь!..»

В «Реках огненных» писатель противопоставляет своим героям, Мишке и Ваньке, людей, которые сформировались или формируются в новой обстановке, прекрасно понимая свои классовые цели. Это, в первую очередь, молодые матросы-комсомольцы. Даже старый боцман Федотыч, и тот, хоть и туговато, но уже начинает понимать суть нового этапа революции. Но матросы-комсомольцы в «Реках огненных» — наименее удачные образы. Все лучшее, что есть в рассказе, — сочный язык, превосходный диалог, цветистость метафор и сравнений, исключительная динамика повествования, — все это связано прежде всего с образами Ваньки Граммофона и Мишки Крокодила. Тут — центр рассказа, его пафос.

В «полурассказе» «Босая правда» автор, взяв ряд отрицательных, хоть и

возможных, фактов, сделал из них совершенно ошибочный вывод. «Босая правда» оказалась искажением и неправдой.

Таким образом, сама партизанская тематика была в данном случае не только естественным для революционного художника способом поэтического закрепления огромного исторического этапа, но, с другой стороны, содержала в себе, в известных моментах, субъективную реакцию писателя на трудности и противоречия эпохи.

Здесь, в этой своеобразной жизненной диалектике творческого развития Артема Веселого, и кроется объяснение сильных и слабых сторон его произведений. Это находит свое подтверждение, между прочим, еще в одном любопытном обстоятельстве, не замеченном многими критиками Артема Веселого.

Заключается оно в следующем: классовая борьба дана в его произведениях идущей только по прямой линии, то-есть открытой, явной и ясной для всех. Тонкие и сложные формы классовой борьбы, уходящие часто с поверхности в глубь общественных явлений, те формы, для изображения которых требуется определенно высокий уровень мировоззрения, почти отсутствуют у Артема Веселого.

Сложные социальные ситуации, наивысший драматизм положений отсутствуют даже в «Гуляй-Волге» — лучшим романе талантливого художника. Один из интереснейших моментов романа — классовое расслоение в ермаковском отряде — разработан меньше других. А ведь усиление именно этой сюжетной линии дало бы более глубокое разоблачение классового характера экспедиции Ермака, оно подняло бы роман на еще большую идейную и художественную высоту.

Перед сложными задачами идейного порядка, перед глубокими социально-психологическими конфликтами Артем Веселый, к сожалению, отступает, предоставляя воображению читателя «дополнить» ту или иную ситуацию.

Законен вопрос: растет ли Артем Веселый, преодолевает ли он те недостат-

ки, которые задерживают его творческое развитие?

Утвердительный ответ на это содержится в тех весьма характерных исправлениях текста «России, кровью умытой» и «Страны родной», которые говорят о безусловном росте писателя, о его более правильном подходе к проблемам гражданской войны.

Дело в том, что развитие темы гражданской войны в творчестве некоторых писателей происходит таким образом, что они иногда возвращаются к своим исходным тематическим позициям уже на иной, более высокой, идейной основе. Обогащенные активным участием в практике борьбы за социализм и более глубоким усвоением мировоззрения пролетариата, они по-новому пытаются осмыслить те исторические явления, с изображения которых начали свой творческий путь.

Это стремление — подойти к теме по-новому, глубже показать классовый смысл революционных событий, — реализовано в ряде сцен «России, кровью умытой». Здесь значительно резче подчеркнут кулацкий характер восстания, а образы коммунистов — руководителей Клыквенского уезда, Капустина и Павла Гребенщикова, — выписаны лучше в сравнении с образами Гильды, Ефима или Судаковой, представляющими в романе интеллигенцию. Последние — бледны и слабы: они вырастают в роман «инородным телом», нарушая его цельность. Артем Веселый сам почувствовал это. В последнем варианте романа, который больше всего дает возможность судить о творческом росте писателя, портреты этих действующих лиц значительно переработаны, а некоторые и просто опущены. В результате роман выиграл и в большей четкости своих сюжетных линий, и в общей последовательности событий, составляющих его основу.

Зато образ комбедчика Танька-Пронька в раннем варианте романа выписан несколько лучше, чем в последней редакции.

Неплох комиссар Ванякин, которого кулаки прозвали «бешеным». Стойкий революционер, он в меру своих сил и

уменья, честно и до конца выполнял нелегкое тогда продкомиссаровское дело. Участникам кулацкого восстания, руководимого эсерами, массе дезертиров и одураченных кулаками крестьян, Артем Веселый противопоставляет красноармейца-отпускника Фролова. Фролова убивает разъяренное его мужественной речью кулачье. Но смерть красноармейца вносит колебания в ряды повстанцев. Эта сцена, написанная с большой силой (и в эпической манере, которой превосходно владеет Артем Веселый), принадлежит к лучшим страницам «Страны родной» — и по мастерству, и по идейной значительности.

Вообще там, где Веселый глубже задумывается над политическим смыслом происходящего, образы романа становятся художественно ярче, содержательнее, правдивее: они передают типические черты эпохи и ее героев.

## V

Идейный рост талантливого художника убедительно показывает последний его роман «Гуляй-Волга». Он по праву может быть назван творческим достижением Артема Веселого и большим положительным явлением советской литературы в области исторического романа.

«Гуляй-Волга» — роман о «покорении» Сибири русскими казаками, вставшими, может, и против своих желаний, на службу торгового капитала. «Поход Ярмака, — пишет Артем Веселый в своем послесловии, — здорово рассудив, следует рассматривать как военно-промышленное предприятие». «Русь ходила на Сибирь с мечом, крестом и рублем». Показывая прошлое в своем романе, Артем Веселый наносит сильнейший удар и разоблачает — с материалистических позиций художественными средствами — классовую ложь буржуазной исторической науки.

Наиболее удачный образ романа — Ярмак (Ермак). Он быстро усваивает идеологию крепостников-промышленников Строгановых и, выполняя их волю, намеряет обстоятельную программу действий, направленную на окончательное

закрепление Сибири за Московским царством.

Увлечение Артема Веселого партизанской стихией сказалось и в «Гуляй-Волге». В изображении казачьей вольницы XVI века, ходом исторических событий превращенной в наемника русского капитализма, Веселый нашел или «примыслил» такие психологические особенности, которые облегчили ему выполнение художественной задачи.

Читатель, знакомый с «Россией, кровью умытой», в образах бурлака Мамыки, Ивана Кольцо, Куземки Злычого, казака Лытки, Васьки Струны и даже Ярмака без особого труда узнает черты некоторых героев партизанщины. В этом смысле роман, в отдельных своих главах, действительно слишком «круто» — и не всегда удачно — «повернут» в сторону современности.

Но тов. В. Гоффеншефер в своей интересной и содержательной статье о «Гуляй-Волге» несколько преувеличивает, когда пишет, что «историческая схема» осталась сама по себе, а персонажи «Гуляй-Волги», их классовая сущность и судьба существуют также сами по себе, сливаясь с образами «Рек огненных» и «России, кровью умытой» («Литературный критик», 1933 г., № 2).

Образы последних в отдельных моментах действительно «совпадают» с образами «Гуляй-Волги», но все же не настолько, чтобы историческая схема осталась «сама по себе».

Артему Веселому удалось сохранить определенное историческое своеобразие, оригинальность и своеобразие романа — и это главное — в том, что никогда еще, кажется, Артем Веселый так четко и удачно не показывал в художественной форме социальные основы изображаемых явлений, как в историческом романе «Гуляй-Волга». Правильная историческая схема, переведенная на язык ярких художественных образов, — вот в чем творческая заслуга писателя. А таких произведений об историческом прошлом пока еще не слишком много в нашей литературе.

Одну из положительных сторон романа составляют и те страницы, где Ве-

сельский показывает (к сожалению, недостаточно развернуто) социальную неоднородность ватаги Ярмака, противоречия между бурлацкой и казачьей частью колонизаторской экспедиции, противоречия, доведшие однажды до открытого и жестоко подавленного Ярмаком восстания.

Опыт художественной работы над изображением партизанщины если и «помешал» Артему Веселому, то в такой же мере и помог ему отыскать среди низовой части ярмаковской ватаги (имевшей свои низы и верхи) представителей недовольных элементов. Исторически вполне вероятно, что такие оппозиционные элементы были.

Есть в романе потрясающие своей эпической силой и простотой страницы, изображающие бунт солеваров, измученных жесточайшей эксплуатацией на строгановских промыслах. На усмирении бунта мчится Ярмак «с товарищами».

«Из-под локтя атамана вывернулся палач Абдулка; круглая, ровно из красной меди литая, морда его, жирно блестяла.

— Пороть, бачка?

— Лупи всех из головы в голову, лупи принародно, чтобы, смотря на то, бабам и малым ребятам не повадно было смуту заводить.

Кнутобойцы хлестали без злости до первой крови, а там обезумели и принялись за дело с остервенением.

Абдулка крутился, как бес, и покрикивал:

— Серчай, крепчай!

Подручные отзывались:

— Сухо!

Хозяин послал за вином.

— Будя кровавить руки, — сказал через несколько дней казак Васька Струна и, набрав себе шайку, сбежал на Волгу.

За Васькой поднялся гусак бурлацкий Трофим Репка.

— Истому злее смерти, — сказал он и, подговорив шайку, по последней воде сбежал на Волгу»

Васька Струна и Трофим Репка не выдержали роли усмирителей бунта крепостных рабочих. Они стали, таким образом, врагами Ярмака. Что делали на Волге эти (судя по роману) ранние предшественники Разина и Пугачева, неизвестно. В романе об этом ничего не

говорится, да и вообще весь этот эпизод, может быть, следует отнести к «примыслам» художника, о которых он говорит в своем послесловии. Но в «примыслах» этих скрывается та историческая правда, проникновение в которую делает честь революционной чуткости писателя.

Артем Веселый верен исторической действительности, когда рисует противоречия бурлацкой и казачьей части ватаги Ярмака. Итти на службу к купцам, торговые суда которых казаки не раз грабили, «кормясь отвагой», хотелось далеко не всем. Особенно противодействовали бурлаки.

«Не красно нам, — мычал Мамыка, — не радостно к купцам в службы итти, воля...»

Бурлаки больше казаков испытали на себе, на своем горбу, прелести купеческой службы. Есть в романе прекрасная сцена, рисующая отношения купцов и бурлацкой артели.

Купцы боялись казаков, но они умело пользовались тем, что «завоевательные» стремления среди казачества, кормящегося отвагой, ловитвой и разбоем, были достаточно сильны. Все эти социальные грани довольно четко намечены в романе. В ряде как будто незначительных деталей и фактов Артем Веселый вскрывает большое социальное содержание.

Писатель художественно убедительно рисует самые мрачные стороны казачьей колонизаторской практики. Он не грешит против исторической правды и тогда, когда показывает процесс постепенного превращения казачества — оппозиционных элементов тогдашнего общества — в усмирителей Сибири. Художественный «примысел» здесь виден только в деталях, в основу положены реальные процессы истории. Действительно, казачьи руками загребали жар Строгановы и другие.

«Закормили, задарили Строгановы казаков. Разделившись на малые отряды, несли казаки по острожкам сторожевую службу и показывали свою казачью правду».

И Артем Веселый рассказывает, с какой жестокостью подавлялись бунты че-

ремисов, башкиров, татар и остяков, задушенных непосильным гнетом и поборами. Но, в сравнении с казаками, гораздо хуже и во многом неправильно изображены сибирские народы, «дикие народцы», с которыми отряды Ярмака расправляются, шутя и играючи, между прочим, только «пробуя» силу молодецкую.

Дело не в том конечно, что писатель показывает неизбежность военных поражений сибирцев, которые не знали огнестрельного оружия и политическая организация которых рассыпалась под первыми крепкими ударами. Идеализация стихийности здесь также отвлекла внимание писателя и помешала Веселому до конца правильно показать объективно-историческую роль ватаги Ярмака и то героическое сопротивление, которое оказывали сибирские народы русским колонизаторам.

Основным мотивом романа — и в этом его значение и ценность — является мысль о том, как разорялась Сибирь русскими попами, атаманами, купцами и царскими воеводами, как приходил в страшное запустение и упадок прежде богатый край, охотники и кочевники которого «славилась простодушием и жили в первобытном непорочии», как гибли и вырождались сибирские племена под гнетом торгово-капиталистической цивилизации.

«Угасла и храбрость сибирских народов, лишь в сказках да былинах мерцают отсветы былой славы, — так на протяжении многих веков песнь собирала под свое крыло богатейей».

Но эти отсветы былой славы, мужества и храбрости, которые мерцают в былинах и сказках, к сожалению, просвечивают и в «Гуляй-Волге».

## VI

В творческой манере Артема Веселого весьма сильны натуралистические тенденции, отсюда подчинение автора отдельным фактам и явлениям жизни и неумение поднять их на высоту большого идейно-художественного обобщения. Отсюда и известная иллюстративность «России, кровью умытой», ко-

торая, в этом смысле, ниже исторического романа «Гуляй-Волга», ценного не только богатством языка и образов, но и правильным, в общем, изображением прошлого.

Тов. Гоффеншефер удачно назвал «Россию» Артема Веселого энциклопедией языка гражданской войны и партизанского движения. Это действительно так. Язык, которым говорят действующие лица романа, с большой яркостью рисует как их чувства и мысли, так и революционный подъем масс, борющихся за новую жизнь. В «России» легко выделить специфические особенности речи каждой социальной группы.

Правда, чувство меры иногда изменяет Артему Веселому, чем отчасти и объясняется заметная иногда в романе простая регистрация языковых фактов, без их достаточного отбора и переработки. Там, где у А. Веселого на первый план выступают представители не люмпен-пролетарских слоев, а трудового крестьянства, активно участвующего в революционной борьбе, там проявляются превосходно передаваемые лучшие стороны подлинно народной речи: ее образность, сочность, яркость, меткость и конкретность определений, основанная на здоровом материалистическом мироощущении.

Писатель с большой тщательностью и вниманием относится к слову. Многочисленные переделки различных глав романа и даже отдельных страниц наглядно показывают упорную и успешную работу писателя над речевой структурой своих произведений. Излишества и крайности формального словотворчества, характерные больше всего для ранних произведений Артема Веселого, заменены в позднейших произведениях более ценным и более содержательным языком.

Артем Веселый часто прибегает к чрезмерному использованию «зауми», звуко речи, насыщенной восклицаниями и междометиями. Все это, по замыслу автора, должно передать хаотическое, но бодрое и радостное ощущение жизни, которому рядовой представитель вольницы, рисуемой писателем, не находит ясного и четкого словесного выражения.

Писатель, стремясь сблизить звуковой игрой слово с его предметным, материальным корнем, несомненно повторяет Хлебникова, лингвистические эксперименты которого вообще оказывают заметное влияние на творчество Артема Веселого. В «Реках огненных» бури гражданской войны фонетически очерчены так:

Гайдамаки в штыки.  
Буржуй... душа из тебя вон.  
Петлюру в петлю.  
На Оренбург бурей.  
По Заказанью грозой,  
Волгой волком!  
Урал «на ура».  
Ураган на рога.  
Дворцы на ветер.

#### У Хлебникова («Разин»):

Гон ног,  
рев вер,  
лук скул,  
ура жару,  
кулака лук.  
Топ и пот.  
Топора ропот.  
Лат речь чертал.

Изучение языка произведений Артема Веселого показывает, что, работая над расширением и обогащением своего словаря, он стремится использовать положительные стороны опытов В. Хлебникова, отбирая из них то, что наиболее соответствует замыслу и теме романа. Язык «России, кровью умытой» в последней редакции чище, проще и выразительнее. Но и ему не хватает глубины, емкости и реалистичности.

Словесный строй произведений Артема Веселого всеми своими коренными особенностями уходит в язык крестьянских масс. Образы, метафоры, сравнения, поговорки и прибаутки, которыми разговаривают герои партизанской эпопеи Артема Веселого, — все это взято из крестьянской жизни, из быта деревни. Лирическое отступление в «Стране родной» в образной форме говорит об этой любви писателя к деревенским просторам, к народным песням и народному поэтическому творчеству, с которым органически и неразрывно связана творческая практика А. Веселого.

«Пути, дороженьки расейские, ходить — не исходить вас, радоваться — не нарадоваться. Заворожили вы сердце мое бродячее, юное, как огонь. Приплясывая, бежит оно в дали радощные. Любы мне и светлые кольца веселых озер, и ленивые развалы степей, и задумчивая прохлада мудрых лесов, и поля, поля, пылающие аржанными пожарами. Любы мне и зимы, перекрытые лютыми морозами. Любы и весны, разматывающие яростные шелка. И когда-нибудь у природного костра, слушая цветную, русскую песню, легко встречу свой последний, смертный час».

Лексическое богатство Артема Веселого действительно идет от «цветной русской песни», переливающей в его творчестве живыми, яркими красками, меткими образными сравнениями, свежо и ошутимо передающими самую материальность очеловеченной природы. Особенно хороши в этом отношении некоторые страницы «Гуляй-Волги».

«Пала осень, стрежни затягивало песками, Мерцающая, текла усталая, осенняя вода. Зверь, напуганный шорохом опадающих листьев, покидал дубри и выходил на открытые места. Ветер расплетал березаньке косу рыжую, мокрая ворона качалась на голой ветке».

По степи  
струилось марево,  
текли травы,  
стала великая тишина.

Нигде, кажется, влияние народного поэтического творчества у Артема Веселого не проявилось так заметно и в такой степени, как в «Гуляй-Волге». Роман в значительной части написан в форме ритмического сказа, превосходно-напевного, мягкого, проникнутого теплым, волнующим лиризмом. Вступительные строки многих глав, искусно и тонко стилизованных под былинные зачины или народные песни, звучат, как стихи.

«Бежала Волга в синем плеске, играючи, песчаные косы намывала, острова и мысы обтекла, вела за собой крупные берега да зедены луга...

Размах гор,  
навалы больших лесов.

Дремали над Волгой, карауля тревожный покой Азии, русские городки и острожки».

Или вот песенное начало другой главы:

«Гремит и плещет Волга, с ветра пьяна.  
Летит Волга, раскинув пенистые жрылья».

Волна гремит-качает берега, волнуется-кипят кусты, да — эх-эх-ха! — стонут сине леса.

Ветер выдувал паруса,  
простор просил песни».

В словесной ткани «Гуляй-Волги» хлебниковские влияния — в данном случае менее благотворные — видны в ряде созданных А. Веселым архаизмов: «тюрьмарь», «сохарь», «беднач», «смелач», «тамцы» (там живущие), «скорцы» (послы, скороходы), «русцы» (русские), «дивеса» (чудеса) и т. д. «Топоры ропота» прямо взяты из В. Хлебникова. Но в общем элементе формального словотворчества и несколько отвлеченного экспериментаторства незначительны в произведениях Артема Веселого. Его речевой стиль покоится на более широком и прочном основании: это прежде всего язык крестьянских масс, язык миллионов, речевая культура которых безусловно обогатилась в процессе революционной борьбы.

## VII

Крупный изобразительный талант Артема Веселого проявляется прежде всего в сценах эпического размаха, там, где участвуют большие коллективы, массы. Именно здесь и разворачивается полностью художественное дарование писателя, нарисовавшего превосходные картины революционного партизанского движения. Но художественная индивидуализация образов, борьба противоречий в сознании человека, изображение духовного роста героев удаются Артему Веселому в меньшей степени. Законченных типов, характеров в точном смысле этого слова нет в его произведениях. Даже образы солдат, матросов, крестьян и партизан не раскрыты с той полнотой, когда читатель ощущает действительное богатство их внутреннего содержания. Артем Веселый рисует своих героев по преимуществу в действиях, в движении, в военных подвигах и приключениях. Но их практическая революционная деятельность дана менее осмысленной, чем это было в действительности.

Обратной стороной динамизма, характерного для «России, кровью умытой»,

является (это может показаться парадоксальным на первый взгляд) некоторая статичность романа. Движение образов «России» — механическое движение.

Герои романа внутренне, духовно не растут. Артем Веселый перебрасывает их с места на место, из сцены в сцену, из эпизода в эпизод, но качественных изменений в их сознании, действиях и поступках не происходит.

Объясняется это тем, что, преувеличивая роль стихийности в движении масс, Артем Веселый не задумывается над той проблемой, которая имеет решающее значение для художественно правдивого изображения темы гражданской войны, — над проблемой борьбы большевистской, социалистической сознательности против мелкобуржуазной стихийности.

Пролетарская революция, борьба за социализм, социалистическое строительство — процесс сознательного творчества пролетариата, руководимого партией. И потому, что это сознательное творчество враждебно стихии, оно перед каждым индивидуумом, перед каждым трудящимся в отдельности, и перед трудовой массой в целом, ставит задачу: найти, осмыслить и определить свое место в революционной борьбе, в рядах рабочего класса, строящего социализм. В этом росте личности, индивидуальности и ее социалистического сознания состоит победа большевистского разума и организованности над мелкобуржуазной стихией, не способной подняться выше ближайших и временных интересов и понять конечные цели движения.

Для революционера-большевика, хорошо понимающего свою роль руководителя масс, чрезвычайно существенное значение приобретает поэтому вопрос о роли личности в историческом процессе, особенно в такую эпоху, когда люди сознательно изменяют и переделывают действительность.

Такое изображение победы коммунистической сознательности над мелкобуржуазной стихийностью выдвигает, на-



пример «Чапаев» Дм. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева и произведения других писателей-коммунистов, произведения, имеющие большое познавательное и воспитательное значение.

В «Разгроме» Фадеева Левинсон тяжело переживает поражение своего отряда. Убит Бакланов, один из тех, кто мог и должен был стать руководителем движения. Но мужество не покидает Левинсона. Он знает, что революция непобедима, что в практике борьбы, участь на частичных неудачах, растут новые люди, стойкие и сознательные революционеры.

#### Левинсон

«обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб иотдых, этих далеких людей на току, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали следом, и перестал плакать: нужно было жить и исполнять свои обязанности».

В осознании Левинсоном необходимости «жить и исполнять свои обязанности» после поражения отряда правдиво показана А. Фадеевым — в типическом образе большевика — роль руководителя массовым движением.

Щедрый художник, А. Веселый не всегда умеет отбирать художественно необходимые факты и явления, пронизанные единой мыслью. Последовательно проведенной, целостной поэтической идеи, как мы уже говорили, нет в «России, кровью умытой». Это проявляется и в композиционной неслаженности романа. И только «Гуляй-Волга» — первое пока произведение писателя, имеющее более или менее четкий сюжет, единство цели и действия, ясно выраженную идею. «Россия, кровью умытая» распадается на «два крыла», но «крылья» эти не прикреплены к определенному идейному «остову».

История Черноярца написана на материале биографии (несколько видоизмененной) Ивана Кочубея, северокавказ-

ского партизана. О нем рассказано в книге Л. Дегтярева «Шагают миллионы». Фактически, по материалу, они во многом совпадают, но «Россия, кровью умытая» написана гораздо раньше. Роман Артема Веселого хорош, иногда превосходит, но композиционно слаб. Основная причина этого — недостаточно ясное и глубокое понимание этапов революции, через которые проходила деревня, неумение писателя показать партизанское движение в связи с переходом деревни на рельсы социалистической революции — на основе ленинской характеристики эпохи гражданской войны.

Партизаны Артема Веселого, под руководством партии, идут сегодня в авангарде борьбы за упрочение колхозного строя, за уничтожение частной собственности — последнего оплота мелкобуржуазного индивидуализма и стихийности. Живые герои Артема Веселого, преодолевая в себе пережитки старой психологии, уже поднялись на более высокую ступень, превращаясь в сознательных творцов новой жизни. Эту действительную эволюцию своих героев Артем Веселый может и должен проследить на процессах колхозного движения, чтобы понять тот всемирно-исторический переворот, который произошел в сознании миллионов трудящихся.

Творческая задача Артема Веселого заключается, следовательно, не в том, чтобы уйти или отказаться от тематики гражданской войны, — эта тема еще далеко не освоена во всем ее объеме советской литературой, — но, в случае возвращения к названной теме, писатель должен подойти к изображению героического этапа революции, нашедшего свое выражение в партизанской войне, с последовательно-пролетарской точки зрения, приняв во внимание тот путь, который пройден крестьянством, под руководством партии, от эпохи общекрестьянской войны до победы колхозного строя.

## 4. ПИСЬМА ЖОРЖ-САНД

(Перевод, предисловие и примечания Н. Славятинского).

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В нынешнем году исполнилось сто тридцать лет со дня рождения Жорж-Санд (1804—1876) и сто лет с того времени, как ею был закончен первый цикл романов, посвященных вопросу об эмансипации женщины. Эти романы («Индиана», «Валентина», «Лелия», «Жак») доставили Жорж-Санд европейскую известность. Впереди, в 1936 году, — еще одна юбилейная дата: шестидесятилетие со дня смерти писательницы, когда-то так разнообразно и сильно влиявшей на русскую художественную литературу и критику (Белинский, Герцен, Чернышевский, Григорович, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Достоевский и много других). Усваивая, то-есть творчески преодолевая, величайшие ценности старой русской литературы, полезно и даже необходимо выяснить причины влияния Жорж-Санд на этих крупнейших наших писателей XIX века. Для этого надо отчетливее представить себе общественно-политическую физиономию самой Жорж-Санд, выяснить ее литературные взгляды, глубже заглянуть в ее творческую лабораторию. Переписка ее в этом отношении представляет огромный интерес.

В печатаемых ниже письмах Жорж-Санд наиболее внимание уделено «творческой теме» (в первую очередь — ее письма к Флоберу). Переписка Жорж-Санд с Флобером является

непрерывной, в течение полутора десятилет, дискуссией по вопросу о творческом методе. Писательница не постеснялась высказать своему другу много горьких истин, и с самого начала (см. письмо XXV) заявила о своей независимой творческой позиции.

Другой раздел переписки Жорж-Санд, которому мы уделили большое внимание, — это ее письма по вопросам тогдашней рабочей поэзии. Мы выбрали одного ее адресата, — поэта-каменщика Шарля Понси (см. в примечании рубрику «Письма к Понси»). Редко кто знает, как много внимания уделяла Жорж-Санд первым росткам пролетарской литературы. У нее, кроме многочисленных высказываний в частной переписке, наберется довольно увесистая книжка статей и предисловий к различным изданиям по этому вопросу.

Из многотомной, далеко не полно изданной переписки Жорж-Санд здесь выбрано примерно всего четыре печатных листа. Только три письма (к Сент-Бёву) взяты из «Lettres à Alfred de Musset et à Sainte-Beuve», Paris, с. Lévy. Все остальные письма переведены мной с шеститомного издания переписки Жорж-Санд, вышедшей в том же издательстве в 1882 — 84 гг. Перевод сделан специально для «Нового мира».

Н. С.

## I. Жюлю Бокуарану, Париж

Шатр, 31 июля 1830 г., одиннадцать часов вечера.

Да, да, мое дитя, напишите мне. Благодарю вас, что вы вспомнили обо мне среди стольких ужасов. О боже, сколько крови! сколько слез!

Я получила ваше письмо от 28-го только сегодня, 31-го. Как томительно было ждать новостей! Однако тысячью разных путей к нам дошли почти все сведения, которые содержатся в нем, причем различные версии мало отличались одна от другой. Но ничего официального! Мы надеемся, что завтра что-либо объявят. Это необходимо, чтобы и мы нашими слабыми силами могли содействовать великому делу обновления. О, боже! одержим ли мы верх? Пойдет ли на пользу кровь всех этих жертв их женам и детям?

Ваше письмо читал весь город. Все

жадно хотят знать подробности, и каждый прибавляет к ним свою долю. Пишите же и помните, что все наперебой хотят услышать что-либо новое, пишите лишь о политических делах...

## II. Жюлю Бокуарану, Ноган

Париж, 17 июля 1831 г.

Мое дорогое дитя! Мне досажен ваш политический оптимизм. Ваше подлое правительство жестоко восстанавливает против себя честных людей. Будь я мужчиной, не знаю, до каких крайностей я дошла бы в минуты негодования; всякий благородный человек должен проникнуться им при виде тех пошлых и жестоких действий, которые совершаются здесь ежедневно.

В сущности, министры разжигают гражданскую войну, в своих интересах подливая масла в огонь. Какое бесстыдство! Национальные цвета за-

прещены. Стоит лишь появиться с нами, чтобы быть хладнокровно растерзанным вооруженными людьми, трусами, которые, не краснея, режут беззащитных детей, собирающихся небольшими группами.

Прекрасный институт национальной гвардии стал очагом раздоров и кровопролития. Полиция прибегает к средствам, достойным времен Карье (Нант). Мне кажется, Филипп корчит из себя Наполеона. Но эта роль никогда не будет по плечу Бурбону. Его усилия замедляет его падение, но от этого оно не станет менее трагическим, и тогда народ, пускаясь на любые эксцессы, не будет виноват.

Что до меня, то я ненавижу всех людей, и королей, и народы. Бывают минуты, когда я со злобной радостью вредила бы им. Я успокаиваюсь лишь тогда, когда их забываю...

### III. Господину Сент-Беву, Париж

Париж, 11 марта 1833 г.

... Я слишком мало сказала вам о том впечатлении, которое произвела на меня ваша книга. Вы знаете сами, как стесняет присутствие человека, которому в лицо выражаешь свое восхищение. Ваша книга прекрасна, я не знаю, почему, я не сумею этого сказать, а судить — не моя профессия. Но она проникла в мое сердце, как проникло бы повествование о жизни, могучей и горестной, сделанное простыми и глубокими словами, с душой сосредоточенной и мыслями серьезными и святыми. Насколько вы лучше меня, мой друг! Насколько вы моложе, добродетельнее и счастливее! Прослушав «Аелию», вы сказали мне нечто такое, что огорчило меня: вы сказали, что боитесь за меня. Выбросьте, пожалуйста, вон из головы эту мысль и не смешивайте человека и страдание. Вы слышали голос страдания, но вам хорошо известно, как в действительности человек оказывается часто ниже и, следовательно, не столь поэтическим, не столь злым и не столь проклятым, чем его демон. Вы ближе к ангельской природе, протяните же мне

руку и не предоставляйте меня сатане. Примирите меня с богом, вы, всегда веровавший и часто молящийся.

Укажите мне вечер, который вы мне сможете уделить, чтобы мне можно было получить вторую половину рукописи. Ваши подбадривающие замечания дадут мне силу окончить. Поистине это печальная жнига, и если бы она помогла мне разобраться в тоске моей тоски, то это было бы единственное благо, на которое она способна. Но работайте над вашей, чтобы она послужила противовесом и быстрее разрушила действие моей на слабые желудки, и начинайте с меня; прочтите мне ее поскорее. И не придавайте большого значения всем моим сатаническим повадкам: клянусь вам, что это лишь тот жанр, который я избрала. Кстати, подумав, я не хочу, чтобы вы приводили ко мне Альфреда де-Мюссэ. Он чересчур дэнди, мы не сойдемся с ним во мнениях, мне не столько интересно, сколько любопытно его видеть. Я думаю, что неблагоприятно уступать всем проявлениям своего любопытства, а лучше повиноваться чувству симпатии. Вместо него я прошу вас привести мне Дюма, в искусстве которого, отвлекаясь от вопроса о талантливости, я нашла душу. Он высказал мне свое желание побывать у меня, и вам стоит лишь сказать ему словечко от меня. Но в первый раз приходите и вы с ним, потому что первые встречи для меня всегда фатальны.

### IV. Господину Сент-Беву

Париж, 25 августа 1833 г.

Как вам известно, мой друг, я очень оскорблена, хотя я к этому вполне равнодушна. Но я равнодушна к той поспешности и к тому усердию, с которыми мои друзья встали на мою защиту. Мне передали от вас, что вы ответите в «Литературной Европе», в «Обзрении двух миров» и в «Насьональ». Сделайте же это, раз ваше сердце побуждает вас к этому; я вас не благодарю; но вы знаете сами, что в подобном случае мои

слова и моя жизнь были бы в вашем распоряжении.

Я хочу поговорить с вами о другом, и мне очень важно, чтобы вы об этом знали. Поскольку сомнение, удивление, неуверенность часто отпугивали вас, как друга, и колебали ваше уважение, я хочу, чтобы вы яснее разбирались в моем поведении и чтобы вы знали о моих поступках и намерениях. Если вы осудите их, то это еще не причина лишать меня вашего доверия.

Я влюблена, и на этот раз очень серьезно, в Альфреда де-Мюссе. Это не каприз, это глубоко прочувствованная склонность, о которой я подробно расскажу вам в другом письме. Я не могу обещать вам, что это чувство продлится столько времени, что оно покажется вам столь же священным, как и чувства, на которые способны вы сами. Я любила однажды в течение шести лет, в другой раз — в течение трех, а теперь я не знаю, на что я способна. В моем мозгу проносится множество фантазий, но мое сердце не так изношено, как я этого опасалась. Я говорю это теперь потому, что так чувствую.

Далекая от того, чтобы быть недовольной и огорченной, я нахожу на этот раз искренность, прямоту, нежность, которые меня опьяняют. Любовь молодого человека он умеет соединить с товарищеской дружбой. Это нечто такое, о чем я не имела представления, и чего я не думала встретить нигде, особенно в нем. Я не признавала этого чувства, я отталкивала его сначала, а затем я сдалась, и счастлива, что так поступила. Я отдалась больше из чувства дружбы, чем по любви, и любовь, которой я не знала, пришла, и притом без той горечи, какой я ожидала.

Я счастлива, поблагодарите за меня бога. Я еще часто переживаю часы печали и смутных страданий: да, это есть во мне, это во мне заложено. Если бы я отреклась от недугов, свойственных моей натуре, я не была бы сама собой, и я могла бы опасаться, что вдруг обрету свое «я». Я нахожусь теперь в более действительных условиях для возрождения и для утешения. Не разубеждайте меня.

Если вы удивлены и, быть может, испуганы этим выбором, этим союзом двух существ, из которых каждое, со своей стороны, отвергало то, что оно искало и нашло друг в друге, то подождите предрекать последствия до того, как я вам лучше расскажу этот новый роман. Не смогу ли я вас повидать перед моим отъездом в Берри? Постарайтесь найти свободное время. Это, быть может, один из особых случаев, когда мне было бы полезно повидаться с вами, чтобы доверить вам свою тайну.

Теперь, когда я сказала вам, что творится в моем сердце, я скажу вам, каким будет мое поведение. Планш прослыл моим любовником: это неважно. Он им не является. Я придаю теперь большое значение тому, чтобы все знали, что он не является им, но мне в одинаковой степени безразлично, когда думают, что он был им. Вы понимаете, что я не могу жить в интимной близости с двумя мужчинами, о которых говорили бы, что они находят-ся со мной в отношениях одного и того же рода; это не подходит ни к одному из нас троих.

Я, следовательно, пришла к решению, очень тягостному для меня, но неизбежному, удалить Планша. Мы искренно и сердечно объяснились на этот счет, и мы расстались, подав друг другу руку и в глубине души любя один другого, обещая взаимно вечное уважение. Я рада сказать вам это, чтобы обелить Планша в ваших глазах, или, по крайней мере, оправдать от упреков, с которыми к нему адресуются и на которые я никогда не обращала внимания, так как мне не в чем было его упрекать. Я была бы очень огорчена, если бы наша разлука показалась разрывом и утвердила кое-кого в дурном мнении о нем. Следовательно, я делаю все, что от меня зависит, чтобы избежать этого, и со всей ясностью заявляю, какая у меня позиция по отношению к господину де-М. и по отношению к Г. П... Я мало считаю с теми, кто не поверит моим словам и кто предпочтет думать, что шансы Г. П. одинаковы для добра и для зла. Это либо злые, либо

больные люди. Первых я боюсь, а во вторых не испытывала никакой надобности, так как сама очень часто бываю больной.

Не знаю, понравится ли вам мое смелое поведение. Быть может, вы считаете, что женщина должна скрывать свои привязанности. Но я прошу вас обратить внимание на то, что я нахожусь в исключительном положении и что впредь я должна вести совершенно открытую частную жизнь. Я не придаю большого значения тому, что говорит публика. Однако, если я легко могу разъяснить ей основные пункты, то я должна это сделать. Она скажет, что я капризна и непостоянна, что я от Планша перехожу к Мюссэ с тем, чтобы от Мюссэ перейти еще к кому-нибудь другому. Пустяки, лишь бы не говорили, что моя постель принимает в одни сутки двух мужчин. Мною будут недовольны: это не важно. Но на меня не будут клеветать и меня не станут оскорблять, как это произошло бы, если бы я не решилась сказать правду.

Что же касается искренности моей души, больше или меньше силы и добродетели она сохранила в течение моей печальной жизни, то это деликатные вещи, о которых могут судить лишь двое, трое друзей. Вы знаете, что из их числа я больше всего дорожу вами. Я увижусь с вами или напишу вам, чтобы вы могли ясно разобратся во мне, чтобы вы просветили меня относительно моих обязанностей, чтобы в ряде случаев вы воздали мне должное. Мне нужно знать, что, близко ли, далеко ли, две-три благородных души шествуют в жизни, поддерживая меня своими добрыми пожеланиями и своими симпатиями. Это братья и сестры, которых я обрету в госпде, когда кончится мое паломничество.

Прощайте, мой друг.

Ваша Жорж-Санд.

*V. Адольфу Геру, Париж*

Шатр, 11 февраля 1836 г.

Во вторник на масляной будет вынесено решение о моем разводе.

Следовательно, я смогу отправиться в Париж не раньше конца марта. Я очень сожалею об этом; мне хотелось бы повидать моих детей и моих друзей и побывать на том балу, — он был бы для меня праздником. Постарайтесь устроить другой, на который я смогла бы попасть.

Я люблю ваших пролетариев, во-первых, потому, что они пролетарии, а во-вторых, потому, что в них семя истины, зерно будущей цивилизации. Передайте им мои сожаления. Скажите им, что я высоко ценю подарки, которые им угодно было мне предназначить. Я хочу познакомиться с ними со всеми, как только я перестану быть женщиной-рабой. а буду свободной женщиной, поскольку это позволяет наша скверная цивилизация...

*VI. Евгению Пеллетану, Париж*

Бурж, 28 февраля 1836 г.

Я получила ваше письмо только вчера. Я не живу в Париже, я провожу вне его три четверти года.

Вы обладаете большим умом, воображением, талантом. Но ваша простота скорее аффектирована, чем естественна.

Работайте, ведь вы уже поэт, если только для того, чтобы им быть, достаточно очень хорошо делать стихи. Если же для этого нужны еще некоторые качества, то вы в состоянии приобрести их. Начинайте печатать ваши произведения, когда вы эти качества приобретете.

Вам недостает пластичности, вы сами сознаете это. Ищите же ее всюду. Байрон и Гете оставались пластичными даже в самых пылких из своих творений.

Не стремитесь принадлежать к какой-либо школе, не подражайте чужим образцам. Те, кто выдают себя за них, почти всегда завидуют качествам таланта, которые они порицают и подавляют у своих адептов. Держитесь подальше от Парижа, — это могила для поэтов и художников. Все в нем ш и к а р н о.

Белая стая волн — это восхитительно.

Золота с железом — отвратительно.

... Не делать ничего на грош — в этом нет ни изящества, ни смысла.

... Обо всем... о пустяках, о цене на баранов в этом году — это наивно и мило, и т. д., и т. д.

Не будьте соединением благородного и плоского, великого и узкого. Будьте корректным, теперь это качество реже эксцентричности. Нравиться в силу своего дурного вкуса стало обычнее, чем получать орден.

Гюго, величайший новатор нашего времени, вовсе не восторжествовал над этими старыми, добрыми классиками, над которыми он столько насмехался, хотя в тысяче мест он более велик, чем они. Красота в деталях ничто без красоты целого.

При моем теперешнем образе жизни я лишена возможности увидеться с вами. Но я вами интересуюсь. Вы заслуживаете этого. Я желаю вам создать себе будущее и предсказываю вам его, если только вы будете строги по отношению к самому себе и терпеливы. Если я смогу быть чем-либо полезной, я все сделаю от всего сердца. Но уверяю вас, что, написав хорошее произведение, вы ни в ком не будете нуждаться. Наоборот, любые литературные связи не создадут успеха небрежно написанному произведению.

Ваша

Жорж-Санд.

### *VII. Адольфу Геру. Париж*

Ноган, 14 февраля 1837 г.

... Говорю вам, что я не признаю и никогда не признавала другого принципа, кроме уничтожения собственности.

Вот за что я всегда почитала сен-симонизм. Вот за что я обожаю некоторых настоящих республиканцев (они есть, будьте уверены, хоть их и немного). И если я не сен-симонист и не республиканец (допустим на минуту, что я мужчина), так это потому, что я не знаю формулы, которая была бы достойна объединить людей, и не знаю обстоятельства, которое было бы в состо-

янии активно развивать добрые чувства. В настоящий момент люди, обыкновенные, как Анфантэн, вы и я связаны обстоятельствами. Я говорю обыкновенные в интеллектуальном отношении, так как я не хочу умалять высокой нравственности Анфантэна (я ничего о ней не знаю и охотно верю в нее).

Следовательно, надо ждать вождей, боевого приказа, знамени и армии, которая хотела бы серьезно драться. А раз ничего этого нет, то ничего другого не остается, как сохранять внутреннюю верность принципу, чистому, незапятнанному, без тени уступки этому метафизическому иезуитизму — мнимой морали, в которую никто из людей не верит. Когда-нибудь наступит пора для этого дорогого нам принципа. Если нас уже не будет, наши дети, получив его от нас, будут говорить о наших заветах и кое-что сделают. Вы говорите мне о двухстах экземплярах моего портрета, розданного вашим пролетариям. Неужели у вас двести пролетариев? Вы всегда говорили мне, что не более пятидесяти. Мне хочется задать вам несколько вопросов о личном составе сен-симонистов. Какие у них верования? Что они думают? Чего хотят?

Поскольку я могу судить со слов Вэнсара, — это розовые республиканцы, люди добродетельные, но чересчур кроткие, слишком евангелические и слишком терпеливые. Будущее должно бы принадлежать расе суровых пролетариев, гордых, готовых силою взять все права человека.

Но где же эта раса? Ее соблазняют, с одной стороны, видимостью благополучия, а с другой, принципами так называемой цивилизации, которая оставит ее в дураках. Бедный народ!..

### *VIII. Господину аббату де-Ламенэ*

Ноган, 28 февраля 1837 г.

... Чтобы выразить в одном слове все мои дерзости, я скажу, что они сводятся к требованию развода. Сколько я ни искала средств против горьких несправедливостей, бесконечных бед, против страстей, часто неизлечимых, расстраи-

вающих союз полов, я вижу лишь одно — свободу ломать и реформировать супружеский союз. Я не придерживаюсь того мнения, что это надо делать легко и без наличия причин, менее существенных, чем те, которые обуславливают развод по действующим законам.

Хотя, с моей стороны, я предпочла бы провести остаток моей жизни в тюрьме, чем снова выйти замуж, но мне известны такие долговечные и столь неодолимые влечения, что я не вижу ничего в старинном религиозном и гражданском законодательстве, что могло бы наложить на них крепкую узду. Не говоря уже о том, что эти чувства становятся сильнее и вызывают больше участия по мере того, как человеческий разум становится чище и возвышеннее.

Правда, что в прошлом они не могли быть скованы, и это нарушало социальный порядок. Этот беспорядок ничего не говорит против закона, поскольку он был вызван пороком и испорченностью. Но сильные души, великие характеры, сердца, исполненные веры и добра, были одержимы страстями, которые как бы нисходили с самого неба. Как реагировать на это? И как писать о женщинах, не обсуждая вопроса, который прежде всего их интересует и который в их жизни занимает первое место?

Поверьте, мне это известно лучше, чем вам, и пусть один единственный раз ученик осмелится сказать:

«Учитель, здесь есть тропинки, по которым не ступала ваша нога, пропасти, в которые проникал мой взгляд. Вы жили с ангелами, а я жил среди мужчин и женщин, я знаю, сколь много страдают, сколь много грешат, сколь велика потребность в правиле, которое делает возможной добродетель».

Положитесь на меня, никто не искал бы с большим желанием найти его, с большим уважением к добродетели, с меньшей личной заинтересованностью, потому что я никогда не стану прикрашивать свои собственные провинности, и мой возраст позволяет мне спокойно смотреть на отсветы грозы, которые дрожат и гаснут на моем горизонте.

Ответьте мне. Если вы запрещаете мне идти дальше, я прерву «Письма к

Марси» и займусь чем-либо другим, тем, что вы мне укажете. Я могу замолчать и не по одному этому вопросу, и я не думаю, что призвана обновить мир.

Прощайте, отец и друг; никто не любит вас и не уважает так, как я.

### IX. Шарлю Понси, Тулон

Париж, 27 апреля 1842 г.

Дитя мое, вы великий поэт, самый вдохновенный и наиболее одаренный из всех прекрасных поэтов пролетариата, появление которых мы с радостью наблюдали в последнее время. Со временем вы станете, быть может, самым крупным поэтом Франции, если только тщеславие, которое губит всех наших буржуазных поэтов не коснется вашего благородного сердца, если вы сохраните драгоценные сокровища любви, гордости и доброты, которые дает вам ваш гений.

Будьте уверены, вас попытаются свратить. Вам будут делать подарки, предложат вам пенсию, орден, быть может, как было предложено одному писателю-рабочему из числа моих друзей. Но он был настолько пронизателен, что догадался, в чем тут дело, и отказался. Министр народного просвещения, который знает в этом толк, уже почувал в вас подлинное одушевление, страшную силу в поэте. Если бы вы воспевали лишь море и Дезире, природу и любовь, он не прислал бы вам библиотеку. Но «Зима богачам», «Размышления о крышах» и другие возвышенные порывы вашего великодушного сердца заставили его прислушаться. «Привяжем его похвалой и благодеяниями, — сказал он себе, — и пусть он воспеваает лишь волны и свою возлюбленную».

Остерегайтесь же, благородное дитя народа! Перед вами такая великая миссия, о какой вы, быть может, и не думаете. Сопровивляйтесь, страдайте; терпите нужду, миритесь с неизвестностью, если надо, но не покидайте священного дела ваших братьев. Это дело на пользу человечества, в нем залог бу-

душего спасения, над которым бог повелел вам трудиться, даровав вам такой сильный и пламенный ум...

Но нет! Сын богача испорчен по природе. Дитя народа сильнее, и его честолюбие метит выше детских забав и тщеславных различий в благоденствии. Вспомните, дорогой Понси, порыв, который вас заставил воскликнуть:

«Отчего ты жжешь меня, мой терновый венец?»

Это был божественный порыв. И многие кричали так же в наш испорченный и хилый век. Им дали золота, им оказывали почести: их терновые венцы перестали их жечь. И, разумеется, они вовсе не походили на Христа, и, несмотря на создаваемый вокруг них шум, потомство укажет им их место.

Займите же такое место, которое потомство упрочит за вами. Будьте единственным из всех великих поэтов нашего времени, умеющим, подобно архангелу Михаилу, попать ногами демона тщеславия.

Я не хочу умалить в вас святую признательность, которую вы, без сомнения, чувствуете к автору предисловия к вашей книжке. Но этот человек вас просто не понял. Он боится вас. Он надавал вам плохих советов и высказал убогие похвалы. Когда я буду говорить о вас публике, я надеюсь, что скажу чуточку получше. Если вы составите новый сборник, возьмите меня в издатели и предоставьте мне позаботиться о предисловии.

Бог в помощь, скажу я вам на прощанье. Ни одно слово не имеет для меня большего смысла, чем это «бог в помощь», и никогда я не произносила его с большим волнением. Бог в помощь вашему будущему, бог в помощь вашим добродетелям, бог в помощь спасению вашей души и тому, что является вашей подлинной славой. Пусть все ваше существование, пусть вся ваша жизнь пребудут в его отеческих руках, чтобы лицемеры и мистификаторы не портили его создание.

Если вы хотите писать мне, то хотя я по природным склонностям и привычкам враг письменных сношений, но я

чувствую, что буду счастлива получать ваши письма и отвечать на них. Мой адрес до конца августа: Ля Шатр, департамент Эндр.

Ваша Жорж-Санд.

Я плакала, читая ваши стихи о каторжнике. И это — общество! Ни искупления! Ни оправдания! Одно лишь варварское наказание!

*Х. Эдуарду де-Помпери, Париж*

Париж, 29 апреля 1842 г.

Премного благодарна вам за высокую и благожелательную оценку моих произведений в «Фаланге». Вы расточаете моему таланту больше похвал, чем он того заслуживает. Прямота и возвышенность вашей души довели вас до этой чрезмерной благосклонности по отношению ко мне, так как вы увидели во мне добрые намерения.

*Rax hominibus bonae voluntatis*, — этот мой девиз и единственное латинское изречение, которое я знаю. Но, чувствуя в глубине души уверенность в том, что мной всегда руководят добрые намерения, я утешилась и в несправедливостях других, и в своих собственных недостатках.

Я докажу вам сейчас свою признательность (и, на мой взгляд, лучше, чем общими фразами), обратившись к вам с просьбой. А именно, прочтите маленький томик, который я вам посылаю и который обнаруживает у автора удивительный талант поэта. Если этот двадцатилетний поэт-каменщик с первого взгляда несколько напомнит вам манеру Виктора Гюго чрезмерной заботой об искусстве, то не судите о нем поспешно и прочитайте все. Вы увидите стихотворение, озаглавленное «Размышления о крышах», очень искусное и красивое. Другое, «Зима богачам», сильно пропитано народными чувствами. Наконец, стихотворение «Каторжник», в котором выражается страх, ужас, вызывает глубокую жалость. Этот стих:

Когда б его душа открылась для меня! —  
при всей своей краткости полон глубоко



кого значения. В других местах вы всюду найдете чувство настоящей благородной любви и разнообразные, могучие картины, часто беспорядочные, написанные в горячих тонах.

Я уверена, что вам захочется поощрять так хорошо закаленный талант, полный такой дикой силы, который поразит вас, как поразил меня. Хотя я не знаю поэта, и никого, кто интересовался бы им, но я хочу употребить некоторые усилия, чтобы его узнали, и я начинаю с вас. Если вы захотите поговорить о нем в «Фаланге» и в других газетах, в которых вы пишете, то вы, быть может, совершите акт справедливости и не откажете ему в добрых советах, чтобы он понял, где должна быть душа его творчества и в чем должно состоять назначение его гения.

Примите еще раз мою самую искреннюю благодарность. Я знаю, что ваши похвалы относились не к моей личности, хотя от этого они не менее любезны и не менее привлекательны. Они относятся к моей любви к правде и справедливости, которые устанавливают между нами более прочные и надежные отношения, чем те, которые завязываются в светских разговорах.

Ваша Жорж-Санд

## XI. Господину Шарлю Понси, Тулон

Ноган, 23 июня 1842 г.

Мой дорогой Понси.

Пишу вам всего лишь несколько слов в ожидании того времени, когда я смогу писать больше. Недель шесть назад, у меня начались ужасные головные боли, причина которых — раздражающее действие света на глаза. Мне стоит огромного труда писать в «Независимое обозрение», и в течение четырех-пяти дней в неделю я вынуждена сидеть взаперти в темноте, словно летучая мышь. Я вижу тогда солнце и природу лишь умственным взором и в памяти. А что касается те-

лесных глаз, то они приговорены к бездействию, и это невероятно удручает меня.

Я с большим удовольствием приму г. Поля Геймара, вот что мне поскорее хотелось сообщить вам.

А затем скажу вам в двух словах, что я получила оба ваши письма; что ваша поэзия попрежнему велика и прекрасна, что ваш «Праздник вознесения» — это весьма святое и весьма торжественное обещание никогда не разбивать той братской чаши, из которой вы вместе с людьми сильной расы пьете и мужество, и скорбь.

Пишите побольше стихотворений в этом же роде для того, чтобы они доходили до народного сердца, и пусть могучий голос, которым наделило вас небо, чтобы вы пели на берегу моря, не затеряется меж скал, как голос «Арфы бурь». Возьмите в ваши сильные руки арфу человечества, и пусть она звучит так, как еще не звучала донныне. В литературном отношении вам предстоит сделать большой шаг, чтобы сочетать великие картины дикой природы с человеческими мыслями и чувствами. Задумайтесь над тем, что я здесь подчеркиваю. Все ваше будущее, вся миссия вашего гения заключены в этих двух строчках. Это, быть может, плохая формулировка того, что я хочу выразить. Но она подвернулась мне сию минуту, и, какова она ни есть, она представляет собой резюме моих впечатлений от вашей поэзии и моих размышлений о вас. Обдумайте ее и, если она покажется вам недостаточной, чтобы понять, чего я от вас ожидаю, объясните ее мне сами и разверните ее в вашем ответе. Но, быть может, я предлагаю вам загадку. Тогда это доставит пищу вашему уму. Если же вы иначе понимаете решение, чем я, напомните мне мою формулу, и я разовью ее сама в своем ближайшем письме. Впрочем, затруднение, которое я вам предлагаю, сочетать (в других выражениях) чувство художественности и живописности с гуманностью и моралью, вы инстинктивно разрешили. и притом превосход-

нейшим образом, в ряде мест ваших стихотворений. В тех из них, где вы говорите о себе самом и о своем ремесле, вы глубоко чувствуете, что, если другим приятно видеть в вас индивида с особыми дарованиями, то еще приятнее то, что вы вместе с тем каменщик, пролетарий, работник. А почему? Потому что индивид, выступающий в качестве поэта, чистого художника, в качестве Олимпика, как большая часть наших великих людей из среды буржуазии и аристократии, чересчур скоро утомляет нас своей личностью. Поэтические восторги, радости и страдания его гордости, зависть его соперников, клевета врагов, оскорбления, наносимые критикой, — что нам до всех этих вещей, а которых они беседуют с нами, прибегая к привычному для них сравнению — дуба и ядовитых грибов, выросших на его корнях, — сравнению недурному, но вызывающему улыбку, потому что в нем сквозит тщеславие изолированного человека и потому, что люди в действительности интересуются человеком лишь постольку, поскольку этот человек интересуется человечеством. Его страдания вызывает интерес и симпатию лишь постольку, поскольку он подвергался им из-за человечества. Его мученичество полно величия лишь тогда, когда оно напоминает мученичество Христа. Вы это знаете, вы это чувствуете, вы сами говорили это. Вот почему на вашу голову лег терновый венец. Это для того, чтобы каждая из его колючек открыла доступ в ваш могучий лоб какому-либо страданию или чувству несправедливости, претерпеваемой человечеством. А страждущее человечество — это не мы, писатели; это не я, не знающая (быть может, к несчастью) ни голода, ни нужды; это даже не вы, мой дорогой поэт, потому что вы найдете в вашей славе и в признательности ваших братьев высокую награду за ваши личные беды; это народ, народ невежественный, покинутый народ, с пылкими страстями, направляемыми в дурную сторону, народ подавляемый, без всякого уважения к той силе, которую не зря же дал ему бог. Это народ, обреченный, без служителей истинной религии,

всем мукам души и тела, лишенный (вплоть до нынешнего дня) сострадания и уважения со стороны просвещенных классов, которые заслуживали бы возвращения к состоянию одичания, если бы бог не был сама жалость, само терпение, сама милость.

Я отклонилась от той сжатости, которой я обещала придерживаться в начале моего письма, и я боюсь, что вы с таким же трудом будете разбирать мой почерк, как я видеть то, что я пишу. Ничего, я не хочу оставлять мою мысль незаконченной. Я говорила вам, что вы разрешали затруднение всякий раз, как вы говорили о труде. Теперь же нужно всюду сочетать великие внешние изображения с господствующей идеей высшей поэзии. Продолжайте писать ваши «Маринь»: они слишком красивы для того, чтобы мне захотелось помешать вам работать над ними. Но нужно, без ущерба для изобразительности, оплодотворять сравнением эти красивые поэтические создания, полные такой силы и красочности. Вам случалось иногда находить идею. Но я нахожу, что вы не всегда умели по-настоящему использовать ее. Таким образом, большая часть ваших марин исполнены слишком уж в духе искусства для искусства, как говорят наши художники, у которых нет сердца. Я хотела бы, чтобы это безжалостное море, которое вы так хорошо знаете и так умело показываете, было более олицетворено, стало многозначительнее и чтобы благодаря одному из тех чудес поэзии, которое я не могу вам указать, но которое вам предназначено найти, вызываемые им чувства, ужас и восхищение, были связаны с глубокими и непременно человеческими чувствами. Наконец, надо обращаться к воображению читателя лишь для того, чтобы проникать в душу дальше, чем с помощью рассуждений. Отчего этот вечный гнев стихий? Эта борьба между небом и бездной, это всепримиряющее царство солнца; отчего это буйство, сила, красота, покой? Не символы ли это, не образы ли, связанные с нашими внутренними бурями, а покой, не один ли это из многих образов божества?

Вспомните Гомера! Как он изображает природу. Он романтичнее наших современников; и, однако, эта природа, так хорошо прочувствованная и так хорошо изображенная, является неистощимым арсеналом, откуда он черпает сравнения, чтобы оживлять и представлять выразительнее деяния божеские и человеческие. В этом вся тайна поэзии, в этом все ее чудеса. Вы почувствовали это в «Кораблекрушении», в «Столбах дыма» и т. д. Я хотела бы, чтобы вы почувствовали это во всех ваших стихотворениях; благодаря этому они стали бы полнее, глубже и оставляли бы неизгладимое впечатление. Гюго иногда это чувствовал. Но в нем недостаточно развита нравственная сторона, чтобы он мог чувствовать достаточно полно и к стати. Сердцу его недостает жара, а музе — вкуса. Говорят: птичка поет для того, чтобы петь. Я сомневаюсь в этом. Она поет о своей любви и о своем счастье, и в этом выражается ее связь с природой. Но у человека больше дела, и поэт поет не иначе, как для того, чтобы волновать чувства и пробуждать мысль.

Надеюсь, этого достаточно для слепой. Боюсь, не передал бы вам мой почерк мою слепоту.

До свиданья, дорогой Понси. Пусть ваш собственный ум сделает необходимые добавления к тому, что я вам сказала так плохо и в таких темных выражениях. Соланж и Морис читают и любят вас. Морис, я думаю, ваших лет. Ему девятнадцать; он художник. Он нежен, трудолюбив, спокоен, как самое спокойное море. Соланж четырнадцать лет. Она высока, красива и горда. Это непокорное создание с развитым умом, невероятно ленивое. Она все может, но ничего не хочет. Ее будущее — это загадка, солнце за облаками. Чувство независимости и равенства в правах, несмотря на инстинкты господства, чересчур развилось в ней. Интересно, как она поймет, что она сделает из своей власти. Ей очень польстил ваш подарок, и она присоединила его к самым замечательным автографам своего альбома. Есть ли у вас тот но-

мер «Народного улья», в котором мой друг Вэнсар рецензирует ваши «Марины»? «Прогресс Па-де-Кале», редактируемый моим другом Дежоржем, тоже откликнется статьей. Наконец, одну статью обещала мне «Фаланга». Если у вас нет возможности достать эти газеты, поставьте меня в известность, я попрошу их выслать вам. Я написала моему издателю Перротену, чтобы он выслал вам один экземпляр «Индианы» и в дальнейшем высылал по одному экземпляру моих книг в новом издании, по мере их появления.

Что касается стихов, в которых вы обращаетесь ко мне, то я сохранию их у себя до нового распоряжения. Они трогают меня, и я горжусь ими. Но не надо включать их в ближайший сборник: это меня связало бы в смысле его продвижения, которым мне хотелось бы заняться. Кое-кто мог бы подумать, что вы в моем вкусе потому, что хвалите меня. Глупцы не увидели бы в этом ничего другого и сказали бы, что я стараюсь о том, чтобы воздвигать себе алтари. И это было бы в ущерб вашему успеху, если успехом можно считать отзвывы газет. Но, как бы мал он ни был, он до известной степени необходим.

Еще раз до свиданья, всем сердцем ваша.

Не трудитесь еще раз переписывать стихи, которые вы мне прислали. Я их не затеряю, и если я попрошу вас внести кое-где изменения и исправления, то у вас и так будет достаточно работы. Не старайтесь же писать больше, чем следует. Я отлично разбираю ваш почерк. Если же я строга к их сущности, то не теряйте мужества и будьте терпеливы. Дело идет не о том, чтобы второй том был так же хорош, как первый. В поэзии тот, кто не движется вперед, пятится назад. Надо писать гораздо лучше. Я не говорила о пятнах и проявлениях небрежности в вашем первом томе. Много в нем вызвало столько восхищения и столько удивления, что в моем уме не оставалось места для критики. Надо, чтобы во втором томе не было этих недостатков. Надо, чтобы в нем больше сказа-

лась рука маскера. Но берегите ваше здоровье, бедняжка, и не торопитесь. Когда вы не в ударе, отдыхайте и не напрягайте свыше сил одновременно и тело, и дух. Все у вас впереди, вы совсем еще молоды, и люди чересчур быстро изнашиваются. Пишите лишь тогда, когда вами овладевает и торопит вас вдохновение.

## ХII. Шарлю Понси

Ноган, 24 августа 1842 г.

Мой дорогой поэт! По возвращении из Парижа, куда я ездила по своим делам, т.-е. по делам нашего «Обозрения», я нашла у себя два ваших письма. Я все еще больна, мои глаза отказываются мне служить. Не вините же меня, если я вам не сразу отвечаю. Мне приходится беспрестанно прерывать даже свою работу, возобновляемую всякий раз с тяжелыми и очень часто бесплодными усилиями.

Мне кажется, что в некоторых отношениях вы прогрессируете. Мысли ваши стройно связываются, лучше дополняют одна другую и порождают символы. Но я хочу искренне сказать вам с тем материнским авторитетом, который вам угодно было признать за мной: вы пренебрегаете формой и выражением вместо того, чтобы их совершенствовать. Я не делала никаких упреков по поводу напечатанной вами книги, я обратила серьезное внимание лишь на необычное вдохновение и на глубоко врожденный и богатый талант, проявляемый на каждой странице. Я очень хорошо знала, что на каждой странице встречается либо какая-нибудь неправильность в языке, или неточная метафора, или некоторая погрешность против вкуса. Вы, разумеется, можете выступить во второй раз со сборником, имеющим достоинства и недостатки первого. Я к вашим услугам и займусь им с тем же рвением и преданностью, как если бы дело шло о вашем шедевре. Но если вы послушаетесь голоса моей серьезной и строгой дружбы, то вы опубликуете ваши новые стихотворения лишь тогда, когда вы уви-

дите в них сами больше достоинства и меньше недостатков, чем в первых.

Вы так молоды, что вам непозволительно не делать каждый год заметного прогресса. Так вот, я нахожу, что в присланных мне вами стихотворениях, правда, больше достоинств, но и больше недостатков, чем в вашей книжке. Это меня не удивляет, скажу вам даже, что я этого ожидала. Это неизбежная фаза в трансформации духа, как поэта, так и живописца. Я изучаю эти фазы на живописи, которой занимается мой сын, и я изучила их в молодости на себе самой. Пока находишься в счастливой поре прогресса, теряешь ежеминутно в одном отношении то, что выигрываешь в другом. Но если это неизбежно, то не следует от этого меньше следить за собой, стараться, оглядываться и исправлять себя. В живописи изучают великие образцы. В литературе надо поступать так же. Мне хотелось бы, чтобы вы немного отдохнули, раз вы сами, утомляясь на работе и переживая семейные неприятности, чувствуете в этом необходимость. Читайте побольше старую литературу: Корнеля, Боссюэ, Жан-Жака Руссо и даже Буало, как противовес тем чрезмерным выражениям и романтическим метафорам, которыми теперь злоупотребляют и которыми часто злоупотребляете и вы.

Я не хочу, чтобы вы стусевались и перестали быть новейшим, романтическим поэтом, сделавшись классиком и приверженцем старины. Эта опасность исключена. Вы щедро одарены, и дело идет о том, чтобы уметь выбирать среди ваших сокровищ и упорядочить их. Вам, как молодому человеку и пылкому поэту, нередко случается проявлять недостаток вкуса: вкус — это нечто до того тонкое, что он неопределим, и я никогда не смогла бы вам сказать, в чем он состоит, но однако без него нет ни искусства, ни истинной поэзии. Если бы его у вас не было вовсе, я и не подумала бы советовать приобретать его: это было бы бесполезно. Но именно потому, что у вас его чрезвычайно много, я предупреждаю вас теперь о необходимости отбора. Я могла бы по-

дробно, стих за стихом, показать ваши успехи и срывы в этом отношении. Так например, последние четыре стиха о спасшемся при кораблекрушении — это сравнение, чрезвычайно смелое и однако верное, очень удачное и прекрасное. Но когда вы образуете смелый неологизм — глагол от з и г з а г, вам удается лишь живо изобразить материальную сторону явления, и, вместо того, чтобы украсить ее при помощи словесного выражения (а это является непререкаемым долгом поэзии), вы низводите ее до передачи вульгарным и неточным термином и вы грешите против вкуса. Вы изображаете грандиозное зрелище: оставайтесь же все время на уровне грандиозного; вы хотите наивно выразиться о наивном: оставайтесь же наивным. Глагол от з и г з а г ни то ни се. Если б я начала анализировать ваши произведения стих за стихом, я надоела бы вам, а может быть, испугала бы, но я не придерживаюсь того мнения, что надо снова приняться за работу и мучительно отделять ее слово за словом. Лучше заняться другим произведением и внимательно следить за собой, работая над ним. Имей вы возле себя усердного и строгого советника, вы утомлялись бы, и это, быть может, леденило бы ваше вдохновение. Я займусь с вами этим печальным делом лишь тогда, когда вы решите печатать. Тогда вы мне пришлите все, и, если хотите, я займусь правкой и представлю на ваше рассмотрение то, что мне покажется неудовлетворительным. Но в том состоянии усталости и тревоги, в котором вы находитесь, самым разумным было бы поменьше писать и побольше учиться. Я очень порицаю вас за то, что вы ведете корреспонденцию, отнимающую у вас столько времени. У меня ее нет. Один раз в месяц я пишу дюжину писем к друзьям и деловых писем, а получаю я, по крайней мере, сотню писем в месяц. Но их лишут от безделья, из любопытства и тщеславия. Я и не думаю на них отвечать, когда не вижу в этом пользы ни для себя, ни для других. Я наживаю себе этим врагов. Ничего не поделаешь, я не в состоянии этого избе-

жать, у меня нет возможности оплачивать для удовлетворения других секретаря. У вас, мое дорогое дитя, найдутся дела поважнее того, чтобы тратить редкие часы досуга на мелочные излияния банальной переписки, в которой почти всегда приходится говорить о себе. Когда вечером у вас выйдетя свободный часок, читайте хорошие стихи и хорошую прозу, и незаметно, без всяких стараний подражать какому-либо писателю, вы выработаете в себе более строгий вкус и более возвышенную форму. Что касается писем, которые вы пишете ко мне, мой дорогой поэт, и которые доставляют мне искреннее наслаждение, то не спрашивайте, хорошо ли они написаны. Да, хорошо. В них говорит ваше сердце, а читателю только это и важно.

Если у вас хватит мужества последовать моему совету, то спустя несколько месяцев, проснувшись в одно прекрасное утро, вы почувствуете, как много вы приобрели, и, быть может, безотчетно вы найдете безупречные формы для выражения ваших благородных и пламенных мыслей.

Но, возрадите вы, труд, болезни, нужда? О, я очень хорошо знаю, что это значит. Если вы думаете жить своим пером и в то же время совершенствоваться, то я должна сказать, что для начала это чересчур много и надо смириться с еще несколько лет выбирать между выгодой и совершенствованием таланта. Если бы вы совсем заболели и стали неспособны к физическому труду, то я надеюсь, что вы были бы достаточно хорошим сыном, чтобы мне сказать об этом и не краснеть, принимая мои услуги, если можно так выразиться о поддержке, столь сладостной для друга, который может ее оказывать.

Вы хорошо поступили, оттолкнув ногой золото, о котором вы мне говорите, если это то низкопробное золото, о котором мы так хорошо знаем и которое может замарать не только руку, но и сердце. Но помощь дружеского сердца это совсем другое дело. Я надеюсь, что вы это поймете.

До свиданья, мой дорогой Понси. Побольше бодрости. Поверьте, что мне

нужно ее немало, чтобы читать вам гаккие проповеди, как эта.

Всем сердцем ваша.

Еще одно словечко. Не показывайте никому моих писем, кроме вашей матери, вашей жены или вашего лучшего друга. Это дикость с моей стороны и мания, глубоко мне свойственная. Мысль, что я пишу не только тому лицу, к которому я обращаюсь, или к тем, которые его любят, мгновенно парализовала бы мое перо и мои чувства. У всякого есть свои недостатки. Мой недостаток — это внешняя нелюдимость, хотя, в сущности, у меня теперь одна страсть — любовь к своим ближним. Но моя особа не при чем в тех небольших услугах, которые мое сердце и моя вера могут оказать в этом мире. Кое-кто бессознательно причинил мне много горя своими разговорами и писаниями о моей личности, моих делах и поступках, делая это даже с наилучшими намерениями. Считайтесь же с этим духовным недостатком той, кого вы называете своей матерью.

### ХIII. Шарлю Понси, Тулон

Париж, 21 января 1843 г.

... Вы обращаетесь к Жуане д'Эспаньоль и ко всяким другим фантастическим красавицам со стихами, которых я не одобряю. Буржуазный вы поэт или пролетарский? Если первый, то вы можете воспевать сколько угодно все виды наслаждений и всех сирен на свете, никогда не будучи знакомым ни с одной из них. В стихах вы можете ужинать с прелестнейшими из гурий или с самыми прославленными из потаскушек, не покидая своего очага и не созерцая других красот, кроме носа вашего швейцара. Так поступают эти господа, и они рифмуют не без успеха. Но если вы дитя народа и народный поэт, то вы не должны покидать чистых об'ятий вашей Дезире и бежать за баядерками, воспевая их сладострастные руки.

Я нахожу, что вы этим наносите ущерб достоинству вашей роли. Народный поэт должен давать уроки добродетели нашим развращенным классам,

он должен быть суровее, чище, он должен больше любить добро, чем наши поэты, иначе он их копия, обезьяна, он ниже их. Потому что большой поэт становится таковым не только благодаря искусству упорядочивать слова, это аксессуар, это следствие другой причины. Причиной же должно быть большое чувство, огромная и серьезная любовь к добродетели, ко всем добродетелям: мораль, готовая ко всем испытаниям, наконец, дышащие в каждом стихе духовное превосходство и превосходство принципов, в силу которых из-за истинного величия личности прощаешь неопытность художника. Мне кажется, вы бросаете иногда вашу душу или, по крайней мере, вашу музу на волю ветра. В вашей первой книге чувство любви выражено так чисто и трогательно. Читатель видел Дезире, юную и честную дочь народа, деву-избранницу вашу. Я прошу вас, выбросьте Жуанну из ближайшего сборника, и если вы оставите в нем эти стихи:

... я люблю всех женщин,  
Ведь поэт любит все цветы,

то не делайте их по крайней мере девизом вашей жизни. Потому что вскоре вы стали бы неспособны любить какую бы то ни было женщину и перестали бы различать благоухание цветов.

Вы далеки от этого, слава богу. Вы любите Дезире, вы все еще воспеваете ее, пойте же о ней всегда и не воспевайте других теперь, когда она ваша. Видно, что вы искренно любите ее, потому что стихи, которые вы вкладываете в ее уста, самые красивые из того, что вы прислали последний раз, тогда как те, где говорится о красивой испанке, аффрикованы, вымучены, лишены подлинного огня. Словом, если вы хотите быть настоящим поэтом, будьте святым, и когда ваше сердце очистится, вы увидите, как ваш разум будет вдохновлять вас.

Я очень довольна тем, что вы прислали мне через г. Поля Геймара. Почти все хорошо, есть вещи подлинно прекрасные.

Ваш «Сонет» хорошо сделан. Ваш «Спящий ребенок», «Букет фи-

а лок» и т. д. и т. д. прелестные вещи. По письму Беранже к г. Ортолану, копию которого вы мне прислали, я убедилась, что он того же мнения, что и я, и что он не хотел бы, чтобы вы выпускали в свет второй том, прежде чем в вас, как в поэте, явственно не обозначится прогресс. Я хочу повидаться с Беранже, единственно для того, чтобы поговорить о вас и показать ему ваш новый сборник, и пусть он поможет мне составить мнение, достаточно ли вы прогрессируете. Я не полагаюсь на себя. Я не пишу стихов и боюсь, что по части формы я плохой судья. Он утвердит меня в моем мнении, и если он одобрит публикацию, то я займусь хлопотами о ней в эти три месяца, что я тут пробуду. Но у меня нет всего, что вы мне выслали, судя по оглавлению. Один пакет, я думаю, пропал. Почтовый чиновник в нашем маленьком городке, Берри, очень небрежен, и не все письма до нас доходят. Кроме того, я доверила г. Леру несколько страничек, чтобы он выбрал какую-либо вещь для «Независимого обозрения». Он выбрал стихи к Беранже, и вы могли видеть их напечатанными; я исправила одно-два слова, позволив себе смягчить их значение, так как я нашла их несколько напыщенными; одна или две строфы, которые были хуже других, вычеркнула. Хотя он обещал мне ничего не терять, но, мне кажется, что он вернул мне не все рукописи, а часть позабыл у себя, и я боюсь, что у меня не все и что я сама, быть может, кое-что забыла в деревне, в моей конторке. Я не нахожу стихов, которые мне нравились больше всего, стихов по поводу праздника рабочих, где вы говорите о Христе и т. п. Итак, попросите кого-либо из ваших друзей, если вам самому некогда, переписать все, что вы сочинили до и после посылки, переданной мне г. Полем Геймаром. Эта посылочка состоит из следующих вещей: «Безумная», «Екатерина», «Шарль Ферран», «Святая пятница», «Потоки», «Матильда», «Озерный рыбак», «Сонет», «Утро на рейде», «Картина», «Моя мысль», «Ночь на море», «Каторжник», «Стихи

к г. Полю Геймару», «Госпожа N», «Мери», «Бред», «Курдуан», «Прогулка по морю», «Скупость», «Спящий ребенок», «Сходство», «Бал у англичан», «Букет фиалок».

Пришлите же мне все остальное, это будет скорее, чем если мы станем обмениваться письмами по поводу того, что у меня есть и чего недостает. Передайте пакет, обернув его несколько раз в плотную бумагу, в контору дилижансов, зарегистрировав его.

До свиданья, мой дорогой Понси; желаю вам счастья и бодрости.

Со своей стороны, прошу вас чаще писать стихи о своем ремесле, они у вас оригинальнее всего остального. Вы вкладываете в них много радости и поэтической печали, которые никому не удаются так, как вам. Три или четыре строфы «Послания к Беранже», где вы говорите о вашей лопаточке каменщика с такой непосредственностью и так философски, написаны до того сильно и свежо, что эта манера свидетельствует о наличии у вас подлинной индивидуальности. Эти строфы были замечены и оценены здесь, где столько поэтов, где каждую неделю печатаются миллиарды стихов; где так пресыщены стихами, где поэзия так наскучила, где так придиричивы и насмешливы; здесь, где воспето все: небо, море, любовь, гроза, уединение, задумчивость, словом все, что воспевают поэты, здесь не знают народной поэзии, и только «Независимое обозрение» посмело открыть ее в одно прекрасное утро.

Если вы не хотите затеряться в толпе писателей, то не одевайтесь так, как одеты все. Но вступайте в литературу с известкой на пальцах, которая вас выделяет и вызывает в нас интерес, потому что вы умеете представить ее чернее наших чернил. Это вопрос чисто литературный. Но, повторяю, будьте до глубины души сыном народа, и если вы предохраните себя от тщеславия и испорченности средних и высших классов, как их называют, то все пойдет хорошо. Иначе ваши силы не смогут развиваться дальше известного предела, и ваше имя не перейдет границ вашего прихода.

## XIV. Шарлю Понси, Тулон

Париж, 26 февраля 1843 г.

.. Скажите мне, мое дорогое дитя, известны ли вам все философские сочинения Пьера Леру? Если нет, то скажите мне, хватит ли у вас терпения, чтобы прочесть их? Вы молоды и вы поэт. Я прочтала их и поняла без труда, я женщина и романистка. А я должна сказать, что голова моя не очень приспособлена для таких материй.

Но это единственная философия, которая ясна, как день, и обращается к сердцу, как Евангелие, и я погрузилась в нее, и она обновила меня. Я обрела в ней покой, веру, силу, надежду и терпеливую и упорную любовь к человечеству, все эти сокровища моего детства, которые я мечтала найти в католицизме, но которые были уничтожены критическим рассмотрением католицизма, недостаточностью этого старого культа, сомнением и скорбью, которые пожирают в наши времена тех, кто не загрубел и кто не испорчен эгоизмом и сытой жизнью. Вам понадобится, быть может, год, а не то и два, чтобы проникнуться этой философией, которая не отличается странностями и алгебраичностью работ Фурье и которая принимает и признает все, что есть правильного, хорошего, прекрасного во всех системах морали и знания прошлого и настоящего.

Эти работы Леру не обемисты. Когда прочитаешь их, то хочется носить их с собою и вопрошать свое сердце о его согласии со всем этим. Словом, это религия, одновременно и древняя, и новая, и хочется проникнуться ею и нежно вынашивать ее в себе. Лишь немногие сердца целиком отдались ей. Чтобы правда не оскорбляла, надо обладать большой добротой и искренностью.

Словом, если вы чувствуете в себе желание познать человечество и себя самого, то ваши мысли окрепнут, вы приобретете уверенность, и пламя вашей поэзии целиком обновится. Вы на словах сжато объясните это учение вашей Дезире, и вы увидите, что сердце женщины погрузится в него. Должна вам сказать, однако, что это сочинения непол-

ные, незаконченные, фрагментарные. В жизни Леру слишком много волнений, несчастий, чтобы он был еще в состоянии пополнять. Но философия—это религия, а может ли религия родиться в человеческой голове, подобно роману или сонету?

Великие эпические поэмы наших отцов были делом десяти-двадцати лет. А религия, разве это не дело всей человеческой жизни? Леру лишь на середине своего поприща. Он носит в себе решения, правильность которых подтверждает его сердце, но, чтобы истолковать и доказать это другим людям, нужна еще огромная работа, эрудиция, нужны годы размышлений. Как бы то ни было, эти восхитительные фрагменты достаточны для того, чтобы направить на путь истины людей с честным умом и чистой совестью. Больше того, это религия поэзии. Если у вас пойдет, то вы когда-нибудь создадите поэзию религии.

Скажите мен, и я пришлю вам все, что он написал. И вы будете затем усваивать это, как добрый желудок усваивает хороший хлеб из чистой пшеницы. Поэзия пойдет своим чередом, но каждую неделю вы посвятите один или два торжественных часа, чтобы вступить в этот храм, воздвигнутый истинному боже-ству...

## XV. Господину Эдуарду де-Помпери, Париж

Париж, январь 1845 г.

Оставьте меня в покое с вашим фурьеризмом, мой милый господин де-Помпери. Я предпочитаю помперизм. Потому что, если в Фурье и есть кое-что хорошего, то это сделали вы. Вы воплощенная прямота и сердечность. Но вы не более, как поэт, когда выступаете с претензией сочетать в своем сердце Леру и Фурье. Раз это так, то это, повидимому, возможно. Но это тур де форс, на который мое воображение неспособно. Ученики Фурье любят своего учителя лишь постольку, поскольку они переделали его на свой лад, да и переделали его не по-моему. Ваша «Мирная демократия» холодно-рассудительна и холодно-утопична. Все, что является хо-



лодным, леденит меня, холод—мой личный враг. У них есть только один сильный человек, имени которого я сейчас не припомню... (а, Видаль...), который писал в прошлом году о политической экономике в «Независимом обозрении», и превосходный, и умный человек, каким являетесь вы. Да и то ни он, ни вы не можете ужиться с ними.

### XVI. Шарль Понси, Тулон

Ноан, 12 сентября 1844 г.

«Моим постоянным желанием было, чтобы какой-либо поэт написал сборник народных песен под таким, примерно, заглавием: «Песни разных профессий»; чтобы эти песни были одновременно веселые и бесхитростные, серьезные и возвышенные, в особенности же, чтобы они были просты и легки для пения; песни такого ритма, к которому легко могли бы подойти знакомые, весьма популярные мелодии или такие мелодии, которые нетрудно сочинить. При отсутствии же музыки эти песни должны так свободно изливаться, и они должны быть так легко написаны, чтобы простой малограмотный рабочий мог понять их и удержать в памяти. Опозитизировать, облагородить каждый вид труда, жалуясь в то же время на его чрезмерность и скверное в социальном отношении руководство этой работой, как мы это понимаем в настоящее время, значило бы создать великое, полезное и долговечное произведение. Это значило бы научить богатого уважать рабочего, а бедняка-рабочего научить чувству собственного достоинства.

Существуют профессии, с виду то более, то менее благородные, в действительности же более или менее тяжелые. Каждая потребовала бы от поэта глубокого изучения, серьезных размышлений и особого суждения о ней, поэтического и в то же время философского. Такой сюжет, отличаясь единством формы, может бесконечно варьироваться. Уже десять лет, как я мечтаю об этом. Если бы Беранже захотел, он написал бы эти песни рукою мастера. Я советовала многим молодым поэтам заняться разработкой этой темы, но она

их всех отпугивала, потому что у них не было вдохновения и чувства симпатии, которые для этого необходимы.

Пролетарский поэт должен их иметь. У Понси хватило бы на это благородства духа и энтузиазма. Но чтобы подчинить свой несколько изысканный и блестящий талант суровой простоте, необходимой для стихотворений подобного рода, ему пришлось бы много поработать над собой, отказаться от многих эффектных переливов своего стиля и от многих излюбленных им жокетливых выражений. Способен ли он к такой большой перестройке? И, однако, без этой перестройки произведение, о котором я говорю, не имело бы никакой цены, никакой прелести для народа и — сказать ли? — никакой новизны в глазах знатоков; потому что тут дело идет о создании такой вещи, какой никто никогда еще не написал. Он на свой лад (и по своему великолепию) создал ее, изображая себя самого в качестве каменщика, но тут следовало бы быть еще проще, совсем простым.

Простота дается труднее всего на свете: это высшее выражение опыта, венец творческих усилий гения. Не слишком ли он еще молод, чтобы писать такими твердыми и отчетливыми мазками, которые кажутся до того нетрудными, что любой скажет: «И я сделал бы так же», и на которые, однако, способен только большой художник? Почтальон, Кузнец, Пращка, Каменщик, Разносчик, Гравер, Кровельщик, уличная Певица, Вышивальщица, Цветочница, Огородник, Землекоп, деревенский Скрипач, Плотник и т. д., и т. д., и т. д., — какая это несметная толпа разнообразных типов, и каждый из них мог бы быть украшен поэтом, и о каждом он мог бы вздохнуть!

Поэт должен пробудить любовь ко всем этим лицам, даже к тем из них, которые отталкивают с первого взгляда, и внушить нежное сострадание к тем, которыми нельзя было бы восхищаться, как полезными и мужественными существами. Я резюмировала бы все это в заключительной песне, которую озаглавила бы: «Песня нужды» и которая начиналась бы так: «Я нужда»...

В большей части этих песен следовало бы отступить от александрийского размера, предпочтя ему короткий, легко улавливаемый ритм».

Вот, мое дорогое дитя, мысли, которые я как-то набросала на бумаге, большая и переутомленная. Сегодня мне еще хуже, и я не могу ни дополнить, ни сделать яснее мои замечания. Ваш живой ум сделает необходимые добавления. А если мой замысел покажется вам ребяческим, махните на него рукой. Потому что он, быть может, не имеет никакой связи с тем, как вы чувствуете и как вы работаете.

Одно время мой замысел «Песен разных профессий» представлялся мне до того живо и ясно, что если бы я умела писать стихи, то, в пылу вдохновения, я реализовала бы его. С той поры мне часто случалось вскользь объяснять и растолковывать его людям, которые не умели или не хотели им воспользоваться. А сейчас он сильно потускнел, особенно в данную минуту, от страха толкнуть вас на чуждый вам путь, который уведет вас в сторону. А затем, мне все труднее и труднее высказываться в письмах. У меня столько работы, что я могу писать друзьям лишь в те дни, когда болезнь мешает мне писать для себя. И поэтому я им пишу всегда слишком неясно, в минуты умственной усталости.

Передайте Дезире и ее Соланж тысячи благодарственных от меня и моей Соланж. Мой сын в Париже.

Ваши стихи о правде и действительности кажутся мне очень красивыми, очень трогательными и очень хорошо написанными, исключая двух-трех. Идея хорошо развита, исключая двух или трех строф, где она, истомленная, становится несколько неясной. Но потом она снова крепнет, и конец очень красив. Побольше бодрости!

## XVII. Сен-Беву.

Париж, декабрь 1845 г.

... Вы были первым, произнесшим передо мной имя Леру и вызвавшим во мне энтузиазм к г. де-Ламене. Я обяза-

на вам тем, что после гроз, от которых вы помогли мне уйти, я стала искать смысла жизни в чувствах, не столь индивидуалистических, и в людях, которые становились для меня символами идей.

Я всегда вспоминаю про спасителя, которого вам однажды вздумалось мне предложить. Этим спасителем был Леру, и (я не преувеличиваю, мой друг) мне с тех пор кажется, что вы были осенены тогда гением дружбы. Потому что Леру, как вы предчувствовали и как вы отгадали это, был умом, который в состоянии был восполнить недостатки моего ума; в то же время свойственное ему чувство человеколюбия отвечало порывам моих человеколюбивых чувств.

Вот уже пять лет, как я читаю и слушаю его. Каждый успех в развитии его существа находил во мне отклик, хотя в ослабленной степени и затрагивая струны, издающие подчас нестройные звуки.

Вот то добро, какое он мне сделал и какое сделали мне вы. Моя интеллектуальная жизнь складывалась под воздействием ваших, господ де-Ламенэ и Леру. Все остальные выделяющиеся люди, которых я встречала, не оставили во мне никакого почтительного или благодарного чувства.

Это не значит, что я всегда считала вас совершенством и что я не пыталась освободиться от своей узды с гневом, а иногда и с чрезмерной поспешностью. Но вы вывели меня на дорогу, с которой я отступала лишь довольно глупо, бросаясь то влево, то вправо.

Я хорошо знаю, что вы сами утратили веру, которую вы начали было мне внушать. Я не ставлю вам этого в вину. Как управлять нашим разумом, обуреваемым со всех сторон в наше проклятое время? Но, будьте покойны, я с уважением отношусь к вашему страданию, я вспоминаю, как я сама страдала, и я охотно заплакала бы с вами, не умея вас утешить и, в особенности, не умея проповедывать вам.

Прощайте же, мой друг, до вашего выздоровления и до вашего пробуждения.

## XVIII. Господину Шарлю Понси, Тулон

Ноган, 9 марта 1848 г.

Да здравствует Республика! Какие мечты, какой энтузиазм и, в то же время, какая выдержка, какой порядок в Париже! Приехав, я бегала по улицам, я видела последние баррикады, которые убрали на моих глазах, я видела народ, великий, возвышенный, наивный, великодушный французский народ, собранный воедино в сердце Франции, в сердце мира; самый удивительный народ во вселенной. Я провела многие ночи без сна, многие дни, не присев ни на минуту. Уснув в грязи, просыпаешься в небесах, и это сводит с ума, опьяняет, делает счастливым. Пусть же все, окружающие вас, сохраняют мужество и доверие.

Республика завоевана, она упрочена, мы все погибнем, но не упустим ее. Правительство составлено из людей, по большей части превосходных, хотя все они и не совсем полноценны и достаточноны для дела, которое потребовало бы гения Наполеона и сердца Иисуса. Но собрание всех этих людей, обладателей возвышенной души или таланта или воли, достаточно при теперешней ситуации. Они стремятся к добру, они ищут, они всячески пытаются его найти. Они искренно преданы принципу, который выше индивидуальных способностей каждого, — всеобщей воле, правам народа. Народ в Париже так добр, так снисходителен, так доверчив в том, что его касается, и так силен, что он сам помогает своему правительству.

Увековечение подобного распоряжения было бы социальным идеалом. Надо его подбодрить. От края до края Франции, надо, чтобы каждый помогал Республике и опasal ее от врагов. Принципом, завещанном членов временного правительства является горячее пожелание, чтобы в Национальное собрание были посланы люди, которые представляют народ, и из которых некоторые, по возможности, были бы выходцами из его среды.

Таким образом, друг мой, ваши друзья должны подумать об этом и обра-

тить на вас внимание при выборах. Досадно, что я не знаю в вашем городе влиятельных людей нашего образа мыслей. Я просила бы их избрать вас, а вам я приказала бы, во имя моей материнской дружбы, принять это избрание без колебаний. Вы видите: надо поспешить к действию; недостаточно представлять действительность. Не может быть речи ни о тщеславии, ни о честолюбии, в таком смысле, как это понимали недавно. Надо, чтобы каждый помогал судну маневрировать и отдавал все свое время, все сердце, весь ум, все свои лучшие качества Республике. Поэты могут быть великими гражданами, как, например, Ламартин. Рабочие должны нам заявить о своих нуждах, своих стремлениях. Напишите им поскорее, что у вас об этом думают и чего хотят. Если бы у меня были там друзья, я хорошенько разъяснила бы им все это.

Я отправляюсь в Париж, вероятно, через несколько дней, чтобы руководить журналом или заниматься каким-либо другим делом. Я выберу как можно лучший инструмент для аккомпанемента моей песне. Сердце у меня переполнено, и голова, как в огне.

Все мои физические недомогания, все мои личные огорчения забыты. Я живу, я сильна, я вернулась сюда, чтобы, в меру моих сил, помочь своим друзьям революционизировать глубоко закосневший Берри. Морис революционирует общину. Каждый делает, что может. Моя дочь в эти дни благополучно разрешилась от бремени дочерью. Бори вероятно будет избран депутатом от Коррэзы. А пока он поможет мне организовать газету.

Итак, надеюсь, что все мы встретимся в Париже, полные жизни и энергии, годовые умереть на баррикадах, если республика падет. Но нет! Республика будет жить, ее время пришло. И вы, люди из народа, должны защищать ее до последнего вздоха.

Целую Дезире, целую Соланж, благоговаяю вас, люблю вас. Пишите мне сюда. Мне перешлют ваше письмо в Париж, если я буду там.

Покажите мое письмо вашим друзьям. На этот раз я предоставляю вам это право и прошу вас сделать это.

### XIX. Господину Эрнесту Перигу, Шатр

Ноган июль 1849 г.

Я очень опечалена. Они расстреляли беднягу Клебера, приехавшего в Ноган после июльских дней; это был здоровый, мыслящий и мужественный человек. Убийцы! Мне кажется, что возвращается 1815 год.

С точки зрения критики, вы правы. Благодаря изображению в романах и поэмах, на оценке и даже в исторических трудах, любовь, правдивость персонажей и чувств перестали быть свойственны литературным произведениям. Литература стремится к идеализации жизни. И она этого не достигает, она лжет, она должна лгать, потому что искусство — это фикция или по крайней мере интерпретация. В романах, в поэмах можно быть великолепным, великим, быть ростом в сто футов и, однако, стоять меньше, чем в живой действительности. Это не парадокс. Неверно то, что все мы достойны виселицы. Но совершенно правильно ваше замечание, что все мы хоть один час жизни были безумны. Более того, если мы не негодяи, то мы все безумцы, мы дети, слабые, непоследовательные, наивные или взбалмошные. И именно потому мы стоим больше, чем герои романов. Мы несчастливы, сообразно нашему общественному положению, мы реальные персонажи, и когда нас охватывают добрые порывы, раскаяние, добрые пожелания, то мы угодны богу и тем, кто нас любит, вследствие контраста этого доброго и сильного с тем, что в нас есть убогого или дурного. Что касается меня, то правда трогает меня сильнее красоты, а добро сильнее величия. И они трогают меня все сильнее, по мере того, как я старею и глубже измеряю всю бездну человеческой слабости. Я люблю в Христе слабость, проявленную им в Гефсиманском саду; в Жанне д'Арк — слезы и жалобы, которые делают ее человеческим существом. Я не люблю этой напряжен-

ной непреклонности, какую наблюдаешь только у героев легенд и житий святых, так как я не верю этому. Знайте же, что никто еще не сумел изобразить или описать истинную любовь; а если б кто и сумел, то публика, быть может, не поняла бы его. Читатель хочет, чтобы правда была прикрашена, и Руссо не посмел сказать нам, почему он любил Терезу. И все же он любил ее и был прав, любя ее, хотя она и ни черта не стоила. Кое-кто хотел заставить его краснеть от этой привязанности, и он всеми силами старался не быть униженным ею. Ни он, ни посторонние не понимали, что его величие состояло в том, что он мог полюбить первую встречную тварь. Почему же он не смел сказать тем, кто считал ее некрасивой и глупой, что он находит ее прекрасной и умной? Это потому, что он был романистом и не смел признаться, что в будничной жизни больше нежности, больше великодушия, больше смирения, что она, наконец, лучше всевозможных фикций. Однако фикции нужны: человечество и особенно молодежь жадно набрасывается на них. Вы сказали, что проклинаете эти фикции за их лживость, а у вас у самого голова до того полна ими, что вы в состоянии смотреть на будущее только сквозь их призму. И разве обязательно, чтобы они внушали нам отвращение к жизни тогда, когда мы еще по-настоящему не жили, и для чего нужно проникаться к ним отвращением, когда мы все-таки живем? Эта задача, которая может вас занять еще на час, на два, и которую вы решите лучше, чем я. Потому что вы в том возрасте, когда люди еще могут анализировать и углублять. Работайте же над продолжением и заканчивайте ваши прекрасные страницы. Потому что вы оставляете нас в сомнениях или, во всяком случае, только на пути к убеждению, а я уверена, что ваша Анжела дала вам в большей степени почувствовать, что жизнь мила и полна, чем это сделали Шекспир, Байрон и компания.

Целую Анжелу и остаюсь всем сердцем ваша

Жорж-Санд.

*XX. Господину Шарлю Понси, Тулон*

Париж, 4 января 1852 г.

Мои дорогие дети! Благодарю вас за ваши милые и добрые письма и за все пожелания счастья. Раз вы предполагаете, что я могу быть счастлива среди столько тревог и огорчений, то и мне следовало бы сказать, что для полноты моего счастья я должна еще знать, счастливы ли вы. Но мы живем в такое время, когда следует желать друг другу лишь доброй доли мужества, чтобы смело выступить против неведомого и предотвратить сомнения.

В глубине сердца человек никогда не теряет надежды. Но каким слабым и дрожащим светом светит эта маленькая неугасающая внутри нас лампочка! Дадут ли знать президенту восемь миллионов голосов, что его сила в народе, и что, испытывая свое могущество, он должен опираться на демократию, как на свою отправную точку?

Но я не хочу огорчать вас своими размышлениями...

*XXI. Госп. Шарлю Понси, Тулон*

Ноган, 16 июля 1854 г.

... Вы прислали мне стихи одного из ваших друзей; я не могу быть так же снисходительна к ним, как вы. Он прислал мне еще кое-что от себя, но я не ответила. Что делать! Я не умею лгать: я нахожу все это ужасно манерным, при всей деланной, фальшивой простоте этих стихов, и невероятно беспорядочным, нескладным. К чему было присылать это? Я тут бессильна.

Однако мне тяжело огорчать вашего друга и, не желая приводить его в отчаяние своей искренностью, я предпочитаю молчать. Скажите ему сами, что я так занята, что я получаю столько стихов, столько прозы. И это правда. Ежедневно это катится на меня отовсюду, как лавина; все это страшно неразборчиво, в каллиграфическом и интеллектуальном отношении. Одним словом,

ваш друг пишет, как для близорукой, а я страдаю дальновзоркостью.

Пишите же стихи сами. Я не в состоянии любить стихи первого встречного, и в этом есть доля вашей вины.

*XXII. Господину \*\*\**

Ноган, 23 июля 1855 г.

Я не могла ознакомиться раньше с вашим письмом. Прочитав его, я спрятала рукопись, не читая ее. Я не даю советов, это не моя профессия, и я поклялась никогда не быть судьей неизданного произведения, так как я никогда не в состоянии сказать правду поэту, не рассердив его, если слова мои противоречили его надеждам. Говоря так, я не сомневаюсь ни в вашей скромности, ни в вашей искренности. Но я знаю, что если бы я не поверила в ваше будущее как писателя, я не смогла бы обманывать вас. В таком случае я огорчила бы вас, и это печальная услуга, которую вы возложили бы на меня.

Я предпочитаю не знать, чего мне держаться, и запираю впредь все адресуемые мне рукописи, тем более, что их такое огромное количество, что при всем моем желании меня нехватило бы на то, чтобы знакомиться с ними.

Не приходите в отчаяние от моего отказа. Если ваши стихи прекрасны, то вы ни в ком не нуждаетесь, помимо ваших друзей, чтобы узнать об этом, и они вам с жаром это скажут. Если же, наоборот, они осуждают их, то подумайте о том, что учить вас — это их долг, и что это одна из самых щекотливых и тягостных обязанностей дружбы.

Примите уверения в моих наилучших чувствах к вам.

Жорж-Санд.

Запечатанный пакет с вашим адресом находится в моей конторке. Если его надо возвратить, благоволи напишите об этом г. Мансо в Ноган и, чтобы облегчить розыски, заниматься которыми является его обязанностью в мое отсутствие, потребуйте у него 104-й номер.

XXIII. *Господину Шарлю Эдмонду,  
Париж*

Ноган, 13 июня 1857 г.

Другой друг, это не исторический роман, — это роман, относящийся к эпохе Людовика XIII, с историческим колоритом того времени. Подзаголовок «исторический роман» обещает повествование о серьезных фактах, о выдающихся персонажах, о значительных событиях. А это не то, над чем я работаю, и название исторического романа, возведенное в «Прессе», обещало бы события гораздо большего значения, чем те, которые я изображаю. Было бы затруднительно дать понять читателю различие, о котором я вам говорю, не прибегая к многословному объяснению, а потому выбросьте, пожалуйста, из объявления слово исторический. Лучше давать больше, чем обещаешь, чем давать обещания, которых не сдержишь. Я написала вещь по-своему, и я очень стремилась к исторической точности в том, что касается малейших особенностей в обычаях, образе мышления и способах действия того времени, которое служит мне рамой. Я связывала сюжет только со строго проверенными историческими фактами. Но все это не создает еще романа в духе Вальтер-Скотта. Время подобных романов прошло!..

XXIV. *Шарлю Понси, Тулон*

Ноган, 15 августа 1857 г.

...Мне помнится, что в письмах Беранже к вам были кисло-сладкие высказывания обо мне. А те, что он написал мне о вас, содержали едкие отзывы. У него был едкий ум и острый язык, хотя сердцем он был благороден, и благороден во всем, что имело отношение к нему самому. Он умел давать и не принимать. В его положении это было большим искусством, но там, где ему нечем было рисковать, он бывал льстив и коварен, и он часто злоупотреблял тем религиозным благоговением, которым его окру-

жали за его гений, за возраст, за честность. У бедного, безвременно умершего Эженя Сю было совсем другое сердце.

Ваши стихи о святой Соланж очень красивы и приятны. Но я вижу, что вы с трудом работаете над прозой, которую вам приходится писать ради куска хлеба. Однако, нет: я вижу, что вы ответственны и что вас утешает сознание исполненного долга. Что делать! Такова жизнь. У Беранже не было семьи, чтобы кормить ее и заботиться о ней. Его покой был счастлив. Нам это не дано.

До свиданья, дорогие дети. Всем сердцем ваша.

XXV. *Господину Густаву Флоберу,  
Париж*

Ноган, 2 февраля 1863 г.

«Не вкладывать ничего от своего сердца в то, что пишешь?» Я этого не понимаю, нет, совсем не понимаю. Мне кажется, что ничего другого невозможно вкладывать. Разве мыслимо отделить ум от сердца? Разве это разные вещи? Разве чувству можно поставить предел? Разве можно расщепить живой организм? Наконец, не отдаться целиком своему произведению кажется мне столь же невозможным, как плакать чем-то другим, а не глазами, и думать чем-то другим, а не мозгом. Что вы хотели сказать этим? Ответьте мне, когда у вас будет время.

XXVI. *Господину Эмилю Ожье,  
Круасси*

Ноган, 25 декабря 1863 г.

Дорогой друг! Посылаю вам, чтобы вы немного повеселились, адресованное мне письмо-петицию. Кроме того, прилагаю свое письмо к этому господину, которого я не знаю и которому я не ответила бы, если бы вы сами не сочли его достойным вашего ответа. Я вывожу из этого заключение, что в нем есть что-то стоящее; но он наверное сумасшедший,—

он иногда проявляет отвратительное тщеславие. Если вы найдете, что мое письмо не образумит его, а доведет его до белого каления, то бросьте все это в огонь. А если нет, то бросьте в почтовый ящик.

Благодаря этому случаю я узнала, что вы работаете над новой пьесой. Тем лучше. Не давайте всяким Шиллерам, стучащимся у ваших дверей, отвлекать вас от работы. А их должно быть немало, если судить по тому, что делается у меня. Не трудитесь отвечать мне, если вы поглощены работой. Ваша ближайшая пьеса будет хорошим вознаграждением за мои дружеские пожелания вам.

Жорж-Санд.

*XXVII. Господину \* \* \**

Ноган, 25 декабря 1863 г.

Из-за моей искренности у меня много врагов. Я сужу по вашему негодованию, направленному против моего друга Ожье, что если я не найду, что вы Шиллер, то вы обвините меня в бессердечии. Становитесь же моим врагом немедленно, если вам угодно.

Я отвергаю честь, которую вы мне оказываете, и не хочу быть арбитром. Я не желаю услуг, вынуждаемых угрозами, и оттого, что вы называете меня императрицей, я не потеряла права сказать вам, что вы не Шиллер, а я не Гете. Но если вы на самом деле Шиллер, то утештесь, вы ни в ком не нуждаетесь и современем напишете, конечно, шедевр, который у вас вырвут из рук. Стоит лишь написать его. Этого еще со мною не случилось. Из моих рук не вырывают пьес. Мне не раз отвечали отказом, и я не сердилась на это. Я сказала себе, что ведь я не Гете.

А затем, раз вы Шиллер, то почему вы предлагаете ваши пьесы театру «Драматические шалости», который, без сомнения, отказал бы самому Шиллеру, не оскорбляя его этим и не отвергая его, а по той лишь причине, что его гений не вмещается в их рамки. Обратитесь к театрам по-настоящему литературным, те-

атрам, получающим субсидии, чтобы они могли оставаться литературными. И будьте уверены, что если вы принесете им что-либо хорошее, прекрасное, то они поспешат принять, если вещь подойдет им по форме. Вы ведь хорошо знаете, что там могут играть Шиллера и Гете лишь со значительными изменениями.

Но вы говорите, что боретесь уже 13 лет. Ну что же, быть может, театр— это не ваша специальность. Обратитесь к другой, всегда можно найти какую-либо, если только мужественно и скромно поставить перед собой этот вопрос.

Смелее же, сударь! Я не мстительна. Я прощаю вам ваши комплименты.

Жорж-Санд.

*XXVIII. Господину Эдуарду де-Помпери, Париж*

Париж, 23 декабря 1864 г.

Я еще не смогла прочесть вашу книгу. Я не могу свободно распоряжаться своим временем. Но я прочитала статью «Парижского обозрения», и я не хочу становиться в ряды ваших противников. Я одного мнения с вами о роли, которую и логика, и сердце отводят женщине. Те из женщин, которые претендуют на то, что они смогли бы быть депутатами и воспитывать детей, не воспитывали их сами. Иначе они знали бы, что это невозможно. Многих превосходных женщин, отличных матерей, работа вынуждает доверять своих малышей посторонним женщинам. Но это порок общественного устройства, которое на каждом шагу отвергает природу и противоречит ей.

Женщина может прекрасно, когда понадобится, выполнять по вдохновению социальную либо политическую роль, но не нести функции, которые лишают ее естественного назначения: любви к семье. Мне часто говорили, что я отстала с моими идеалами от требований прогресса, и действительно в вопросе о прогрессе воображение может все допустить. Но изменится ли человеческое сердце? Я этого не думаю, и я вижу, что женщи-

на останется навсегда рабой материнства и рабой своего сердца. Я писала об этом много раз и продолжаю так думать.

Поздравляю вас с замечательным развитием вашего таланта. Форма превосходна и сообщает живость и новизну сюжету, несмотря на все, что было сказано об этой вечной проблеме.

Ваша Жорж-Санд.

XXIX . *Господину Сент-Беву, Париж.*

Палезо, 1865 г.

Прочли ли вы странную книжечку, изданную недавно у Дантю под скверным названием «Южная любовь» под покровом псевдонима? Сказался ли тут недостаток мужества, или это уступка собственному положению? Все равно. Это странное произведение; оно написано неровно и изобилует неправильными выражениями, то чересчур наивными, то чересчур велеречивыми (у автора, впрочем, достаточно ума, чтобы самому заметить это); он то уносится ввысь, в сферу неопределенного, то с треском проваливается, обнаруживая бессмыслицу; наконец, он иногда очень темен, словно это речи экзальтированного человека, который не отдает себе отчета в том, что он говорит. Вот сколько недостатков. Впрочем эти недостатки могли бы быть следствием очень большой ловкости. Но я этого не думаю; я скорее допускаю, что автор молод, невышколен, неопытен и совершенно лишен того, что принято называть талантом.

И все-таки этот анонимный опыт очень заслуживает того, чтобы быть замеченным. Это не роман в подлинном значении слова и не психологический анализ: это крик страсти. Но этот крик правдив, и в нем много силы. Он не похож ни на что из того, что обычно пишут. В нем слышатся молодость, настоящий поэтический восторг, наивность, полнота, все, чего мы напрасно будем искать в хорошо написанной книге: безграничное чувство, дерзко освобожденное от контроля разума.

В нем есть также, несмотря на часто встречающиеся вульгарные слова и об-

разы, что-то изысканное и оригинальное в выражении весьма трогательных чувств. У него есть вера, вера в бога, в любовь, в свободу и даже в прессу. Он верит также в славу и верит в себя. Это великодушное дитя, быть может, иностранец, упавший к нам с какой-либо планеты, где еще живут сердцем и где говорят все, что думают, не заботясь о том, будет ли г. Прудон смеяться над этим.

Наконец, это нечто такое, что заставляет нас невольно сказать: «это очень плохо» и «это прекрасно». Что поделаешь! Кругом столько талантов. Мы не пресыщены, мы любим таланты. Но не всякому дана страсть, а она-то как-раз, хорошо или плохо она выражена, всегда будет одерживать верх над искусством, как запах розы побеждает запахи любых эссенций в парфюмерном магазине.

Критика может сказать: «Умейте писать или не пишите». Она права. Но публика может сказать: «Будьте сами взволнованы или не надейтесь взволновать нас». И разве она не права?

Жорж-Санд.

XXX. *Господину Александру Дюмансону*

Нога, 5 июля 1866 г.

Сегодня мне 62 года.

Сын мой, это прекрасно, отлично. Это волнует, это правдиво, драматично и просто. Стиль — возвышенный и очень ясный, следовательно, превосходный. В одном или двух местах он, пожалуй, слишком изыскан, там, где говорится о природе. Но это говорит экзальтированный человек, это слова Клемансо, и в таком случае то, что не было бы естественным в авторской речи, вполне на месте и дополняет персонаж. Этот тип хорошо выдержан и живо заинтересовывает. Я очень хотела бы видеть его оправданным. Потому что ему было от чего прийти в безумную ярость. Жена вполне закончена, а мать написана с ужасающей правдивостью. Словом, вещь удалась, и она вполне достойна вас.



## ПРИМЕЧАНИЯ

Письмо I. Жюль Бокуаран — воспитатель сына Жорж-Санд, Мориса, близкий друг семьи. Впоследствии — редактор одной провинциальной газеты.

Письмо II. Карье Ж. Б. (1756 — 1794), — член Конвента, известный нантскими массовыми «потоплениями» арестованных контрреволюционеров. Нантские события 1793 г. были сильно раздуты враждебными революции элементами. После падения Робеспьера Карье был гильотинирован, в 1794 г.

Письмо III. Это письмо знаменитому французскому критику и поэту Сент-Беву (1804 — 1869). До 1833 года, которым датировано письмо, вышли два сборника стихов Сент-Бева: «Стихи Жозефа Делорма», 1829, и «Утешения», 1830. Кроме того, в 1832 г. вышел его роман «Наслаждение». Этот роман Жорж-Санд прочла в сентябре 1834 г., как явствует из ее письма от 24 сентября, в котором она подробно разбирает роман. Возможно, что Сент-Бёв читал его Жорж-Санд раньше, в 1833 г.

Последнюю фразу письма Сент-Бёв пояснил следующим образом: «Это намек на то, — говорит он, — что при первом знакомстве она всегда бывала смущена, молчалива и не производила желаемого ею впечатления на людей, мнением которых она дорожила». Дюма, о котором говорится в конце письма, это Дюма-отец; ему было тогда тридцать лет.

Письмо IV. Первой атакой «Литературной Европы» против Жорж-Санд была статья «Литературная жизнь некогда и теперь», в номере от 9 августа 1833 г., второй — статья о романе Жорж-Санд «Лелия», в номере от 22 августа 1833 г. Обе статьи подписаны редактором этого издания Капо де-Фейдином. Из-за этих статей о Жорж-Санд с Капо де-Фейдином дрался на дуэли известный критик и интимный друг Жорж-Санд — Густав Планш (1808—1857).

Письма V и VII. Адольф Геру (1810—1872) — французский публицист и политический деятель. В тридцатые годы — видный сенсимонист.

Письмо VI. Евгений Пеллетан, род. в 1813 г., — журналист и политический деятель, дебютировавший в печати в 1837 г., то-есть после напечатанного здесь письма Жорж-Санд. В период февральской революции был близок к Ламартину, затем состоял в оппозиции Наполеону III. После смерти Беранже выступил в 1860 г. с книгой, «развенчивавшей» поэта, якобы содействовавшего распространению в народных массах «наполеоновской легенды». Как видно из письма Жорж-Санд, он прислал ей на отзыв стихи. Поэта из Е. Пеллетана не вышло.

Письмо VIII. Ламенэ (1782—1854) — французский философ и богослов («Речи ве-

рующего»), проповедовавший идеи «христианского социализма».

Письма к Шарлю Понси: IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXIV. Луи-Шарль Понси, родившийся в 1821 г. в Тулоне, был по профессии каменщик и занимался своим ремеслом с девятилетнего возраста. Вплоть до февральской революции он исполнял незначительные административные обязанности. Его первый сборник, «Стихи», вышел в Тулоне в 1840 г., а второй, «Морские картины» («Марины»), — в Париже, в 1842 г. Этим вторым сборником он обратил на себя внимание Беранже, Жорж-Санд и др. В письме IX Жорж-Санд неодобрительно отзывается об авторе предисловия к «Маринам» Понси, не называя его. Это был Жозеф-Луи-Эльзеар Ортолан (1802 — 1873), известный французский юрист, земляк Понси, сам выступивший, тремя годами позднее, со сборником стихотворений. Жорж-Санд сдержала данное в этом письме обещание, — написала обемистое предисловие к третьему сборнику стихотворений Понси, «Постройка», 1844 г. Ей же принадлежит предисловие к сборнику 1855 г. «Букет маргариток».

Дезире — возлюбленная Шарля Понси, ставшая его женой.

Олимпии — имя, под которым Виктор Гюго подразумевал себя самого в некоторых из стихотворений, где он защищался от нападок критиков, особенно Густава Планша, друга Жорж-Санд, за которым осталось шутовское прозвище Густава Жестокого, данное ему писателем Альфонсом Карром. Одно из этих стихотворений Гюго, «Печаль Олимпии», вошедшее в сборник «Осенние листья», стало знаменитым. Когда поэт окончательно перешел в демократический лагерь, журнал «Обозрение двух миров» выступил (1850 г.) с реакционным пасквилем на Гюго «Карманьола Олимпии».

«Песни разных профессий» (см. письмо XVI, к Понси). Понси воспользовался предложенной ему Жорж-Санд темой и выпустил под этим названием сборник песен (Париж, 1850 г.). В последнем из напечатанных здесь писем Жорж-Санд к Шарлю Понси (XXIV) она говорит о Беранже. Знакомство Жорж-Санд с Беранже началось в 1833 г. Интересно привести выдержку из письма Беранже, относящегося к началу этого знакомства. Письмо Беранже адресовано Наполеону Пейра и помещено в книге последнего «Беранже и Ламенэ» (1862 г.). Оно датировано там 1834 г., хотя его настоящая дата — 20 октября 1833 г.

«... Вы отзываетесь довольно неуважительно о госпоже Жорж-Санд. Знаете ли вы, что мы знакомы и что она почтила меня недавно своим визитом? Я понимаю, что «Лелия» по своему содержанию не удовлетворила вас. Но я удивляюсь, что вы не восхи-

щается пером этой высокоодаренной женщины. Она кажется мне королевой нашего нового литературного поколения, и как-раз то хорошее, что, как ей известно, я высказывал о ее произведениях, побудило ее искать со мной знакомства. Признаюсь вам, что похвалы, с которыми я отзываюсь об авторе, не распространяются на женщину, чтобы вы не думали, будто ее прекрасные глаза очаровали меня». Для выяснения взглядов Жорж-Санд на Беранже см. ее статью о нем, помещенную в ее книге «Ap-toin de la table».

Письма X, XV, XXVIII. Эдуард де-Помпери, род. в 1812 г., — французский литератор, сотрудничавший в ряде

социалистических изданий тридцатых — сороковых годов: «Фаланга», «Мирная демократия», «Социальное обозрение» Пьера Леру, «Независимое обозрение» (его же) и др. В «Независимом обозрении» постоянно сотрудничала и Жорж-Санд, разделявшая идеи Пьера Леру; об ее отношении к последнему можно судить по письмам XIV и XVII. Помпери известен как один из виднейших сторонников Фурье, учение которого подвергалось под пером Помпери очень существенным изменениям; отсюда шутовское словечко Жорж-Санд «помперизм». Помпери состоял в долголетней переписке с Жорж-Санд и с Беранже, о котором в 1865 г. написал книгу.

*(Окончание следует)*

## Книжное обозрение

1. НИК. ЗАРУДИН. „Страна смысла“ — Дм. Гельман. 2. Л. НИКУЛИН. „Дело Жуковского“. — Б. Авибал. 3. В. ВЕРЕСАЕВ. „Спутники Пушкина“. — К. Богаевская. 4. МАСИМО Д'АДЗЕЛИО. „Этторе Фьерамоска, или Барлетский турнир“. — С. Иванов.

Ник. Зарудин — «Страна смысла». Повести молодого времени. Московское товарищество писателей, 1934 г. Стр. 230. Ц 5 р. 50 коп.

Творческая биография Николая Зарудина родилась в поисках путей в счастливую «страну смысла». Вначале ее очертания были туманны и расплывчаты. Она находилась где-то близко, почти рядом, но точный географический адрес ее был в ту пору неизвестен молодому поэту, декларировавшему свое право и желание быть ровесником великой эпохи. Однако быть ровесником означало необходимость участвовать своим творчеством в борьбе за утверждение новых форм социального бытия, проникнуться новым мироощущением и создавать произведения, достойные нашего «молодого времени». К сожалению, индивидуальные особенности творчества Зарудина в сочетании со специфической для того периода формой интеллигентского «приятия» действительности обусловили отставание писателя от задач современности.

Стихи 1924—1928 гг. представляют собой образцы «чистой» лирики, право на существование которой в наши дни представляется неоспоримым лишь в том случае, если тона в какой-то степени отражает новое отношение поэта к миру, если достаточно обетшались «вечные» темы приобретают иную акцентировку и звучание. Основное же содержание поэтической практики Николая Зарудина составляют отображение природы и интерпретация тютчевских и бунинских лирических мотивов. От прямого эпитонства его спасли некоторое «углубление» тематики и привнесение собственных интонаций в идейную и языковую структуру стиха. Исповедывание Зарудиним философско-эстетических принципов покойного «Перевала» предопределило характер этих интонаций и дальнейшее направление творчества художника.

Интуитивизм как метод познания мира, провозглашение примата чувства над разумом, признание исключительной важности первич-

ных ощущений и впечатлений, то-есть «особого» искусства видеть мир, и т. д., — без уяснения этих центральных пунктов перекрестной программы немыслимо проникновение к истокам творческой биографии писателя и выявление ошибок избранного им творческого метода.

Уход в природу, в своеобразную экзотику охотничьего, скитальческого быта объективно не мог не означать самовыключения из советской действительности, которая еще не вошла в сознание художника как единственно возможная, искомая им «страна смысла».

Параллельная работа над прозой помогла Зарудину раздвинуть границы своего «видения мира», полнее выявить свои возможности и самоопределиться как художнику. Результатом этой работы явился сборник рассказов, датированных 1925, 28, 29, 31 и 33 гг. и объединенных интригующим заголовком «Страна смысла». Они различны по своей тематике и неравноценны в художественном отношении. Наибольший интерес представляют: «Древность», «Закон яблока» и «Путь в страну смысла», как подытоживающие определенный отрезок пути самого автора. Эпиграф «из самого себя» («Неизвестные стихи»), предпосланный книге, является, по существу, изложением философско-поэтического кредо Зарудина. Природа — единственный источник земных радостей и жизнедеятельности художника.

Только в общении с нею, впитывая ее переработанную детскую свежесть и чистоту, обращаясь к «библии звезд», «сын планеты», несущий Маркса и Дарвина, может приобщаться к подлинному искусству. Эта концепция получает дальнейшее развитие в рассказе «Древность» и отчасти в «Законе яблока».

Из страны воспоминаний, из потаенных уголков памяти извлекаются образы детства; они обрастают ассоциациями, почерпнутыми из других областей подсознательной и сознательной деятельности человека; затем воспроизводится «звукозапись» первичных физио-

логических ощущений, и, таким образом, деформируется реальное течение событий во времени и пространстве. Само собою разумеется, что для воссоздания хаотически-смятенного мира идей и эмоций, в котором проявляется безудержное господство иррационального, реалистического манера письма непригодна. Тут мы впервые сталкиваемся со стилистическими особенностями Зарудина-прозаика, несомненно во многом отталкивающегося от Марселя Пруста и по-своему его «осваивающего». В ослепительном спектре «багрового солнца всех пяти освещающих чувств» (слова из эпиграфа) у Зарудина, как и у Пруста, наиболее распознаваемы зрение, обоняние и слух, с помощью которых он вызывает бесплодные тени образов и воспроизводит полузабытые ощущения детства. На помощь Зарудину приходит чудодейственная магия слов, не поспевающих за лихорадочной смелой «кадров»; прерывистая речь, унизанная пышными и не всегда оправданными эпитетами, сравнениями и метафорами, создает приподнятость, необходимую для усиления значительности описываемого («Жарко налиты огнем драгоценности звезд. В их жертвенной, мерцающей яркости безмолвный лес нависает столетним мраком» и т. д.). Зарудин настолько увлекается процессом воскрешения прошлого, что забывает о поставленной перед собой мимоходом задаче — разоблачить средствами искусства власть стародавнего, гнездящуюся в быту древности, являющаяся «навозным компрессом на теле республики». Рассказ кончается торжественным прославлением животворящей силы извечной матери-природы, признанием мистически-необъяснимого очарования «живой, непобедимой древности», заслоняющей перед художником многоликую современность.

В «Закоме яблока» воспроизводится на расширенной основе сложная гамма зрительных, слуховых и обонятельных представлений, вызываемых близким общением с природой. И хотя в центре рассказа — живые советские люди и сам рассказ построен на реалистической сюжетной основе, он производит впечатление далекого от современности, настолько ограничен и бездейственен в нем мир, преобразенный ретроспективным сознанием писателя. Импрессионистическая подача деталей, неусыпаемый лиризм, пронизывающий словесно-образную ткань произведения, сообщают ритмически-музыкальный тонус всему повествованию. «Моцартианские» принципы получают наиболее яркое воплощение в этом рассказе, свидетельствующем о несомненных творческих возможностях автора. Но оперирование неправильным методом приводит к неизбежному умалению художественной ценности произведения, воспринимаемого лишь как удачная стилизация прустовских (и отчасти бунинских) мотивов.

«Путь в страну смысла» является первой попыткой Зарудина переключиться на новую

тематику, проверить свою поэтическую аппаратуру на новом материале. Прошлое и настоящее гурьевских рыбных промыслов, трудный производственный процесс, разноязычная армия рабочих, их быт, — таково содержание очерка, в работе над которыми была проявлена максимальная добросовестность. Спрошенные в нем факты и впечатления свидетельствуют о наблюдательности автора, об умении отделять главное от второстепенного и о желании придать всему очерку черты подлинно художественного произведения.

Старая изобразительная манера Зарудина, не встречая возражений при пользовании ею в пейзажных зарисовках и в историко-философских реминисценциях, приходит в столкновение с материалом в тех местах, где требуется соответствующая оценка фактов, где выявляется отношение автора к этим фактам. В таких случаях мы сталкиваемся с пышной риторикой, с лирическими сентенциями, с неубедительным пафосом, сопровождающимся избытком восклицательных знаков. Но, несмотря на эти частности, «Путь в страну смысла» находится на более высоком, по сравнению с очерками некоторых признанных писателей, уровне. Само название этого лирико-эпического рассказа-очерка в значительной мере определяет изменившиеся позиции автора, вошедшего в соприкосновение с живой жизнью и нашедшего наконец путь в «страну смысла».

В рассказе «Снежное племя» Зарудин пытается закрепить результаты своих длительных поисков, но попытка эта должна быть признана неудачной. Нечеткость сюжетной линии, растянутость, отсутствие стилистического единства и та же риторичность делают рассказ художественно неполноценным.

Особое место в сборнике занимает «Ночная сирень», написанная в 1933 году. В нем повествуется о жизни некоего интеллигента, которого революция исцелила от разедавшей его буржуазной скверны. Сюжет этот не отличается новизной, и использование его может быть объяснено желанием писателя дать более углубленную социальную характеристику «механических граждан». Реальный мир человеческих страстей, прочная бытовая основа, большое количество персонажей и интересных ситуаций как будто предопределяли реалистическую линию рассказа; избранный автором прием стилизации речи героя, от лица которого ведется повествование, в еще большей степени облегчал разрешение поставленных перед автором задач. Но ни одна из благодарных возможностей не была им реализована до конца.

«Разоблачение» дореволюционной действительности получилось наивно-беспомощным, социальная природа «механических» интеллигентов осталась невыявленной; единая языковая линия оказалась разорванной благодаря насильственному вмешательству автора, заставившего своего героя разговаривать по-зарудински, то-есть в декламационно-при-

поднятом стиле, сообщившем всему произведению черты манерности и искусственности.

Неудачное использование сказовой манеры, неумелое воспроизведение языковых особенностей действующих лиц характерно и для рассказа «Колчак и Фельпос», включение которого в сборник вызывает явное недоумение. Сомнительный в идеологическом отношении, подражательный по форме (Бабель, Зощенко), он, повидимому, является одной из первых проб пера Зарудина-прозаика (1925 г.).

За последние годы писателем был создан роман «30 ночей на винограднике» и ряд очерков в журнале «Наши достижения».

В нашу задачу не входит разбор этих произведений, но необходимо указать, что и им в значительной мере присущи недочеты, отмеченные нами в рецензируемом сборнике.

Постепенно раставаясь с прежними идеалистическими заблуждениями, связанными с представлением об особой природе творчества, пытаюсь усвоить правильное понимание действительности, Зарудин (кстати, уделяющий немало внимания проблеме мастерства) еще далеко не освободился от своей перевальской концепции искусства и чуждых литературных влияний.

Импрессионистическая усложненность словесного рисунка, склонность к эстетизированию, нередкое отсутствие чувства меры и нехождение единственно правильных критериев художественной простоты являются тормозом для дальнейшего роста писателя.

*Дм. Гельман.*

**Л. Никулин — «Дело Жуковского».** Рассказы. «Советская литература», М. 1934. Стр. 156. Тир. 10.000. Ц. 1 р. 50 к. Переплет 50 к.

Существует стародавняя, но ничем, кроме желанья заинтересовать читателя, неоправданная традиция, по которой заголовок одного из рассказов, собранных в книге, дает название всему сборнику. Редко случается, чтобы выбранный таким нехитрым способом титул характеризовал содержание всей книги в целом: обычно при этом название остается само по себе, а собранные в книге рассказы, за исключением одного, по которому она названа, сами по себе.

Поэтому можно досадовать, но не удивляться тому, что «Дело Жуковского» никакого, в сущности, отношения к восьми из девяти рассказов этой книги не имеет.

Гражданская война дала автору большинство тем, ее эпизодам посвящены пять вещей, к ним же примыкает и рассказ о ликвидации басмаческой банды, остальные посвящены партчишке и темам семейного порядка.

Автор стремится быть сдержанным и кратким, но не замыкает своих рассказов в узкие рамки строго определенного времени, периода: от эпизода гражданской войны он

протягивает нити к нашему вчера и сегодня, и, наоборот, наше вчера и сегодня связывается у него с первыми годами революции. Благодаря этому получаю своеобразную ретроспективность, рассказанное выигрывает.

Стремление быть кратким, которое вообще можно расценивать только положительно, иногда осуществляется автором в ущерб теме. Например в рассказе «Хозяйка и работница» Никулин повествует о том, как старый партизан, Григорий Иванович, неожиданно открывает, что жена его друга — скрывшая свое социальное происхождение дочь бакинского нефтяника. Его другу, тоже старому партизану, это очевидно неизвестно, и вот Григорий Иванович раздумывает — сказать ему об этом или нет? Размышления его, довольно неожиданно для читателя, кончатся тем, что он уходит со страниц книги, не сказав своему другу ни слова. Точка поставлена на самом интересном месте, автор ограничивается одной увертюрой, причем тема, намеченная заголовком рассказа — «Хозяйка и работница» (ср. у Л. Толстого «Хозяин и работница»), также остается нерешенной. Правда, автор говорит о том, что у дочери нефтяника служит домработницей дочь погибшего во время осиповского мятежа железнодорожника, честная советская женщина, которая одновременно и работает, и учится, но антитеза — хозяйка и работница — остается неосуществленной, больше того, ее почти не заметно, все внимание сосредотачивается на хозяйке и на том, будет раскрыта мужу ее классовая враждебность, или нет.

Темы берутся Никулиным довольно остро, и приходится только пожалеть о том, что разрешаются они иногда поверхностно. Автор идет не от образа, а от описания, причем описания эти, насколько можно судить по другим работам Никулина, могли бы быть лучше.

Большое обращение с цитатами и стилистические промахи также снижают качество книги.

Так например на стр. 6-й автор цитирует Блока:

Твое лицо в его простой оправе  
Передо мной стояло на столе, —  
тогда как следовало:

Когда твое лицо в простой оправе  
Передо мной сияло на столе.

Из стилистических промахов отметим: «и з в и л и с т я и л и с т я я река» (стр. 47); луна всплыла над горой верблюжийм горбом» (стр. 111), — в этом образе неясно: что же походило на верблюжий горб — луна или гора?

Противень Никулин называет почему-то «квадратной сковородой».

Эти примеры при желании можно умножить.

В последнее время на страницах газет и журналов довольно оживленно обсуждается

по существу старый уже, но еще не разрешенный, вопрос о создании короткого советского рассказа, художественного и насыщенного, образцы которых в свое время дали Мопассан, Чехов, Генри. Рассказы Никулина можно рассматривать, как один из опытов в этом направлении. В этом опыте есть положительные стороны, — его рассказы читаются не без интереса, и, несмотря на стилистические промахи, большинство их развернуто литературно, но художественными до конца назвать их нельзя.

### Б. Анибал.

**В. Вересаев — «Спутники Пушкина».** Выпуск I. «Мир», 1934. Стр. 230. Тираж 5.000 экз. Цена 3 р. 50 к.

У нас среди читающей публики наблюдается исключительный интерес к Пушкину и его эпохе. Книжки на эту тему выходят десятками, расхватываются в несколько дней и читаются залпом. К несчастью, большой спрос читателя порождает у некоторых литературоведов не всегда достаточно серьезное отношение к делу, порожденное беспроницательностью темы. Иллюстрацией такого отношения является книга Вересаева «Спутники Пушкина». Появление ее в свет вызывает недоумение, так как прежде всего неясно, на кого она рассчитана, на какой культурный уровень читателя ориентировался автор при ее составлении: на людей ли, серьезно занимающихся Пушкиным, или на широкую публику и учащуюся молодежь? Но в обоих случаях книга не достигает цели, так как для человека, более или менее знакомого с Пушкиным и его окружением, она не дает ничего нового и справочником служить никак не может, — для этого она составлена недостаточно научно. В справочнике такого рода необходимо наличие определенного принципа построения (лучше всего алфавит), достаточное количество дат и фактического материала и обязательно библиография по данному вопросу. Книга Вересаева всем этим требованиям не отвечает. С другой стороны, она не отвечает и требованиям широкого читателя, — она написана сухо, малозанимательно и носит отрывочный характер.

В предисловии (стр. 3) Вересаев пишет: «Книга эта, представляя собой самостоятельное целое, является в то же время дополнением к моей книге «Пушкин в жизни»... Задача ее — дать бытовые литературные портреты лиц, с которыми соприкасался в жизни Пушкин». Но и дополнением к «Пушкину в жизни» «Спутники Пушкина» назвать никак нельзя: книга больше чем на три четверти является повторением первого труда. Разница заключается только в методе подачи материала. В «Пушкине в жизни» Вересаев точно и с указанием источников цитировал нужную ему литературу, здесь он

ее же перелагает своими словами, без всякого указания источников.

Автор недостаточно продуманно сортирует по группам современников Пушкина. Многие из этих современников повторяются в нескольких группах. Во-первых, этот прием неудобен для читателя: человек, заинтересовавшийся каким-нибудь одним лицом, принужден метаться из главы в главу, от выпуска к выпуску, чтобы извлечь нужные для него сведения. Во-вторых, Вересаев не выработал для себя в этом делении твердого принципа и сам запутался, кого куда помещать. Так, Пушкин и Дельвиг попали в главу «Лицейские товарищи» и намечены в то же время для главы «Друзья Пушкина», обещанной в одном из следующих выпусков, а Кюхельбекер почему-то не удосвоился этой чести. непонятно, какими соображениями руководствовался Вересаев, помещая Пушкина, близкого Пушкину человека почти исключительно в лицейский период жизни, в число друзей поэта, и изгоняя оттуда Кюхельбекера, имевшего на Пушкина, после лицей, неоспоримое влияние и тоже принадлежавшего к числу его друзей? Из других лицейстов один Вольковский попадает в одну из последующих глав, в главу «Путешествие в Арзрум», но почему бы тогда не повторить и Горчакова, с которым Пушкин встречался и после лицей, а тем более Данзаса, секунданта в его последней роковой дуэли? Из лиц, фигурирующих в главе «Арзамас», намечены для повторения в дальнейших выпусках Вяземский, Вигель, Воейков, М. Орлов, Уваров и др. Разбрасывая таким образом по разным местам характеристику одного человека, Вересаев не только не дает его «бытового литературного портрета», но, наоборот, разрушает его целостность. В главе «Писатели» автор обещает вернуться лишь к Д. Давыдову, тогда как Жуковский, Карамзин, В. Л. Пушкин, Вяземский и Батюшков почему-то не попадают туда. Почему, — непонятно.

Таких примеров можно привести много. Несравненно удачнее было бы, если б Вересаев «не мудрствуя лукаво» не путая сам и не путая читателя, дал бы каждому лицу единую, законченную характеристику.

Кроме того в книге много лишнего, мало-значительного, — кому интересны например такие лица, как Саврасов, Токарев и др? Люди эти даже бледной тенью не прошли в произведениях Пушкина и ни разу не упомянулись им.

Иногда Вересаев повторяет одни и те же факты. Достаточно сказать, что история с «гогелем-могелем» встречается в характеристиках Фролова (стр. 48), Галича (стр. 57), Пушкина (стр. 70) и Малиновского (стр. 84); можно подумать, что этот незначительный факт имел колоссальное значение в жизни Пушкина, — столько ему уделяется места. Повторяется автор и в главе «Арзамас», неоднократно цитируя одни и те же стихотворные

отрывки, которыми, кстати сказать, слишком перегружен текст третьей главы.

С другой стороны, характеристики лиц, подобных Кюхельбекеру, Пушкину и мн. др., вызывают недоумение и естественный вопрос: «Собственно говоря, к чему это? Об них писали то же самое много раз, мемуары и переписка их печатались и приводятся в каждой книге о Пушкине. Не может быть, чтобы Вересаев не сумел придумать ничего более интересного, как изложение известных фактов».

Наиболее прочувствованные и живые строки в книге посвящены семейству Раевских, в особенности Марии. Одна беда, — Вересаев чересчур свободно говорит о вещах, требующих большой осторожности, и смело пишет такие ответственные слова: (Мария Раевская) «даже не подозревала, что внушила Пушкину самую глубокую, самую светлую и чистую любовь, какую он только знал в своей жизни» (стр. 260). Вопрос же о том, была ли Раевская действительно «утаенной» любовью поэта, выдвинутый в свое время П. Е. Щеголевым, был достаточно обоснованно разбит П. Губером в кн. «Дон-жуанский список Пушкина» (П. 1923, гл. 7), и возвращаться к нему без всяких на то новых данных более чем странно.

На стр. 250 цитируется стих. «Кюварность» с пропуском в середине двух строк, в результате чего получается нескладное стихотворение. Нужно было все-таки указать на этот пропуск многоточием или иным способом, а не давать стихи Пушкина в искаженном виде.

Непонятно заглавие VI гл. «В Петербурге после ссылки», когда в ней как-раз показаны лишь Катенин, Кривцов, А. Ф. Орлов и др., с которыми Пушкин общался до ссылки. В хронологическом отношении последнее верней. На типографскую ошибку (да еще в двух местах) это не похоже: остается предположить, что Вересаев по небрежности выпустил книгу с такой ошибкой. Для человека, знающего все это, — полбеды, ну а как быть с учащейся молодежью, которая принуждена принимать все эти сведения, как безупречные?

Со стороны художественной формы книга написана приятно, — недаром ее писал такой мастер слова, как Вересаев, хотя в ней и встречаются небрежные выражения: «... директорствовал неполных три года и умер» (о Малиновском, стр. 48) или «глубокий брюнет» (стр. 89). Но общий стиль повествования не выдержан: автор то слишком сух, то вдруг «огорошит» читателя неожиданным литературным приемом (см. Кюхельбекер, стр. 75). Эти неровности языка производят неприятное впечатление.

В общем, если из книги выбросить характеристики вышеупомянутых ненужных лиц, неинтересное изложение известнейших фак-

тов, авторские повторения и стихотворные цитаты, то почти ничего не останется, — не из-за чего было «огород городить» и выпускать книгу в 300 страниц.

К. Богаевская.

**Массимо Д'Адзелио — «Этторе Фьерамоска, или Барлетский турнир».** Перевод с итальянского Т. Гликмана и С. Розаиова. Статьи и примечания Ив. Гревса. Редакция А. К. Дживеллегова. Суперобложка, переплет и заставки Сарры Шор. Издание «Академии», 1934 г. Стр. 470. Цена 5 руб. Пер. 2 руб.

История Италии конца XV — начала XVI веков, опустошенной перманентными войнами, раздираемой интригами п кознями пап и правителей, дала блестящие картины освободительного движения, яркие блестящие отваги и мужества.

Отдельные эпизоды этой яркой и сильной борьбы использованы многими итальянскими писателями. Манцони, Гросси, Николлини, Сильвио Пеллико черпали отсюда темы для своих произведений. Гверацци в своей «Осаде Флоренции» (в текущем году изданной «Академией») дал монументальное художественно-историческое освещение отдельного участка трагедии итальянского народа.

Все эти произведения, направленные к общественно-воспитательному воздействию, ставили целью пробудить чувство национальной доблести, поднять энтузиазм борьбы за независимость.

Эти цели преследовал и Массимо Д'Адзелио в своих художественно-исторических романах «Этторе Фьерамоска», «Никколо де Лапи» и неоконченном «Ломбардская лига».

Массимо Д'Адзелио (1798 — 1866 г.), сын маркиза Чезаре Таларелли Д'Адзелио, сражавшегося под знаменами Савойской династии против натиска революционной Франции, прошел большой и бурный жизненный путь.

Бесконечные путешествия, увлечение музыкой, живописью, литературой, военщина и большая политическая деятельность характеризуют жизненные этапы Массимо, который, по его словам, еще будучи 16-летним юношей, «полон был жажды видеть, узнавать, странствовать»: «Я носился повсюду, будто какой-то дьявол сидел в моем теле; я рвался освободиться от стеснявших меня нут».

Массимо увлекался музыкой, живописью, литературой. Картины его обращали на себя внимание на выставках и охотно покупались. Его литературные произведения завоевали ему славу не только на родине и имели блестящий успех.

Военно-политическая жизнь Италии середины XIX века высоко поставила Массимо Д'Адзелио. В войне против Австрии (в 1848 г.) Массимо — помощник командующего папскими войсками. В 1849—1852 гг. он — глава правительства Пьемонта при короле Викторе-Эммануэле II.

И в жизни, и в литературном творчестве Д'Адзелио привлекала отвлеченная патристическо-националистическая идея единого, независимого и благоденствующего народа. Страдания за итальянский народ, поработенный своими деспотическими правителями и закабаленный чужеземным игом, выливались у Д'Адзелио в его романах в крик негодования, в призыв к борьбе.

Но напрасно искать в произведениях Массимо классовой борьбы, показа мощи и роли масс. Д'Адзелио — типичный либерал; его теория и практика отражали политическое бессилие экономически слабой и раздробленной итальянской буржуазии девятнадцатого века. По Д'Адзелио, личность делает историю. И в своих романах, по существу, патристических, он призывал героических личностей стать вождями народа.

В середине XIX века, — времени выхода романов Д'Адзелио, — Италия находилась под гнетом Австрии, и романы его, проникнутые призывом к жесточайшей борьбе за независимость Италии, стимулировали энергию освободительного движения. Они вошли в итальянскую литературу как одни из крупнейших произведений периода ее освободительного движения.

Темой романа «Этторе Фьерамоска» послужил рассказ историка Италии XVI века Гвиччардини из времени борьбы Италии с Францией в первые годы XVI столетия. Историк рассказывал о турнире группы итальянских рыцарей с группой французских, по вызову первых, воодушевленных страстным желанием выказать свою доблесть и патриотизм.

На эту тему Д'Адзелио написал вначале картину «Поединок в Барлетте» (воспроизведенную в рецензируемом издании), а затем воплотил ее в исторический роман, напечатанный в 1833 году, после того как он прошел все мытарства австрийской цензуры.

Роман Д'Адзелио — не только увлекательный исторический роман, могущий, по праву, занять место наряду с лучшими произведениями признанного мастера исторического романа — Вальтер-Скотта. Ценность романа не только в том, что он дает ряд превосходных картин, рисующих события, быт, куль-

туру и людей Италии XVI века. Ценность произведения в том, что под маской исторических воспоминаний о прошлом автор дает горячую, бодрую проповедь освобождения Италии от иностранного владычества, противопоставляя двух основных героев романа — Этторе Фьерамоска, носителя всех «идеальных черт человечества», и Цезаря Борджиа, беспринципного, кровожадного искателя власти.

Д'Адзелио — большой художник. Отдельные части романа поднимаются на большую художественную высоту. Рассказ Фьерамоска своему товарищу Бранкалеоне о любви Фьерамоска к Джиневре и связанных с этим приключениях (стр. 132—161) заставляют вспомнить лучшие новеллы Боккаччо. Описание праздника в Барлетте и в особенности поединка рыцаря с быком даны с выразительностью яркого красочного полотна.

Наконец турнир тринадцати французских и тринадцати итальянских рыцарей, являющийся кульминационным пунктом произведения, воплощает основную задачу романа — призыв к борьбе за освобождение Италии от чужеземцев.

На русский язык роман переводился в 1847 году (был опубликован в журнале «Современник»). Вторично был переведен и вышел отдельной книгой в 1874 году. Оба перевода, помимо того, что сделаны неудовлетворительно, стали давно уже библиографической редкостью, и потому издание «Академией» нового перевода является более чем своевременным.

Краткий очерк Ив. Гревса о жизни и творчества Массимо Д'Адзелио и его же (Гревса) статья «Италия и Европа в XV и XVI веках» являются достаточно полным вступлением к роману.

Комментарии Ив. Гревса далеко не полны. «Ave Maria», «Браччано», «Арагонская династия», «Капуя», «Герцог Сан-Никандро», «Герцог Калабрийский», «Веллетри» и десятки других подобных названий, непонятных широкому читателю, оставлены без комментирования.

*С. Иванов.*



## Книги, поступившие на отзыв:

### ОГИЗ — ГИХЛ

- Дементьев, Н.** — Рассказы в стихах 1934  
Стр 114. Ц 2 р 50 к
- Соловьев, Л.** — Поход победителя. 1934.  
Стр 180 Ц 2 р
- Шарер, Адам.** — Кроты. 1934 Стр 327  
Ц 5 р.
- Ламкин, Грэйс.** — Я добываю свой хлеб  
1934. Стр 337 Ц 5 р
- Эс-Хабиб-Вафа.** — Гирни-Камгар 1934. Стр  
141 Ц. 2 р

### «СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Герасимова, В.** — Человек без подробностей  
1934. Стр. 260. Ц. 2 р. 50 к
- Романов, Пантелеймон.** — Рассказы 1934.  
Стр 183. Ц 2 р. 60 к

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Фиш, Геннадий.** — Мы вернемся, Суоми!  
1934. Стр. 405. Ц 5 р. 50 к.

### МОСКОВСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

- Сейфуллина, Л.** — Повести и рассказы. 1934.  
Стр 277. Ц 5 р
- Гроссман, Василий.** — Глюкауф 1934. Стр.  
199 Ц 4 р
- Луговской, Владимир.** — Большевикам пу-  
стыни и весны 1934. Стр 128. Ц. 3 р. 50 к.
- Нейштадт, Владимир.** — Пять шестых. 1934.  
Стр. 127. Ц. 3 р.
- Нович, И.** — В поисках радости 1934. Стр.  
119. Ц 1 р. 25 к.

### ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

- Дремов, И.** — Стихи. 1934. Стр 38 Ц. 30 к.

Редакция:

А. И. Безыменский.  
Ф. В. Гладков.  
В. В. Григоренко.  
И. М. Гронский.  
Л. М. Леонов.  
А. Г. Малышкин.  
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».